

11-716  
SVS

ИСТОРИЯ  
РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

703  
(Учебникъ для среднихъ учебныхъ заведеній).

СОСТАВИЛЪ.

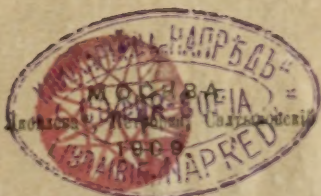
А. Галаховъ.

Изданіе семнадцатое.

Цѣна 1 руб.

Изданіе книжнаго магазина  
В. В. ДУМНОВА.  
пого фирмою  
„Наслѣдн. бр. Салаевыхъ“.

Т—во „Печати С. П. Думнова“ (Салтанинскій пер., д. Т—ва, № 9).













# ИСТОРИЯ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

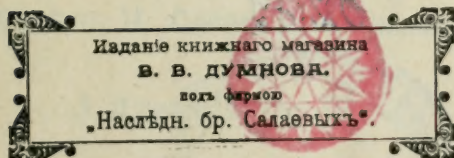
(Учебникъ для среднихъ учебныхъ заведеній).

СОСТАВИЛЪ

**А. Галаховъ.**

Изданіе : семнадцатое.

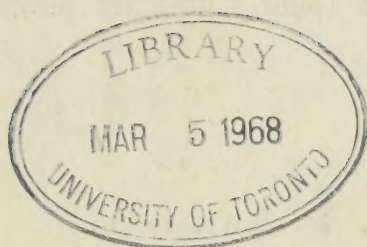
Цѣна 1 руб.



Т—во „Печатня С. П. Леонова“, Петроградъ, Салтыковскій пер., д. Т—ва, № 9.



PG  
2950  
G35  
1909





# ОТЛАВЛЕНІЕ.

§§	Стр.
1. Опредѣленіе исторіи русской словесности.....	1
2. Дѣленіе русской словесности.....	—

## Отдѣлъ I. Словесность устная.

3. Отличіе устной словесности отъ книжной.....	—
4. Виды народной словесности.....	2
5. Виды пѣсенъ.....	—
6. Пѣсни обрядовыя.....	—
7. „ бытовыя.....	5
8. „ о богатыряхъ (былины).....	7
9. „ историческія.....	17
10. Сказки.....	21
11. Пословицы.....	24

## Отдѣлъ II. Словесность книжная.

### 1. Древній періодъ.

12. Дѣятельность Кирилла и Меѳодія. Изобрѣтеніе славян- ской азбуки.....	27
13. Направленіе древнерусской словесности.....	29
14. Вліяніе византійское.....	—
15. „ южно-славянское и польское.....	—
16. Списываніе книгъ. Почеркъ въ рукописяхъ.....	30
17. Древнѣйшіе памятники письменности: Остромирово Еван- геліе и два Изборника Святослава.....	31
18. Отдѣлы словесныхъ произведеній, перешедшихъ къ намъ изъ Болгаріи и Сербіи.....	32

п	Стр.
§§	
19. Апокрифы.....	32
20. Духовныя пѣсни (стихи).....	36
21. Отдѣлы древняго періода.....	45

#### А. Отъ начала письменности до нашествія татаръ.

22. Памятники этого отдѣла.....	
23. XI вѣкъ: Поученія Θεодосія Печерскаго. Слово митрополита Иларіона. Лѣтопись Нестора.....	46
24. XII вѣкъ: Кириллъ Туровскій. Паломникъ игумена Данила. Поученіе Владиміра Мономаха. Слово о полку Игоревѣ.....	48
25. XIII вѣкъ: Посланія епископа Симона къ иноку Поликарпу и Поликарпа къ архимандриту Акиндину. Патерикъ. Житія святыхъ.....	56

#### Б. Отъ нашествія татаръ до XVI в.

26. Общій обзоръ.....	57
27. Серапіонъ, Данилъ Заточникъ. Историческія сказанія. Путешествія: іеромонаха Симеона, епископа Авраамія и Аѳанасія Никитина. Посланія.....	58

#### В. XVI и XVII вв.

28. Общій обзоръ XVI в. Максимъ Грекъ.....	64
29. Стоглавъ.....	66
30. Домострой Сильвестра. Переписка Іоанна Грознаго съ Курбскимъ и его посланіе въ Кирилло-бѣлозерскій монастырь. „Исторія“ Курбскаго.....	68
31. Югозападная литература: проповѣдное слово, школьная драма, силлабическая версификація.....	78
32. Литература въ Москвѣ. Славинецкій и Симеонъ Полоцкій. Основаніе русскаго театра.....	85
33. Повѣсти.....	88

## 2. Новый періодъ.

34. Отдѣлы новаго періода.....	101
--------------------------------	-----

#### А. Отъ Петра I до Ломоносова.

35. Образованіе и литература при Петрѣ Великомъ.....	—
36. Стефанъ Яворскій. Θεοφανъ Прокоповичъ. Татищевъ...	104
37. Кантемиръ.....	110



Б. Отъ Ломоносова до Карамзина.

38. Ломоносовъ, Ложноклассицизмъ. Лирика Ломоносова, похвальные слова; ученые сочиненія, относящіяся къ словесности.....	114
39. Сумароковъ: его трагедіи, комедіи и сатиры.....	126
40. Литературная дѣятельность Екатерины II.....	132
41. Сатирическіе журналы.....	136
42. Фонвизинъ.....	138
43. Державинъ.....	142
44. Херасковъ.....	146
45. Богдановичъ.....	148
46. Хемницеръ.....	149
47. Княжнинъ, Аблесимовъ, Капнистъ.....	150

В. Отъ Карамзина до Пушкина.

48. Карамзинъ. Преобразованіе литературнаго языка. Письма русскаго путешественника.—Сентиментализмъ въ литературѣ: тѣ же: „Письма“ и повѣсти.—„Исторія Государства Россійскаго“.....	152
49. И. Дмитріевъ.....	162
50. Озеровъ.....	163
51. Крыловъ.....	166
52. Гнѣдичъ. Переводъ „Иліады“.....	172
53. Жуковскій. Романтизмъ. Элегія. Баллады. Жуковскій какъ переводчикъ.....	175
54. Батюшковъ.....	179
55. Грибоѣдовъ.....	181

Г. Время Пушкина и Гоголя.

56. Пушкинъ.....	186
57. Дельвигъ, Языковъ, Баратынскій.....	212
58. Гоголь.....	218
59. Лермонтовъ.....	235
60. Кольцовъ.....	242
Биографическія свѣдѣнія о важнѣйшихъ писателяхъ .. I—xxx	





ИСТОРИЯ  
РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.





§ 1. Исторія русской словесности разсматриваетъ словесныя произведенія русскаго народа въ ихъ послѣдовательности и взаимной связи.

§ 2. Русская словесность дѣлится на устную и книжную. Последняя, въ развитіи своемъ, представляетъ два періода: древній и новый. Первый простирается отъ начала русской письменности до XVIII вѣка; второй отъ XVIII вѣка до нашего времени. Соответственно этому и исторія русской словесности письменной дѣлится на два періода, подраздѣленія которыхъ будутъ указаны ниже.

## ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

### УСТНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ.

§ 3. Къ устной словесности относятся безыскусственныя произведенія народнаго ума и фантазій, которыя передаются устно отъ одного поколѣнія къ другому. Она появляется въ первобытнѣйшій періодъ народной жизни, до начала культуры, когда все живутъ общею жизнію, стоятъ на одной и той же степени развитія, представляютъ одинаковое духовное настроеніе, сливаются въ единствѣ понятій и чувствъ. Существенный ея признакъ—отсутствіе личности. Пѣвецъ, воспѣвавшій передъ слушателями какое-либо сказаніе, былъ не что иное, какъ органъ своего народа, хранитель его поэтическаго сокровища. Обязанность его состояла не въ томъ, чтобы создавать новое, неизвѣстное другимъ, а въ томъ единственно, чтобы передавать сказаніе въ томъ видѣ, какъ оно было передано ему самому. Даже вышнее выраженіе зависѣло не отъ рассказчика: онъ употреблялъ обычныя слова и обороты, какъ они сложились пародомъ и, однажды сложенные, оставались неприкосновенными. Отсутствіе личности въ народныхъ произведеніяхъ причиною того, что они чужды сатиры, аллегорій, дидактизма и какой-либо преднамѣренной цѣли.

Книжная литература, напротивъ, есть плодъ личнаго творчества. Образованность, достигнувъ извѣстной степени развитія, позволяетъ отдѣльнымъ лицамъ усвоивать опредѣленный, собственно имъ принадлежащій взглядъ на предметы. Въ словесномъ произведеніи образованнаго человѣка, одареннаго творческой способностью, выступаютъ самостоятельныя понятія и представленія, иногда не только не похожія на понятія и представленія его согражданъ, но даже прямо имъ противоположныя. Поэтъ можетъ изобрѣтать собственный матеріалъ, или данный матеріалъ обрабатывать съ своей точки зрѣнія, по собственному замыслу и плану. Въ обработкѣ выказывается искусство, какъ отдѣлкой частей, такъ и устройствомъ цѣлаго, отчего литература культурнаго періода народной жизни становится искусствомъ и обозначается также именемъ художественной. Такимъ образомъ литературное произведеніе является отраженіемъ жизни въ умѣ и воображеніи автора, какъ отдѣльнаго лица. Здѣсь находятъ себѣ мѣсто элементы, чуждые первобытной народной поэзіи: сатира, дидактизмъ, предвзятая цѣль. Характеристическія свойства творца отражаются и на характерѣ выраженія, образуя отличный слогъ.

Кромѣ словесности собственно-народной и словесности собственно-книжной, есть литературныя произведенія полународныя и вмѣстѣ полукнижныя, относящіяся къ той и другой: таковы, напримѣръ, духовныя народныя пѣсни (стихи), сложившіяся подъ вліяніемъ книжнымъ.

§ 4. Главнѣйшіе виды народной словесности: пѣсни, сказки, пословицы.

§ 5. Пѣсни раздѣляются на обрядовыя, богатырскія (былины), бытовыя, историческія, духовныя (стихи).

§ 6. Обрядовыя пѣснями сопровождались религіозные обряды нашихъ предковъ, въ періодъ язычества. Содержаніемъ ихъ, вѣроятно, служило или молитвенное обращеніе къ божеству, въ честь котораго совершался обрядъ, или разъясненіе смысла и порядка различныхъ дѣйствій обряда. Съ принятіемъ христіанства, языческіе обряды мало-по-малу утрачивали свое значеніе и обращались въ простые обычаи, тому же самому подвергались и обрядовыя пѣсни: народъ, поющій ихъ донынѣ, видитъ въ нихъ только праздничную забаву, совершенно забывъ то мнѣическое значеніе, какое онѣ когда-то имѣли.

Въ годичномъ движеніи солнца народный календарь славянъ, издавна бывшихъ народомъ земледѣльческимъ, отмѣчаетъ именно тѣ моменты, въ которые совершается смѣна однихъ временъ года другими и происходятъ явленія, вліяющія на удачный или неудачный

исходъ полевыхъ работъ. Таковы: поворотъ солнца съ зимы на лѣто (12 декабря), наступленіе весны, развитіе производительныхъ силъ природы лѣтомъ, поворотъ солнца съ лѣта на зиму (11 іюня), и пр. Этимъ эпохамъ соотвѣтствуютъ особыя празднества или игрища, состоящіе изъ различныхъ обрядовъ съ пѣніемъ и пляской.

Праздничный циклъ начинается съ зимняго „солнороота“. День возрожденія солнца предки наши чествовали, зажигая костры по городамъ и селамъ. Такъ какъ христіанская церковь около того же времени празднуетъ Рождество Спасителя, то древнеязыческій праздникъ и былъ приуроченъ къ святкамъ. Онъ называется колядой и продолжается 12 дней — отъ Рождества до Крещенія<sup>1)</sup>. Колядскіе обряды особенно сохранились на Украинѣ и въ Бѣлоруссіи. Наканунѣ Рождества, а въ иныхъ мѣстахъ и всю рождественскую недѣлю, молодые люди и дѣти ходятъ подъ окнами и по избамъ крестьянъ, „величаютъ“ хозяина и хозяйку и просятъ денегъ или съѣтнаго.

Въ великорусскихъ преданіяхъ уцѣлѣло воспоминаніе о мифическомъ лицѣ Овсеня, который въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ воспѣвается вмѣсто Коляды, почему и самыя пѣсни называются „овсеновыми“: въ нихъ славится его пріѣздъ, совпадающій съ наступленіемъ новаго года<sup>2)</sup>.

Вмѣстѣ съ пѣснями въ честь Коляды и Овсеня на святкахъ поются еще пѣсни „подблюдныя“ или гадательныя. Сюжетомъ ихъ служить обыкновенно предвѣщаніе замужества или женитьбы. Святки, какъ дни, предшествующіе новому году, служатъ временемъ гаданій о долѣ, какую онъ принесетъ съ собою. Дѣвушки гадаютъ о суженомъ, молодые парни о суженой, женатые и старые объ урожаѣ. Гадающій бросаетъ какую-нибудь вещь (кольцо, серьгу и т. п.) въ блюдо или чашку, наполненную водой; затѣмъ чашка закрывается, гадающіе поочередно вынимаютъ изъ нея вещи, при чемъ поется для cadaго особая подблюдная пѣсня: чья вещь вынется во время пѣнія, тому эта пѣсня и сбудется, „скоро сбудется, не минется“.

<sup>1)</sup> Слово «Коляда» объясняется различно: его производятъ то отъ *коло* (хороводъ) то отъ *колоды* (зажженный пень), то отъ *кол-подъ* (кругомъ ѣдущій), или отъ *кол-пѣда* (круговое угощеніе); другіеближаютъ это слово съ латинскимъ словомъ *calendae* (первое въ каждомъ мѣсяцѣ число, по которому ведется счетъ и предшествующимъ ему днямъ съ половины предыдущаго мѣсяца: такъ январскія календы—съ 14 декабря по 1 января включительно).

<sup>2)</sup> Слово «Овсенъ» одни производятъ отъ обсыванія или осыпанія овсомъ, такъ какъ поющіе разбрасываютъ при этомъ хлѣбныя зерна, другіе видятъ въ немъ измѣненіе слова «Ясень», которое будто бы было однимъ изъ названій солнца.



Кромѣ подблюдныхъ пѣсень, поются еще на святкахъ „игорныя“, сопровождаемыя какою-нибудь игрою. Такова извѣстная пѣсня: „ужъ я золото хороню, хорою“, при чемъ прячутъ кольца, и дѣвушка, хоронившая золото, т. е. передавшая кольцо другимъ, должна отгадать, у кого оно находится.

Содержаніемъ обрядовыхъ весеннихъ пѣсень (веснянокъ) служить преимущественно борьба весны съ зимою, представляемая въ „лицахъ“ особою игрою. У славянъ существуетъ старинный обычай— встрѣчая весну въ мартѣ, совершать изгнаніе зимы или смерти (Мораны): соломенное чучело, изображающее смерть, выносится изъ деревни въ поле и тамъ сожигается или топится въ рѣкѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ, въ знакъ побѣды, зажигаются праздничные костры.— Съ появленіемъ первыхъ признаковъ весны начинаютъ зазывать ее; дѣвушки и дѣти взлѣзаютъ на крыши амбаровъ, всходятъ на холмы и пригорки и оттуда причитываютъ: „Весна, весна красная! Приди, весна, съ радостію, съ великою милостію!“ На красную горку (воскресенье Троиной недѣли) повторяется заклинаніе весны и изгнаніе зимы; въ то же время водятъ хороводы. Но въ существующихъ теперь хороводныхъ пѣсняхъ только слова „Дидъ“, „Ладо“, служащія припѣвомъ, намекаютъ на какія-то языческія божества: содержаніемъ ихъ служатъ преимущественно любовь и бракъ, или объясненіе игры.

Въ Егорьевъ день (23 апрѣля) и до сихъ поръ совершается много обрядовъ, происхожденіе которыхъ относится къ до-христіанской старинѣ. Св. Юрій, какъ выражаются о немъ поговорки и обрядовыя причитанья, отмыкаетъ землю, низводитъ росу и раститъ травы и хлѣбъ; онъ начинаетъ полевые работы, онъ же ихъ и оканчиваетъ. На вешній Юрьевъ день, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, выбираютъ красиваго парня и кладутъ ему на голову большой круглый пирогъ, украшенный цвѣтами; съ зажженнымъ факеломъ въ рукѣ онъ несетъ этотъ пирогъ въ поле, а за нимъ идетъ толпа дѣвушекъ, поющихъ пѣсни, напр.:

Юрій, вставай рано,  
Отмыкай землю,  
Выпускай росу  
На теплое лѣто,  
На буйное жито,  
Людыамъ на здорově...

Въ Юрьевъ день впервые послѣ зимы выгоняютъ скоть въ поле, при этомъ окликаютъ Егорія и просятъ его спасти скотину отъ всякаго „звѣря лютаго“. Въ народѣ существуетъ повѣрье, что волкъ ни одной твари не задавитъ безъ воли Егорья: „что у волка на зубахъ, то Егорій далъ“, говоритъ пословица.

Май и начало іюня издревле признавались посвященными богинѣ весны и чествовались игрищами. Съ принятіемъ христіанства эти празднества приурочивались къ христіанскимъ праздникамъ, бывающимъ весной — къ Вознесенію и Троицѣ, къ которымъ слѣдуетъ прибавить еще такъ называемый „Семикъ“ (четвергъ передъ Троицей, на седьмой недѣлѣ послѣ Пасхи). Съ Семика или съ Троицы начинаютъ завивать вѣнки. Молодежь отправляется въ лѣса и рощи, съ пѣснью:

Благослови, Троица,  
Богородица,  
Намъ въ лѣсъ пойти,  
Намъ вѣнки завивать,  
Ай Дидъ, ой Ладо!  
Намъ вѣнки завивать  
И цвѣты сорывать.

Приготовивъ вѣнки, дѣвушки и парни обмѣниваются ими другъ съ другомъ и водятъ хоробы; затѣмъ идутъ къ рѣкѣ и гадаютъ по вѣнкамъ, бросая ихъ въ воду: чей поплыветъ скорѣе другихъ, та скорѣе выйдетъ замужъ; чей потонетъ — та или не выйдетъ замужъ, или умретъ. Извѣстенъ также обычай въ Троицу убирать дома зеленью.—Кромѣ того, Семикъ имѣлъ еще особое значеніе, какъ праздникъ русалокъ, и та недѣля, на которой приходился Семикъ, еще въ XII вѣкѣ называлась русальною, а самый праздникъ—великимъ днемъ русалокъ. Русалками теперь считаютъ въ народѣ души младенцевъ, умершихъ некрещеными, дѣтей, проклятыхъ родителями, утопленницъ, удушенныхъ и вообще женщинъ и дѣтей, самопроизвольно лишившихъ себя жизни. Но въ дохристіанскія времена подъ именемъ русалокъ разумѣлись вообще души умершихъ. Въ одной пѣснѣ онѣ называются „земляночками“—жительницами подземнаго міра мертвыхъ.

Лѣтній „солноротъ“ (въ іюнѣ) такъ же, какъ и зимній, сопровождается особыми празднествами, изъ которыхъ главнѣйшее приурочилось въ христіанскую эпоху къ Иванову дню (24 іюня). Этотъ праздникъ извѣстенъ подъ именемъ Купалы, и къ нему относятся особые обряды, съ пѣніемъ „купальскихъ“ пѣсенъ. Въ ночь на Ивана Купалу, по народному повѣрью, вѣдьмы собираются на шабашъ, цвѣтеть папоротникъ, цвѣтъ котораго имѣетъ чудную силу указывать скрытые въ землѣ клады. На поляхъ зажигаютъ костры, черезъ которые прыгаютъ парни и дѣвушки, полагая, что это прыганье избавляетъ отъ всякаго недуга, бросаютъ въ воду вѣнки и по нимъ гадаютъ о будущей своей судьбѣ, зажигаютъ колесо и скатываютъ его съ горы.

§ 7. Главнѣйшія явленія въ жизни простолюдина, отъ рожденія

до смерти, сопровождаются особыми обрядами и пѣнями. Изъ этихъ пѣсенъ, называемыхъ „бытовыми“, самое важное значеніе имѣютъ вообще семейныя и въ частности свадебныя: въ нихъ отражаются и древнія вѣрованія, и положеніе женщины, и условія домашняго быта.

Въ древнѣйшую пору своего существованія, наши предки жили отдѣльными, независимыми семействами, разраставшимися въ роды, которые враждовали одни съ другими. При взаимной враждебности заключеніе браковъ между членами различныхъ родовъ было дѣломъ труднымъ; поэтому каждый родъ долженъ былъ поддерживать свое существованіе исключительно въ своихъ предѣлахъ, какъ свидѣлствуетъ и лѣтопись Нестора, говоря о „звѣринскихъ“ нравахъ древлянъ.

Эта степень родовой исключительности уступила свое мѣсто другой формѣ брака—союзу между лицами разныхъ родовъ. Но при розни и усобицахъ, которыми отличались отношенія между родами, такой бракъ былъ возможенъ только путемъ насильственнаго захвата чужихъ женщинъ, „умыканія“. Обряды и пѣсни наглядно изображаютъ эту форму брака: неvěста упрашиваетъ своего брата заградить путь-дороженьку, чтобы „недругамъ“, „погубителямъ“, нельзя было ни пройти, ни проѣхать; просить также своихъ подруженекъ „схоронить“ ее отъ „лихаго наѣздника“, отъ „чужаго чужанина“, т.-е. жениха.

По мѣрѣ ослабленія враждебныхъ отношеній между родами, бракъ постепенно переходилъ изъ формы умыканія въ болѣе мирную, хотя тоже насильственную, форму купли-продажи. Женихъ изъ „наѣздника“ превращался въ „купца“, а неvěста представляла собою „товаръ“, который и осматривался покупателями, т.-е. женихомъ и его родственниками, на такъ называемыхъ „смотринахъ“. Затѣмъ били по рукамъ и пили магарычъ. Братъ неvěсты является въ свадебныхъ обрядахъ лицомъ, окончательно продающимъ ее жениху, за котораго платить его дружка. „Зачѣмъ вы меня пропили, прогуляли мою волюшку?“ спрашиваетъ неvěста въ одной пѣснѣ. И женихъ также рѣдко имѣлъ возможность выбирать неvěсту по своей волѣ и обыкновенно довольствовался жепщиной, которую назначали ему родные и которой онъ не *вѣдалъ* (отчего нѣкоторые и производятъ слово *невѣста*). Бракъ считался неизбѣжнымъ опредѣленіемъ судьбы, *судомъ* Божиимъ; отсюда названіе жениха *суженымъ*, а неvěсты—*суженою*.

При такихъ обстоятельствахъ положеніе молодой женщины въ чужой семьѣ, на чужой сторонѣ было, въ большинствѣ случаевъ, очень печальное. Жалобы на эту горькую долю въ семьѣ мужа



составляютъ одинъ изъ главныхъ мотивовъ семейной поэзіи: „чужая дальняя сторонushка тоской-кручинушкой изувѣяна, горючими слезами поливана, она печалью да огорожена, кручинушкой изувѣяна“; на чужой сторонѣ „надо сорокъ разумовъ, пятьдесятъ обычаевъ“, надо быть „вѣковѣчной ключницей, вѣковѣчной платьемойницей“. Названія: „лютый свекоръ“, „лихая свекровь“, сдѣлались поговоркой. Невѣста сравниваетъ себя съ лебедью, поневолѣ пристаившею къ стаду гусей, — и щиплютъ ее гуси сѣрыя за то, что не умѣетъ по-гусиному кликати:

Ступишь ли ногой—  
Поглядать всѣ за тобой;  
Махнешь ли рукой—  
Засмѣются надъ тобой;  
Молвишь ли словечко—  
Передражнивать начнутъ;  
Сядешь ли за столъ—  
Всѣ куски во рту сочтутъ;  
Станешь ли молчать—  
Станутъ душой величать.

Не всегда, впрочемъ, захватывали невѣсту силою, не всегда и „покупали“ ее: наступила пора браку по свободному выбору и соглашенію между женихомъ и невѣстой. На эту форму брака есть указанія въ пѣсняхъ: „выбирай, мое дитятко“, говоритъ мать невѣстѣ „выбирай изъ гостей незнакомыхъ знакомаго, изъ молодыхъ молодого наряднаго: вѣдь съ нимъ тебѣ вѣкъ вѣковать“. Добрый молодецъ, полюбивъ дѣвицу, „тоскуетъ, какъ горькая кукушечка“: дѣвица не хочетъ съ нимъ „разстаться“, хочетъ оставить батюшку и матушку, и т. п. Самая родня суженаго рисуется во многихъ пѣсняхъ сочувственною невѣстѣ.

Тяжелое положеніе въ семьѣ или обществѣ, происходившее отъ крѣпостнаго права, съ его произволомъ надъ личностью и собственностью, а иногда и удалъ или „хмѣлинушка“, заставляли нѣкоторыхъ бѣжать изъ своего міра въ лѣса или степь, идти въ разбойники,—въ ту „вольницу“, которая такъ долго была на Руси грозой общественнаго порядка. Эта вольная, „подорожная“ жизнь нашла себѣ выраженіе въ пѣсняхъ удалыхъ и разбойничьихъ, какова, напримѣръ, „Не шуми мати, зеленая дубровушка“.

§ 8. Высшей ступени развитія народная пѣснь достигаетъ въ героическомъ эпосѣ, т.-е. словѣ, сказаніи о герояхъ. Эти герои извѣстны у насъ подъ названіемъ *богатырей*, а сказанія о нихъ называются „былинами“, такъ какъ народъ видитъ въ нихъ не вымыселъ, а повѣсть о дѣйствительно бывшемъ, „быть“. Происхожденіе слова „богатырь“ объясняется различно: одни связыва-

ють его съ словомъ „богъ“ чрезъ посредство прилагательнаго „богатый“, т.-е. надѣленный избыткомъ силъ; другіе полагають, что оно заимствовано у татаръ, ибо у народовъ турко-монгольскаго племени слово это встрѣчается въ разныхъ формахъ: *батурь*, *батырь*, *багадурь* и пр.

При разсмотрѣніи состава былины въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ дошли до насъ, оказываются въ нихъ и отголоски болѣе древней старины и указанія на времена позднѣйшія, напримѣръ: въ пѣсняхъ о Владимірѣ являются Іерусалимъ, Греція, Золотая орда, татары и народы Восточной Сибири — чукчи и олиторы; Илья Муромецъ выступаетъ на сцену то какъ богатырь кievскаго князя, то какъ атаманъ разбойниковъ, или сибирскій казакъ. Причина такого смѣшенія лицъ, временъ и мѣстъ заключается въ томъ, что одно и то же преданіе, при устномъ переходѣ отъ поколѣнія къ поколѣнію, наслаивалось другими преданіями, а потому и совмѣщало въ себѣ различныя эпохи, обнимало нѣсколько вѣковъ. Это наслоеніе, будучи источникомъ анахронизмовъ, служитъ вмѣстѣ и поэтическимъ свидѣтельствомъ измѣняющихся движеній жизни: оно даетъ знать объ особенныхъ народныхъ интересахъ, возникавшихъ и смѣнявшихся другъ друга въ извѣстныя времена. Притомъ одна и та же былина въ разныхъ мѣстностяхъ поется или пересказывается съ нѣкоторыми перемѣнами: эти различныя пересказы называются „варьянтами“.

Въ русскомъ народномъ эпосѣ различаются два поколѣнія богатырей: старшее и младшее. Названіе старшихъ дано богатырямъ по отношенію къ позднѣйшей эпохѣ: они громадной величины и неимоверной силы, сравнительно съ младшими богатырями, ихъ смѣнившими.

Главный представитель старшаго богатырства—Святогоръ. Онъ живетъ на высокихъ горахъ и самъ съ гору; ему „грузно отъ силушки, какъ отъ тяжелаго беремени“, и этой силою не съ кѣмъ помѣряться. „Если бы я тягу нашелъ“, говоритъ онъ, „я бы всю землю поднялъ“; но въ это время, какъ будто въ отвѣтъ на такую похвальбу, попадаетъ ему на пути „маленькая сумочка переметная“: онъ пытается поднять ее, но отъ натуги увязаетъ по колѣно въ землю и погибаетъ.

Второй старшій богатырь—Вольга Святославовичъ или Волхъ Всеславьевичъ. Онъ сынъ змія, и его рожденіе сопровождается чудесными знаменіями:

Подрожала сыра земля,  
Стряслось славно царство Индѣйское,  
А синее море сколебалося.

Отличается онъ не столько силой, сколько хитростью-мудростью: онъ могъ

Щукою-рыбою ходить въ глубокѣхъ моряхъ,  
Птицей-соколомъ летать подь облака,  
Сърымъ волкомъ рыскать во чистыхъ поляхъ.

Это значить, что онъ былъ оборотень. Оборачиваясь въ бремъ, птицею и рыбой, онъ совершалъ искусныя ловы, а оборотившись мурашикомъ—подготовилъ успѣшный исходъ предпринимаемому имъ походу въ индѣйское царство. Впослѣдствіи образъ Вольги получилъ значеніе князя, племянника Владиміра стольно-кѣвскаго, который жаловалъ его „тремя городами со крестьянами“. Въ одну изъ побѣдокъ къ этимъ городамъ за получкой дани, Вольга истрѣтилъ въ чистомъ полѣ третьяго старшаго богатыря—Микулу Селяниновича (т.-е. сына селянина). На вопросъ Вольги объ имени и отчествѣ, Микула отвѣчаетъ:

А я ржи напашу, да во скирды сложу,  
Во скирды сложу, домой выволочу.  
Домой выволочу, да дома вымолочу.  
Драни надеру, да пива наварю,  
Пива наварю, да мужиковъ напою.  
Станутъ мужички меня выкликивати:  
«Молодой Микулушка Селяниновичъ!»

Этотъ пахарь Микула одаренъ необычайной силой: съ его сохой не могутъ совладать совокупныя силы Вольгиной дружины, тогда какъ самъ онъ поднимаетъ ее одной рукой. Онъ даже сильнѣе самого Святогора: послѣдній не могъ сдвинуть съ мѣста сѣмочку, которую носилъ при себѣ первый и въ который была заключена „тяга земная“. Кромѣ того Микулу любить мать-сыра земля.

Изъ младшихъ богатырей главнѣйшіе: Илья Муромецъ, Добрыня Никитичъ, Алеша Поповичъ, Михайло Потыкъ Ивановичъ. Сказанія о нихъ приурочены къ землѣ русской и ея древнѣйшей исторіи. Первенствующая въ нихъ мѣстность—градъ Кіевъ, гдѣ сосредоточивается историческое движеніе. Сюда стекаются богатыри, какъ представители русскихъ силъ, изъ разныхъ областей и городовъ: изъ Муромъ, Рязани, Ростова, Суздаля, Галича. Народное творчество здѣсь идеально выразило то единство, къ которому, въ кѣвской періодъ нашей исторіи, стремился народъ, тяготѣя къ излюбленному дому, къ племени Владимірову. Центральное лицо былевого эпоса—старый Владиміръ „красное солнышко“; все происходитъ при немъ и вокругъ него, но самъ онъ не принимаетъ участія ни въ какомъ подвигѣ: вся дѣятельная сила перенесена съ князя на богатырей, которые обращаются съ нимъ закроето, принимая изъ его рукъ наливаемая имъ самимъ чары „зелена вина“. При входѣ



въ грѣдницу ласковаго князя, для всѣхъ и каждаго открытую, богатырь прежде всего молится Спасову образу, а потомъ кланяется на всѣ четыре стороны, князю же съ княгиней Апраксѣвной на особицу. Когда представляется нужнымъ дать какое-нибудь порученіе, Владиміръ совѣтуется съ богатырями, спрашивая ихъ: „кого бы намъ послать“?

Основнымъ содержаніемъ былины Владимірова цикла служить борьба Руси со степью. Эта борьба выражается „заставою“ богатырской, т.-е. сторожевыми городами на южной окраинѣ. Во главѣ заставы стоитъ Илья Муромецъ, выбранный сотоварищами въ чело-вѣка „начальнаго“. Богатыри называются „наборной братіей“: они являются по своей собственной охотѣ и волѣ. Каждый вновь входящій долженъ въ казну положить на всю братію, какъ бы записаться въ богатырскую артель. Братія держитъ думу сообща, дѣйствуетъ заодно. Стоя на заставѣ, богатыри заботятся о томъ, чтобы „мимо нея пѣхотою никто не прохаживалъ, на добромъ конѣ не проѣзживалъ, сѣрый звѣрь не прорыскивалъ“. Постоянно выглядывая чужаго наѣздника, „нахвальщика“, они руководятся правиломъ: „если русскій богатырь—побратайся съ нимъ, а невѣрный богатырь—войны проси“. Чуть появится въ чистомъ полѣ „чернизна“—первый признакъ приближающагося врага, какъ навстрѣчу ему выѣзжаетъ изъ заставы охотникъ. Или набольшій богатырь Илья спрашиваетъ „кого намъ послать?“ и отвѣтъ обыкновенно выражается во множественномъ числѣ: „накинули службу“ на такого-то. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда нѣтъ охотника, Илья самъ отправляется на бой, говоря: „видно нечѣмъ мнѣ замѣниться, замѣниться своей старой буйной головой“, или: „малое большымъ замѣняется, большому нечѣмъ замѣниться“.

Представителемъ младшаго богатырскаго поколѣнія сдѣлался Илья Муромецъ, сынъ крестьянина въ селѣ Карачаровѣ (Муромскаго уѣзда). Въ немъ по преимуществу выражается значеніе богатырства, какъ служилой силы русской землѣ: стоять за вѣру христіанскую, помогать князю Владиміру. Онъ старше другихъ богатырей, послѣдніе—народъ молодой, а онъ самъ называетъ себя старымъ. Но не однимъ возрастомъ и силою отличается онъ отъ другихъ богатырей: былины съ постояннымъ сочувствіемъ относятся къ нему за то, что онъ всегда готовъ помогать вдовамъ, сиротамъ и бѣднымъ, не только не любитъ напрасно проливать кровь, но и удерживаетъ отъ того своихъ товарищей, самоотверженно дѣйствуетъ по долгу, думая не о собственной чести, а о славѣ и пользѣ родной страны. Цѣлыхъ тридцать лѣтъ сидѣлъ онъ сиднемъ, подобно многимъ другимъ героямъ, ибо эпосу свойственно изображать первую ихъ

молодость омраченную тѣлесными недостатками, а потомъ вдругъ выставить блистательное проявленіе долго сдерживаемой силы. Не владѣющій ни руками, ни ногами, Илья ощущаетъ эту силу, выпивъ нѣтъ по приказу каликъ переходящихъ (нищей братіи въ другомъ пересказѣ). На вопросъ ихъ, что онъ чувствуетъ, Илья отвѣчаетъ, что онъ могъ бы поворотить землю. Тогда они даютъ ему еще выпить, и силы оказывается у него „половинушка“. „Будетъ съ тебя, а то земля носить не станетъ“, говорятъ они и предостерегаютъ Илью, чтобы онъ не выходилъ на бой ни съ Святогоромъ, котораго земля не носить, ни съ Вольгой, который „не силой возьметъ, такъ хитростью-мудростью“, ни съ Микулой, котораго любить мать-сыра земля. Съ предостереженіемъ соединяется общаніе, что „смерть ему на бою не написана“. Эти слова глубоко западаютъ Ильѣ въ память, и онъ не разъ повторяетъ ихъ самъ себѣ въ теченіе своей богатырской жизни.

Первымъ завѣтомъ Ильи, какъ выѣхалъ изъ дому, получивъ родительское благословеніе, было—проложить въ Кіевѣ прямоѣзжую дорогу, которую залегъ Соловей-разбойникъ, изображаемый въ видѣ чудовища: онъ свиститъ страшно оглушительнымъ свистомъ, шипитъ по-змѣиному, зрываетъ по-звѣриному и гнѣздится на семи дубахъ, а семья его живетъ въ палатахъ на широкомъ дворѣ. Сваливъ чудовище стрѣлой наземь, Илья привязываетъ его къ сѣдлу и доставляетъ живьемъ ко Владиміру. Когда же Соловей на княжескомъ дворѣ переступилъ приказъ Ильи: засвисталъ не въ полсвиста, а въ полный свистъ, и тѣмъ напугалъ князя съ княгиней, воѣхъ богатырей и бояръ, Илья убиваетъ его, приговаривая по нѣкоторымъ вариантамъ: „полно ему слезить отцевъ, матерей, пускать спротивъ малыхъ дѣтушекъ“.

Второй изъ важнѣйшихъ подвиговъ Ильи разсказанъ въ былинѣ о битвѣ его съ Жидовиномъ (богатыремъ изъ земли Жидовской, подъ которой нѣкоторые разумѣютъ Козарскую). Дѣйствіе происходитъ на заставѣ, но богатыри, ее составляющіе, были въ отлучкѣ, кромѣ Добрыни, который тѣшилсѣ охотою за гусями и лебедями, да Ильи, развѣзжавшаго по степямъ. Возвращаясь съ охоты, Добрыни наѣхалъ на слѣдъ богатырскій. Онъ собираетъ товарищей. Рѣшаются наказать смѣлаго пришельца, но бой долженъ быть честный, одиночный. При переборкѣ, кому именно поручить расправу съ нахальщикомъ, выступаетъ интересная характеристика богатырей, выговариваемая „начальнымъ“ богатыремъ: Илья не совѣтуетъ посылать ни Васку Долгополага (дьяка или грамотѣя), ни Гришку Боярскаго, ни Алешу Поповича:

По землѣ ходитъ Васька—заплетается,  
 На бою на дракѣ заплетется:  
 Погибнетъ Васька по-напрасному.  
 Гришка—рода боярскаго,  
 Боярскіе роды хвастливые:  
 На бою-дракѣ призахвастается—  
 Погибнетъ Гришка по-напрасному.  
 Алешенька—рода поповскаго:  
 Поповскіе глаза завидушіе,  
 Поповскія руки загребущія;  
 Увидитъ Алеша на нахвальщикѣ  
 Много влата, серебра,—  
 Злату Алеша позавидуетъ,  
 Погибнетъ Алеша по-напрасному.

Приходится отправляться Добрынь, но сила его не соотвѣтствуетъ его смѣлости: увидавъ Жидовина, онъ спасся бѣгствомъ. Некому выручить честь заставы, кромѣ стараго Ильи: онъ вступилъ въ бой съ пришлымъ богатыремъ. Долго боролись соперники, пока отъ не ловкаго движенія Ильи не упалъ на—земь. Жидовинъ садится ему на грудь, вынимаетъ кинжалъ и посмѣивается надъ старикомъ. Но Ильи не падаетъ духомъ, зная, что ему смерть на бою не написана; и дѣйствительно: „лежучи на землѣ, у него силы втрое прибыло“. Онъ вскидываетъ противника на воздухъ, и его отрубленную голову привозитъ на заставу, замѣчая товарищамъ:

Ѣздилъ во полѣ тридцать лѣтъ—  
 Экаго чуда не наѣзживалъ.

Третій подвигъ—освобожденіе Кіева отъ царя Калина, иногда замѣняемаго, то Батыгой Батыговичемъ, то Мамаемъ. Басурманская сила, обложившая городъ, требуетъ, чтобы кресты съ церквей были сняты и въ церквахъ подѣланы стойла, и улицы распаханы. Сила же такова, что отъ пару конинаго солнце и мѣсяцъ померкли. Велитъ Владиміръ князь звонить въ плакунъ-колоколъ и самъ отправляется въ церковь въ платьѣ печальномъ. Встрѣтивъ калику, который былъ не кто иной, какъ Ильи, князь бьетъ ему челомъ: „не ради меня и княгини, а ради бѣдныхъ вдовъ и малыхъ дѣтей“. Ильи съ богатыми княжескими подарками отправляется къ Калину, который, однако, „не даетъ сроку на три дня и на три часа“. Разсерженный словами Ильи, татарскій царь велѣлъ связать ему руки крѣпкими шелковыми чембурами (поводьями уздечекъ). Но могучій богатырь разорвалъ чембуры, схватилъ одного татарина и началъ имъ помахивати, приговаривая:

А и крѣпокъ татаринъ—не ломится,  
 А и жиловатъ собака—неизорвется.



а потомъ и самого Калина „согнуть корчагою, воздымать выше буйной головы своей, ударить его о горячъ камень и расшибъ въ крохи“.

Особую отрасль былинь о расправѣ съ татарщиной составляютъ былины объ Идолицѣ Поганомъ. По нѣкоторымъ, Идолище самовольничаетъ въ Кіевѣ единолично, а по другимъ—набзжаетъ на стольный градъ съ цѣлою ратью и прямо называется Батыгомъ Батыговичемъ. Владиміръ посылаетъ за Ильей, который тотчасъ является и идетъ къ Идолищу. Но, вспомнивъ на пути, что не взялъ съ собой ни палицы, ни сабли, беретъ клюку у встрѣчнаго калики, отъ котораго узнаетъ, что татаринъ застѣлъ между Владиміромъ и Апраксѣй, отмѣнилъ звоны колокольные, запретилъ милостыню спасеную. Идолище, судя о богатырскомъ достоинствѣ по количеству ѣды и питья, спрашиваетъ переодѣтаго въ платье каличе:

Помногу ли Илья вашъ хлѣба ѣсть?

Помногу ли Илья вашъ пива пить?

Отвѣтъ мнимаго калики, показывающій умѣренность Ильи, вызываетъ хвастливый отвѣтъ Идолища:

Экой вашъ богатырь Илья!

Я вотъ по семи ведеръ пива пью,

По семи пудъ хлѣба кушаю.

Богатырь на это говоритъ:

У нашего Ильи Муромца батюшка былъ крестьянинъ,

У него была корова ѣдущая:

Она много пила—ѣла и лошнула,

Разсерженный Идолище бросаетъ въ калику булатный клижаль. Кончилось тѣмъ, что Илья, „ростомъ умѣренный, не широкій въ плечахъ и съ постнымъ лицомъ“ (какъ сказано въ одной былинѣ), схватилъ съ своей головы богатырскую шапку земли греческой и такъ ею ляпнулъ Идолище, что разсѣкъ его на-попы.

Добрыня Никитичъ изъ Рязани—рода княжескаго. По лѣтописямъ, онъ дядя Владиміру, а по народнымъ пѣснямъ—племянникъ. Эпосъ похваляетъ его благородство, честность на бою, по которой онъ не прибѣгаетъ къ обманамъ и лукавымъ средствамъ при встрѣчѣ съ противникомъ, его „вѣжество“ приращенное и ученое, т.-е. по природѣ и по сложившемуся въ жизни навику: онъ не горделивъ и не спесивъ, знаетъ, какъ съ богатыремъ сѣхаться и какъ богатырю честь отдать. Изъ подвиговъ его наиболѣе замѣчательны два. Первый подвигъ—двукратный бой съ летучимъ огненнымъ Змѣемъ Горыничемъ, живущимъ въ пещерѣ. Послѣ

перваго боя. Добрыня пощадилъ жизнь побѣжденнаго имъ чудовища, заключивъ договоръ, по которому онъ не будетъ истреблять змѣенышей, а Змѣй забирать русскихъ въ полонъ. Но договоръ со стороны Змѣя нарушенъ похищеніемъ Владиміровой племянницы, молодой Забавы Путятичны; тогда Добрыня отправляется выручать ее, убиваетъ Змѣя и вмѣстѣ съ княжной выводитъ изъ плѣна множество царевичей, королевичей и русскихъ богатырей. Другой подвигъ состоитъ въ исполненіи порученія князя Владиміра—сѣздить въ орды немирныя, очистить дороги прямоѣзжія до короля Этмануйла Этмануйловича (тестя Владимірова), вырубить Чудь бѣлоглазую, перекрошить Сорочину долгополую, черкесовъ Пятигорскихъ, калмыковъ съ татарами, чукчей и олжоторовъ. Прощаясь съ женой своей, Настасіей Микулишною, Добрыня наказываетъ ждать его двѣнадцать лѣтъ, по истеченіи которыхъ дозволяетъ выйти замужъ за кого угодно, только не за Алешу Поповича. Но она не послушала наказа, вышла именно за Алешу. Совершивъ свое дѣло, богатырь является на пиръ, устроенный Владиміромъ для новобрачныхъ, и беретъ жену, такъ какъ

Гдѣ это видано, еще гдѣ это слыхано,  
Отъ жива мужа замужъ ийти?

Алеша Поповичъ, сынъ попа ростовскаго, отличается въ богатырскомъ эпосѣ двойственностью. Съ одной стороны ему придается прозвище „смѣлаго“, какъ достойному названному брату Ильи и Добрыни, но въ большей части былинъ онъ выступаетъ съ качествами, противоположными качествамъ Добрыни: вѣжество у него не рожденное; онъ „захлыщевой“ (забубенный), „женскій пересмѣшничекъ“, „судейскій перелестничекъ“; у него „руки загребушція, глаза завидушція“. Подобно Добрынѣ, у него два раза происходитъ битва съ Тугариномъ Змѣевичемъ. Первая схватка оканчивается смертью змѣя, но когда затѣмъ Тугаринъ оказывается неожиданно ожившимъ, присутствующимъ за столомъ князя Владиміра, Алеша снова вступаетъ съ нимъ въ бой, приемы котораго отзываются не столько силою и смѣлостью, сколько хитростью. Къ тому же онъ выказалъ склонность къ добычничеству: снялъ богатое платье съ убитаго врага и надѣлъ на себя, за что едва не заплатилъ жизнью, принятый своимъ товарищемъ (Екимомъ Ивановичемъ) за самого Тугарина.

О Потокѣ, или Потыкѣ, Михайлѣ Ивановичѣ, ближайшемъ товарищѣ Ильи, Добрыни и Алеши, былины повѣствуютъ, какъ онъ женился на еретницѣ Авдотѣ Лиховидевнѣ, умѣвшей превращаться въ лебедь бѣлую. Передъ женитьбой, она положила такой уговоръ:

Кто изъ насъ первый умреть,  
Второму за нимъ живому въ гробъ идти.

Черезъ полтора года умерла жена, и Михайла Потока съ конемъ и ратной сбруей опустили въ ту же могилу. Въ полночь

Собиралися къ нему всѣ гады змѣиные,  
А потомъ пришелъ большой змѣй,  
Онъ жжетъ и палитъ пламенемъ огненнымъ.

Потокъ убилъ змѣя, сеѣкъ ему голову и помазалъ ею тѣло умершей, отчего она пробудилась. Разрыли могилу, вывели оттуда Потока съ женой и они стали жить попрежнему. Когда же Потокъ „состарѣлся и переставился“, тогда съ нимъ вмѣстѣ зарыли въ сыру землю и Авдотью Лиховидьевну.

На ряду съ богатырями кѣвскими народный эпосъ прославляетъ двухъ новгородскихъ: Василя Буслаева и Садку богатаго гостя. Оба они не имѣютъ ничего общаго ни съ княземъ Владимѣромъ, ни со стольнымъ его городомъ.

Василій Буслаевъ—представитель новгородской вольницы. Съ именемъ его связываются воспоминанія о борьбѣ новгородскихъ партій, двухъ сторонъ Новгорода, раздѣляемыхъ рѣкою Волховомъ, а также о борьбѣ партіи народной и городской съ княжескою. Наслѣдникъ богатаго новгородца, молодой Василій, набираетъ себѣ удалую дружину приглашеніемъ: „кто хочетъ пить ѣсть готовое, тотъ валися къ Васькѣ на широкій дворъ“. Изъ приходящихъ оставляетъ онъ только тѣхъ, которые выдерживаютъ ударъ по головѣ червленнымъ вязомъ, и съ ними врываясь, неприглашенный, на пиръ къ посаднику. Тутъ-то завязывается у него боевое состязаніе съ цѣлымъ Новгородомъ; оно происходитъ на Волховскомъ мосту и кончилось бы тѣмъ, что Василій Буслаевъ съ своею дружиною перебилъ бы всѣхъ мужиковъ новгородскихъ, если бы мать его, по просьбѣ старосты, не уняла расхаживагося сына. Послѣ жизни, проведенной въ подобныхъ подвигахъ, Васька пожелалъ загладить ихъ раскаяніемъ и собрался въ Іерусалимъ: „съ молоду бито много, граблено—надо подѣ старость душу спасти“. Но прежнее своеволие сказалося у Васьки и на дорогѣ во святой градъ. Онъ самымъ непочтительнымъ образомъ обошелся съ человѣческою костью, которая, „протѣдлившись“, предсказываетъ ему скорую гибель. На возвратномъ пути эта кость обратилась въ камень, надпись надъ которымъ гласила, что кто думаетъ скакать черезъ него въ длину, тотъ не снесетъ своей головы. Васька, не вѣруя „ни въ сонъ, ни въ чохъ“, поступаетъ вопреки надписи, но скача, какъ не велѣно, падаетъ и расшибается до смерти.



Садко—представитель богатства Новгорода. Смолоду былъ онъ бѣднякъ, но не водился съ пьяницами, а жилъ веселымъ молодецемъ (скоморохомъ): умѣя играть на гусляхъ, ходилъ съ ними на пиры тѣшить слушателей за денежную плату. Играя однажды на берегу Ильменя, онъ увидѣлъ вышедшаго изъ озера Царя Морского, который захотѣлъ наградить его за утѣху: научилъ побиться объ закладъ съ новгородскими купцами, что въ озерѣ есть рыбы съ золотыми перьями. Закинули пехоту; вытащили рыбъ золотыхъ. Садко выигралъ большіе заклады, выстроилъ великолѣпныя палаты и сталъ задавать пиры. На этихъ пирахъ онъ похвалился, что выкупить все товары новгородскіе—и дѣйствительно скупилъ ихъ, но на другой день товару навезли вдвое больше. Тогда смирился торговецъ: „не я, видно, богатъ, богатый купецъ новгородскій; побогаче меня славный Новгородъ“. Послѣ этого онъ снарядилъ тридцать кораблей и набралъ дружину работныхъ торговыхъ людей. Походженія на моряхъ и составляютъ главное содержаніе былинъ о Садкѣ. Одно изъ самыхъ любопытныхъ воспрѣвается въ былинѣ, замѣчательной своимъ поэтическимъ складомъ. Поднялась буря, а корабли, и особенно Садка, стали на морѣ. Догадался Садко, что Царь Морской, которому онъ одолженъ богатствомъ, требуетъ дани. Опускали въ море хлѣбъ съ солью, опускали бочку чиста-серебра, потомъ бочку красна-золота—корабли все недвижимы. Это значило, что требуется живой человѣкъ. Начинаютъ метать жеребья, кому идти къ Царю. Метаніемъ своевольно распоряжается самъ Садко: чей жребій потонетъ, тому идти въ сине море. Сначала онъ дѣлаетъ себѣ жребій изъ золота, но, увидя, что это-то и тянетъ его ко дну, межъ тѣмъ какъ деревянные жеребья дружины всплываютъ, онъ рѣшаетъ, что жеребья „неправильны“, и даетъ другой приказъ: „дѣлайте жеребья на красномъ золотѣ, а я сдѣлаю жеребій вольжаный“. Однакожъ жребій Садки даже изъ хмѣлевого пера тонетъ. Тогда онъ рѣшаетъ иначе: „чей жребій потонетъ, тому спастись“. Жребій Садки изъ тяжелаго булата всплылъ поверхъ воды. Пришлось уступить роковой силѣ: Садко надѣваетъ шубу, беретъ завѣтныя гусли (по нѣкоторымъ пересказамъ, и образъ Николая Можайскаго) и на шахматницѣ спускается на дно моря. Здѣсь онъ началъ тѣшить Морского Царя игрою:

А и Царь Морской началъ скакать, зачалъ плясать  
 А и сине море веколебалось,  
 А и быстры рѣки разливались,  
 Топятъ много бусы, корабли,  
 Топятъ души напрасныя  
 Того народа православнаго.

Царь предлагаетъ Садкѣ выбрать себѣ невѣсту изъ тридцати своихъ дочерей. Никола, явившись во снѣ Садкѣ, показываетъ ему выбрать, что похуже всѣхъ— „дѣвушку поваренную“. На брачномъ ложѣ Садко, проснувшись, очутился подъ Новымъ-городомъ, лѣвая нога въ Волхъ-рѣкѣ. Взглянувъ на приходскую церковь Николаи Можайскаго, онъ перекрестился, и въ то же время

Отъ того синя моря Хвалынскаго,  
По славной матушкѣ Волхъ-рѣкѣ,  
Бѣгутъ, побѣгутъ тридцать кораблей,  
Единъ корабль самого Садки, гостя богатаго.

Былиною о томъ, „какъ перевелись богатыри на Руси“, заключается время Владиміра и рядъ богатырскихъ подвиговъ. По этой былинѣ, бой съ татарами оканчивается тѣмъ, что разрубить богатырь татарина, а вмѣсто него дѣлѣхъ два; чѣмъ болѣе богатыри рубятъ враговъ, тѣмъ больше и больше ихъ становится, такъ что всѣ они „пересѣлися“ и не осталось на Руси богатырей. По другимъ пересказамъ, богатыри погибаютъ оттого, что, раззадорившись, вызвали въ бой силу небесную или пездѣвную, которая ихъ и покарала посредствомъ чудесно размножившейся силы враждей:

Бились витязи три дня,  
Бились три часа, три минутки,  
Намахались ихъ плечи могучими,  
Уходились кони ихъ добрые,  
Притупились мечи ихъ булатные.  
Испугались могучіе витязи,  
Побѣжали въ каменные горы,  
Въ темныя пещеры.  
Какъ подбѣжить витязь къ горѣ,  
Такъ и окаменѣть;  
Какъ подбѣжить друтой,  
Такъ и окаменѣть;  
Какъ подбѣжить третій,  
Такъ и окаменѣть.

§ 9. Есть народныя эпическія пѣсни, въ которыхъ дѣйствуютъ не богатыри съ чудесною обстановкою, а личности, болѣе близкія къ обыкновеннымъ людямъ, болѣе опредѣленнымъ образомъ связанные съ извѣстной эпохой и ея событіями, нерѣдко не только посящающія историческія имена, но и совершающія подлинныя историческія дѣйствія. Такія пѣсни называются „историческими“, хотя въ нихъ не вполнѣ исчезаетъ элементъ чудеснаго, а порою являются и богатырскіе приемы. Что же касается эпическихъ оборотовъ и выраженій, то они положительно тѣ же, что въ былинахъ.

До-татарскій періодъ не существуетъ въ историческихъ пѣсняхъ.

Къ пѣснямъ же о татарской порѣ относятся слѣдующія: 1) „про князя Романа Дмитріевича и его жену Марью Юрьевну“, похищенную татарами послѣ вѣщаго сна о томъ и спасающуюся изъ плѣна къ мужу чрезъ разныя воды при помощи колоды бѣлодубовой; 2) „про Авдотью, жонку Рязаночку“. Царь Бахметъ, добывая городъ Рязань, повыврубилъ всѣхъ князей-бояръ, полонилъ народу многія тысячи. Къ нему отправляется Авдотья Рязаночка „просить полону“. Ей предлагаютъ на выборъ мужа, сына или брата. Она разсуждаетъ такъ: замужъ можно выйти опять и имѣть сына, а когда пѣтъ въ живыхъ отца съ матерью, то не нажить болѣе братца любимого. Бахметъ, разжалобленный воспоминаньемъ о своемъ собственномъ умершемъ братѣ, позволилъ ей увести съ собою изъ полона множество народа, и возвращенные снова заселяютъ свой опустѣлый городъ.

На чисто историческомъ событіи основана пѣсня „о Щелканѣ Дудентьевичѣ“. Это—сборщикъ податей при ханѣ Узбекѣ (въ пѣснѣ *Азъякъ*), Шевкалъ, поплатившійся въ Твери жизнью за свои жестокіе поступки. Пожалованный отъ хана Тверью, онъ началъ въ ней „безчестить, позорити, ругатися, насмѣхатися“. Тверитяне жалуются своимъ двумъ удалымъ братьямъ Борисовичамъ. Кончается тѣмъ, что Щелкана разрываютъ на части: „тутъ смерть ему случилася, ни на комъ не сыскался“. По исторіи, она сыскалася на тверскомъ князѣ Александрѣ Михайловичѣ.

Личность Ивана Грознаго особенно возбудила народное творчество. Въ пѣснѣ про женитьбу его въ ордѣ на Марьѣ Темрюковнѣ (вопреки завѣщанью первой его жены) сохранилось много богатырскаго элемента, хотя она основана на историческомъ фактѣ. Братъ Марьи, Кострюкъ, выступаетъ, въ качествѣ нахвальщика, вызывающаго русскихъ поединщиковъ. Противъ него выходятъ двое неказистыхъ, хроменькихъ добрыхъ молодцевъ, говоря ему: у „насъ на Руси прежде дѣла не хвастаютъ; когда дѣло сдѣлаютъ, тогда и похвалятся“. Вышло такъ, что они не только побили татарскаго царевича, но, какъ сказано въ пѣснѣ, „вылушили его изъ платья“, такъ что онъ со стыда убѣгаетъ. На брашніи нападки царицы на русскихъ невѣждъ, царь отвѣчаетъ: „не то-то намъ дорого, что татаринъ похваляется, а то-то намъ дорого, что русакъ насмѣхается“. Этимъ удовлетворено народное чувство, оскорбленное бракомъ царя съ татаркой. Много пѣсень о „взятіи Казани“, въ которомъ является участникомъ и Ермакъ. Царь готовъ проявить свой грозный гнѣвъ, подозрѣвая измѣну въ томъ, что взрывъ осажденнаго города долго не удается. Когда же, наконецъ, разорвало бочки съ порохомъ, татары утрашились и взговорили: „вѣчно



быть нашей Казани подъ святою Русью". Въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ, одновременно со взятіемъ Казани, воспоминается покореніе Сибири Ермакомъ. Несмотря на такой анахронизмъ, личность Ермака воспроизведена вѣрно: онъ „набольшій изъ всѣхъ ставинниковъ“, боится отвѣта за удалое свое ремесло и рѣшается завоеваніемъ Сибири „заслужить передъ грознымъ царемъ вину свою“. Вѣрно передана и гибель Ермака въ рѣкѣ при умирении имъ „бунта“ въ Сибири. Но уже къ области вымысла относится то, что посредникомъ между Ермакомъ и Грознымъ является царскій шуринъ Никита Романовичъ. Это идеальное лицо, братъ Анастаси, первой жены Грознаго, занимаетъ выдающееся мѣсто въ пѣсняхъ отнѣвъ царя на сына. Никита Романовичъ такой же добрый хранитель царя, какъ Малюта Скуратовъ—злой его геній. Мѣсто дѣйствія въ этихъ пѣсняхъ на шире царскомъ. Хвастающимся, по обычаю богатырскому, является самъ грозный царь; онъ похваляется, что вывелъ на Руси измѣну. Но похвальбы его противорѣчатъ слова Ивана Ивановича, что въ то время, какъ онъ самъ съ отцомъ, ѣздя по улицамъ, всѣхъ до одного казнилъ—вѣшалъ, царевичъ Оедоръ Ивановичъ ѣздилъ по другимъ улицамъ и совѣтовалъ народу прятаться въ погреба глубокіе. За эти слова царь приказалъ казнить сына лютою смертію. Исполнителемъ казни является Малюта Скуратовъ. Но Никита Романовичъ успѣваетъ еще во-время остановить его руку, говори: „царскій родъ на казни не казнится“. Между тѣмъ раскаяніе овладѣваетъ Грознымъ: онъ велитъ служить обѣдню „по-печальному“, всѣмъ ходить „въ одежкахъ опальныхъ“, и подъ звонъ колокола отправляется въ церковь. Тѣмъ временемъ Никита нарядился въ двѣтное платье, также парадно нарядилъ царевича и, взявши его подъ полу, идетъ въ церковь и привѣтствуетъ царя: „здравствуй съ благовѣрной царицей и съ двумя сыновьями, Оедоромъ Ивановичемъ и Иваномъ Ивановичемъ“. Царь готовъ прійти въ ярость, но Никита вытаскаетъ изъ-подъ полы спасеннаго имъ царевича. „Воротилъ ты мнѣ мою жемчужину“, восклицаетъ обрадованный царь и судить спасителю „города съ пригородами“, но Никита ничего не хочетъ для себя, а проситъ особаго права для своей вотчины—права служить неприкосновеннымъ убѣжищемъ для опальныхъ: „кто въ Микитину отчину ушелъ, того и Богъ унесъ, а не было бы ни иску, ни отыску“. Внѣшняя историческая правда не соблюдена въ пѣсни: царевичъ Иванъ не былъ казненъ, а убитъ самимъ царемъ въ припадкѣ гнѣва. Но внутренняя правда сохранена въ различіи характеровъ двухъ царевичей: суроваго, какъ отецъ, Ивана и кроткаго Оедора, въ постоянномъ стремленіи царя истребить измѣну и въ

постоянной его подозрительности, наконецъ, въ припадкахъ раскаянія, быстро слѣдующихъ за припадками гнѣва.

Пѣсни о Дмитріи Самозванцѣ съ особенною ненавистью относятся къ женѣ его, „еретницѣ Маринкѣ“, собственно за то, что она довела своего мужа до открытаго оскорбленія народныхъ обычаевъ; также къ нечестивцу Гжмунду (Сигизмунду) и къ русскимъ боярамъ, „отдавшимъ нечестивцу, отрекшимся отъ Христовой вѣры“. Свѣтлая личность смутнаго времени, „оберегатель крещенаго міра“, кн. Скопинъ-Шуйскій выставляется въ пѣсняхъ невиной жертвой: „а и тутъ боярамъ за бѣду стало, въ тотъ часъ они дѣло сдѣлали—поддержали зелья лютаго“, но нѣкоторые варианты указываютъ, какъ на орудіе бояръ, на куму Скопина, дочь Малюты „Скурлатова“. Одна изъ такихъ пѣсень, проникнутая поэтическимъ одушевленіемъ, отличается сжатостью и драматизмомъ. При звукѣ полуночнаго колокола расплакались гости-москвичи: „не стало у насъ воеводы Васильевича князя Михаила“. Но съѣзжались къ нимъ супротивно князи-бояре, говорили они слово, усмѣхнулись: „высоко соколъ поднялся и о сыру матеру землю ушибся“. Далѣе приводится плачъ „свѣдкихъ нѣмцевъ“ (шведовъ), про которыхъ подъ конецъ говорится, что они по смерти Скопина заперлися въ Новгородѣ, много погубили міру-народу и превратили въ латынскую вѣру. Такимъ концомъ выясняется значеніе Скопина: не стало его—и та самая чужеземная сила, которую онъ направлялъ на пользу русской земли, обратилась противъ нея. Поэтическимъ достоинствомъ отличается и плачъ несчастной царицы Ксеніи Годуновой.

Историческій смыслъ народа, при полномъ, впрочемъ, отсутствіи внѣшней вѣрности фактамъ, сказывается въ пѣсняхъ о боярской думѣ при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. Царь совѣтуется съ думой, отдавать ли шведскому королю городъ „Смоленецъ“ въ обмѣнъ на Хинскую землю. Князья Астраханскій и Бухарскій, бояре не русской крови, подаютъ голосъ въ пользу обмѣна на томъ основаніи, что Смоленецъ будто бы „не московское строеніице—литовско“. Только князь Милославскій, какъ человѣкъ русскій, сознаетъ исконную принадлежность Смоленска Руси, а потому и не совѣтуетъ его отдавать. Царь соглашается съ Милославскимъ и награждаетъ его, а Астраханскаго и Бухарскаго велитъ казнить.—Пѣсня о походѣ на Соловецкій монастырь для сокрушенія угнѣздившагося въ немъ расколичества носить на себѣ отпечатокъ старообрядческой среды, хотя въ ней, и независимо отъ того, могло сказаться благоговѣнное состраданіе къ издавна православной обители, на долю которой выпала такая бѣда.

Въ пѣсняхъ Петровскихъ немного характернаго въ общественно-историческомъ смыслѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и поэтическое значеніе ихъ сравнительно слабо. Память о Петрѣ заходитъ и въ пѣсни Екатерининскаго времени. Суворовъ выставленъ героемъ войны, затѣянной Швеціей для возврата земель, отвоеванныхъ у ней Петромъ. Онъ же является и въ войнѣ съ Пруссіей, въ эпоху „Петровой дщери“. Павлій въ битвѣ при Гросс-Егерсдорфѣ Лопухинъ передъ смертію попрекаетъ „князя Румянцева генерала“ за то, что онъ „много силы истерялъ“, и Потемкина за то, что онъ „въ своемъ полку не бывалъ, всю силу растерялъ, кое прошилъ-промоталъ, кое въ карты проигралъ“; одинъ только Суворовъ „свою силу утверждалъ, мелки пушки заряжалъ—короля въ полонъ бралъ“. Въ другихъ пѣсняхъ Суворовъ дѣйствуетъ на своемъ дѣйствительномъ историческомъ поприщѣ—въ турецкой войнѣ; Потемкинъ же обыкновенно здѣсь ступевывается.

Пѣсни Екатерининскія, за нѣкоторыми исключеніями, уступаютъ въ достоинствѣ даже Петровскимъ. Еще ниже въ поэтическомъ отношеніи пѣсни временъ Александра I.

§ 10. Сказка противоположна пѣснѣ, что и выражается народною поговоркой: „сказка — складка (т.-е. вымыселъ), а пѣсня — быль“. Эта противоположность происходитъ отъ того, что сказки появились въ то время, когда вѣра въ мнѣы, служившіе основой сказаніямъ, исчезла, и они утратили свой опредѣленный, національный смыслъ. Былина держится на дѣйствительно бывшемъ; если въ ней и повѣствуются невѣроятныя дѣла, то повѣствуются, какъ дѣла былыя. Сказка, напротивъ, не имѣетъ даже отдаленнаго отношенія къ исторіи; она пренебрегаетъ правдоподобіемъ и сама даетъ знать о себѣ, какъ о вымыслѣ, въ самомъ приступѣ къ разсказу, не содержащемъ въ себѣ никакихъ ясныхъ указаній: „начинается сказка отъ сивки бурки, отъ вѣщей каурки, отъ богатырскаго посьвету, отъ молодецкаго поѣзду“. Былина называетъ по именамъ дѣйствующихъ лицъ и указываетъ мѣсто дѣйствія; если эти имена и мѣста обозначены невѣрно, то это происходитъ отъ незнанія исторіи и географіи, а не отъ желанія выдумать небывалое. Сказка намѣренно нарушаетъ предѣлы пространства и времени; она ставитъ мѣсто дѣйствія „за тридевять земель въ тридесятомъ царствѣ“. Фантазія въ сказкѣ дѣйствуетъ смѣлѣе, произвольнѣе и безсвязнѣе: обиліе чуднаго, небывалаго, невозможнаго и составляетъ ея характеристическій элементъ, такъ что къ ней можетъ относиться пословица: „красно поле рожью, а рѣчь ложью“ (вымысломъ), тогда какъ, по другой пословицѣ, „изъ пѣсни слова не выкинешь“. Сказкѣ свойственна шутка, даже надъ своимъ собствен-



нымъ содержаніемъ, что проявляется въ ея окончаніи, гдѣ рассказчикъ говоритъ о себѣ самомъ: „и я тамъ былъ, медъ пилъ, по усамъ текло, въ ротъ не попало“. Рассказчикъ постоянно слышитъ; онъ нѣсколько разъ прерываетъ рассказъ свой повтореніемъ одной и той же рѣчи: „скоро сказка сказывается, не скоро дѣло дѣлается“. Это скорое сказываніе, скороговорка служитъ также отличіемъ сказки: ея слогъ отрывистый, переиспаемый близкими другъ отъ друга римами, существенно разнится отъ слога пѣсеннаго, медленнаго, не торопящагося. Наконецъ, сказка передается не въ связной формѣ стиха, а въ болѣе свободной формѣ—прозаической.

Множескій элементъ въ русскихъ сказкахъ выражается большею частію не столько въ содержаніи, сколько въ его обстановкѣ—въ дѣйствующихъ лицахъ и въ условіяхъ, при которыхъ они дѣйствуютъ. Дѣйствующими лицами нерѣдко являются или олицетворенныя силы природы: Солнце, Мѣсяцъ, Вѣтеръ, Громъ и т. п., или особы сверхъестественныя существа: Царь Морской, Лѣній, огненные шести и двѣнадцатиглавые змѣи, Кощей безсмертный, Баба-Яга. Эти существа предвидятъ будущее, могутъ по произволу вызывать въ природѣ тѣ или другія явленія и своими чудесами помогать или вредить герою, который обыкновенно стремится добыть какую-нибудь чудную красавицу или какую-нибудь невиданную диковинку: свинку золотую щетинку, жаръ-птицу, оленя-золотые рога, живой и мертвой воды (примѣры: Морозъ, Солнце и Вѣтеръ; Вѣдма и Солнцева сестра; Окаменѣлое царство).

Бытовые сказки могутъ быть раздѣлены на двѣ категоріи. Въ одной — древнѣйшей — слѣды мисологическаго взгляда на природу сохранились въ чудесныхъ, фантастическихъ образахъ. Таковы сказки о подвигахъ добраго молодца, добывающаго что-нибудь необыкновенное и исполняющаго для достиженія своей цѣли трудныя, превосходящія силы человѣка задачи. Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ бываетъ обыкновенно младшій изъ троихъ братьевъ „дуракъ“, нелюбимый и гонимый старшими братьями, но особенно покровительствуемый судьбою. Въ награду за свою доброту, услужливость, незлобіе, онъ получаетъ чудную силу, совершаетъ диковинныя дѣла, изъ деревенскаго запечнаго лежебока и неряхи превращается въ удалаго добраго молодца и торжествуетъ надъ своими умными братьями. Пойманная и пущенная имъ на волю щука даетъ ему заветное слово: стоитъ ему только сказать: „по моему прошенію, по щучьему велѣнію“ будь то-то и то-то,—и все дѣлается само собою, ведра сами идутъ за водой, топоръ самъ рубить дрова, сани везутъ ихъ на дворъ, дубинка колотитъ кого надо; любимый пріять дурака—печь—везетъ его въ городъ. Наконецъ, въ одну ночь онъ

строить великолѣпный дворецъ и жениться на царской дочери. Въ другихъ сказкахъ дураку помогаетъ чудный конь—„сивка-бурка“, вѣщая каурка“, или какое-нибудь другое благотѣльное существо. Таковы также сказки, повѣствующія о трехъ сестрахъ, изъ которыхъ двѣ старшія стараются всѣми силами извести младшую, но сами попадаютъ въ вырытую для нея яму, или о мачехѣ, которая ненавидитъ свою падчерицу и хочетъ погубить ее, но падчерица, посланная на съѣденіе Бабѣ-Ягѣ, умѣетъ расположить ее къ себѣ, мачеха же губитъ свою дочь. Нравственная идея этихъ сказокъ заключается въ сочувствіи къ тому, кто незаслуженно терпитъ напасти, при своей правдивости страдаетъ отъ несправды, или, несмотря на всѣ свои хорошія качества, не можетъ осилить бѣдности и горя. Такіе люди, въ концѣ-концовъ, выходятъ изъ борьбы побѣдителями, а враги и завистники ихъ погибаютъ (сказка о молодцѣ-удальцѣ; объ Иванѣ Царевичѣ, Жарѣ-птицѣ и Сѣромъ Волкѣ).

Ко второй категоріи бытовыхъ сказокъ относятся тѣ, въ которыхъ сверхъестественный элементъ совсѣмъ утратился, такъ что содержаніе ихъ обратилось въ чисто-житейское, бытовое. Таковы, наприм., разсказы о ловкихъ продѣлакахъ солдатъ, воровъ, разныхъ „докъ“, потѣшающихся надъ простофилями; сказки объ инородцахъ — жидахъ, татарлахъ, черемисахъ, цыганахъ, которые всегда оказываются глупѣе русскаго и дѣлаются жертвою его шутокъ (Набитый дуракъ, Воръ, Дока на доку, Солдатская загадка, Разсказы объ инородцахъ, Народные анекдоты).

Переходную ступень между сказками первой и второй категоріи занимаютъ разсказы о мертвецахъ, привидѣніяхъ и колдунахъ-людодѣдахъ, такъ какъ въ этихъ сказкахъ дѣйствуютъ сверхъестественныя существа, хотя безъ опредѣленной міологической подкладки. Таковы: Безстрашный, Скрипачъ въ аду, Вдова и Бѣсъ.

Сказки о животныхъ образуютъ особый отдѣлъ. Первобытныи чело-вѣкъ, смотря на природу, какъ на существо одушевленное, считалъ сродственными съ собою и тѣхъ звѣрей, съ которыми ему приходилось вести борьбу. По его понятіямъ, въ лѣсу жило особое звѣриное общество, съ своими правами и обычаями, съ своимъ языкомъ и знаніями, одаренное разумомъ и посвященное въ обычаи и обстоятельства чело-вѣческой жизни. Охотникъ, гонимый за звѣрями въ лѣсу и въ полѣ, невольно сближался съ ними, изучалъ ихъ образъ жизни, давалъ имъ собственные имена, приписывалъ имъ обладаніе особенною, недоступною для чело-вѣка мудростью, и въ затруднительныхъ случаяхъ обращался къ нимъ за совѣтомъ—гадалъ по ихъ дѣйствіямъ. Звѣри, какъ и силы при-

роды, могли вредить человѣку или приносить ему пользу; слѣд. ихъ можно было и умолишь. Отсюда начало религіознаго культа животныхъ, происхожденіе „животнаго“ мѣа. Но когда человѣкъ мало-по-малу освоился съ животными, короче—познакомился съ ихъ бытомъ, нѣкоторыхъ изъ нихъ приручилъ и сдѣлалъ полезными себѣ слугами, тогда религіозный страхъ передъ обитателями лѣса разсѣялся, вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожилось поклоненіе животнымъ, и животный мѣа обратился въ сказку.

Сказки о животныхъ существуютъ у всѣхъ народовъ, но у нѣкоторыхъ, особенно у восточныхъ, онѣ очень рано получили литературную обработку, у другихъ же, въ томъ числѣ и у насъ, остаются до сихъ поръ только достояніемъ народа. Главными дѣйствующими лицами являются лиса и волкъ (на Востокѣ—шакаль и гіена); потомъ медвѣдь, котъ, козелъ, баранъ, пѣтухъ и др. Животныя, чаще другихъ встрѣчающіяся въ сказкахъ, имѣютъ собственныя имена: такъ лиса называется (по созвучію) Лизаветой Ивановной, волкъ—Левоньмъ, медвѣдь—Михайломъ, котъ—Котофеемъ или Васильемъ Ивановичемъ, пѣтухъ—Петькой и т. д.

Сказки о Лисѣ и Волкѣ въ Западной Европѣ, особенно во Франціи, Германіи и Голландіи, получили въ XII и XIII вв. литературную обработку и составили содержаніе весьма обширнаго и разнообразнаго животнаго эпоса (во Франціи *Roman de Renard*, въ Германіи *Reinhart Fuchs*). Книжная обработка животнаго эпоса вносить въ него дидактическій элементъ и аллегорію; здѣсь животныя служатъ только фигурами, изображающими людей одинаковаго съ ними характера, и конечною цѣлью такого разсказа является выводъ какой-либо нравственной сентенціи. Такимъ образомъ сказка о животныхъ обращается въ басню, а при дальнѣйшемъ развитіи—въ сатирическій эпосъ. У насъ въ XVII вѣкѣ была попытка такой обработки животнаго эпоса, но матеріаломъ для нея послужила не народная сказка о лисѣ, а особо сочиненный разсказъ о тяжбѣ Ерша съ Лещемъ (Сказка о Ершѣ Ерповѣ, сынѣ Щетинниковѣ), въ которомъ въ шуточной формѣ представляется порядокъ стариннаго судопроизводства.

§ 11. Пословицы суть краткія и мѣткія изреченія, въ которыхъ выражаются сужденія, выведенныя изъ наблюденій и опыта и относящіяся къ различнымъ сторонамъ народной жизни—семейной и общественной. Содержаніе ихъ чрезвычайно разнообразно.

Въ нѣкоторыхъ древнѣйшихъ отразились слѣды мѣаологическихъ вѣрованій. Ихъ немного, потому что онѣ уже забыты, какъ отжившія свой вѣкъ, или значительно измѣнились подъ вліяніемъ христіанскаго взгляда на вещи; напр.: „солнце днемъ работаетъ,



а ночью отдых беретъ“ (гдѣ солнце, очевидно, олицетворено въ видѣ живаго существа). „который богъ вымочить, тотъ и высушить“ (указаніе на многобожіе): „бойся, не бойся, а року не миновать“, „видно, такъ на роду написано“ (вѣра въ непреодолимую силу судьбы, уступившая потомъ мѣсто христіанскому понятію о судѣ Божіемъ: „не такъ живи, какъ хочется, а такъ живи, какъ Богъ велитъ“).

Историческія пословицы сохранили въ себѣ воспоминанія о тѣхъ событіяхъ, которыя почему-либо оставили свой слѣдъ на жизни народа. Древнѣйшіе образцы ихъ находимъ въ Песторовой лѣтописи, гдѣ онѣ названы притчами: „погибоша аки Обръ“, „Путята крести новгородцевъ мечомъ, а Добрыня огнемъ“. Особенно много пословицъ относится къ временамъ татарщины; напр.: „не во-время гость хуже татарина“, „каковъ ханъ, такова Орда“, „пусто, словно Мамай прошелъ“. Послѣ запрещенія крестьянамъ свободнаго перехода отъ одного помѣщика къ другому при Борисѣ Годуновѣ, о всякомъ неудавшемся расчетѣ говорятъ: „вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день“, такъ какъ переходъ совершался обыкновенно въ осенній день св. Георгія. Другія историческія пословицы относятся къ позднѣйшимъ событіямъ: къ Полтавской битвѣ („пропалъ, какъ шведъ подъ Полтавой“), къ войнѣ 1812 года („голодный французъ и воронъ радъ“).

Самый богатый отдѣлъ пословицъ относится къ семейному и общественному быту.

Изъ нихъ особенно замѣчательны тѣ, въ которыхъ заключаются указанія на положеніе женщины и которыя дополняютъ мотивы свадебныхъ пѣсенъ; напр.: „въ дѣвкахъ сижено — горе мыкано, замужъ выдано — вдвое прибыло“, „женѣ спускать, добра не видать“, „люби жену какъ душу, тряси ее какъ грушу“. Другія пословицы той же категоріи соотвѣтствуютъ свадебнымъ пѣснямъ, указывающимъ на свободный выборъ жениха: „не въ полонъ отдають, а замужъ берутъ“, „человѣкъ по сердцу — половина вѣнца“, „жена моя — полсела для меня“. Народное благочестіе сказалося, напримѣръ, въ такихъ пословицахъ: „безъ Бога ни до порога, а съ Богомъ хоть за море“, „у Бога милости много“, „Богъ видитъ, кто кого обидитъ“. Но народъ умѣетъ различать искреннее религіозное чувство отъ ханжества и лицемерія, прикрывающихъ худыя дѣла: „смирень духомъ, да гордь брюхомъ“, „спереди блаженъ мужъ, а сзади — вскую шаташася“, „на небо поглядывается, а на землѣ пошариваетъ“.

Между пословицами, относящимися къ общественной жизни, заслуживаютъ особеннаго вниманія тѣ, въ которыхъ выражается

взглядъ народа на значеніе общества, на силу міра; таковы: „что міръ порядилъ, то Богъ разсудилъ“; „міръ — великъ человекъ“; „на міръ и суда итъ“, и пр. Далѣе идутъ пословицы, рисующія старинное судопроизводство, произволъ и лицепріятіе судей: „судья — что плотникъ: что захотѣлъ, то и вырубилъ“; „что мнѣ законы? — мнѣ судьи знакомы“; „не бойся суда — бойся судьи“.

Правственные понятія народа ясно выражаются въ пословицахъ о правдѣ и кривдѣ (неправдѣ); напримѣръ: „правда со дна моря выносить“; „правда свѣтлѣе солнца“; „кривдою весь свѣтъ пройдешь, да назадъ не воротишься“. Къ этому сознанію высокаго значенія правдивости примѣшивается, впрочемъ, горькое чувство, вызываемое тѣмъ, что въ жизни очень перѣдко приходится встречать противорѣчіе искреннимъ стремленіямъ къ добру: „была, сказываютъ, и правда на свѣтѣ, да по мелочамъ въ разновѣску ушла“; правда не на міру стоитъ, а по міру ходитъ“; „правда вѣдѣло не годится, а въ кивотъ поставитъ, да молиться“. Несмотря на это, народъ все-таки убѣжденъ въ превосходствѣ правды и въ ея, скоромъ или нескоромъ, торжествѣ надъ кривдой: „лучше кривду терпѣть, чѣмъ правдой вертѣть“; „все минется, одна правда останется“. Параллельно съ пословицами о правдѣ и кривдѣ стоятъ пословицы о богатствѣ и бѣдности, такъ какъ богатство, по народному замѣчанію, правдою не дается: „деньги что каменья — тяжело на душу ложатся“; „богатый совѣсти не купитъ, а свою губитъ“; „залѣзетъ въ богатство, забудетъ и братство“. Напротивъ, у бѣдняка, взаимнѣе богатства, есть спокойная совѣсть: „голь да нагъ — передъ Богомъ правъ“.

Мысль пословицы выражается двоякимъ образомъ: или прямо, безъ посредства аллегоріи, наприм.: „у Бога милости много“; или аллегорически, наприм.: „плоть обуха не перебьетъ“; „повалился кувшинъ по воду ходить, тамъ ему и голову сломить“. Форма пословицы состоитъ обыкновенно въ мѣрной, складной рѣчи. Этотъ складъ выражается какъ въ расположеніи словъ, такъ и въ ихъ созвучіи — въ рѣмѣ и аллитераціи, какъ можно видѣть изъ вышеприведенныхъ пословицъ.

---

## ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

### СЛОВЕСНОСТЬ КНИЖНАЯ.

#### І. Древній періодъ.

§ 12. Словесность книжная появляется у народа въ то время, когда онъ имѣетъ письмо, азбуку, посредствомъ которой можетъ выражать все разнообразіе звуковъ своей рѣчи. Азбука славянская изобрѣтена св. Кирилломъ. Кириллъ (827—869) и старшій братъ его Меѳодій († 885) родились въ Солуни, главномъ городѣ Македоніи. Меѳодій сначала служилъ въ военной службѣ, а потомъ постригся въ монахи на горѣ Олимпѣ. Кириллъ, отличавшійся богатыми способностями, воспитывался въ Константинополѣ вмѣстѣ съ малолѣтнимъ царемъ Михаиломъ. Словеснымъ наукамъ, философіи, математикѣ обучался онъ у царскаго патриарха Фотія. Высокая его образованность и покровительство при дворѣ хотя и открывали ему путь къ почестямъ, но онъ отказался отъ нихъ, принявъ священство и получилъ мѣсто бібліотекаря при Софійскомъ соборѣ. Любовь къ отшельнической жизни заставила его потомъ удалиться въ пустыню, откуда онъ, только по настоячивому желанію другихъ, воротился въ столицу и занялъ должность учителя философій. Дѣятельность Кирилла на пользу христіанскаго ученія началась съ 851-го г. Важнѣйшимъ фактомъ этой дѣятельности было духовное просвѣщеніе славянъ. Славяне, населившіе Моравію и Паннонію, обязаны были христіанствомъ латинскому духовенству южной Германіи, и потому богослуженіе совершалось у нихъ на латинскомъ языкѣ. Въ 862-мъ г. моравскій князь Ростиславъ, желая и въ своей землѣ слышать на родномъ языкѣ богослуженіе и ученіе о вѣрѣ, просилъ греческаго царя Михаила прислать къ нему учителей. Царь отправилъ Кирилла и Меѳодія, какъ уроженцевъ солунскихъ, чисто говорившихъ по-славянски. Четыре года съ половиной занимались они возложенной на нихъ миссіей: строили церкви, заводили училища для приготовленій священнослужителей, переводили Священное Писаніе на славянский языкъ. Имъ надлежало бороться и съ остатками язычества, и съ недоброжелательствомъ латинскаго духовенства, утверждавшаго, что только на трехъ языкахъ достойно славословить Бога: еврейскомъ, греческомъ и латинскомъ, такъ какъ надписи на крестѣ Спасителя была начертана на этихъ трехъ языкахъ. Царя Нико-



лай потребовалъ ихъ для объясненій въ Римъ, куда они прибыли при его пріемникѣ Адріанѣ и оправдались во всѣхъ возводимыхъ на нихъ обвиненіяхъ. Здѣсь, изнуренный трудами, Кириллъ заболѣлъ и скончался. Передъ смертію онъ завѣщалъ своему брату не оставлять дѣла, ими начатаго. „Мы съ тобою“, говорилъ онъ, „какъ два вола, вели борозду. Я падаю на своей чертѣ; день мой кончился. А ты не подумай оставлять труды ученія, чтобъ удалиться на свою любимую гору. Нѣтъ, здѣсь ты скорѣе можешь обрѣсти спасеніе“. Меѳодій исполнилъ завѣтъ брата: несмотря на преслѣдованіе нѣмецкаго духовенства, онъ, въ санѣ епископа папонаскаго, а потомъ архіепископа моравскаго, ревностно подвизался въ просвѣщеніи славянъ до самой смерти, послѣдовавшей въ Велеградѣ. Какъ „первоучителей славянскихъ“, Церковь причислила Кирилла и Меѳодія къ лику святыхъ. Память ихъ чествуется 11-го мая.

Изобрѣтеніе славянской азбуки относится къ 885-му г., по свидѣтельству черноризца Храбра (Сказаніе о славянскихъ письменахъ, IX в.), а по другому мнѣнію—къ 862-му. Въ основу ея былъ принятъ алфавитъ греческій. Но такъ какъ 24-хъ буквъ этого алфавита недоставало для изображенія всѣхъ звуковъ славянской рѣчи, то Кириллъ прибавилъ къ нему недостающія буквы, частію образовавъ ихъ изъ тѣхъ же греческихъ буквъ, а частію заимствовавъ изъ другихъ алфавитовъ: еврейскаго, армянскаго и коптскаго. По имени изобрѣтателя азбука названа „Кириллицей“; точное число буквъ ея неизвѣстно: „Сказаніе“ Храбра насчитываетъ ихъ 38, а въ Остромировомъ Евангеліи, древнѣйшемъ памятникѣ Кирилловскаго письма, у насъ сохранившемся, всѣхъ буквъ 46.

По изобрѣтеніи азбуки, Кириллъ и Меѳодій положили начало переводу Священнаго Писанія и богослужебныхъ книгъ съ греческаго на славянской. Переводъ сдѣланъ по нарѣчію болгарскихъ славянъ, почему языкъ перевода и называютъ древнеболгарскимъ; другія его названія: Кирилловскій, по имени переводчика; церковно-славянской, по употребленіи его въ богослуженіи. По первоначальное переложеніе библейскихъ книгъ Кирилломъ и Меѳодіемъ утрачено, такъ что сужденіе о языкѣ его можно составлять только на основаніи ближайшихъ къ нему по времени списковъ Священнаго Писанія. Одинъ изъ такихъ списковъ есть такъ называемое Остромирово Евангеліе (см. ниже).

Великій подвигъ Кирилла и Меѳодія справедливо заслужилъ имъ наименованіе „славянскихъ первоучителей“, или „апостоловъ“. Возможность слышать слово Божіе и совершать богослуженіе на языкѣ, понятномъ славянскимъ народамъ, роднитъ ихъ между со-

бою, а также всѣхъ людей одного и того же народа сливаетъ въ нераздѣльное единство при всей разности ихъ общественнаго положенія. Переводъ священнаго писанія и богослужебныхъ книгъ на славянскую рѣчь сдѣлался краеугольнымъ камнемъ русской народности и русскаго образованія. Самый литературный языкъ нашъ образовался на основѣ этого древнеславянскаго перевода.

Кромѣ Кирилловской азбуки, есть у западныхъ славянъ (хорватовъ) другая—«глаголитская» (глаголита). Время и мѣсто ея изобрѣтенія неизвѣстны. Въ ней названія буквъ тѣ же, что и въ кириллицѣ, но начертаніе ихъ совершенно иное, отличающееся вычурностью. Памятники глаголитскаго письма не уступаютъ въ древности памятникамъ письма Кирилловскаго.

§ 13. Принятіе христіанства Россіею послужило началомъ ея просвѣщенія. Возникши на христіанской почвѣ, ученіе совершалось преимущественно духовенствомъ и по книгамъ духовнымъ, которыя потомъ руководствовали грамотнаго въ дальнѣйшемъ его самоученіи. Это сообщило древнерусской образованности, а чрезъ ея посредство и древнерусской словесности „религіозно-церковное“ направленіе. Изъ среды духовенства выходило большинство писателей, сочиненія которыхъ имѣютъ главнѣйшею цѣлью распространеніе христіанскихъ идей. Сочиненія свѣтскихъ лицъ слѣдуютъ тому же направленію по единству началъ въ образованіи и по тождеству источниковъ, къ которымъ они обращались за матеріаломъ.

§ 14. Христіанство приняли мы отъ грековъ, и потому древняя словесность наша подчинилась вліянію греческой, именно того періода, который извѣстенъ подъ именемъ „византійскаго“ и который простирается отъ Юстиніана до взятія Константинополя турками (529—1453). Масса произведеній какъ духовнаго содержанія, такъ и другихъ литературныхъ отдѣловъ (повѣстей, легендъ, апокрифовъ и пр.) передала намъ Византіей. Не только на словесности письменной, но и на народнѣй — въ духовныхъ стихахъ, легендахъ и другихъ сказаніяхъ — византійская литература оставила глубокий слѣдъ.

§ 15. Но литературное достояніе Византіи, по знакомству нашему съ языкомъ греческимъ, не могло переходить къ намъ прямо. Посредниками между нами и Византіею, въ этомъ отношеніи, были южные славяне, болгары и сербы, прежде насъ принявшіе христіанство и уже въ X-мъ вѣкѣ имѣвшіе не только переводы многоразличныхъ произведеній византійской словесности, но и свою собственную значительную литературу. Памятники этой послѣдней во множествѣ списковъ также распространялись между

нашими предками. Съ утратою политической самостоятельности Болгаріи въ XIV-мъ, а Сербіи въ XV-мъ вѣкѣ кончилось ихъ содѣйствіе нашей письменности.

Афонской горѣ принадлежитъ также важная дѣятельность въ просвѣщенномъ посредничествѣ между Греціею, Болгаріею и Сербіею съ одной стороны и Россіею съ другой. Русскіе часто совершали туда путешествія, равно какъ и афонскіе иноки посѣщали наше отечество. Въ монастыряхъ Святой горы, бывшей средоточіемъ православной греко-славянской образованности IV—XV вв., переводились греческія книги, переводы переписывались русскими, проживавшими тамъ именно съ этою цѣлью.

Подобная роль выпала на долю Польши въ XVI и XVII вв. Но вліяніе польской литературы не имѣло ни того значенія, ни той общности, какими отличается вліяніе византийское. Существенная роль ея состояла въ томъ, что она познакомила насъ съ повѣстями, романами и сказаніями, которые въ переводахъ и передѣлкахъ распространены были въ Западной Европѣ. Кромѣ того, вліяніе Польши оказалось на схоластическомъ направленіи школьнаго образованія, на особомъ характерѣ проповѣднаго слова, на усвоеніи драматическихъ пьесъ и на введеніи сллабическаго стиха.

§ 16. До введенія у насъ книгопечатанія (въ XVI в.), словесныя произведенія распространялись между читателями посредствомъ списковъ. Согласно со взглядомъ грамотныхъ людей, основаннымъ на ученіи отцовъ Церкви, „книжное почитаніе“, т. е. чтеніе св. писанія и другихъ духовныхъ книгъ, считалось дѣломъ душеполезнымъ; а потому и на списываніе книгъ смотрѣли какъ на подвигъ благочестія. Отсюда понятна заботливость переписчика о тщательновѣрномъ слѣдованіи подлиннику: небрежное отношеніе къ работѣ имѣло значеніе грѣха. Понятна также радость трудившагося, послѣ удовлетворительнаго окончанія долгаго труда: „радуется кормчій въ отишье приставъ и странникъ въ отечество свое пришедъ, тако же радуется и книжный списатель, доидеъ конца книгамъ“, сказано въ послѣсловіи къ одному списку. Списываніемъ книгъ занимались не одни духовныя лица, но и грамотные люди всѣхъ сословій, даже княжескаго рода, наприм: св. Ефросинія, княжна полоцкая (XIII в.), и Владиміръ Васильковичъ, князь волыпскій (XII в.). Оно производилось и въ самой Россіи и внѣ ея русскими путешественниками на Афонѣ, русскими иноками въ Студійскомъ монастырѣ.

Почеркъ въ рукописяхъ тройкій: уставный, полууставный и **скорописный**. Уставный (уставъ), которымъ писаны древнѣйшія ру-



кописи, состоитъ изъ крупицъ, преимущественно прямолинейныхъ и нѣкоторыхъ округлыхъ буквъ. Полууставъ, состоящий болѣе изъ округлыхъ, чѣмъ изъ прямолинейныхъ буквъ, появился въ концѣ XIV в. и былъ наиболѣе употребителенъ въ XV и XVI вв. Съ половины XVI в. начинается скоронисъ и въ XVII-мъ в. становится господствующимъ почеркомъ. Писали на матеріалѣ трехъ родовъ: пергаментъ, хлопчатой бумагъ (бомбицинъ), отличающейся толщиной и плотностью, такъ какъ она тщательно выманивалась, и трипичной бумагъ, появившейся въ XVI в.

§ 17. Къ древнѣйшимъ памятникамъ письменности, переписаннымъ у насъ съ древне-болгарскихъ оригиналовъ, относится Остромирово Евангеліе и два Изборника Святослава.

Остромирово Евангеліе написано въ 1056 — 57 гг. діакономъ Григоріемъ для новгородскаго посадника Остромира. Оно не расположено по евангелистамъ въ послѣдовательномъ порядкѣ главъ (тетрѣ), но содержитъ въ себѣ избранныя чтенія изъ Евангелія, по недѣлямъ, т.-е. воскресеньямъ (апракосѣ), въ порядкѣ церковной службы, начиная съ Пасхи. Особенности болгарскаго текста соблюдаемы русскимъ переписчикомъ въ значительной степени, хотя и встрѣчаются формы русскія въ употребленіи буквъ, въ склоненіяхъ и спряженіяхъ, какъ опіски или невольныя отступленія отъ правилъ кирилловскаго письма. Языкъ Остромирова Евангелія есть языкъ православной Церкви и книгъ церковныхъ, оказавшихъ сильное вліяніе на нашъ языкъ и литературу; изученіемъ его объясняются многія формы русской этимологіи, которая поэтому и проходитъ въ учебныхъ заведеніяхъ сравнительно съ этимологіей церковно-славянской <sup>1)</sup>.

Первый Святославовъ Изборникъ списанъ въ 1073 г., для великаго князя Святослава Ярославича, діакономъ Іоанномъ съ Изборника, который былъ переведенъ съ греческаго для болгарскаго царя Симеона (IX — X в.). Онъ содержитъ въ себѣ статьи не только духовныя, взятыя изъ твореній отцовъ Церкви, но и философскія, историческія, риторическія и другія. Риторическая статья „о образѣхъ“ опредѣляетъ значеніе троповъ и фигуръ, напр., инословія (аллегоріи), превода (метафора), изобилія (плеоназмъ), лицевторья (прозопопея) и проч. Для того же князя и тѣмъ же писцомъ переписанъ другой Изборникъ (1076), въ составъ котораго вошли статьи преимущественно религіозно-нравственныя, болѣе доступныя нашимъ предкамъ, чѣмъ философскія и литературныя перваго

---

<sup>1)</sup> Этотъ драгоценный памятникъ древнерусской письменности подаренъ Востоковымъ (1843 г.) съ рукошею, хранившейся въ Имп. Публ. Библиотекѣ.

сборника. Таковы: о молитвѣ, о поствѣ, о чтеніи книгъ, о правої вѣрѣ, поученіе богатымъ, два поученія дѣтямъ (Ксенофонта и Оеодоры). Нѣкоторыя изъ этихъ статей не остались безъ вліянія на первыя произведенія нашей древней словесности.

§ 18. Перешедшія къ намъ болгарскія и сербскія рукописи какъ переводныя съ греческаго, такъ и оригинальныя, относятся къ различнымъ отдѣламъ словесныхъ произведеній. Первый по времени и важнѣйшій по значенію отдѣлъ составляютъ книги духовныя: св. писаніе, богослужебныя и творенія святыхъ отцовъ; послѣднія раздѣляются на три рода: толковыя, содержащія въ себѣ толкованія св. писанія; догматическія, въ которыхъ излагается христіанское ученіе, и правоучительныя, наставляющія въ правилахъ христіанской нравственности. Второй отдѣлъ—сочиненія историческія: пален, хроники и хронографы. Пален (отъ греч. древній, ветхій) собственно излагаетъ ветхозавѣтную исторію, по библейскимъ книгамъ, но кромѣ того заключаетъ въ себѣ и другія статьи, частію пополняющія библейскій рассказъ, а частію служащія простыми вставками, чуждыми отношенія къ главному предмету. Хроники (временники, лѣтописи) содержатъ въ себѣ, кромѣ ветхозавѣтной исторіи, исторію древнихъ царствъ и византійскую. Хронографъ—сборникъ, въ которомъ, послѣ краткой библейской исторіи, слѣдуетъ изложеніе исторіи всеобщей до паденія Константинополя и славянской. Третій отдѣлъ—масса сборниковъ разныхъ названій и многообразнаго содержанія. О двухъ сборникахъ Святослава сказано выше. Изъ другихъ особенно заслуживаютъ вниманія такъ называемыя „Пчелы“, т.-е. сборники изреченій, заимствованныхъ изъ св. писанія, отеческихъ твореній и языческихъ авторовъ и расположенныхъ по предметамъ о добродѣтели и злобѣ, о мудрости, о чистотѣ и цѣломудріи, о богатствѣ и убожествѣ и проч. Четвертый отдѣлъ—апокрифическія сочиненія, подъ вліяніемъ которыхъ образовались народныя духовныя пѣсни, именуемыя стихами. Наконецъ, пятый отдѣлъ—памятники повѣствовательной литературы, служившіе цѣлямъ развлеченія и соотвѣтствовавшіе тому, что въ наше время обозначается пменемъ беллетристики <sup>1)</sup>).

§ 19. Апокрифы (тайныя, сокровенныя книги) заключаютъ въ себѣ рассказы о библейскихъ лицахъ и событіяхъ, представляющіе смѣсь достовѣрныхъ свѣдѣній Библии съ вымыслами. Они возникли изъ стремленія восполнить нѣкоторые пробѣлы въ св. писаніи, объяснить неясныя мѣста его, разрѣшить появившіеся при чтеніи его вопросы. Мы, напримѣръ, знаемъ одинъ судъ Соломона; по

---

<sup>1)</sup> Изложеніе ихъ отнесено къ концу древняго періода словесности.

другіе суды мудраго даря, которые могли быть и, вѣроятно, были, намъ неизвѣстны. Мы знаемъ также, что грѣшники вселяются въ адъ и претерпѣваютъ тамъ разныя мученія, но какія именно и за какія преступленія—Священное Писаніе о томъ умалчиваетъ. Любознательный читатель Библіи своими собственными соображеніями и фантазіей придумывалъ то, чего, по его мнѣнію, не доставало, но что было желательно знать. Эти придуманныя добавленія и составляютъ существенный элементъ апокрифовъ, основой которыхъ служили разные источники: сначала древне-іудейскія преданія, переходившія въ христіанскія книги, а потомъ и преданія христіанскія, распространявшіяся устными разсказами. Апокрифы сначала не только не имѣли того дурного значенія, какое они получили впоследствии, но даже пользовались уваженіемъ въ христіанской Церкви, какъ интересные и поучительные разсказы. Подвергаться осужденію и запрещенію они стали послѣ того, какъ начали злоупотреблять ими еретики для своихъ цѣлей, передѣлывать ихъ и составлять изъ нихъ новыя книги. Отсюда явился индексъ, т.-е. указатель, списокъ апокрифическихъ книгъ, запрещенныхъ на ряду съ книгами еретическими. Подлинники большей части апокрифовъ, обращавшихся въ древней Россіи, греческіе, а изъ Греціи они переходили къ намъ въ сербскихъ и болгарскихъ переводахъ, которые съ теченіемъ времени измѣнялись въ своемъ содержаніи и формѣ, допуская русскія вставки и примѣненія. Объемъ апокрифической литературы обширенъ; важнѣйшія изъ произведеній, ее образующихъ, суть слѣдующія: Адамъ, Слово о древѣ крестномъ, Соломоновы суды, Хожденіе Богородицы по мукамъ, Слово о видѣніи апостола Павла, Вопросы Іоанна Богослова, Бесѣды трехъ святителей, Луцидарій.

Мудрость Соломона, выказанная при рѣшеніи имъ спора между двумя матерями (3 кн. Царствъ, гл. 3), дала поводъ къ составленію апокрифа: „Суды царя Соломона“. Одинъ изъ нихъ содержитъ въ себѣ слѣдующій разсказъ. Отецъ, умирая, призвалъ троихъ сыновей своихъ и сказалъ имъ: „у меня зарытъ кладъ въ землю, въ такомъ-то мѣстѣ (имя рекъ)—три посудины, стоящія одна надъ другою. По смерти моей старшій сынъ пусть возьметъ верхнюю посудину, средній — среднюю, младшій — исподнюю“. По вскрытіи посудинъ, оказалось въ первой золото, во второй кости, въ третьей земля. Между наслѣдниками произошелъ споръ. Они явились къ Соломону, и царь разсудилъ ихъ такимъ образомъ: посудина съ золотомъ—старшему сыну; что съ костями—та среднему; а что съ землею—младшему. Отецъ вашъ былъ мудръ, при-



Бавиль царь. То-есть: отецъ завѣщать одному изъ сыновей деньги, другому скотъ, третьему земля свои.

Другой апокрифъ: „О царицѣ Южической или Южской“, основанъ на томъ текстѣ 2-й книги Паралипоменонъ (гл. 9), гдѣ повѣствуется о посѣщеніи Соломона царицею Савскою (изъ Савы, части Аравіи между Москатомъ и Іеменомъ), прибывшей въ Іерусалимъ препираться съ царемъ въ мудрости загадками. Первая загадка ея состояла въ томъ, что она одѣла отроковъ и дѣвочекъ въ одинаковое платье и просила Соломона угадать, которые изъ нихъ мальчики и которыя дѣвочки. Соломонъ велѣлъ разсыпать передъ ними овощей (по другому пересказу — орѣховъ): мальчики бросились подбирать ихъ въ полы, а дѣвочки въ рукава. И Соломонъ сказалъ: вотъ отроки и вотъ дѣвицы. Царицыны мудрецы также загадываютъ загадки мудрецамъ Соломона: „Есть у насъ кладязь далеко отъ города“, говорятъ первые: „какъ его привезти въ городъ?“ Вторые отвѣчали: „сплетите веревку изъ отрубей, и мы привлечемъ вашъ кладязь ко граду“.—Если на нивѣ вырастутъ ножи, чѣмъ ихъ сжать?—Ослинымъ рогомъ.—„Развѣ у осла есть рогъ?“ А развѣ пива родитъ ножи?—„Коли мертвецъ восплачется, чѣмъ его утѣшить?—Дать ему мглиное яйцо.—Какъ можетъ изъ мгли сдѣлаться яйцо?“—А какъ можетъ смѣяться мертвецъ?

„Хожденіе Богородицы по мукамъ“, по самому предмету пользовалось большою популярностью. Вопросы о кончинѣ міра, о загробной жизни, съ ея блаженствами для праведныхъ и мученіями для грѣшниковъ, интересовали всѣхъ и cadaго. Проповѣдное слово брало ихъ нерѣдко темою; житія святыхъ также изображали мытарства и казни, уготованныя порочнымъ. Сложенный на этотъ сюжетъ апокрифъ изображаетъ хожденіе Богородицы по мукамъ, въ сопровожденіи архангела Михаила, который рассказывалъ ей преступленія мучимыхъ: въ одномъ мѣстѣ казнятся невѣровавшіе въ Св. Троицу, поклонявшіеся твари, называвшіе богами солнце и мѣсяцъ, землю и воду, звѣрей и гадовъ, устроившіе каменные идолы Трояна, Хорса, Велеса, Перуна; въ другомъ — неходившіе по лѣности къ заутренѣ на Святой недѣлѣ; въ третьемъ — клеветники и смутники, отлучавшіе брата отъ брата и мужей отъ женъ; далѣе — ростовщики, бравшіе большіе проценты, и пр. Сынъ Божій, ради молитвъ своей Матери, далъ мучащимся день и ночь покой отъ мученій съ Великаго четверга до Пятидесятницы.

Въ первой части „Слова о видѣніи апостола Павла“ ангелъ показываетъ ему мѣста, гдѣ пребываютъ святые и праведные. Восхищенный до третьяго неба, апостолъ видѣлъ ангеловъ, которые посылаются за душами нечестивыхъ людей, и ангеловъ, посылаемыхъ

за отходящими изъ міра праведниками. Далѣе описывается градъ Христовъ, куда былъ введенъ апостолъ: свѣтъ града паче свѣта міра сего; онъ окруженъ 12-ю стѣнами и внутри каждой стѣны по 1000 столповъ; отъ четырехъ сторонъ его текутъ четыре рѣки: отъ западной—медвяная (Фисонъ), отъ юга—молочная (Евфратъ), отъ востока—съ виномъ и елеемъ (Тигръ), отъ сѣвера—масляная (Понъ). Среди града алтарь, подлѣ котораго стоитъ мужъ съ лицомъ свѣтлымъ, аки солнце, псалтыремъ и гуслими въ рукахъ (*Царь Давидъ*): онъ пѣлъ и всѣ находящіеся на столпахъ вратъ небеснаго Іерусалима возглашали: аллилуія! Въ послѣдней части „Слова“ разсказывается хожденіе апостола по мукамъ.

„Вопросы Іоанна Богослова“ Господу на горѣ Оаворекой указываютъ знаменія кончины міра и появленія антихриста, самую кончину и страшный судъ. На этомъ судѣ прежде всего будутъ вопрошены нечестивые съ антихристомъ; потомъ эллины (т.е. язычники), вѣровавшіе въ солнце, луну, звѣзды, идолы; далѣе—жиды, распявшіе Христа, наконецъ—родъ христіанскій. Первые и третьи будутъ изгнаны во тьму кромѣшную, вторые въ адъ, христіане же раздѣляются на праведныхъ и грѣшныхъ. Праведники просвѣтятся аки солнце, а грѣшные омрачатся и будутъ мучиться различными муками въ огненной рѣкѣ, неусыпающимъ червемъ, зубовнымъ скрежетомъ, седмиступнымъ пламенемъ. За симъ откроется рай на земли: не будетъ ни дьявола, ни смерти, ни печали, ни воздыханія, но жизнь вѣчная; будетъ едино стадо и единъ пастырь.

„Бесѣда трехъ святителей“ (Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоуста) есть рядъ вопросовъ о разныхъ предметахъ, преимущественно священныхъ, и отвѣтовъ на вопросы; на примѣръ: Изъ сколькихъ частей сотворенъ Адамъ? Изъ восьми: тѣло взято отъ земли, кости отъ камня, кровь отъ моря, очи отъ солнца, мысли отъ облака, духъ отъ вѣтра, тепло отъ огня, душу же вдохнулъ Господь. Сколько времени пробылъ Адамъ въ раю? Отъ 6-го часу до 9-го. Сколько великихъ морей? 12. А рѣкъ великихъ? 30. Сколько острововъ великихъ? 72; столько же разныхъ языковъ, разныхъ рыбъ, птицъ, деревьевъ, а костей въ человѣкѣ 290, столько же и суставовъ. Какого звѣря не было въ ковчегѣ? Рыбы. Кто отвалилъ камень отъ гроба Господня? Два ангела: Калуилъ и Зайлъ, и т. п. Иногда вопросы предлагаются въ видѣ загадокъ, а отвѣты служатъ отгадками; на примѣръ: Что есть мелющіе жернова—одинъ подымается, а другой оставляется? Жерновы суть міръ, а иже мелется—душа съ тѣломъ: душа вознесется, а тѣло останется на землѣ. Какая мать пожираетъ дѣтей своими? Море, принимающее въ себя рѣки. Стоитъ дубъ безъ вѣтвей и корней,

придетъ къ нему пѣкто безъ ногъ, возьметъ его безъ рукъ, зарѣжетъ безъ ножа и съѣстъ безъ зубовъ? Дубъ—человѣкъ; придетъ къ нему смерть и зарѣжетъ безъ ножа.

§ 20. Подъ вліяніемъ апокрифовъ сложились особыя произведенія народной словесности, называемыя „духовными пѣснями“, или „стихами“.

Принимая христіанство, народы Западной Европы находились на гоѣ степенѣ развитія, когда пѣсня есть единственная форма выраженія внутренней жизни. Лучшимъ людямъ, не формально, а искренно усвоившимъ новую религію, старая дохристіанская поэзія казалась грѣховной; нужно было замѣнить ее новой, матеріаломъ для которой служили бы образцы новой религіи. Въ средѣ ихъ нашлись поэты, воспользовавшіеся новыми сюжетами, но обработавшіе ихъ въ прежней любимой формѣ. Съ другой стороны, само духовенство, съ неудовольствіемъ слышавшее, какъ народъ распѣваетъ старинныя пѣсни, спѣшило дать мірянамъ новую поэзію на родномъ языкѣ съ новымъ христіанскимъ содержаніемъ. Когда поэтическое творчество изъ рукъ духовенства перешло къ рыцарямъ, христіанскія легенды обрабатывались свѣтскими поэтами и съ тѣми же приемами, что и героическія сказанія, но рядомъ съ этою искусственной духовной поэзіей шла духовная поэзія простонародная, произведенія которой распѣвались на улицахъ слѣпцами.

Русскій народъ также съ раннаго времени вводилъ въ кругъ своихъ поэтическихъ представленій имена и сюжеты, принесенные христіанствомъ. Но наше богослуженіе совершалось не на чуждомъ, а на всѣмъ понятномъ языкѣ; въ церкви народъ слышалъ церковныя пѣсни и гимны, которые могъ усваивать для внѣцерковнаго обихода; поэтому духовенство не считало себя обязаннымъ доставлять народу иную поэтическую пищу. Кромѣ того, наше духовенство строже западнаго относилось къ потребности народа въ поэтическихъ удовольствіяхъ; оно держалось вдали отъ народной поэзіи и даже игнорировало ея существованіе.

Люди благочестивые и состоятельные предпринимали путешествія къ св. мѣстамъ, особенно въ Палестину, на поклоненіе гробу Господню: они назывались *кальками*, *каликами*, <sup>1)</sup> и это названіе, какъ почетное, удерживали по возвращеніи на родину. Каликами, паломниками и странниками назывались также люди немущіе, дѣлавшіе себѣ профессію изъ хожденія къ св. мѣстамъ и монастырямъ, бѣдняки, жившіе на счетъ общественной благотворительности, короче—*кальки* въ современномъ значеніи этого слова. Такіе стран-

<sup>1)</sup> Кажется, отъ латинскаго *caliga*—короткій сапогъ, обувь путешественника.



ники были подчинены вѣдѣнію Церкви. Какъ тѣ, такъ и другіе калики нуждались въ пѣсняхъ духовнаго содержанія. Отправляясь въ святую землю, они коротали ими свой долгій путь; калики же церковные выманивали себѣ ими подаяніе и занимали вниманіе мірянъ. Стоя въ близкомъ отношеніи къ Церкви, они могли черпать матеріалъ изъ книгъ, обращающихся въ средѣ церковниковъ, и находить образы въ церковныхъ гимнахъ; но, съ другой стороны, какъ люди, вышедшіе изъ народа и къ народу же обращавшіеся съ своими пѣснями, они должны были подчиняться его вкусу; пѣть о томъ, что его интересовало, и пѣть такъ, какъ ему было попятно. Калики настоящаго времени, старички, немощные, большею частію слѣпцы, переходящіе изъ села въ село, съ одного церковнаго праздника на другой съ жожакомъ-мальчикомъ, суть преемники древнихъ каликъ, унаслѣдовавшие отъ нихъ обильный матеріалъ и умиляющіе имъ благочестивое простонародье.

Любопытнѣе другихъ тѣ стихи, изъ которыхъ народъ черпалъ космогоническія свѣдѣнія и получалъ отвѣты на важнѣйшіе для него вопросы о судьбѣ души, о концѣ міра и пр. Главный между ними такъ называемый стихъ о „Голубиной книгѣ“, упавшей съ небесъ, изъ тучи, въ Іерусалимѣ, при царѣ Давидѣ, сынѣ его Соломонѣ и старцѣ Захаріи. Представленіе о небесной книгѣ, заключающей въ себѣ всѣ міровыя тайны, встрѣчается уже въ Апокалипсисѣ (V, 1—3). Еще ближе къ стиху описывается громадная книга въ апокрифѣ—„Вопросы Іоанна Богослова“, который произошелъ отъ старинной апокрифической Іоанновой книги. Извлеченіе изъ этой послѣдней, излагающей всю *глубину* премудрости, все, „еже въ безднахъ“, и породило, вѣроятно, *глубинную* книгу. Названіе книги *голубиною* есть легкое измѣненіе формы, повлекшее за собою измѣненіе смысла: оно объясняется забвеніемъ первоначальнаго значенія и вліяніемъ извѣстнаго символа Святаго Духа. Царь Давидъ является, какъ творецъ популярнѣйшей книги—Псалтыри; Соломонъ, какъ извѣстный представитель мудрости; старецъ Захарія, можетъ-быть, означаетъ два лица: отца Іоанна Крестителя и пророка Захарію, упоминаемаго въ другомъ источникѣ стиха—„Бесѣда трехъ святителей“.

Къ книгѣ сходятся сорокъ царей, сорокъ князей, сорокъ поповъ, сорокъ дьяконовъ и много людей мелкихъ, православныхъ христіанъ. Къ Давиду обращается царь Волотоманъ Волотомановичъ (по другимъ вариантамъ Волоть Волотовичъ), иногда Володиміровъ Володиміровичъ, Малодуморъ Малодуморовичъ и другіе съ просьбою объяснить содержаніе книги. Сорокъ есть эпическое число русской поэзіи. Волотоманъ съ незначительной перестановкой (Во-

толоманъ), по одному сказанію о Соломонѣ—отецъ его жены Соломоницы и удобно объясняется порчей имени египетскаго Птолемея, который могъ замѣнить фараона, тестя Соломонова, по другимъ редакціямъ. Владиміръ, эпическій князь, служить замѣной чуждаго народу имени. Малодуморъ, явившійся черезъ форму Молотоманъ—попытка осмыслить имя, чтобы противопоставить мудрому Давиду малодумнаго совопросника.

Волотоманъ предлагаетъ сначала рядъ космогоническихъ вопросовъ.

Отчего зачался у насъ бѣлый свѣтъ?

Отчего зачалось солнце красноо?

Отчего зачался младъ свѣтель мѣсяць? и пр.

Потомъ рядъ вопросовъ, касающихся природы человѣка:

Отчего взяты тѣлеса наши?

Отчего зачались кости крѣпкія, и пр.

и вопросы о происхожденіи сословій:

Отчего у насъ въ земли цари пошли?

Отчего зачались князья-бояры?

Отчего крестьяне православные?

Затѣмъ спрашивается о лучшихъ въ каждомъ родѣ предметахъ:

Которая земля землямъ мати?

Который царь надъ царями царь?

Который градъ городамъ матъ?

Которая церковь надъ церквами матъ? и т. д.

Первые два изъ послѣднихъ вопросовъ и отвѣты на нихъ поставлены, вѣроятно, вполнѣдствіи, когда Волотъ былъ замѣненъ княземъ Владиміромъ: лучшая земля—святорусская; царь надъ царями—Бѣлый царь. Далѣе: городъ городамъ матъ—Іерусалимъ, мѣсто дѣятельности и погребенія Спасителя и какъ пупъ (центр) земли; церковь надъ церквами матъ—соборъ св. Софій въ Царьградѣ, а въ позднѣйшихъ редакціяхъ—соборъ-церква въ Іерусалимѣ, гдѣ находится гробница Господня; море морямъ мати—Океанъ море; озеро озерамъ мати—Ильмень озеро; горамъ мати—Ѡаворъ, какъ мѣсто Преображенія; древамъ мати—кипарисъ, такъ какъ изъ него былъ вырѣзанъ крестъ Спасителя; травамъ мати—Плакушъ трава, такъ какъ она выросла отъ слезъ Богородицы; камнямъ отецъ—латырь (вѣроятно, янтарь—электронъ), находящійся среди моря; рыбамъ мати—китъ, такъ какъ на ней держится земля; птицамъ мати—страфилъ (страусъ); звѣрямъ отецъ—индюкъ (единорогъ); книгамъ мати—Псалтирь.

Покончивъ съ вопросами, совопросникъ проситъ Давида растолковать ему сонъ. Видѣлъ онъ во снѣ, какъ блилъ два зайца: бѣ-

лый и сѣрый; бѣлый пошелъ подѣ небеса, а сѣрый по сырой землѣ. Давидъ толкуетъ, что бѣлый заяцъ — Правда, а сѣрый — Кривда. Правда пошла на небеса, а Кривда осталась на землѣ. Толкованіе заключено нравственнымъ выводомъ:

Кто будетъ Кривдой жить,  
Тотъ отчаянный отъ Господа:  
Та душа не наследуетъ  
Себѣ царства небеснаго;  
А кто будетъ Правдой жить,  
Тотъ причаивный ко Господу:  
Та душа и наследуетъ  
Себѣ царство небесное.

Вопросъ о концѣ міра интересовалъ нашихъ предковъ вмѣстѣ съ вопросомъ о началѣ вещей. Отвѣтъ на него грамотники находили не въ одномъ Евангеліи съ Апокалипсисомъ, но и во множествѣ другихъ переводныхъ съ греческаго статей, излагавшихъ рассказъ Евангелія съ большими подробностями. Въ одномъ стихѣ Михаилъ архангелъ трубнымъ звукомъ будить умершихъ:

И первый разъ онъ вострубитъ—  
И души въ тѣлеса войдутъ;  
Второй разъ онъ вострубитъ—  
Отъ гробовъ мертвы встанутъ;  
И третій разъ вострубитъ—  
Всѣ на судъ Божій пойдутъ.

Въ другомъ стихѣ развивается діалогъ Христа съ грѣшными; на вопросъ послѣднихъ о причинѣ гнѣва Божія, Христосъ перечисляетъ грѣхи (нечисленіе взято отчасти изъ Евангелія):

Вы воли Господней не творили,  
За крестъ, за молитву не стояли,  
Вы нищую братію обижали,  
Вы другъ друга не любили,  
Заповѣдь Божію переступали:  
Меня Христа не почитали,  
Вы нагаго не одѣли,  
Вы босаго не обули,  
Вы гладнаго не накормили,  
Жаднаго (жаждущаго) не напоили.

Другіе духовные стихи можно раздѣлить на *эпическіе* и *лирическіе*. Къ эпическимъ относятся не только тѣ, которые излагаютъ событія, но и тѣ, которые излагаютъ чувства и мысли участника событія ветхозавѣтнаго, новозавѣтнаго или легендарнаго; лирическіе же не связаны ни съ какимъ событіемъ и выражаютъ настроеніе пѣвца.

Къ эпическимъ ветхозавѣтнымъ стихамъ принадлежатъ „Псалъ Адама“ и „Стихъ объ Іосифѣ“.



Въ первомъ стихѣ Адамъ сѣтуеъ о потерѣ блаженства, а Ева утѣшаетъ его, возвѣщая о будущемъ рожденіи Спасителя; далѣе выражаются горестныя чувства человѣка, посланнаго на „трудную землю“ затѣмъ, чтобы жить правдой и не творить зла. Все это, продолжаетъ стихъ, мы знаемъ и помнимъ, а добраго не дѣлаемъ:

Даетъ намъ Господь много—  
Намъ кажется мало;  
Ничѣмъ мы не насытимся,  
Ничѣмъ не напомнимся:  
Очи наши—ямы,  
Руки наши—грабли,  
Глаза завидуици,  
А руки загребуици:  
Что глазами завидѣли,  
То руками заграбили.

Но на второмъ пришествіи ничто не поможетъ — ни злато, ни серебро; помогутъ только постъ и молитва, слезы да покаянье.

Стихъ объ Іосифѣ, источникъ котораго есть житіе Іосифа въ Минеяхъ Дмитрія Ростовскаго, распространенъ эпическими прибавленіями. Онъ начинается также плачемъ, по складу близкимъ къ церковнымъ пѣснямъ:

Кому повѣмъ печаль мою?  
Кого призову ко рыданію? и пр.

Іаковъ, когда принесли ему ризу Іосифа, оплакиваетъ сына и такъ разсуждаетъ:

Какъ бы тебя разбойники убили,  
Не оставили бы Осиповой ризы:  
Осипова риза не простая,  
Осипова риза золотая;  
Какъ бы тебя звѣри растерзали,  
Звать было бъ зубное изгрызанье, и пр.

Кромѣ того, два путешествія Іосифовыхъ братьевъ соединены; изъ перваго по царѣ Іосифъ становится царемъ; 20 сребрениковъ, за которые продавъ Іосифъ, обратились въ 30, подъ вліяніемъ евангельскаго разсказа о предаіи Христа Іудеоу.

Событія повозавѣтныя вызвали массу лирическихъ стиховъ, изъ которыхъ, однакожъ, немногіе были усвоены народомъ. Замѣчательно, что Воскресеніе Христово не породило народныхъ стиховъ, можетъ-быть, потому, что Церковь давала достаточное количество гимновъ. Зато къ послѣднему событію Спасительской жизни—Вознесенію — приуроченъ стихъ, повидимому, составленный самими калѣками.

Какъ вознесся Христосъ на небеса,

Расплакалась нищая братія.

Чѣмъ же мы, бѣдныя, будемъ питаться? и пр.

Христосъ предлагаетъ дать имъ гору золотую и рѣку медвяную, во Іоаннъ Богословъ (вариантъ: Іоаннъ Златоустъ) говорить, что богатство у нищихъ отнять, и предлагаетъ дать имъ „свое имя Христово“. Христосъ такъ и поступаетъ, награждая совѣтника, по одному варианту, частыми праздниками, по другому — „золотыми устами“.

Стихъ о Богачѣ и Лазарѣ, взятый изъ евангельской притчи, пользуется чрезвычайной популярностью между пѣвцами, потому, что слѣпцы-нищія видѣли въ Лазарѣ, угнетаемомъ болѣзнями и бѣдностью, свой первообразъ. Другая причина его популярности — стремленіе нашихъ старинныхъ проповѣдниковъ побудить изложечіемъ притчи къ дѣламъ милости. Стихъ оставилъ притчу много новыми подробностями: бѣдный изъ „ближняго“ по человѣчеству сталъ богачу роднымъ братомъ.

Если Лазарь, награжденный за свои страданія, представлялся калікамъ прототипомъ, то Алексѣй Божій челоувѣкъ, добровольный нищій, подвергавшій себя всевозможнымъ униженіямъ въ домѣ отца своего, былъ недосыгаемымъ, но тѣмъ не менѣе интересующимъ ихъ идеаломъ.

Источникъ стиха — книжное житіе. Алексѣй родился въ Римѣ отъ князя Ефиміана и супруги его Аглады. Семи лѣтъ начали учить его грамотѣ, а когда онъ подросъ, женили его на „красной отроковицѣ великаго царскаго рода“. Видя грусть сына на свадебномъ пиру, отецъ спрашиваетъ его:

Али тебѣ княгиня не по обычаю,

Али твоя обрученная не по праву?

Алексѣй отвѣчаетъ:

Княгиня моя мѣ по обычаю,

Обрученная мѣ по праву;

На что принуждали меня жениться

Не пустили Богу помолиться.

Со младости лѣтъ Богу потрудиться?

Покинувъ жену, Алексѣй пришелъ въ Эдессу, роздалъ свое богатство нищимъ, а самъ облекся „въ худую ризу“ и началъ молиться и трудиться. Родители и супруга послали рабовъ отыскивать его. Богородица повелѣваетъ ему идти въ Римъ и принять благословеніе отъ отца и матери. Въ отцовскомъ домѣ не узнаютъ его; онъ выдаетъ себя за нищаго и проситъ устроить себѣ келью, ради Алексѣя Божьяго челоувѣка, съ которымъ, какъ го-

ворить онъ, „въ единой палаткѣ пребывалъ, едпную хлѣбъ-соль вкушалъ“. Рабы, приставленные для хожденія за нимъ, не взлюбили его и творили ему много безчинствъ, но онъ молился за нихъ. Почувствовавъ скорую кончину, онъ написалъ разсказъ о своей жизни, и по этому рукописанію родители и жена умершаго узнали кто жилъ у нихъ въ домѣ подъ именемъ нищаго. Мощи его творили чудеса и объявили славу Алексѣя.

Во всю свято-русскую землю:  
Онъ Богу былъ, свѣтъ, угодень,  
Всеми міру онъ доброхотень.

Духовный романъ о Варлаамѣ и Іоасафѣ <sup>1)</sup> породилъ цѣлую семью стиховъ, распѣваемыхъ въ настоящее время каликами, но тѣсно связанныхъ съ книгою. Стихъ начинается краткимъ эпическимъ введеніемъ, за которымъ слѣдуетъ воззваніе царевича Іоасафа къ пустынѣ:

Любимая моя мати,  
Прекрасная пустыня!  
Ты прими меня, пустыня,  
Яко мати свое чадо;  
Научи меня, пустыня,  
Волю Божію творити;  
Приведи меня, пустыня,  
Въ небесное царство.

Олицетворенная пустыня отвѣчаетъ ему указаніемъ на неудобства пустыннаго житія:

У меня въ пустыни  
Трудомъ потрудитися;  
У меня въ пустыни  
Постомъ попоститися;  
У меня въ пустыни  
На молитвѣ постояти;  
У меня въ пустыни  
Не съ кѣмъ рѣчей говорить;  
У меня въ пустыни  
Терпя потерпѣти и пр.

Отвѣчая на ея слова, Іоасафъ разъясняетъ, что именно лишенія пустыни и привлекаютъ его, и перечисляетъ ея прелести:

Не страдай меня, пустыня,  
Превеликими страстями...  
Разгуляюсь я, младый юноша,  
По зеленой по дубравѣ;  
Со мною стану говорить

---

<sup>1)</sup> Содержаніе этого романа изложено ниже, въ § о повѣстяхъ.



На древахъ маленькіе листы:  
 Что Христосъ на престолѣ  
 Съ херувимы и серафимы  
 И вся небесныя силы.

Изъ двухъ стиховъ о святomъ великомученикѣ Георгіи, или Егорѣ Храбромъ, какъ его называетъ народъ, одинъ излагаетъ его чудо о змѣи, другой—исторію его мученій и казни мучителя.

Первый стихъ рассказываетъ, что въ городѣ Лаосіи жилъ царь Селевигъ (испорченное *Селевкъ*), поклонявшійся идоламъ. Богъ, желая отвратить жителей отъ погибельнаго пути, посылаетъ на городъ бѣдствие: недалеко было озеро, въ которомъ поселился страшный змѣй-человѣкоубійца. Царь безуспѣшно пытается осилить змѣя войскомъ; тогда онъ предлагаетъ народу жертвовать въ пищу змѣю дѣтей, отъ богатыхъ и до бѣдныхъ, начиная съ самого себя. Когда народъ изъявилъ согласіе, царю стало жалко своей единственной дочери, и онъ умоляетъ подданныхъ пощадить ее, но напрасно. Дѣвицу выводятъ за городъ на съѣденіе змѣю. Въ это время изъ персидскаго похода возвращалось греческое войско, въ которомъ былъ храбрый воинъ Георгій. По велѣнію Божию, онъ одинъ уклонился въ сторону и увидѣлъ дѣвицу; онъ обѣщаетъ спасти ее, если она увѣруетъ въ Иисуса Христа. Обратившись съ мольбою къ Богу, онъ слышитъ съ неба ободряющій Его гласъ. Между тѣмъ змѣй выходитъ изъ озера на берегъ и прыщется на Георгія ядомъ, но когда святой закладъ его именемъ Божиимъ, змѣй начинаетъ лизать его ноги. По повелѣнію Георгія, царевна ведетъ змѣя въ городъ—горожане разбѣгаются въ ужасъ, Георгій предлагаетъ имъ увѣровать въ Бога, и тогда обѣщаетъ убить змѣя; въ противномъ же случаѣ грозитъ пустить его на городъ. Послѣ казни змѣя, епископъ Александръ, призванный св. Георгіемъ, въ 15 дней креститъ 40,000 человѣкъ. Изъ земли истекаетъ водный источникъ, исцѣляющій всякіе недуги. Когда Георгій уѣзжаетъ, жители града провожаютъ его съ великимъ плачемъ; царь строитъ во имя его церковь, а царевна, нареченная въ крещеніи Марією, посвящаетъ себя Богу.

Второй стихъ о Георгіи, излагающій всю его жизнь, дѣлится на двѣ части: первая говоритъ о Георгіи мученикѣ, а вторая о Георгіи побѣдоносцѣ.

Значительное число варіантовъ стиха начинается съ опредѣленія времени событія и описанія красоты Георгія, которая изображается тѣми же чертами, какъ и красота сказочныхъ героевъ.

По коѣнныя ноги въ чистомъ серебрѣ,  
 По локоть руки въ красномъ волотѣ,

Голова у Егорія жемчужная,  
По всемъ Егорѣ часты звѣзды.

Царь-мучитель поситъ разныя имена: Демьянище, Одемянище, Диклитіанище, Дихтіанище. Онъ силою и угрозами обращаетъ въ свою вѣру сестеръ Георгія, а его за непреклонность предаетъ мукамъ. Видя бесполезность своихъ усилій погубить святого, царь велѣлъ посадить его въ глубокій погребъ, приговаривая:

Не бывать Егорію на святой Руси,  
Не видать Егорію солнца краснаго.

Съ освобожденія Егорья изъ погреба начинается вторая половина стиха: по Божьему повелѣнью

Возстали сильныя вѣтры,  
Разносили пески да желтые,  
Открывали доски дубовыя;  
Выходилъ Егорій на святую Русь,  
Приходилъ Егорій во Іерусалимъ городъ.

Земля русская и Іерусалимъ оказываются разоренными и опустошенными. Такъ какъ въ литературномъ источникѣ ничего подобнаго нѣтъ, то должно предположить, что авторъ имѣлъ въ виду картину дѣйствительной жизни — опустошеніе русской земли татарами. У матери Егорій проситъ благословенія ѣхать по святой Руси съ двоякою цѣлю: утвердить вѣру христіанскую и отплатить мучителю. Подобно странствующимъ богатырямъ былины, онъ встрѣчаетъ на пути своемъ многочисленныя препятствія. Утвержденіе вѣры и состоитъ именно въ одержаніи побѣды надъ этими препятствіями. Прежде всего мѣшаютъ ему „горы толкучія“ и лѣса дремучіе. Егорій умиряетъ горы обѣщаніемъ построить на нихъ церковь; а лѣса дремучіе, непроѣздные — бытовая черта сѣверной Руси, куда было перенесенъ центръ русской исторіи послѣ татарскаго нашествія. Затѣмъ слѣдуютъ два живыя препятствія — змѣи и волки: первыхъ Георгій истребляетъ, а вторыхъ изгоняетъ своимъ вѣщимъ словомъ:

Ой вы гой еси, волки прыскучіе!  
Разойдитесь, разбѣжитесь  
По два, по три и по одному,  
По глухимъ степямъ, по темнымъ лѣсамъ;  
Вы ходите въ поле повремену,  
Пейте вы, ѣшьте повелѣнное,  
Повелѣнное, благословенное.

Отношеніе къ змѣямъ и волкамъ объясняется народнымъ культомъ великомученика. День св. Георгія (23 апрѣля) у всѣхъ христіанскихъ и даже у нѣкоторыхъ мусульманскихъ племенъ поль-

зается особеннымъ почитаніемъ; на крайнемъ югѣ Европы съ этого дня отплываютъ корабли въ море, сѣвернѣй начинаются земледѣльческія работы и еще сѣвернѣй—въ первый разъ выгоняютъ въ поле скотину. Въ славянскихъ земляхъ Егорья поминаютъ во множествѣ весеннихъ пѣсень, заклинаній и заговоровъ: онъ „отмыкаетъ росу“, его молятъ охранять скотину отъ „гада ползучаго“ и отъ „звѣри бѣгучаго“. Кромѣ того, конецъ апрѣля и начало мая во всемъ умѣренномъ поясѣ есть настоящій праздникъ природы. И вотъ святой, изображавшійся вооруженнымъ побѣдителемъ змѣи, стянулъ къ 23 апрѣля массу обрядовъ, изстари сопровождавшихъ празднованіе окончательной побѣды весны надъ зимою. Ставъ главнымъ покровителемъ стадъ, онъ естественно сдѣлался властителемъ волковъ и врагомъ змѣй; приводя Русь въ порядокъ послѣ погрома басурманскаго, онъ укрощаетъ именно этихъ нарушителей общественной безопасности. При звѣриномъ, а чаще при змѣиномъ стадѣ Егорій находитъ своихъ сестеръ:

На нихъ тѣло, какъ еловая кора,  
На нихъ волосы, какъ ковыль-трава.

Въ другихъ вариантахъ отчужденіе сестеръ отъ семьи и христіанства имѣетъ болѣе духовый характеръ: онѣ „набрались духу нечистаго“ или „одѣлись въ платье латинское“. Егорій велитъ ямъ искупаться въ Иорданѣ, чтобы смыть свой грѣхъ. Одичалость сестеръ Егорья — параллель къ тому положенію, въ какомъ онѣ нашель русскую землю: онѣ — русскія плѣнницы, обращенныя побѣдителемъ въ рабство.

Стихъ оканчивается смертью мучителя, и къ этому концу часто прибавляется краткая похвала святому.

§ 21. Древній періодъ русской словесности можетъ быть раздѣленъ на три отдѣла: первый простирается отъ начала русской письменности до нашествія татаръ; второй — отъ нашествія татаръ до XVI в.; третій обнимаетъ вѣка XVI и XVII. Въ первомъ отдѣлѣ русская литература развивается преимущественно въ Кіевѣ и Новгородѣ; во второмъ литературная дѣятельность прекращается на югѣ и переходитъ на сѣверо-востокъ; въ третьемъ, съ покореніемъ Новгорода и Пскова московскими князьями, она сосредоточивается въ Москвѣ и Кіевѣ, такъ что представляетъ два отдѣла: сѣверо-восточный, или московскій, и юго-западный, или кіевскій.

## А. Отъ начала письменности до нашествія татаръ.

§ 22. Литературная дѣятельность этого отдѣла выразилась слѣдующими родами сочиненій: проповѣднымъ словомъ, посланіями къ



отдѣльнымъ лицамъ, лѣтописнымъ повѣствованіемъ, описаніемъ путешествій, житіями святыхъ и поэтическимъ сказаніемъ.

§ 23. Къ XI в. относятся: Поученія Θεодосія Печерскаго, Слово митрополита Иларіона и Лѣтопись Нестора.

Проповѣдное слово съ самаго начала является у насъ въ двухъ направленіяхъ: безъискусственномъ и искусственномъ, подражателъномъ византійскому духовному краснорѣчію. Образомъ перваго служатъ Поученія Θεодосія, образомъ второго — Слово митрополита Иларіона.

Изъ двухъ поученій преподобнаго Θεодосія, игумена кѣвopeчepскаго, къ народу, одно говоритъ „о казняхъ Божіихъ“: нашеcтвіи степныхъ варваровъ, бездождіи, голодѣ. Проповѣдникъ доказываетъ, что эти бѣдствія ниспосланы за грѣхи наши и что единственное средство избавиться гнѣва Божія состоитъ въ искренномъ покаяніи. Затѣмъ обличаются современные недостатки: остатки язычества и суевѣрія, каковы: вѣра во встрѣчу, въ чиханье, волхвованье и т. п., мздоимство, воровство, скоморошество, несоблюденіе постовъ и праздниковъ, особенно же пьянство. „Поученіе къ инокамъ“ заключаетъ въ себѣ наставленія о терпѣннѣи и мужествѣ въ иноческихъ подвигахъ и, кромѣ того, указанія слабыхъ сторонъ монастырской жизни: праздности, нерадѣнія, лѣнности, любостыжанія.

Слово кѣвepскаго митрополита Иларіона „о законѣ, данномъ чрезъ Моисея, и о благодати и истинѣ, происшедшей чрезъ І. Х.“ могло быть вызвано попытками іудеевъ и до Владиміра чрезъ козаръ и послѣ Владиміра внести къ намъ свою вѣру. Форма его отличается символизмомъ: различіе между Завѣтами Ветхима (закономъ Моисея) и Новымъ (благодатью І. Х.) раскрыты подъ символами, т.-е. образами, Агари и Сарры, Ефрема и Манассія — дѣтей Іакова, солнца и луны; наприм.: „при солнечномъ свѣтѣ исчезаетъ луна: при появленіи благодати погибъ законъ“; „хотя Манассія былъ старше Ефрема, но благословеніемъ Іакова сдѣлался меньше: такъ и іудейство, хотя было прежде христіанства, но благодатью Христовою христіане стали выше“. Между образами и предметами, которые ими обозначаются, ведется параллель. Этотъ символическій параллелизмъ, требующій извѣстнаго искусства отъ проповѣдника, и составляетъ особенность искусственнаго направленія духовныхъ словъ, явившихся у насъ въ подражаніе византійскому стилю проповѣднаго краснорѣчія.

Съ именемъ Нестора, монаха кѣвopeчepскаго, жившаго во второй половинѣ XI-го и началѣ XII-го в., обыкновенно соединяется имя перваго русскаго лѣтописца. Лѣтопись его называется „Поисѣстью временныхъ лѣтъ“, „временникомъ“. Она дошла до насъ

не въ подлинникѣ, а во многихъ спискахъ съ продолженіями; древнѣйшій изъ нихъ написанъ монахомъ Лаврентіемъ въ 1377 году, почему и получилъ названіе Лаврентьевскаго.

Лѣтопись начинается исчисленіемъ странъ, доставившихъ потомству Ноевыхъ сыновей. За очеркомъ географіи древняго міра слѣдуетъ исторія славянъ: первоначальный бытъ ихъ на Дунаѣ, расселеніе съ Дуная по разнымъ странамъ, водвореніе въ Россію нѣкоторыхъ славянскихъ племенъ, ихъ обычаи и нравы. Съ 862 г. идетъ собственно лѣтопись и завершается 1110-мъ годомъ тамъ, гдѣ находится приписка игумена кіево-выдубицкаго монастыря Сильвестра, списавшаго лѣтопись въ 1116-мъ году. Этотъ Сильвестровъ списокъ, до насъ не дошедшій, сдѣлался оригиналомъ для всѣхъ другихъ списковъ, начиная съ древнѣйшаго, Лаврентьевскаго.

По составу своему, „Повѣсть временныхъ лѣтъ“ есть сводъ, или сборникъ изъ матеріаловъ, до нея существовавшихъ. Главнѣйшими матеріалами служили отдѣльныя сказанія, устные преданія и лѣтописныя замѣтки. Къ первымъ двумъ относятся: походъ Олега на грековъ и смерть его, смерть Игоря и месть Ольги, житіе Владиміра съ разными легендарными вставками, сказанія о событіяхъ въ кіевопечерскомъ монастырѣ и др. Источникомъ лѣтописныхъ замѣтокъ надобно считать записи о событіяхъ, веденныя грамотными людьми не въ одномъ Кіевѣ, но и въ другихъ мѣстахъ—на Волынѣ, въ Новгородѣ, Полоцкѣ, Муромѣ, Переяславлѣ... Для исторіи всеобщей составитель „Повѣсти“ пользовался Палеемъ и греческими хрониками Малалы и Георгія Амартола. Кромѣ того, Несторъ могъ слышать рассказы современниковъ, особенно престарѣлаго воеводы Яна. Со второй половины XI в. онъ писалъ уже какъ современникъ, а частію и какъ очевидецъ событій.

Изложеніе событій соотвѣтствуетъ званію лѣтописца, характеру его образованія и понятій, взгляду на самый трудъ. Какъ инокъ, проникнутый духомъ христіанской набожности, Несторъ смотритъ на свою „Повѣсть“ съ религіозной точки зрѣнія, предлагаетъ ее какъ свидѣтельство о премудромъ Промыслѣ Божіемъ и вмѣстѣ какъ назидательное поученіе. Высшею причиною историческихъ дѣяній служитъ праведный судъ Божій. Благая мысль и доброе чувство возникаютъ по дѣйствию небесной силы; напротивъ печныя помыслы и злыя чувства суть внушенія дьявола. Не только въ дѣйствіяхъ людей, но и въ явленіяхъ природы лѣтописецъ не допускаетъ случайности: эти явленія суть знаменія, предвѣщающія что-либо доброе или злое. Голодъ, моръ, землетрясеніе и другія бѣдствія объясняются какъ наказанія за грѣхи, почему и должны

обращать человѣка къ покаянію. Безпристрастіе, искренность и правдивость въ передачѣ событій и въ отзывѣхъ объ историческихъ дѣятеляхъ составляютъ внутреннія качества Несторова разсказа, который вмѣстѣ съ тѣмъ отличается ровностью и простотою рѣчи, ясно и точно передающей содержаніе. Нерѣдко лѣтописецъ пользуется разговорной формой, подражая библейскому повѣствованію. Языкъ лѣтописи церковно-славянскій, но подвергшійся вліянію южнорусскаго.

Принимая въ соображеніе, что лѣтописное дѣло достигло у насъ значительной степени развитія въ XII вѣкѣ, полагають, что оно началось не въ одномъ Кіевѣ, но одновременно и независимо въ разныхъ мѣстахъ, и какъ существуетъ начальная „Несторова“ лѣтопись, такъ вѣроятнѣе, существовала начальная лѣтопись новгородская, можетъ-быть та самая, которую историкъ Татищевъ называетъ Іоакимовскою, приписывая ее епископу новгородскому Іоакиму. Продолженіе Несторовой лѣтописи по Лаврентьевскому списку, до 1200 г., составляетъ „Кіевскую“ лѣтопись. Лѣтопись „Волинская“, или „Волинско-Галицкая“ (съ 1201-го до 1292 г.), повѣствуетъ о событіяхъ въ юго-западныхъ русскихъ княжествахъ. Лѣтопись „Суздальская“, или сѣверо-восточная, названная такъ въ противоположность кіевской, или южной, ведетъ описаніе событій съ 1292 по 1350 г. Сборникъ, означаемый именемъ „Тверской“ лѣтописи, составленъ въ концѣ XVI в. „Лѣтописецъ русскихъ царей“, изданный подъ названіемъ „Лѣтописца Переяслава Суздальскаго“, есть сборникъ позднѣйшій (XVII в.). Новгородскихъ лѣтописей четыре, Псковскихъ двѣ. Съ образованіемъ государства въ сѣверо-восточной Руси, лѣтопись начинаетъ становиться официальною и переходить въ разрядныя книги. Позднѣе на мѣсто ея появляются записки частныхъ людей, съ извѣстнымъ направленіемъ, и компилиціи, также имѣющія свои цѣли (Степенная книга, Никоновская лѣтопись).

§ 24. Изъ литературныхъ памятниковъ XVII в. главнѣйшіе: сочиненія Кирилла Туровскаго, Хожденіе игумена Даниїла въ Іерусалимѣ, Поученіе Владиміра Мономаха и Слово о полку Игоревѣ.

Св. Кириллъ, епископъ туровскій (городъ Туровъ, Минской губ.), пріобрѣлъ себѣ, какъ духовный ораторъ, такую извѣстность, что получилъ названіе „второго Златоуста“. Изъ сочиненій его дошли до насъ слова на праздники и поученія инокамъ. Тѣ и другія выказываютъ въ авторѣ большую начитанность, значительное искусство въ изложеніи мыслей, а иногда и ораторскія движенія, но имъ недостаетъ главныхъ свойствъ проповѣдей св. Златоуста: общедоступности и преобладающаго нравственнаго направленія. По формѣ, слова Кирилла сходятся съ Словомъ Іларіона. Изложеніе ихъ искусственное, состоящее въ символическихъ представленіяхъ. Цѣлый рядъ символовъ наполняетъ, напрямѣръ, слово въ новую недѣлю (первое воскресенье по Пасхѣ): солнце, радостно согрѣвающее землю, изображаетъ Христа, спасающаго всѣхъ



въ него вѣрующихъ; луна уступающая мѣсто большому свѣтилу (солнцу) — ветхій законъ, воздающій честь закону новому (Христову); весна — христіанство, а зима — язычество и іудейство; грѣховныя помыслы являются въ видѣ бурныхъ вѣтровъ, и т. п. Этотъ символизмъ иногда обнаруживаетъ прямое соотвѣтствіе внѣшняго міра внутреннему, но нерѣдко впадаетъ и въ произвольныя, натянутыя сближенія предметовъ, не имѣющихъ между собою сходства. Другая особенность изложенія состоитъ въ томъ, что повѣствованіе, по образу библейскихъ книгъ, замѣняется діалогомъ: лица, о которыхъ говоритъ слово, вступаютъ другъ съ другомъ въ бесѣду, выражаютъ мысли и чувства рѣчами, иногда очень длинными.

Путешествія къ св. мѣстамъ, особенно въ Іерусалимъ, начались у насъ вскорѣ по введеніи христіанства. Соприженныя съ большими трудностями и опасностями, они почитались подвигомъ особеннаго благочестія, сильнѣйшей религіозной ревности. Первымъ русскимъ паломникомъ былъ игуменъ печерскій Варлаамъ, посѣтившій Іерусалимъ около 1062 г. Паломниками (пальмоносцами) назывались въ средніе вѣка всѣ богомольцы, бывшіе въ св. городѣ и возвращавшіеся оттуда съ пальмовыми вѣтвями, съ которыми слушали въ церкви Гроба Господня заутреню въ Вербное воскресенье. Въ княженіе вел. кн. Святослава Изяславича (1093—1113), послѣ перваго Крестоваго похода, совершилъ такое хожденіе въ Іерусалимъ игуменъ Даниилъ, какъ полагаютъ, изъ Черниговской обители. Балдуинъ, бывшій въ то время королемъ іерусалимскимъ, не только обошелся съ нимъ ласково, но и покровительствовалъ ему какъ въ самомъ Іерусалимѣ, при обзорѣ достопримѣчательностей, такъ и въ хожденіи по Галилеѣ, дозволивъ ему воспользоваться походомъ крестоносцевъ въ Дамаскъ (1115). Все время пребыванія Даниила въ Палестинѣ продолжалось болѣе двухъ лѣтъ. Описаніе путешествія называется различно: „Паломникъ“, „Книга глаголемая странникъ“, „Хожденіе Даниила, русскія земля игумена“. Разсказъ начинается съ отплытія изъ Царграда; о пути до этого города изъ Чернигова не говорится. „Хожденіе“, по словамъ Даниила, написано ради тѣхъ, которые, „услышавъ о св. мѣстахъ, потщатся къ нимъ душою и мыслію и за то получаютъ равную мзду съ ходившими туда“. Описаніе святии и мѣстностей страны подробно и обстоятельно; вѣрность его засвидѣтельствована позднѣйшими нашими путешественниками. Нѣкоторыя неправильныя географическія названія и другія несообразности объясняются невѣжествомъ переписчиковъ. Правдивость Даниила, соотвѣтствовавшая его искреннему христіанскому чувству и благо-

говѣнію къ мѣстамъ, освященнымъ жизнію Спасителя, принадлежить къ несомнѣннымъ качествамъ его описанія, на ряду съ наивностью и сильною любовью къ отечеству. Въ статьѣ: „О свѣтѣ святѣмъ, како сходитъ съ небесе ко гробу Господню“, паломникъ съ чувствомъ дѣтской простоты и радости, но вмѣстѣ съ глубокимъ чувствомъ патріота рассказываетъ, какъ онъ, получивъ дозволеніе поставить кадило на гробѣ Господнемъ, пошелъ на торгъ, купилъ „большое стеклянное“ кадило, налилъ его деревяннымъ масломъ „чистымъ, безъ воды“, и поставилъ въ ногахъ гроба—за всѣхъ князей русскихъ, за всю русскую землю, за всѣхъ христіанъ русской земли. „Никогда я не забывалъ ихъ, но всегда поминалъ въ молитвахъ“, говоритъ онъ въ заключеніи. Черта простодушія видна въ сопоставленіи православныхъ съ латинянами: онъ выражаетъ какое-то дѣтское удовольствіе, что кадила греческое, монастыря св. Саввы, и его собственное, стоявшія на гробѣ, зажглись, а изъ кадилъ фряжскихъ, повѣшенныхъ горѣ (надъ гробомъ), не возгорѣлось ни единого. Не безъ насмѣшки также противопоставляетъ онъ пѣнье православныхъ „верещанію“ (визжанію) латинянъ.

За неимѣніемъ общихъ руководствъ для воспитанія, необходимы были руководства частныя, въ которыхъ излагались бы всестороннія обязанности человѣка. Отсюда явились поученія родителей дѣтямъ, содержащія въ себѣ совѣты касательно устройства жизни и потому имѣвшія значеніе житейскихъ уставовъ. Первымъ образцомъ ихъ служить „Почуеніе Владиміра Мономаха“, самаго доблестнаго и образованнаго князя древней Руси. Поводъ къ написанію его былъ слѣдующій: по окончаніи усобицы съ Давидомъ Игоревичемъ на Витичевскомъ съѣздѣ, Мономахъ поѣхалъ въ Ростовскую область; на Волгѣ встрѣтило его посольство отъ братьевъ съ приглашеніемъ идти на Ростиславичей Галицкихъ, которые не хотѣли исполнять общаго княжескаго приговора: „ступай скорѣе къ намъ,—велѣли ему сказать братья,—выгонимъ Ростиславичей и отнимемъ у нихъ волость“. Мономахъ велѣлъ отвѣчать: „я не могу съ вами идти и преступить крестное цѣлованье“. Отпустивъ пословъ, онъ въ горести разогнулъ Псалтирь, и ему попалось такое мѣсто: „вскую печалуеше, душе? вскую смущаеши мя?“ (41, 6). Успокоенный этими словами, Мономахъ рѣшился написать сыновьямъ своимъ поученіе, выразивъ въ немъ ту самую мысль, какая содержится въ открывшемся ему псалмѣ, а именно, что человѣкъ всегда долженъ идти путемъ правымъ и во всемъ полагаться на одного Бога, который не дастъ погибнуть творящему Его волю. Несмотря на малый объемъ свой, „Почуеніе“ представляетъ три части. Первая часть излагаетъ обязанности религіозныя: „научися,

человѣкъ, быть благочестивымъ дѣлательмъ; научись, по евангельскому слову, управленію очами, удержанію языка, смиренію ума, порабоженію тѣла, погубленію гнѣва, чистымъ помысламъ; лишають тебя чего-нибудь—не мсти, ненавидѣть или гонѣть—терпи, хулять—молись за хулителей. Грѣхи изымаются тремя добрыми дѣлами: покаяніемъ, слезами и милостыней. Каждоюшню, по возможности, творите земные поклонны: ими побѣждается дьяволъ и замаливаются денные грѣхи. Если другихъ молитвъ не знаете, кромѣ „Господи помилуй“, то непрестанно повторяйте ее втайнѣ: эта молитва лучше всѣхъ“. Вторая часть даетъ наставленія касательно обязанностей князя. Здѣсь въ особенности обнаруживаются доблестныя качества Мономаха, который и въ сыновьяхъ своихъ желать видѣть такихъ же разумныхъ и заботливыхъ правителей, какимъ онъ былъ самъ. „Паче всего,—говоритъ онъ,—не забывайте убогихъ, но сколько можете, по силѣ кормите ихъ, сиротѣ подавайте больше другихъ, вдовѣ оправдывайте сами, не дозволяйте сильнымъ погубить человѣка. Ни праваго, ни виноватаго не убивайте, не приказывайте убивать... Когда придется вамъ крестъ цѣловать къ братьѣ, то цѣлуйте подумавши, можете ли сдержать клятву; но, давъ крестное цѣлованье, берегитесь, чтобы не погубить души своей... Въ домѣ своемъ за всѣмъ присматривайте сами: не надѣйтесь ни на тиуна, ни на отрока, чтобы гости не посмѣялись ни дому, ни обѣду вашему. Вышедши на войну, не надѣйтесь на воеводъ: стражу сами наряжайте, распорядившись, ложитесь спать, но оружія не снимайте съ себя... Если случится ѣхать куда по своимъ владѣніямъ, не давайте отрокамъ обижать жителей—ни своихъ, ни чужихъ, ни въ селахъ, ни на поляхъ, чтобы послѣ не проклинали васъ“. Самъ проведши всю жизнь въ трудахъ и зная слабость русскаго человѣка относиться къ дѣлу съ небрежностью, Владиміръ особенно увѣщаетъ дѣтей своихъ не лѣниться. Нѣсколько разъ повторяетъ онъ этотъ совѣтъ, сознавая важность его исполненія: *не лѣнитесь* молиться, *не лѣнитесь* вставать рано, *не лѣнитесь* на войнѣ, *не лѣнитесь* приобрѣтать знанія: „что умѣете, того не забывайте, а чего не умѣете, тому не лѣнитесь; лѣньность всему (недоброму) мать: лѣнивый забываетъ, что знаетъ, а чего не знаетъ, тому не учится“. Въ послѣдней части Мономахъ въ примѣръ дѣятельной жизни приводитъ свою собственную, подробно исчисляя понесенные имъ труды на войнѣ и на охотѣ. Цѣль ея показать, что единственно по волѣ Божіей князь избѣгнулъ опасностей, которымъ такъ часто подвергался. Такъ и вамъ, заключаетъ онъ, никто не причинитъ вреда и смерти, если не будетъ то повелѣно отъ Бога; а если Богъ предназначитъ смерть, то ни отецъ,



ни мать, ни братья не отведутъ ее: *Божіе блюденіе лучше человѣческаго*. Это заключеніе сводитъ начало поученія съ концомъ въ одно цѣлое, т.-е. выражаетъ мысль о преданности Богу, лежащую въ основѣ „Поученія“ и проведенную по всѣмъ частямъ его. Важное по указанію идеальныхъ требованій отъ князя, какъ христіанина и властителя, „Поученіе“ любопытно еще въ томъ отношеніи, что даетъ знать объ образѣ жизни тогдашнихъ князей, а частію и объ общерусскомъ бытѣ въ XII в., потому что, несмотря на сословныя различія, жизнь всѣхъ и каждого текла тогда болѣе ровнымъ, одинаковымъ потокомъ.

Важнѣйшій литературный памятникъ XII в есть „Слово о полку Игоревѣ“, т.-е. поэтическое сказаніе о походѣ новгородъ-сѣверскаго князя Игоря, сына Святослава Ольговича, противъ половцевъ въ 1185 г. Отказавшись отъ участія въ походѣ предыдущаго (1184) года, предпринятомъ южно-русскими князьями, подъ начальствомъ кіевскаго князя Святослава Всеволодовича, и кончившемся пораженіемъ кочевниковъ на берегахъ Угла, или Орели, Игорь захотѣлъ самъ прославиться побѣдой и съ другими сѣверскими князьями: братомъ своимъ Всеволодомъ курскимъ, сыномъ Владиміромъ путивльскимъ и племянникомъ Святославомъ рыльскимъ, собралъ войско и отправился къ Дону. Здѣсь встрѣтили его половцы. Въ первой битвѣ съ ними русскіе одержали верхъ, но потомъ, отрѣзанные отъ воды и окруженные сильными толпами, потерпѣли рѣшительное пораженіе. Князья были взяты въ плѣнъ, изъ котораго Игорь, при помощи своего конюшаго, бѣжалъ въ Россію, а Владиміръ женился на дочери половецкаго хана Копчака и черезъ два года также воротился въ отечество вмѣстѣ съ Всеволодомъ.

Такъ разсказано событіе въ лѣтописи и согласно съ лѣтописнымъ разсказомъ передано „Словомъ“ которое можетъ быть раздѣлено на три части: въ первой, послѣ приступа, повѣствуется о походѣ сѣверскихъ князей и о пораженіи ихъ половцами; воспоминаніе о побѣдѣ Святослава Всеволодовича падъ тѣми же врагами служить переходомъ ко второй части, которая начинается спомъ этого князя и содержитъ въ себѣ воспоминаніе о прежнихъ князьяхъ и приглашеніе современныхъ Игорю князей вступить за землю русскую; третью часть составляютъ плачъ второй Игоревой жены Ярославны (Евфросиніи, дочери Ярослава Владиміровича Галицкаго), разсказъ о бѣгствѣ Игоря изъ плѣна и заключеніе.

Но, передавая событіе согласно съ лѣтописью, „Слово“ не столько, однакожъ, занято описаніемъ подробностей похода, сколько

выраженіемъ горькихъ чувствъ и думъ о бѣдственномъ состояніи родной земли, вызванныхъ этимъ походомъ. Пѣвецъ негодуешь на княжескія усобицы, причинившія гибель русскихъ силъ, умоляетъ современныхъ князей вступить за обиду сего времени, скорбятъ о бѣдствіяхъ Игоря, воспоминаетъ о славныхъ подвигахъ его предковъ. Кѣмъ именно написано „Слово“, неизвѣстно. Но нѣтъ сомнѣній, что авторъ его былъ человѣкъ очень начитанный и образованный, одаренный сильнымъ поэтическимъ талантомъ и проникнутый глубокимъ патріотическимъ чувствомъ. Онъ знаетъ всѣхъ современныхъ ему князей, понимаетъ отношеніе къ нимъ бояръ и дружинниковъ, и хорошо знакомъ со степью и ея отношеніями къ Руси. Все это заставляетъ видѣть въ немъ участника въ событіи и притомъ человѣка близкаго къ дружино-бойрской средѣ; а живое сочувствіе къ судьбѣ Игоря, проникающее въ части „Слова“, ведетъ къ заключенію, что авторъ находился именно въ дружинѣ черниговекаго князя. Его пѣнь служить отголоскомъ думъ и ощущеній лучшихъ тогдашнихъ людей, принадлежать къ кругу дружинныхъ словесъ, короче: есть памятникъ дружинной поэзіи, которая изображала подвиги князей и сказывалась или пѣлась пѣвцами при дворахъ кіевской Руси. Однимъ изъ такихъ пѣснотворцевъ былъ Боянъ, жившій въ XI в. и славившій Яро-слава, брата его Мстислава (именно его единоборство съ Реджею) и Романа Святославича. Авторъ „Слова“ называетъ его „вѣщимъ“ (вѣдущимъ), по силѣ его вдохновенія и краснорѣчія, „внукомъ Велеса“, по силѣ поэтического дара, такъ какъ Велесъ былъ богъ изобилія и богатства, не только вещественнаго, но и духовнаго, къ которому относится и творческая способность. О поэтическомъ искусствѣ Бояна „Слово“ отзывается такимъ образомъ: „Когда онъ пѣлъ, то растекался мыслию по древу, сѣрымъ волкомъ по землѣ, сизымъ орломъ подъ облаками“, т.-е. пѣнь его отличалась широкимъ размахомъ и возвышеннымъ тономъ.

Идея „Слова о полку Игоревѣ“ есть идея единства русской земли. Представителемъ ея пѣвецъ дѣлаетъ кіевского князя Свято-слава, влагая ему въ уста воззванія къ князьямъ южной и сѣвер-пой Руси о заступничествѣ за землю русскую и называя это воз-званіе золотымъ словомъ, смѣшаннымъ со слезами. Всѣ усобицы, по свидѣтельству „Слова“ произошли оттого, что князья забыли эту великую идею и стали водиться самолюбивыми цѣлями, говоря, *се мое, а то мое же*; вмѣсто того, чтобы союзными силами отра-жать степныхъ кочевниковъ, разорителей поселянъ, враговъ хри-стіанской вѣры, они ковали другъ противъ друга крामолы, а съ врагами не только знакомились, но иногда оказывали имъ пріизнъ:

даже вступали съ ними въ родственныя связи. Въ „Словѣ“, съ одной стороны, видимъ походъ противъ половцевъ, отъ которыхъ терпять Черниговъ и Кіевъ, а съ другой—пораженіе Игоря оканчивается тѣмъ, что сынъ его женится на дочери половецкаго хана. Понятно, отчего въ изображеніи похода пѣвецъ-патріотъ выражаетъ тоску по русской землѣ и сѣтованіе на княжескую рознь. Историческая сторона „Слова“ не ограничивается однимъ согласіемъ его повѣствованія съ лѣтописнымъ рассказомъ: главнѣйшимъ образомъ она состоитъ въ вѣрномъ представленіи думъ, чувствъ и политическихъ стремленій дружинно-боярской кievской Руси, которымъ не отвѣчала горькая дѣйствительность.

Художественная сторона „Слова“ важна не менѣе исторической. Въ приступѣ авторъ обращается къ слушателямъ: „Не хорошо ли было бы намъ, братья, начать пѣснь о походѣ Игоря *старыми словами* (рассказами)? Начаться той пѣсни *по былинамъ сего времени, а не по замышленію Бояна*“. Отсюда видно, что старыя словеса и Бояновы замышленія (поэтическіе вымыслы) противоплагаются былинамъ сего времени, т.-е. современнымъ историческимъ повѣствованіямъ. Первые, выходившія также изъ дружинно-боярской среды, относятся къ прежней кievской эпохѣ (XI в.) и отличаются поэтическимъ замышленіемъ, представителемъ котораго былъ Боянъ; вторыя принадлежатъ къ дружиннымъ словесамъ XII-го вѣка, когда поэзія вымысла уступила свое мѣсто поэзіи исторической дѣйствительности. „Слово о полку Игоревѣ“ и есть памятникъ этой послѣдней поэзіи. Несмотря, однакожъ, на заявленіе автора, что онъ будетъ воспѣвать только быль, пѣснь его основана на Бояновомъ замышленіи, которымъ онъ невольнo увлекся. Это замышленіе сообщило „Слову“ поэтическую красоту и выразилось въ элементѣ миеологическомъ, хотя отсюда вовсе не слѣдуетъ предполагать въ авторѣ живую вѣру въ боговъ: онъ былъ христіанинъ и въ своемъ сочиненіи говоритъ о звонѣ церковномъ, о заутренѣ, о храмѣ Богородицы Пирогощей въ Кіевѣ. Элементъ миеологическій служитъ только художественными образами, съ которыми еще и въ эпоху Игоря связывались, по преданію, опредѣленныя представленія и которые поэтому не потеряли къ себѣ сочувствія. Походъ открывается вѣщимъ знаменіемъ—затмѣніемъ солнца, которое изображено въ видѣ живаго существа, загораживающаго дорогу Игорю: „солнце ему тьмою путь застигло“. Но Игорь идетъ вопреки знаменію, предвѣщающему гибель. Наступаетъ грозная ночь, приводящая въ трепетъ звѣрей и птицъ. На вершинѣ дерева является страшилище Дивъ и сзываетъ поганую силу. Вѣтры, Стрибоговы внуки, навѣвають на русское



войско смертоносныя стрѣлы. Причина крамоль и усобицъ — Дѣва-обида лебединымъ крыломъ плещеть на синемъ морѣ. Самый слухъ о несчастіи Игоря представленъ въ образѣ вѣщаго Святослава сына. Въ такомъ же отношеніи къ предзнаменованіямъ стоить и прекрасный плачъ Ярославны—эта заклинательная мольба о спасеніи любимого и дорогого существа: „Полечу кукушкой по Дунаю, омочу бобровый рукавъ въ Каялъ рѣкъ, оботру кровавыя раны князя на его мужественномъ тѣлѣ. О вѣтеръ, вѣтеръ! зачѣмъ такъ сильно вѣешь? Зачѣмъ на своихъ легкихъ крыльяхъ мчишь ханскія стрѣлы на воиновъ моего друга? развѣ мало тебѣ вѣять подъ облаками, лелѣя корабли на синемъ морѣ? зачѣмъ ты развѣялъ мое веселье по ковылю? О славный Дидѣпръ! ты пробилъ каменныя горы сквозь половецкую землю, ты лелѣялъ на себѣ Святославовы ладьи до стана Кобякова: взлелѣй ко мнѣ моего друга, чтобы я не слала ему слезъ на море. Свѣтлое, пресвѣтлое солнце! для всѣхъ ты тепло и красно: зачѣмъ же льешь горячіе лучи свои на воиновъ моего друга? зачѣмъ въ безводномъ полѣ связало ихъ луки жаждою, заткало ихъ колчаны тоскою?“ Сила эпическаго созерцанія сообщаетъ теплоту и жизненность всѣмъ образамъ, взятымъ изъ природы, каковы, напримѣръ: „никнетъ трава отъ жалости“, „идутъ сморцы (смерчи) мглами“, „рѣки текутъ мутно“, „пыль поля покрываетъ“. Вся природа является какъ бы одушевленнымъ лицомъ, полнымъ сочувствія къ человѣку: Она угрожаетъ предвѣстіемъ и она же отзывается на радость. Много картинъ южной Руси: стадо вороновъ, галокъ и лебедей, орлы и соколы, чайки и гоголи, дятлы и соколы проносятся по степямъ; трава зашумѣла, когда двинулись шатры половецкіе; земля тутнетъ (стучитъ) — выраженіе, созданное поэтомъ, который часто прислушивался къ гулу степи; тѣлѣги скрипятъ въ полночи, какъ лебеди распуганные—черта, снятая со степей малорусскихъ, гдѣ и теперь еще скрипятъ обозы чумаковъ.

„Слово о полку Игоревѣ“ есть произведеніе оригинальное, имѣющее важное значеніе какъ въ историческомъ отношеніи по своей идее и патріотическому чувству, такъ и въ отношеніи поэтическомъ по силѣ представленія и задушевному лиризму. Оно сложилось по „былинамъ своего времени“ съ употребленіемъ пріемовъ и образовъ народной поэзіи, отъ которой не отличается своимъ эпическимъ складомъ. Въмѣстѣ съ этимъ „Слово“ отражаетъ на себѣ и вліяніе тогдашней византійско-славянской литературы, такъ что въ немъ встрѣчаются нѣкоторые образы и выраженія книжнаго характера, какъ осадокъ начитанности и литературнаго знакомства, которыми и пользовался авторъ при созданіи своей прекрасной повѣсти

§ 25. Къ XIII-му вѣку, до нашествія татаръ, относятся посланія владимірскаго епископа Симона къ кіевопечерскому иноку Поликарпу и Поликарпа къ кіевопечерскому архимандриту Акиндину.

Посланіе Симона написано съ цѣлью дать наставленія молодому иноку, который увлекался любочестіемъ и происходившимъ отсюда безпокойствомъ, несогласнымъ съ духомъ христіанскаго смиренія. Вступивъ въ монастырь въ юныхъ лѣтахъ и чувствуя свое превосходство предъ братіей по уму и правдивности, Поликарпъ началъ высоко цѣнить себя, негодовалъ на малое уваженіе, ему оказываемое, и стремился къ высшимъ іерархическимъ степенямъ. Въ письмѣ къ Симону онъ выразилъ свои огорченія и досады. Симонъ отвѣчалъ ему поучительнымъ посланіемъ, къ которому присоединилъ житія нѣкоторыхъ печерскихъ угодниковъ, какъ примѣры иноческаго самоотреченія. Это посланіе достигло своей цѣли. Поликарпъ остался въ Печерскомъ монастырѣ простымъ черноризцемъ, началъ повиноваться настоятелю своему Акиндину, которымъ прежде былъ недоволенъ, и, по его желанію, въ посланіи къ нему, описалъ житія другихъ печерскихъ угодниковъ, какъ онъ слышалъ ихъ отъ Симона, у котораго жилъ нѣкоторое время во Владимірѣ.

Посланія Симона и Поликарпа, вмѣстѣ съ сказаніемъ Несторовой лѣтописи о первыхъ кіевопечерскихъ инокахъ, послужили основаніемъ „Патерику“ (отечнику) печерскому, т.-е. сборнику житій иноковъ, прославившихся своими подвигами въ Печерской обители. Къ этимъ основнымъ статьямъ впоследствии присоединены многія статьи дополнительныя, изъ которыхъ одиѣ стоятъ съ ними въ близкой связи (напр. сказаніе о началѣ Печерскаго монастыря и о преподобномъ Антоніи, житіе Θεодосія и пр.), а другія говорятъ о предметахъ и событіяхъ, имѣющихъ только побочное отношеніе къ начальному тексту Патерика (напр. о крещеніи славянъ, о переводѣ св. Писанія на славянскій языкъ и т. п.).

Житія святыхъ принадлежатъ къ древнѣйшимъ литературнымъ памятникамъ и были любимымъ чтеніемъ нашихъ предковъ. Монахъ Іаковъ (XI или XII в.) написалъ житіе св. Владиміра; Несторъ — житіе преподобнаго Θεодосія; житіе Антонія Рямлянина, написанное ученикомъ его Андреемъ, явилось, вѣроятно, въ XII в., къ тому же вѣку относятся житія ростовскихъ чудотворцевъ, Леонтія и Исаи; въ первой четверти XIII в. составлено житіе Авраамія Смоленскаго. Каждое житіе представляетъ два элемента: историческій и литературный. Въ первомъ отношеніи оно служитъ источникомъ для исторіи, т.-е. сообщаетъ свѣдѣнія о лицахъ и событіяхъ, о народномъ и общественномъ бытѣ. Святой, подвиги котораго

описываются въ житіи, дѣйствовали въ извѣстное время и въ извѣстныхъ мѣстахъ. Его пребываніе въ родительскомъ домѣ, отношеніе къ окружающей средѣ, семейной и общественной, отреченіе отъ міра, жизнь въ монастырѣ, странствія, обращеніе съ людьми, имѣвшими въ немъ нужду... все это характеризуетъ и событія, при немъ происходившія, и лицъ, съ нимъ сносившихся, и умственно-нравственное состояніе, въ то время господствовавшее. Кромѣ того во многихъ житіяхъ встрѣчаются, хотя и отрывочно, географическія свѣдѣнія, важныя для исторіи колонизаціи тѣхъ мѣстностей, которыя оставались незаселенными до прихода въ нихъ пустынножителей. Литературный элементъ житій заключается въ ихъ формѣ, въ характерѣ изложенія. Эта форма мѣнялась съ теченіемъ времени, и ея послѣдовательныя измѣненія образуютъ различныя литературныя эпохи, пережитыя житіями въ ихъ развитіи. Первая эпоха—первоначальный типъ житія, имѣющій характеръ записи или „памяти“, въ которой главныя біографическія черты сопровождаются прославленіемъ святаго; таковы древнѣйшіе памятники сѣверно-русскихъ житій святыхъ XII—XIV в. (Леонтія и Игнатія Ростовскихъ, Варлаама Хутынского, митрополита Петра). Ко второй эпохѣ относятся труды митрополита Кипріана и инока Елифанія (XIV—XV в.): составленіе житій принимаетъ искусственное направленіе; рассказъ пишется витіеватымъ стилемъ, что Елифаній обозначаетъ именованіемъ „плетенія словесъ“, украшается вводными разсужденіями и заканчивается также витіеватымъ похвальнымъ словомъ святому; образцы такого направленія видны въ житіи митрополита Петра, при составленіи котораго Кипріанъ пользовался прежней, кратко и просто написанной біографіей этого святаго, и особенно въ житіяхъ Стефана Пермскаго и Сергія Радонежскаго, принадлежащихъ перу Елифанія. Третья эпоха—дѣятельность Пахомія Логовета, родомъ серба, пришедшаго къ намъ съ Аѳонской горы (XV в.). Стилистической переработкой прежняго матеріала, въ чемъ заключается его литературное значеніе, онъ прочно установилъ постоянныя, однообразныя приемы для жизнеописанія святаго и для его прославленія въ церкви. Четвертая эпоха (XVI в.) ознаменовалась двумя событіями: канонизаціей русскихъ святыхъ на соборахъ 1547 и 1549 гг. и Макарьевскими четкими-минееями (въ 12-ти книгахъ), которыми еще болѣе утвердилось господство установившихся литературныхъ формъ житія.

## Б. Отъ нашествія татаръ до XVI в.

§ 26. Съ нашествіемъ татаръ книжное образованіе на Руси не пало, но шло впередъ и распространялось, только не въ возно-



русской области, разоренной и опустошенной, а на сѣверо-востокѣ. Здѣсь началось мѣстное, областное развитіе русской жизни и литературы, которая преимущественно состояла въ лѣтописномъ повѣствованіи, историческихъ сказаніяхъ, житіяхъ святыхъ и посланіяхъ. Въ исторіи этого развитія, кромѣ Новгорода и Пскова, выступаютъ другіе, старые и новые, города: Ростовъ, Ярославль, Муромъ, Владиміръ, Переяславль, Тверь, Рязань. Что касается до Москвы, то въ ней начинается возникать литература только съ XV в.; до этого же времени она не могла равняться съ указанными городами по книжному образованію, хотя постепенно возвышалась въ политическомъ значеніи.

§ 27. Къ литературнымъ памятникамъ XIII в., по нашествіи татаръ, прежде всего относятся Поученія владимірскаго епископа Серапіона и такъ называемое „Слово“ или „Моленіе“ Даниіла Заточника.

Поченія Серапіона замѣчательны и по содержанію и по языку, хотя простому, чуждому витійства, но убѣдительному. Пастырь скорбитъ въ нихъ о бѣдствіяхъ отечества и въ то же время о грѣхахъ паствы, которыми навлечены эти бѣдствія, какъ Божіе наказаніе. Слово „о знаменіяхъ“, указавъ на затменія солнца и луны, на голодъ, землетрясенія и нашествіе татаръ, исчисляетъ современныя грѣхи русскаго народа: неправедный судъ, рѣзоимство (ростовщичество), грабительство, воровство, разбой, ложь, клевету. Въ заключеніи проповѣдникъ умоляетъ слушателей отступиться отъ грѣховной жизни и слѣдовать во всемъ волѣ Божіей. Особенно сильныя черты, въ характеристикѣ беззаконій, принадлежать слову „о мятежи житія сего“: люди отнимаютъ другъ у друга имущество и землю; порабащаютъ и продаютъ свободныхъ сиротъ; дѣти безчестятъ родителей, отцы отрекаются отъ дѣтей, а мужья отъ женъ; богатые, вмѣсто того, чтобъ удѣлять отъ избытка бѣднымъ сами отнимаютъ у бѣдныхъ; правители вмѣсто того, чтобы защищать обижаемыхъ, сами обижаютъ и, ради мздоимства, осуждаютъ правого. Въ числѣ явленій грѣховной жизни, Серапіонъ обличаетъ и остатки языческихъ обычаевъ. Одно изъ словъ направлено противъ суевѣровъ, которые, думая, что голодъ напускается волхвами, сожигали невинныхъ по навѣту или подозрѣнію въ волхованіи „Какимъ образомъ, — спрашиваетъ Серапіонъ, — присуждаете вы къ смерти, будучи сами исполнены страстей и судя не по правдѣ?.. Божественное правило повелѣваетъ осуждать человѣка по показаніямъ многихъ законныхъ свидѣтелей. Вы же свидѣтельствомъ ставите воду и говорите: если начнетъ тонуть, то невиненъ; если же поплыветъ, то—волхвъ. Не можетъ ли

дьяволъ, видя ваше маловѣріе, не дать человѣку погрузиться и тѣмъ вовлечь васъ въ душегубство, такъ какъ вы, оставивъ свидѣтельство Богомъ сотвореннаго человѣка, обратились за свидѣтельствомъ къ бездушному естеству—водѣ?“.

„Слово или моленіе Даниїла Заточника“ написано на озерѣ Лачѣ (Олонецкой губ.), куда былъ заточенъ авторъ, неизвѣстно за какую вину. По одной изъ двухъ его редакцій, оно адресовано, какъ полагаютъ, къ Юрію Владиміровичу Долгорукому, сыну Владиміра Мономаха, по другой—къ Ярославу Всеволодовичу Переяславскому, бывшему потомъ великимъ княземъ владимірскимъ († 1247). Хотя имя Даниїла и мѣсто его ссылки упоминается въ лѣтописяхъ, однакожъ трудно рѣшить, то ли это самое лицо, которому принадлежитъ „Моленіе“. Цѣль „Моленія“ — умиловити разгнѣваннаго князя и получить отъ него прощеніе. Достигъ ли Даниїлъ своей цѣли—также остается неизвѣстнымъ; ибо разсказъ о томъ, какъ дошло посланіе къ князю, есть видимо прибавка позднѣйшимъ писцомъ, заимствованная изъ сказанія о Поликратовомъ перстнѣ. Въ „Моленіи“ есть нѣсколько указаній на личность автора: онъ подданный переяславскаго князя и сынъ его рабыни; Переяславль называетъ своимъ городомъ; возрастомъ юнъ; посланіе писалъ во время монгольскаго нашествія; о начитанности своей говоритъ, что онъ собиралъ съ книгъ словесную сладость. Что же касается до званія автора, то всего правдоподобнѣе видѣть въ немъ дружинника или, точнѣе, члена младшей дружины переяславскаго князя.

По составу своему, „Моленіе“ есть сборникъ статей о разныхъ предметахъ, не имѣющихъ между собою внутренней связи: объ умѣ и глупости, о богатствѣ и бѣдности, о добрыхъ и строптивыхъ господахъ, о добрыхъ и злыхъ женахъ, и пр. Нѣкоторые думаютъ, что статьи, выбранныя авторомъ, имѣютъ отношеніе къ его собственному положенію, но такое предположеніе не имѣетъ за собою рѣшительныхъ доказательствъ. Одно несомнѣнно, что въ содержаніи статей встрѣчаются указанія на современныя обстоятельства: княжескія усобицы и различіе между добрыми и злыми совѣтниками князя („съ добрымъ думцей князь додумается высокаго стола, а съ лихимъ думцей и малаго стола лишится“), бѣдствія татарскаго ига („не дай, Господи, земли нашей въ полонъ языкамъ, не знающимъ Бога“), сильныя выходки противъ бояръ, тиуновъ и монаховъ за ихъ отступленіе отъ правилъ иноческой жизни („лучше мнѣ видѣть свою ногу въ лапѣ, но въ твоемъ, князь, дому, нежели въ красномъ сапогѣ въ боирскомъ дворѣ“).

„княжаго тіуна бонется несчастный, какъ огня, а рядовичей <sup>1)</sup> его, какъ искръ“, „лучше мнѣ такъ окончить жизнь свою, нежели, принявъ ангельскій образъ, солгать Богу“). Каждая часть „Моленія“ содержитъ въ себѣ изреченія, имѣющія форму притчъ, т.-е. пословицъ. Эти притчи двоякаго рода: одиѣ заимствованы изъ источниковъ письменныхъ, другія, мірскія, изъ народныхъ пословицъ. Письменными источниками служили библейскія книги (Притчи Соломона. Книга премудрости Іисуса сына Сирахова), но преимущественно сборникъ „Пчела“. Въ нѣкоторыхъ притчахъ „Моленія“ встрѣчается игра словъ: „кому ти есть Переславль, а мнѣ Гореславль“, „кому Лачъ озеро, а мнѣ, на немъ сѣдя, плачь горькій“. Кромѣ того, по мѣстамъ пробивается юморъ, какъ чувство такого человѣка, который не только не падаетъ въ бѣдѣ духомъ, но еще ставитъ ее предметомъ своей шутки или осмѣянія. И по содержанию, и по формѣ „Моленіе“ занимаетъ видное мѣсто въ ряду древне-русскихъ литературныхъ памятниковъ, чѣмъ объясняется его успѣхъ, доказываемый числомъ его списковъ.

Важныя событія въ жизни народной и подвиги знаменитыхъ князей служили предметомъ особыхъ „историческихъ сказаній“. По своему значенію они требовали соотвѣтственной ему высшей формы изложенія, и потому повѣствователь не довольствовался простою, ровною и спокойною рѣчью лѣтописца, а замѣнялъ ее искусственною, украшенною, пользуясь, при представленіи лицъ и событій, пособиями риторики. Нѣкоторыя изъ этихъ украшенныхъ сказаній относятся къ XIII вѣку: „о житіи и храбрости Александра Невского“, „о Довмонтѣ Псковскомъ“, „убіеніе Михаила черниговскаго и боюрина его Феодора въ ордѣ отъ Батыя“. Въ XVI вѣкѣ число ихъ умножается, и главнымъ предметомъ ихъ становится борьба Руси съ татарами; таковы: „убіеніе Михаила Тверскаго въ ордѣ“, „о Мамаевомъ побоищѣ“, „о взятіи и разореніи Москвы Тохтамышемъ“, „о житіи и преставленіи Дмитрія Донскаго“ и др. Болѣе замѣчательное изъ нихъ о Куликовской битвѣ, составленное рязанскимъ священникомъ Софоніемъ, дошло до насъ въ двухъ редакціяхъ: одна, подъ именемъ „Повѣданія о нахожденіи Мамаѣ“ или „Сказанія о Мамаевомъ побоищѣ“, носитъ на себѣ характеръ книжной рѣчи, украшенной риторическими выраженіями; другая, подъ именемъ „Задонщины“, отличается болѣе народнымъ и поэтическимъ складомъ. Обѣ редакціи сходны съ „Словомъ о полку Игоревѣ“, которое, видимо, служило имъ образцомъ. „Задонщина“ приглашаетъ сыновъ русскихъ „провозгласить

1) Простыхъ, нечиновныхъ людей.



пораженіе Мамая и воздать похвалу Дмитрію Ивановичу и брату его Владимиру Андреевичу“. На ряду съ вѣщимъ Бояномъ, авторъ вспоминаетъ рязанца Софонія, сказаніемъ котораго, а равно и другими книжными источниками, онъ пользовался. „Лучше бы намъ, братія“, говоритъ онъ, „повѣдавъ хвалу великому князю словесами, отличными отъ похвальныхъ или былинныхъ повѣстей, — повѣдать по дѣламъ и былинамъ“. Затѣмъ слѣдуютъ обращенія къ жаворонку—утѣхѣ въ красные дни—и къ соловью. Сборы князей, рѣчи ихъ другъ къ другу, знаменія, предвѣщающія кровавое побоище, наступленіе татаръ, плачь боярынь въ Москвѣ по своимъ мужьямъ... все это подражаніе „Слову“. Такъ жена одного боярина, Марья, взываетъ къ Богу: „Доне, Доне, быстрый Доне, прошель еси землю половецкую, пробилъ еси берега харалужные (булатные): прилеждь моего Микулу Васильевича“.

Поклоненіе святымъ мѣстамъ было преимущественною цѣлью древнерусскихъ странниковъ; но, кромѣ того, совершались путешествія и въ другія заграничныя страны по особеннымъ поводамъ и побужденіямъ. Въ этомъ родѣ, отъ XV вѣка, мы имѣемъ Путешествія суздальскаго іеромонаха Симеона, суздальскаго епископа Авраамія и тверскаго купца Афанасія Никитина.

Симеонъ состоялъ при Аврааміи, который, въ 1437 г., отправился на Флорентійскій соборъ съ митрополитомъ Исидоромъ. Въ путевыхъ запискахъ своихъ онъ рассказываетъ о примѣчательностяхъ нѣмецкихъ и итальянскихъ городовъ. Особенно понравилась ему Флоренція „славный и прекрасный городъ“. Онъ часто отмѣчаетъ различіе между чужеземнымъ и своимъ. Такъ онъ говоритъ, что у насъ нѣтъ такихъ городовъ, какъ городъ Юрьевъ (Дерпт)—большой и каменный; что шитье на ризахъ въ Любекскомъ монастырѣ иное, чѣмъ у насъ; что божницы въ Аугсбургѣ писаны „вельми хитро, не яко у насъ“, и т. п. Въ Люнебургѣ Симеонъ восхитился хитрыми водопроводами; воды, сладкія и студеныя, истекаютъ изъ человѣческихъ фигуръ, стоящихъ среди города—у кого изъ устъ, у кого изъ уха, изъ oka, изъ локти, изъ ноздрей. Въ одномъ монастырѣ видѣлъ онъ мудрость „недоумѣнную и несказанную“: какъ живая, стоятъ Пречистая и держитъ въ рукѣ Младенца-Спаса; и вотъ, по звону колокольчика, слетаетъ ангелъ сверху и кладетъ на Пречистую вѣнецъ; потомъ звѣзда пойдетъ по небу; взирая на нее, идутъ три волхва, а предъ ними человѣкъ съ мечемъ, а за нимъ человѣкъ съ дарами. И принесли дары Христу: золото, ливанъ и емиру, и поклонились Христу и Богородицѣ. Христосъ, обратясь, благословилъ и хотѣлъ взять дары, какъ дитя, играя у Богородицы на рукахъ; волхвы

поклонились и отдали, а ангель взлетѣлъ горѣ, взявъ съ собою вѣнецъ. Понравилась также Симеону иноческая жизнь въ одномъ изъ флорентинскихъ монастырей: „житіе старцевъ неисходно изъ монастыря никогда, и міряне къ нимъ не ходятъ николи же, и сидятъ за рукодѣльемъ: шьютъ златомъ, шелкомъ на плащаницахъ святыхъ“. Особенности западной природы также поражали русскаго пнока: онъ дивится Тиролевскимъ горамъ и шелковичнымъ червямъ во Флоренціи.—Авраамій, въ путешествіи своемъ, подробно описалъ мистерію „Благовѣщеніе“, представленіе которой онъ видѣлъ въ одномъ флорентинскомъ монастырѣ.

Афанасій Никитинъ путешествовалъ по Индіи прежде, чѣмъ Васко де-Гама открылъ морской путь въ нее. Особенный случай далъ возможность тверскому купцу побывать въ такой отдаленной странѣ. Въ 1466 г. пріѣзжалъ въ Москву посоль отъ владѣтеля Шемахи. Іоаннъ III отправилъ и съ своей стороны посольство. Афанасій Никитинъ и другіе тверскіе торговцы воспользовались этимъ случаемъ: они нагрузили два судна съ товарами и отправились въ Шемаху Волгою. Имъ хотѣлось, сбывъ товары въ Персіи, на вырученныя деньги купить товаровъ персидскихъ для продажи въ своемъ отечествѣ. Но Никитинъ обманулся въ расчетахъ: еще у Астрахани ограбили одно его судно, а другое отъ бури разбилось у береговъ Тарки. Это заставило его направить путь дальшѣ—въ Индію: „я пошелъ въ Индію отъ многія бѣды, потому что на Русь не съ чѣмъ было воротиться: не осталось ничего товару“. Путешествіе продолжалось около пяти лѣтъ. Въ 1472 г. Никитинъ воротился на Русь, но, не доѣхавъ до родины, умеръ въ Смоленскѣ. Купцы доставили его записки въ Москву, дьяку Василію Мамыреву.

Записки эти названы „Хожденіемъ за три моря“: Дербентское (Каспійское) или дорію (море) Хвалитскую, Индѣйское или дорію Гундустанскую, и Черное или дорію Стамбольскую (Стамбульскую). Онѣ описываютъ приключенія Никитина во время его долгаго странствованія. Въ Индѣйскомъ городѣ Чюнейрѣ (Джонирѣ) ханъ отнялъ у него коня и принуждалъ перейти въ магометанство, обѣщая не только возвратить отнятое, но и дать ему тысячу золотыхъ, въ противномъ же случаѣ взять съ него такое же количество денегъ. Хоросанецъ Магометъ выручилъ изъ бѣды путешественника: ему отдали коня и не требовали перемѣны вѣры. Главнымъ неудовольствіемъ для Никитина было то, что онъ обманулся въ купеческихъ расчетахъ: „всѣ нагнали мнѣ, будто въ Индіи много всякаго дешеваго товара; анъ нѣтъ ничего на нашу землю; все товаръ бѣлый на бусурманскую землю—перець да краски:

то дешево; а на русскую землю товара нѣтъ“. Особенности такой страны, какъ Индія, возбуждали сильное удивленіе въ Никитинѣ. Прежде всего бросался ему въ глаза цвѣтъ кожи туземцевъ: „и мужчины и женщины—все черные; куда не пойду я—за мною идутъ много людей: дивятся бѣлому человѣку“. Много также занимала его индійская религія. Онъ открылъ индійцамъ свою вѣру, а они сказали ему свою: „вѣръ у нихъ 84 (т.-е. различныхъ толковъ), и поклонники одной вѣры не сближаются съ поклонниками другихъ ни въ пищѣ, ни въ питъѣ, ни въ женитбѣ“. Наконецъ, послѣ долгаго пребыванія на чужбинѣ, Никитинъ стосковался по родинѣ: „о благовѣрные христіане!“ восклицаетъ онъ: „кто по многимъ землямъ много плаваетъ, тотъ во многіе грѣхи впадаетъ и лишается вѣры христіанской. И я сжалился по вѣрѣ: вотъ уже прошли четыре великихъ поста и четыре свѣтлыхъ праздника: а я, грѣшный, не вѣдаю ни свѣтлаго праздника, ни Великаго поста, ни Рождества Христова, ни другихъ праздниковъ, ни среды, ни пятницы, а книгъ у меня нѣтъ: ихъ отняли, когда ограбили меня“. Какъ простодушный и малообразованный человѣкъ, хотя и грамотный, Никитинъ вѣрилъ басеннымъ разсказамъ, напри- мѣръ тому, что въ городѣ Аляндѣ (Аллундѣ) есть птица гукукъ: „на которой хоромишѣ сядетъ, то тутъ человѣкъ умретъ, а кто ее хочетъ убить, то у нея изо рта огонь выйдетъ“, или что „у обезьянъ есть князь обезьянскій, да ходитъ ратью своею: да кто ихъ занимаетъ, и они жалуются князю своему, и онъ посылаетъ на того свою рать, и они, пришедъ во градъ, и дома разоряютъ, и людей побиваютъ; а рати ихъ, сказываютъ, вельми много, и языки есть свои“, и проч.

Въ духовной литературѣ XV в. занимаютъ также видное мѣсто посланія, вызванныя различными событіями, изъ которыхъ главнѣйшія были утвержденіе единодержавія и борьба съ татарами. Относительно перваго событія духовенство дѣйствовало въ пользу Москвы, убѣждая удѣльныхъ князей признать ея господство надъ собою, необходимое для государственнаго единства Россіи; относительно второго оно побуждало московскаго князя къ рѣшительному освобожденію отечества отъ татарской власти. По поводу нашествія хана Ахмата написаны два посланія къ Іоанну III: одно—соборное (отъ митрополита Геронтія и всего духовенства), другое—ростовскаго архіепископа Вассіана. При вѣсти о походѣ Ахмата, Іоаннъ послалъ войско къ берегамъ Оки и самъ отправился въ Коломну. По совѣту нѣкоторыхъ бояръ, не хотѣвшихъ войны— „злыхъ сребролюбцевъ, бусурманскихъ поровниковъ“, какъ выражается летописецъ—царь оставилъ войско и воротился въ Москву.



Тогда Геронтіѣ, Вассіанъ и другіа духовныя лица увѣщевали его стать крѣпко противъ враговъ. Увѣщанія подѣйствовали: Іоаннъ отправился къ войску, но не на рѣку Угру, гдѣ оно находилось, а въ Кременецъ. Здѣсь, по совѣту тѣхъ же бояръ, началъ онъ думать о мирѣ и вести переговоры съ ханомъ. При видѣ такой боязни и колебанія, Вассіанъ особымъ посланіемъ побуждалъ Іоанна на битву. Онъ проситъ его не внимать льстецамъ лжеименитымъ, совѣтующимъ предать христіанство и отечество; представляетъ примѣры Игоря, Святослава и Владиміра, бравшихъ дань съ греческихъ царей, Владиміра Мономаха, бившагося съ половцами, Дмитрія Донского, не щадившаго жизни своей ради избавленія христіанскаго, ссылается даже на Демокрита: „слыши, что глаголетъ Демокритъ философъ: первое князю подобаетъ имѣти на супостатъ крѣпость, и мужество, и храбрость, а къ своей дружинѣ любовь и привѣтъ сладокъ“. Думая, что Іоанна останавливаетъ присяга, данная предками, Вассіанъ говоритъ: „можетъ-быть, скажешь: мы подъ клятвой прародительской — не поднимать руки противъ хана; знай, что когда клятва дана по нуждѣ, прощать и разрѣшать отъ нея повелѣно намъ,—и вотъ святейшій митрополитъ, и мы, и весь боголюбивый соборъ прощаемъ, и разрѣшаемъ, и благословляемъ тебя идти не какъ на царя, но какъ на разбойника, хищника и богоборца. Лучше солгавъ, животъ получить, нежели, истинствуя, погибнуть“.

## В. XVI и XVII в.

§ 28. Шестнадцатый вѣкъ былъ временемъ кипучей дѣятельности, устремленной на существенные предметы жизни; религію, церковь, народную нравственность и народное образованіе. Въ 1518 г., по вызову в. к. Василія Іоанновича, прибылъ въ Москву аѳонскій инокъ Максимъ грекъ для описи греческихъ рукописей, которыя хранились въ княжеской бібліотекѣ, и для перевода нѣкоторыхъ изъ нихъ на церковнославянскій языкъ. Какъ человѣкъ многосторонне и научно образованный, онъ стоялъ выше современныхъ ему русскихъ начетчиковъ, почему и составилъ при немъ великій кругъ любознательныхъ людей, которые считали себя его учениками и отзывались о немъ съ великимъ уваженіемъ (въ числѣ ихъ находился князь Курбскій). При Іоаннѣ Грозномъ, первомъ царѣ, окончательно установилось государственное единство Россіи. Въѣстъ съ этимъ устанавливаются идеалы религіозной и нравственной жизни. Царь вызываетъ къ себѣ, для совѣта и дѣйствія, лучшихъ, образованнѣйшихъ людей изъ Новгорода: священника Сильвестра и архіепископа (потомъ московскаго митрополита) Макарія. Сильвестру приписывается сочиненіе «Домостроя», въ которомъ начертано идеальное по тогдашнимъ понятіямъ устройство жизни общественной и домашней. Макарію принадлежит составленіе Четьихъ-минеи. Разногласія церковныя и другія нестроенія русской земли обсуж-

даются на соборѣ 1551 г. (Стоглавомъ), постановленія котораго положены въ особомъ памятникѣ, извѣстномъ подъ именемъ «Стоглава». Вскорѣ послѣ собора основывается типографія (1553 г.), въ которой первыми мастерами типографскаго дѣла, Иваномъ Федоровымъ и Петромъ Тимофеевымъ, напечатана первая книга — Апостолъ (1564 г.). Различные взгляды на значеніе царской власти и на ея отношеніе къ боярамъ раскрываются въ перепискѣ Іоанна Грознаго съ Курбскимъ и въ Исторіи царя московскаго, написанной послѣднимъ.

Первыми трудами Максима-грека († 1556) по прибытіи въ Москву были переводы книгъ. Онъ перевелъ Толковую псалтырь, заключающую въ себѣ толкованія многихъ древнихъ св. отцевъ и учителей Церкви, Бесѣды Златоуста на Евангелія отъ Матвея и Іоанна, и Метафрастово житіе Богородицы. Такъ какъ онъ еще не зналъ ни русскаго, ни церковно-славянскаго языка, то въ помощь ему дали толмачей, знавшихъ языкъ латинскій. Максимъ диктовалъ имъ свой переводъ съ греческаго на латинскій, а они переводили съ латинскаго на церковно-славянскій. Понятно, что при такого рода работѣ были неизбежны нѣкоторыя погрѣшности. Многочисленныя и разнообразныя сочиненія Максима дѣлятся на догматико-полемическія, правоучительныя, толковательныя, историческія и пр. Главнѣйшій изъ этихъ отдѣловъ — догматико-полемическій, написанный въ защиту православія противъ язычниковъ, магометанъ, іудеевъ и латинянъ, а также противъ апокрифовъ и суевѣрій. Обличенія латинянъ содержатся особенно въ тѣхъ статьяхъ, которыми Максимъ отвергаетъ «лстивыя писанія» главнаго врага в. к. Василия Іоанновича, Николая Булева или Люева, извѣстнаго подъ именемъ Николая-нѣмчина, который старался уклонять русскихъ отъ православія въ латинство. Тотъ же нѣмчинъ распространялъ въ Россіи астрологическое ученіе, и потому большая часть сочиненій Максима противъ апокрифовъ и суевѣрій раскрываютъ ложь этого антихристіанскаго ученія. Между правоучительными сочиненіями замѣчательны три посланія: одно къ в. к. Василію Ивановичу и два къ Іоанну Грозному; въ нихъ раскрываются обязанности державшей власти и свойства истиннаго самодержца. Максимъ-грекъ, хотя и чуждый Россіи по своему происхожденію, принадлежитъ ей не только своими сочиненіями, но и вліяніемъ на образъ мыслей многихъ лицъ своего времени. «Разжигаемый», какъ онъ самъ выразился, «божественною ревностью», онъ внимательно слѣдилъ за всѣмъ, что происходило въ его новомъ отечествѣ, въ которомъ онъ прожилъ 38 л. и на каждое замѣчательное событіе отзывался своимъ словомъ. «Всѣ наши писатели, говоритъ митрополитъ Макарій <sup>1)</sup>, самые просвѣщенные и даровитые, были не болѣе, какъ люди грамотные и начитанные, но вовсе незнакомые съ наукою, и если обладали иногда даже обширными свѣдѣніями, то почти исключительно богословскими. Максимъ-грекъ первый явился у насъ съ образованіемъ научнымъ и съ богатымъ запасомъ свѣдѣній не только въ богословскихъ, но и въ свѣтскихъ наукахъ... Тѣ и другіе онъ пріобрѣлъ чрезъ чтеніе самихъ подлинниковъ во всей ихъ полнотѣ, а не какихъ-либо славянскихъ переводовъ, частію отрывочныхъ, иногда неясныхъ или неточныхъ и искаженныхъ, и пользовался этими свѣдѣніями при умѣ, развитомъ классическимъ образованіемъ, — преимущества, которыя недоступны были тогда писателямъ русскимъ».

<sup>1)</sup> «Ист. Рус. Церкви».

§ 29. Нѣкоторые памятники словесности, при своемъ много-объемлющемъ содержаніи, даютъ ясное понятіе о характерѣ той эпохи, въ которую они явились. Таковъ именно „Стоглавъ“, заключающій въ себѣ записи о дѣяніяхъ и уложеніи собора 1551 г. Подъ заглавіемъ „Царскіе вопросы и соборные отвѣты о много-различныхъ церковныхъ чинахъ“ (порядкахъ), онъ содержитъ въ себѣ рѣчи Іоанна Грознаго при открытіи собора, вопросы, имъ предложенные, и соборные на нихъ отвѣты. Царь и митрополитъ Макарій сознали ненормальное состояніе русской жизни и необходимость ея уврачеванія. Повсюду видятъ они порчу, упадокъ благочестія, ослабленіе религіознаго духа, внутреннее разъединеніе. Какъ многообразныя беспорядки современнаго имъ общества возводять они къ одному источнику, такъ и за пособіемъ противъ нравственнаго зла обращаются къ одному существенному средству. Причина беспорядковъ—забвеніе преданій и древнихъ нравовъ, уклоненіе отъ благочестивой старины; средство къ уничтоженію зла—возстановленіе старины. Грубость и невѣжество возмутили народную нравственность: только просвѣщеніе можетъ очистить ее, смягчить нравы, водворить духъ истиннаго христіанскаго благочестія.

Главнѣйшіе предметы, указанные въ царскихъ вопросахъ и подлежащіе соборному обсужденію, суть слѣдующіе: неправильные переводы богослужебныхъ книгъ и ошибочное ихъ списываніе, скудное ученіе и происходящее оттого невѣжество, недостатки въ жизни монаховъ и бѣлаго духовенства, безчинное стояніе въ церкви, заимствованіе обычаевъ у невѣрныхъ, апокрифы и отреченныя книги, разныя суевѣрія, смѣшеніе христіанства съ язычествомъ (двоевѣріе), судебныя поединки.

Историко-литературная важность Стоглава состоитъ въ томъ, что къ нему примыкаютъ многія произведенія словесности, имѣющія предметомъ недостатки и потребности русскаго общества, о которыхъ разсуждалось на соборѣ 1551 г. Между нимъ, какъ соборнымъ уложеніемъ, и этими произведеніями, какъ мнѣніями отдѣльных лицъ, существуетъ видимое соотношеніе. Въ особенности же ясна его связь съ дѣятельностью Максима-грека, свидѣтеля многихъ неурядицъ, начавшихся еще въ XII в., накопившихся и развивавшихся въ теченіе двухъ слѣдующихъ столѣтій и обнаружившихъ свою силу въ XVI-мъ. Для полноты отмѣтимъ нѣкоторыя статьи Стоглава. Глава „объ училищахъ“ (26-ая) показываетъ плохое состояніе образованности, на что, въ XV в., жаловался архіепископъ новгородскій Геннадій въ посланіи къ митрополиту Симону, говоря, что, по малому числу грамотныхъ, ему почти некого было ставить въ священники. Глава 27-ая предлагаеъ мѣры



къ исправленію богослужебныхъ книгъ, чего еще прежде настоятельно требовать Максимъ-грекъ, объяснивъ причины ошибокъ и искаженій и показавъ средства къ ихъ устраненію. Средства эти состояли въ томъ, что принимающійся за дѣло исправленія долженъ имѣть познанія не только въ грамматикѣ, но и въ исторіи, риторикѣ и философіи, а переписчики должны знать, по крайней мѣрѣ грамматику, для чего и написаны имъ двѣ статьи: „о грамматикѣ“ и „о пользѣ грамматики“<sup>1)</sup>. Изъ главы (39) „о тафяхъ безбожнаго Бахмета“ (Магомета), т. - е. татарскихъ шапочкахъ, вошедшихъ въ моду между русскими, узнаемъ, что православные приходили въ церковь въ тафяхъ и шапкахъ и кромѣ того чинили ропотъ, всякое прекословіе и бесѣды. Стоглавъ требуетъ не вводить поганскихъ обычаевъ, а сохранять національность въ образѣ жизни и покроѣ платья, такъ какъ у каждой страны есть свои законы и отчина (преданіе, старина), слѣдовательно русскимъ должно держаться своихъ собственныхъ обычаевъ. Между сочиненіями Максима-грека есть также посланіе о тафяхъ къ Алексію Адашеву. При неизбѣжныхъ сношеніяхъ съ „христіаноборцами измаильтянами“, русскимъ случалось препираться съ ними о своей вѣрѣ: по этому поводу Максимъ-грекъ, въ „отвѣтахъ агарянамъ, хулящимъ православную вѣру“, далъ наставленія, какъ вести споръ. Въ статьѣ „Стоглава“ о 32-хъ царскихъ вопросахъ и соборныхъ отвѣтахъ на нихъ сообщаются любопытныя данныя для нѣкоторыхъ обычаевъ, повѣрій и языческихъ обрядовъ. Въ вопросѣ 17-мъ говорится о рѣшеніи тяжбы судебнымъ поединкомъ, что духовныя лица напрасно старались ослабить, если не совсѣмъ прекратить, своими поученіями. „Слово о промыслѣ“ Максима-грека также возстаетъ противъ тѣхъ судей, которые вопреки явнымъ уликамъ, открывающимъ виновнаго, присуждали рѣшить споръ „полеми“; при чемъ „полевики“ прибѣгали къ ворожбѣ. Вопросъ 22-й касается отреченія книги, отлучающія отъ Бога. Между ними звѣздочетъ (астрологія) особенно дѣйствовало на умъ и воображеніе любознательныхъ людей. Ею заразились дьякъ великаго князя Мунехинъ, бывшій псковскимъ намѣстникомъ, бояринъ Карповъ и какой-то игуменъ. Въ посланіи къ первому Филофей, игуменъ псковскаго Елеазарова монастыря, опровергаетъ вѣру въ могущество небесныхъ свѣтилъ: „не звѣзды, а Богъ управляетъ міромъ. Если Богъ сотворилъ недобрыя дни и часы, то за что же люди злые подвергнутся мученію? развѣ они виноваты, что родились въ эти дни и часы? Все идетъ отъ Бога,

<sup>1)</sup> «Ист. Рус. Церкв.».

а звѣзды ничего не могутъ ни давать, ни отнимать“. Но преимущественно Максимъ-грекъ писалъ противъ астрологическаго ученія, противопоставляя его ученію религіозному. Онъ различалъ астрологию „естественную“ (астрономическую) отъ „предсказательной“ или собственно астрологіи, которую называетъ „художествомъ звѣздозрительнымъ“, „прелестію звѣздохетною“. Астрологія (такъ разсуждаетъ онъ) признаетъ неизбѣжность звѣздной силы, которая ничѣмъ не разнится отъ слѣпой судьбы и ведетъ къ фатализму. Христіанскій разумъ допустить этого не можетъ: онъ ставитъ во главу угла божественное законоположеніе. Астрологи говорятъ: все зависить отъ планетъ; онѣ направляютъ нашу жизнь къ добру или злу, къ счастью или несчастію; колесо фортуны приводится въ движеніе звѣздами: однихъ возводитъ оно на высоту почестей и власти, другихъ повергаетъ въ крайнія бѣды и безчестіе; все даютъ звѣзды: богатство и убожество, славу и безчестіе, санъ и позоръ. „Если бы дѣла творились по звѣздному обпошенію — возражаетъ имъ ученый грекъ — то они творились бы по необходимости, безъ всякаго участія и сознанія человѣка, не были бы ни добрыми, ни злыми, не заслуживали бы ни похвалы, ни осужденія. Богъ, сотворившій звѣзды и давшій имъ такое вліяніе на порочныя явленія въ мірѣ, оказался бы виновникомъ зла. Нѣтъ, возвышеніе людей и царствъ служить наградой благу, ихъ паденіе — наказаніемъ зла... Не колесомъ счастья, а Содѣтелемъ міра Саулъ былъ приведенъ къ Самуилу; не астрологическимъ предвидѣніемъ, а доблестнымъ мудрованіемъ Сципіонъ совершилъ великія дѣла; не наблюденіемъ планетъ и временъ, а силою души, искусствомъ военачальника и благородствомъ права Цесарь одержалъ верхъ надъ галлами. Димитрій Донской, погубившій войско Мамаѣ, развѣ дѣйствовалъ по звѣзднымъ гаданіямъ? Нѣтъ, онъ вооружился божественной вѣрой“.

§ 30. Къ числу наиболѣе замѣчательныхъ произведеній литературы XVI в. относятся Домострой, Переписка Іоанна Грознаго съ кн. Курбскимъ и его посланіе въ Кирилло-Бѣлозерскій монастырь, Исторія царя московскаго, сочиненная Курбскимъ.

Стоглавъ и сочиненіи Максима-грека изображаютъ состояніе пѣлаго общества: они заняты вопросами церковнаго устройства, народной нравственности и образованія. Но для полнаго представленія современныхъ правовъ необходима еще характеристика частнаго, семейнаго быта, о которомъ литературные памятники сообщаютъ скудные свѣдѣнія. Такую характеристику даетъ намъ „Домострой“ (домовый уставъ, книга объ устройствѣ дома), при-

писываемый извѣстному въ исторіи Грознаго священнику Сильвестру. Въ немъ 63 главы, изъ которыхъ послѣдняя, несомнѣнно принадлежащая Сильвестру, заключаетъ въ себѣ посланіе его къ сыну Анемму. Содержаніе этихъ главъ можетъ быть раздѣлено на три части: о строеніи духовномъ (первыя 15 главъ), о строеніи мірскомъ (слѣдующія 14) и о строеніи домовномъ (остальныя 34). Первая часть поучаетъ, какъ вѣровать въ Бога, какъ чтить цари и вообще свѣтскую власть, какъ чтить духовный чинъ. При составленіи ея авторъ пользовался существовавшими до него памятниками письменности, преимущественно духовной. Вторая часть излагаетъ правила, какъ жить въ міру съ женами, дѣтьми и домочадцами. Здѣсь мы знакомимся съ идеаломъ домашняго благоустройства и семейнаго счастья, какъ онъ выработался древне-русскимъ обществомъ и сложился въ понятіи образованнѣйшихъ людей того времени. Третья есть не что иное, какъ наказъ хозяйственный, содержащій въ себѣ подробныя до мелочности наставленія касательно домашней экономіи. Къ любопытнѣйшимъ главамъ второй части принадлежатъ тѣ, въ которыхъ говорится объ обязанности жены и о воспитаніи дѣтей, потому что онѣ наглядно изображаютъ положеніе женщины въ древне-русской семьѣ и характеръ тогдашняго воспитанія и ученія: женщина должна быть вполне и единственно предана хозяйственнымъ работамъ, а при воспитаніи дѣтей исключительными орудіями должны служить страхъ, прещеніе, наказаніе. Такія правила, конечно, не согласны съ современными намъ требованіями снисходительности и гуманности, а также съ началами современной педагогики. Но съ исторической точки зрѣнія каждый литературный фактъ обсуживается по понятіямъ той эпохи, въ которую онъ явился, и въ связи съ ея общественными условіями. И вотъ какъ исторія отнеслась ко взгляду Сильвестра на обязанность женщинъ: „Домострой совершенно правъ, предписывая женщинамъ заниматься только хозяйствомъ и говорить только о хозяйствѣ, ибо другого приличнаго для нея занятія, другого приличнаго для нея разговора нѣтъ. Мы не имѣемъ никакого права упрекать автора Домостроя въ жестокости къ женщинамъ: у него нѣтъ приличныхъ невинныхъ удовольствій, которыя бы онъ могъ предложить ей, и потому онъ принужденъ отказать ей во всякомъ удовольствіи, принужденъ требовать, чтобы она не имѣла ни минуты свободной, которая можетъ породить въ ней желаніе удовольствія неприличнаго“<sup>1)</sup>. Что касается до наставленія о воспитаніи и ученіи, то они принадлежатъ не Сильве-

<sup>1)</sup> «Исторія Россіи», Соловьева.



стру, а другому лицу: глава „какѣ дѣти учить и страхомъ спасати“ почерпнута изъ Книги премудрости Иисуса сына Сирахова (гл. 30). Къ кому же иному и могъ обратиться составитель Домостроя, какъ не къ мудрецу, твореніе котораго, хотя и не признанное капоническимъ, внесено въ Библію? Другихъ педагогическихъ авторитетовъ не было. Вообще на Домострой нельзя смотрѣть, какъ на кодексъ правилъ, всегда согласныхъ съ законами высшей, безотносительной правды. Нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ въ виду практическое благоразуміе, житейскую мудрость. Особенно въ посланіи Сильвестра къ сыну выражаются совѣты, какъ, живя справедливо, не ссориться, однакожъ, съ несправедливыми, не портить добрыхъ къ нимъ отношеній и черезъ то не вредить своимъ интересамъ. Припоровка къ людямъ, челоуѣкоугодничество, ради матеріальныхъ выгодъ, конечно, непримиримы съ духомъ христіанскаго ученія, что и заставило историка отнести къ „Посланію“ съ такими словами: „смѣшеніе чистаго съ нечистымъ, правилъ мудрости небесной съ правилами мудрости житейской мало приносятъ и житейской пользы челоуѣку. Уноровить всѣмъ дѣло невозможное; истинная мудрость велитъ работать одному господину“ <sup>1)</sup>.

Сочиненія Іоанна Грознаго много способствуетъ къ пониманію историческихъ явленій XVI вѣка и, кромѣ того, даютъ ясное понятіе о его личности. Живой, страстный, воспримчивый, онъ стремится къ сознательному опредѣленію идеи царя и христіанина. Вся его литературная дѣятельность вышла изъ ревности къ идеальнымъ представленіямъ, изъ желанія установить ихъ на твердой основѣ. Въ рѣчахъ и вопросахъ на Стоглавомъ соборѣ раскрыть имъ нравственный упадокъ общества, измѣнившаго своему идеалу — благочестивой старицѣ; въ перепискѣ съ княземъ Курбскимъ оправдываются дѣйствія царя и обвиняются бояре, какъ нарушители идеальнаго понятія объ отношеніяхъ между властью и подвластными; въ посланіи къ игумену Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря Козьмѣ начертанъ идеальный образъ иночества и произнесенъ строгій судъ за отступленія отъ этого идеала.

„Переписка съ Курбскимъ“ относится къ тому періоду царствованія Іоанна Грознаго, когда отношенія его къ приближеннымъ людямъ совершенно измѣнились: когда главные совѣтники его, Сильвестръ и Адашевъ, подверглись опалѣ, и любимый воевода, князь Андрей Михайловичъ Курбскій, страшась царскаго гнѣва, рѣшился покинуть отечество, бѣжалъ изъ Юрьева Ливонскаго

---

<sup>1)</sup> Ibid.

(Дерпта) въ Вольмаръ, занятый литовцами, и передается польскому королю Сигизмунду-Августу. Изъ Вольмара Курбскій написалъ къ Грозному исполненное горькихъ упрековъ письмо; Грозный отвѣчалъ обширнымъ посланіемъ, или, какъ говоритъ Курбскій, „зѣло широкою эпистоліею“: и такимъ образомъ между царемъ и бывшимъ его подданнымъ завязалось словесное единоборство, въ которомъ тотъ и другой старались доказать свою правоту, обличивъ съ тѣмъ вмѣстѣ несправедливость противника. Всѣхъ писемъ шесть (съ 1563 по 1579 г.); изъ нихъ два принадлежатъ Грозному, четыре Курбскому. На „зѣло широкую эпистолю“ Курбскій послалъ „краткое отвѣщаніе“: онъ смѣется надъ неумѣіемъ Іоанна писать складно, говоритъ о себѣ, что онъ, какъ изгнанникъ, заслуживаетъ не укоризни, а утѣшенія, и затѣмъ все, между ними происходившее, предоставляетъ Суду Божію. Когда началась война съ Ливоніею и Польшею и русское войско вступило въ Вольмаръ, царь отправилъ отсюда грамотку къ Курбскому: славя успѣхи своего оружія, онъ выражаетъ ту мысль, что эти успѣхи даны ему Богомъ безъ пособія боярѣ. Вскорѣ пришла очередь писать Курбскому: изъ Полоцка, завоеваннаго Баторіемъ, онъ написалъ къ Грозному два письма, которыми доказываетъ, что прежнія побѣды русскихъ были дѣломъ доблестныхъ мужей, какихъ теперь при царѣ нѣтъ.

И обвиненія и оправданія обращаются около двухъ противоположныхъ предметовъ. Главный обвинительный пунктъ, котораго держится Курбскій, состоитъ въ томъ, что царь началъ управлять самовольно, не выслушавъ совѣтниковъ, или выбирая въ совѣтники злыхъ, себялюбивыхъ ласкателей. „Царю, отъ Бога преиспосланному, паче же въ православіи пресвѣтлу явившуся, ниѣ же, грѣхъ ради нашихъ, сопротивъ сямъ обрѣтшемуся“: такъ начинаетъ Курбскій свое первое письмо. „Сопротивнымъ“ же прежней своей славѣ Грозный оказался оттого, что избилъ спланныхъ во Израилѣ — достойныхъ мужей Русской земли, предалъ различнымъ смертямъ данныхъ ему отъ Бога воеводъ, пролилъ побѣдоносную кровь ихъ въ дерквахъ и на владычныхъ торжествахъ, умышленно слыханныя гоненія и муки на своихъ dobroхотовъ, полагавшихъ за него душу. Напротивъ, основная мысль Грознаго та, что подланные должны быть вѣрными слугами царю, а не самочинниками, что ихъ первый долгъ — подчиняться верховной власти, а не захватывать въ свои руки не принадлежащаго. Изъ этой мысли Грозный выводитъ и свое оправданіе: онъ хотѣлъ освободиться отъ стѣсненій, наложенныхъ на него боярами. „Ты говоришь, что я — „растлѣнный умоу““ (пишетъ онъ Курбскому):

ставлю тебя самого судією между мною и боярами. Я хотѣлъ владѣть вами, а вы не хотѣли быть подъ моею властію, за что и заслуживали мои опалы: кто же растлѣнны—вы или я? Вы растлѣнны, потому что не только не хотѣли повиноваться мнѣ, но и задумали сами владѣть мною; всю власть съ меня сняли и сами государились: я быть государь именемъ, а на дѣлѣ ничѣмъ не владѣлъ“. Не оправдываясь въ своемъ правствешномъ паденіи, Грозный всю отвѣтственность за него слагаетъ на бояръ—на досады, оскорбленія и напасти, отъ нихъ претерпѣнныя. Въ отвѣтѣ на первое письмо Курбскаго указываются интриги и партіи крамольниковъ, погубленіе ими вѣрныхъ подданныхъ, расхищеніе казны, раздача помѣстьевъ боярскимъ дѣтямъ, награда непослушныхъ, желаніе возвести на престолъ Владиміра Старицкаго помимо прямого наслѣдника—царскаго сына, и многія другія обстоятельства, происходившія особенно въ малолѣтство Іоанна и во время его тяжелой болѣзни.

Діалектическая ловкость Грознаго сильно выказывается въ этой полемикѣ съ Курбскимъ. Онъ равно умѣетъ и отражать нападки, и наносить удары. Искусство состязанія обличаетъ книжника, обладающаго большою начитанностію. Положеніе Курбскаго становится затруднительнымъ, когда Грозный уличаетъ его примѣромъ слуги его, Шибанова, который предъ царемъ и всѣмъ народомъ, стоя при „смертныхъ вратахъ“, соблюлъ благочестіе, не измѣнилъ крестному цѣлованію, хвалилъ своего господина безъ малѣйшаго страха казни, между тѣмъ какъ этотъ господинъ бѣжалъ къ врагамъ отечества, ради единого гнѣвнаго слова царя. Грозный настаиваетъ на томъ обвиненіи, что Курбскій измѣною спасъ свое тѣло, но погубилъ душу; что если бы онъ былъ дѣйствительно благочестивъ и праведенъ, то рѣшился бы пострадать отъ строптиваго владыки и страданіемъ наслѣдовать вѣнецъ мученичскій; что, возъярився на человѣка, онъ возсталъ на Бога, ибо пельзя угодить Богу измѣной: придется необходимо воевать съ отечествомъ и въ этой неизбежной войнѣ и церкви разорять, и иконы попирать, и православныхъ губить. А если гдѣ измѣнникъ и не дерзнетъ руками, то „мыслию яда смертоноснаго“ учинить много злобы. Понятно, что Курбскій всего болѣе старался объ отраженіи сильнѣйшаго противъ него довода; поэтому онъ ограждаетъ себя примѣромъ Давида, который принужденъ былъ, ради гоненій Саула, воевать израильскую землю въ союзѣ съ иноплеменнымъ царемъ, и авторитетомъ Цицерона, котораго также называли измѣнникомъ и котораго апологія (въ Парадоксахъ) можетъ служить его собственною апологіею. Двѣ главы изъ Пара-



доксавъ, въ переводѣ на русскій языкъ, Курбскій приложилъ къ одному изъ своихъ писемъ.

Не менѣе ощутительна иронія, которою владѣлъ Грозный и которая составляла отличительное его свойство. Въ перепискѣ она весьма обидна или, употребляя слово Курбскаго, „кусательна“. Письмо Грознаго изъ Вольмара, прописавъ полный царскій титулъ и съ притворнымъ смиреніемъ напомнивъ дарованныя свыше победы надъ нѣмцами, Литвою и татарами, заключается насмѣшкой надъ Курбскимъ. „Писалъ ты себѣ въ досаду, что мы тебя въ далекоконечныя грады, какъ бы опаляючись, посылали: и вотъ нынѣ мы, по Божіей волѣ, своею сѣдиною и далѣ твоихъ далекоконечныхъ градовъ прошли, и коней нашихъ ногами переѣхали всѣ ваши дороги, изъ Литвы и въ Литву, и пѣши ходили, и воду во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ пили: поэтому нельзя уже говорить, что не вездѣ кони нашего ноги были. И гдѣ ты хотѣлъ успокоиться отъ всѣхъ трудовъ твоихъ въ Вольмарѣ: и тутъ на покой твой Богъ насъ принесъ. И гдѣ, какъ ты думалъ, отъ насъ ушелъ: мы тутъ, съ Божіею волею, догнали. И ты тогда далекоконечнѣе поѣхалъ“.

По изложенію, или формѣ, письма Грознаго нестройны въ размѣщеніи главныхъ частей и въ подчиненіи однихъ мыслей другимъ. Содержаніе ихъ дается какъ сырой матеріалъ, безъ обработки и сортировки. Курбскій удачно опредѣлялъ характеръ этой внутренней и вѣншей неустроенности, сказавъ своему противнику, что онъ „хваталъ отъ многихъ священныхъ словесъ, со многою яростію и лютостію“. Дѣйствительно, Грозный не умѣлъ „въ краткихъ словахъ замыкать многій разумъ“. Писаніе его выходило „широковѣщательнымъ и многошумящимъ“, массою мыслей и словъ, гдѣ заимствованное изъ книгъ смѣшивалось съ своеобразными понятіями автора. Но, съ другой стороны, подъ этимъ литературнымъ нестройствомъ очевидно природное дарованіе, сильное выраженіе личности, иронія. Вездѣ обнаруживается стремленіе свести споръ къ раціональнымъ основамъ, найти оправданіе себѣ самому и осужденіе противнику въ томъ понятіи объ отношеніяхъ власти къ подвластнымъ, которое Грозный почиталъ неприкосновеннымъ идеаломъ.

„Посланіе въ Кирилло-Бѣлозерскій монастырь“ (около 1575 года) написано по просьбѣ его игумена, Косьмы, который желалъ отвести отъ себя и братіи гнѣвъ государя, раздраженного общеніемъ иноковъ съ боярами. Извѣстно, что этотъ монастырь сдѣлался какъ бы притономъ опальныхъ и недовольныхъ: многіе бояре, по волѣ Грознаго или по собственному желанію, принимали тамъ постриженіе, но въ иноческомъ образѣ не хотѣли покинуть мірскихъ привязанностей къ роскоши, потѣхамъ и прайднымъ бе-

сѣдамъ. Съ ними водились монахи и позволяли себѣ плотоугодіе, въ противность строгимъ правиламъ устава. Слухи о послабленіи иноческихъ обѣтовъ дошли до государя. Игуменъ Косма нудилъ его (по выраженію самого Грознаго) дать наставленія ему и братіи, какъ вести себя. Іоаннъ воспользовался этимъ случаемъ и въ обширномъ посланіи выговорилъ все, что было у него на душѣ, и противъ бояръ, перенесшихъ съ собою въ монастырь мірскіе обычаи, и противъ инокѣвъ, поблажавшихъ боярамъ въ угоду собственному любострастію. Поэтому историческая важность посланія состоитъ въ характеристикѣ ослабленія иночества сравнительно съ прежней его крѣпостію. Другое, внутреннее отличіе посланія—пронія, которою Грозный умѣлъ пользоваться, какъ ловкимъ орудіемъ. Цѣлью автора было выговорить инокамъ горькую правду: онъ принимаетъ смиренный тонъ, свойственный великому грѣшнику, исповѣдуетъ свое крайнее недостойнство; но послѣ такого самоуничиженія въ приступѣ, тѣмъ чувствительнѣе становятся ничѣмъ уже не прикрытые укоры современному иноческому быту.

„Увы мнѣ грѣшному! горе мнѣ окаянному! охъ мнѣ скверному! кто таковъ я, дерзающій на такую высоту? Бога ради, господа и отцы, молю васъ—престаньте отъ такового начинанія (т.-е. не требуйте отъ меня наставленія). Я недостойнъ назваться вашимъ братомъ: но, по евангельскому слову, сотворите меня какъ единаго отъ насмѣшкѣ своихъ. Тѣмъ же припадаю къ стопамъ честныхъ ногъ вашихъ и милъ ся дѣю. Бога ради, престаните отъ такового начинанія. Писано: свѣтъ инокѣмъ ангелы, свѣтъ же мірянамъ иноки. Поэтому вамъ, нашимъ государямъ, подобаетъ просвѣщать насъ, заблудившихся во тьмѣ гордости и сѣни смертной. А мнѣ... кого учить, чему наставлять, чѣмъ просвѣщать? самъ я всегда въ пьянствѣ, сквернѣ, убійствѣ, грабленіи, хищеніи, ненависти, всякомъ злодѣйствѣ. Если хотите, есть у васъ дома учитель,—великій свѣтильникъ Кириллъ: на его гробъ взирайте, отъ него просвѣщайтесь; потомъ есть у васъ великіе подвижники, ученики его, а наши паставники и отцы, и святой уставъ Кирилловъ. Вотъ вашъ учитель и наставникъ! отъ него учитесь, отъ него наставляйтесь, отъ него просвѣщайтесь, о немъ утверждайтесь; да и насъ, убогихъ духомъ и нищихъ благодатію, просвѣщайте, а за дерзость, Бога ради, простите“.

Прикрывшись смиреніемъ и какъ бы уклонясь отъ просьбы инокѣвъ по духовной нищетѣ, Іоаннъ Грозный находитъ, однакожъ, возможность исполнить просьбу игумена. Онъ даже считаетъ себя не въ правѣ отказать въ требуемыхъ совѣтахъ. Такъ какъ въ

одно пребываніе мое съ вами (говорить онъ) я далъ обѣтъ принять иночество въ вашемъ монастырѣ, не въ другомъ какомъ-либо; такъ какъ игуменъ возложилъ на меня руку и благословилъ меня на данномъ обѣщаніи: то и мнится мнѣ, что я уже полученецъ. Если еще и не отложился я всякаго мірскаго мятежа, то уже пошу на себѣ благословеніе ангельскаго образа. Притомъ же, мнится мнѣ, самому Богу угодно было, чтобы я побесѣдовалъ съ вами: я хотѣлъ писать вамъ отъ Василія Амасійскаго, но разогнувъ книгу, нашелъ посланіе Иларіона Великаго къ нѣкому брату-иноку, требовавшему отъ него совѣта и утѣшенія. Вы также требуете отъ меня слова, и я изреку вамъ немного отъ моего безумія, не учительски и съ властію, но рабски, творя послушаніе вашему преподобію, хотя и чувствуя безмѣрную высоту своего недоумѣнія.

Затѣмъ слѣдуетъ самое посланіе, состоящее изъ двухъ частей, общей и частной. Общая, большею частію заимствованная изъ сочиненій Иларіона, рисуетъ образъ истиннаго отшельничества; частная сличаетъ идеаль съ жизнію кирилло-бѣлозерскихъ иноковъ и находитъ между ними противорѣчіе. Если въ первой части выказывается начитанность Грознаго, его знакомство съ твореніями отцовъ Церкви и житіями святыхъ, то вторая важна по яркому изображенію современныхъ слабостей иноческой жизни, возбуждавшей негодованіе самихъ иноковъ, по рѣзкому обличенію боярскаго своеволія и недовольства на ряду съ поблажкой и сочувствіемъ, которое монастырь оказывалъ опальнымъ, наконецъ по вѣрному представленію личныхъ особенностей автора—его ироніи, его способности открывать слабыя стороны противника, его ловкости предупреждать возраженія и тѣмъ отрѣзывать все пути къ оправданію, его искусства опредѣлять предметы и лица мѣткою рѣчью, въ которой церковно-славянскій элементъ соединенъ съ простыми, но характеристичными русскими выраженіями.

„Видите ли—говорить Грозный—какого плача и скорби достойно послабленіе иноческому житію! По тому вашему ослабленію, ради Шереметева и Хабарова, преступили вы чудотворцево преданіе. И какъ только Богъ благоводитъ намъ у васъ постричься, то монастыря у васъ уже не будетъ, а будетъ царскій дворъ. Зачѣмъ послѣ этого идти въ чернецы? Какъ молвить: „отрицаюсь міра и всего, что въ мірѣ“, когда міръ весь въ очахъ? Шереметеву нельзя называть васъ братією: у него и десятый холодъ, живущій съ нимъ въ кельѣ, бѣтъ лучше братіи. Великіе свѣтильники: Сергій, Кирилль, Варлаамъ, Димитрій, Пафнуцій, устави крѣпкіе уставы иноческому житію, а бояре, пришедъ къ вамъ, ввели свои любострастныя



уставы: не опи у васъ постриглись—вы постриглись у нихъ; но вы имъ учителя и законоположители—они вамъ учителя и законоположители. Да, Шереметева уставъ добръ—держите его; а Кирилловъ уставъ не добръ—оставьте его. Сегодня тотъ бояринъ введетъ одну страсть, завтра другой бояринъ введетъ другую слабость: и мало-по-малу весь монастырскій крѣпостной обиходъ испразднится и всѣ обычаи будутъ мірскіе. Вотъ вы падъ Воротынскимъ церковь поставили, а падъ чудотворцемъ нѣтъ церкви. Воротынскій въ церкви, а чудотворецъ за церковью. И на страпномъ судѣ Воротынскій да Шереметевъ стануть выше: Воротынскій церковью, а Шереметевъ закономъ, который крѣпче Кириллова... Нынѣ у васъ Шереметевъ сидитъ въ кельѣ что царь, а Хабаровъ къ нему приходитъ съ чернецами, ѣдятъ и пьютъ что въ міру. Словно со свадьбы или родинъ, Шереметевъ разсылаетъ по кельямъ постилы, коврижки и ичья прянны составныя овощи; а за монастыремъ дворъ и на немъ всякіе запасы годовые—и вы молчите ему о такомъ великомъ, пагубномъ монастырскомъ безчиніи. Говорять, будто и вино горячее потихоньку приносили Шереметеву въ келью: въ монастыряхъ и фряжскія вина зазоръ, не только что горячее. Въ этомъ ли путь спасенія? это ли иноческое пребываніе? Или вамъ нечѣмъ было кормить Шереметева, что онъ завелъ особые годовые запасы? Милые мои! Кирилловъ монастырь до сихъ поръ многія страны прокармливалъ и въ голодныя времена; а нынѣ, въ хлѣбное время вамъ не только нечѣмъ прокормить Шереметева, но и самимъ приходится помереть съ голоду!.. То не путь спасенія, когда въ чернецѣ бояринъ боярства не острижетъ, а холопъ холопства не избудетъ. Въ вапемъ монастырѣ по сіе время держалось равенство холопамъ, и боярамъ, и мужикамъ торговымъ. А нынѣ только и слово: тотъ великъ, а этотъ больше. Значить, и братства нѣтъ. Вѣдь братство тогда бываетъ, когда всѣмъ равно; а коли неравно—какому быть братству, какому иноческому житію?.. Когда двѣнадцать убогихъ (апостоловъ) начнутъ судить людей, кого тогда поставите выше—Кирилла или Шереметева? Шереметевъ постригся изъ боярства, а Кириллъ и въ приказѣ у государя не былъ. Видите ли, куда васъ слабость завела? Святые не гонялись за боярами, а болре за ними гонялись; отъ этого обители ихъ распространялись: ибо монастыри стоять и неоскудны бываютъ благочестіемъ“.

Въ заключеніе Грозный принимаетъ снова смиренный тонъ: „отъ многаго написалъ вамъ малая, ради иноческаго житія и любви моей къ вамъ. Но вы сами знаете больше, и если захотите—пайдете въ Божественномъ Писаніи... Богъ же міра, и Пречи-

стыя Богородицы милость, и чудотворца Кирилла молитвы буди со всѣми вами и нами. А мы вамъ, господа мои и отцы, челомъ бѣемъ до лица земнаго.“

Къ сочиненіямъ Курбскаго, кромѣ переписки съ Грознымъ, относится еще исторія этого цари, подъ названіемъ: „Исторія князя великаго Московскаго о дѣлѣхъ, яже слышаномъ у достовѣрныхъ мужей и яже видѣхомъ очима нашими“. Она замѣчательна по содержанию и изложенію. По содержанию тѣмъ, что она сохранила для историковъ царствованія Грознаго любопытные факты изъ его жизни и правленія. Курбскій былъ близокъ къ Іоанну и могъ знать многое, оставшееся неизвѣстнымъ для другихъ. По изложенію тѣмъ, что она есть опытъ прагматическаго разсказа, представляющаго событія по внутренней ихъ связи между собой, какъ причинъ и слѣдствій. Курбскій показываетъ и поводъ, почему онъ взялъ на себя обязанность историка, и задачу, которую онъ долженъ рѣшить своимъ трудомъ, и понятіе о цѣли исторіи. Основная мысль, приводимая въ рѣшеніи задачи, сообщаетъ его историческому сочиненію единство и послѣдовательность и тѣмъ возвышаетъ его надъ простымъ повѣствованіемъ лѣтописца. Но какъ Курбскій былъ самъ заинтересованнымъ участникомъ въ дѣлахъ, о которыхъ повѣствуетъ, то его трудъ относится также къ разряду мемуаровъ (записокъ), отражающихъ въ себѣ личные взгляды и чувства писателя и потому нерѣдко одностороннихъ и пристрастныхъ. Съ этой точки зрѣнія Пушкинъ справедливо назвалъ исторію Курбскаго „озлобленною“ лѣтописью. Поводомъ къ сочиненію Исторіи служили многократные вопросы именитыхъ людей на Литвѣ: отчего произошла такая перемѣна въ царѣ, прежде столь добромъ и парочитомъ, не щадившемъ своего здоровья за отечество, перенесшимъ въ войнѣ съ врагами христіанства тяжкіе труды и отъ всѣхъ прославленномъ? Отсюда ясна задача, предстоявшая Курбскому: онъ долженъ былъ показать причину непонятной для многихъ перемѣны въ Іоаннѣ. Исторія великаго князя московскаго рѣшаетъ задачу слѣдующимъ образомъ: царь былъ прежде „добръ и парочитъ“, потому что окружалъ себя разумными совѣтниками, украшенными благочестіемъ и страхомъ Божиимъ, искусными въ военныхъ и земскихъ дѣлахъ. Эти совѣтники назывались избранной думой: названіе, согласное съ ихъ дѣлами, ибо своими совѣтами производили они все избранное—праведный, нелицепріятный судъ богатому и бѣдному, назначеніе искусныхъ и храбрыхъ военачальниковъ. А паразиты и тунеядцы, сирѣчь подобды или трапезные товарищи, были отгоняемы вмѣстѣ съ скоморохами и лукавыми людьми. Царь оказался „сопротивнымъ прежнему“, то-есть замъ и лю-

тымъ, когда, удаливъ отъ себя Сильвестра и Адашева, отворилъ слухъ грабителямъ отечества—клеветникамъ и ласкателямъ, между которыми явились и иноки-міролюбцы, не радѣвшіе о богоугодномъ, не дававшіе совѣтовъ по разуму духовному, а думавшіе единственно о томъ, какъ бы угодить царю и властямъ, чтобы чрезъ то выманить имѣнія монастырю. Соотвѣтственно рѣшенію вопроса, сочиненіе дѣлится на двѣ части: въ одной представлена начальная, свѣтлая половина царствованія Іоанна; другая изображаетъ мрачную, грозную его половину, по которой царь и получилъ прозваніе.

Какъ человѣкъ не только начитанный, но и владѣвшій научными и литературными приемами, Курбскій цѣнилъ хорошія качества изложенія и умѣлъ сообщать ихъ своимъ мыслямъ. Онъ еще въ Россіи приобрѣлъ многія познанія, которыя при его природномъ умѣ, твердомъ характерѣ и дарѣ слова, сдѣлали его замѣчательнымъ человѣкомъ своего времени. Потомъ двадцатилѣтняя жизнь въ Литвѣ, знакомство съ западною наукой и образцами западной словесности укрѣпили его литературное искусство. Грустное положеніе изгнанника, среди „людей тяжкихъ и негостелюбивыхъ“, поставило его въ необходимость, совпадавшую впрочемъ съ его собственнымъ влеченіемъ, предаться книжнымъ занятіямъ. На старости лѣтъ выучился онъ латинскому языку и изучалъ философію Аристотеля. Рѣчь Курбскаго испещрена варваризмами, взятыми изъ языковъ латинскаго и польскаго. Къ латинскимъ словамъ принадлежатъ, напримѣръ: плувія (pluvia—дождь), аеръ (aer—воздухъ), сикованція (sycophantia—обманъ, клевета), фабула (fabula—басня), эпистолія (epistola—письмо) и пр. Примѣры польскихъ словъ: або, алибо (или) повѣтрєнный (воздушный, заразительный), пожиточный (полезный), мѣскій (городской), остатный (остальной) и проч.

§ 31. Развитію образованія въ югозападной Руси, составившей, вмѣстѣ съ Литвою, великое Княжество Литовское, содѣйствовали два обстоятельства: близость Литвы къ западной Европѣ и соединеніе ея съ Польшею въ одно государство. Съ этого времени русскіе поставлены были въ неблагопріятныя отношенія къ католичеству. Они подвергались, со стороны польскаго правительства, разнымъ преслѣдованіямъ, имѣвшимъ цѣлью склонить ихъ къ униі. Исполнителями этого намѣренія явились іезуиты. Въ ихъ рукахъ находилось воспитаніе дѣтей аристократическихъ фамилій. Училища, ими устроенныя, сообщали русскому юношеству образованіе, соотвѣтственное ихъ видамъ. Книги, ими сочиняемыя, направлены были столько же на разъясненіе догматовъ и постано-



влелій католическихъ, сколько противъ ученія православнои Церкви, Передовые русскіе люди того времени предвидѣли опасность, угрожавшую западно-русской Церкви. Когда же возникшая Унія (1596) оправдала это предвидѣніе, тогда необходимо было принять рѣшительныя мѣры къ противодѣйствію. Такъ какъ сила іезуитовъ заключалась въ ихъ образованности, то русскимъ требовалось вооружиться тѣмъ же оружіемъ: основательно воспитывать юношество, заводить училища, готовить людей ученыхъ, способныхъ своими сочиненіями сдерживать католическую пропаганду. Изъ лицъ высшаго сословія, заботившихся объ ограниченіи зла, особенно извѣстны кн. Курбскій, жившій въ Литвѣ, и кн. Константинъ Константиновичъ Острожскій. Первый старался размножать творенія св. отцовъ Восточной Церкви, изъ которыхъ самъ перевелъ Іоанна Дамаскина и сочинилъ Исторію флорентинскаго собора; второй собиралъ и издавалъ церковныя книги, заводилъ училища, разсылалъ по Литвѣ проповѣдниковъ на защиту православія. Но сильнѣйшую помощь въ этомъ дѣлѣ оказало городское сословіе. Многіе города югозападнои Руси пользовались такъ называемымъ мадебургскимъ правомъ, по которому ремесленные и купеческіе цехи составляли общины, имѣвшія особое устройство. Эти общины или „братства“ группировались около церквей и монастырей, принимая ихъ въ свое вѣдомство. Первыми изъ братствъ были Львовское (1439) и Виленское (1455); затѣмъ явились въ Кіевѣ, Луцкѣ, Могилевѣ, Брестѣ и другихъ городахъ. Окончательное устройство дано имъ отъ вселенскихъ патріарховъ (1555). Съ этого времени дѣятельность ихъ расширилась, обратившись на охраненіе русской народности и православія отъ враждебныхъ на нихъ покушеній. Имѣя въ виду распространеніе образованія, какъ орудія для борьбы, они стали заводить училища. Уже недостаточно было прежнихъ школъ, гдѣ обучали только чтенію и письму. Для новыхъ потребностей нужны были болѣе значительныя и многостороннія знанія, и потому въ школьный курсъ вошли языки греческій, славянскій, русскій, латинскій и польскій, грамматика, риторика, пѣтика, діалектика, нравственное богословіе и нѣкоторые другіе предметы. Первое изъ новыхъ училищъ основано въ Острогѣ (1550) кн. Острожскимъ; за нимъ слѣдовали львовское, виленское, кіевское, брестское, минское. Кромѣ училищъ, братства заводили типографіи, изъ которыхъ особенно славилась львовская и виленская. Училище кіевское, учрежденное братствомъ (1589) преобразовано было кіевскимъ митрополитомъ Петромъ Могилою въ коллегію, которая потомъ стала называться Академіей. Изъ нея-то, какъ изъ перваго высшаго учебнаго заведенія, и вышли

люди, способные для разныхъ родовъ дѣятельности: духовной, гражданской, ученой,

Югозападная образованность, по преимуществу сосредоточенная въ Кіевѣ и отсюда распространившаяся по другимъ мѣстамъ, отличалась характеромъ средневѣковой западной цивилизаціи, переходившей къ намъ чрезъ посредство Польши. Она выразилась въ церковномъ краснорѣчїи, духовной драмѣ, силлабическомъ стихосложенїи, а также въ переводахъ съ польскаго легендъ, повѣстей и сказокъ.

Изъ югозападныхъ проповѣдниковъ XVII в. извѣстнѣйшіе: Іоанпикій Галатовскій, ректоръ кіевской академіи († 1688), Антоній Радивиловскій, игуменъ кіево-ніколаевского монастыря, и Лазарь Барановичъ, архіепископъ черниговскій († 1694).

Проповѣдное слово, кромѣ общаго своего назначенія — пастыря въ вѣрѣ и нравственности, имѣло еще особенную цѣль — противодѣйствовать католикамъ. Поученія, по словамъ одного изъ кіевскихъ ученыхъ, слагались столько же во славу Божию и на спасеніе души, сколько на устроеніе вѣрныхъ и отпоръ еретикамъ. О проповѣди, какъ орудїи для защиты или нападенія заботились въ самыхъ школахъ; наставникамъ кіевской академіи вмѣнено было въ обязанность заниматься по воскреснымъ днямъ катихизическими бесѣдами и произнесеніемъ проповѣдей; правила сочинять духовныя поученія (гомелїи) были выдѣлены изъ риторики въ особую науку — гомилетику. Возникла особая должность „проповѣдниковъ“, которую отправляли при соборахъ, монастыряхъ и братствахъ духовныя лица, по окончанїи академическаго курса; многіе изъ нихъ прїобрѣли себѣ такую извѣстность, что города и монастыри приглашали ихъ къ себѣ для проповѣдыванія; всѣ почти лица, занимавшія высокія іерархическія мѣста, напр., Стефанъ Яворскій и св. Димитрій Ростовскій, начинали съ этого свое поприще.

Отличительныя свойства югозападныхъ проповѣдей опредѣлились характеромъ научнаго образованія, преимущественно богословскаго, которое сообщало имъ свое содержаніе, и риторическаго, которое предлагало правила давать содержанію форму. Понятїе о проповѣдномъ стилѣ ясно дается кнпгою Галатовскаго: „Наука, или способъ сложенія казаній (поученій)“. Въ ней обстоятельно изложены правила касательно выбора темы, дѣленія слова на части содержанія каждой части, прїисканія матеріаловъ. Проповѣдникъ прежде всего долженъ взять изъ Св. Писанія тему, какъ фундаментъ сочиненію. Въ проповѣди три части: эксордіумъ (початокъ), наррація (повѣсть) и конклюдія (конецъ). Эксордіумъ составленъ изъ пристуна

и пропозицій (предложений), т.-е. указанія предмета, о которомъ будетъ говориться; здѣсь же проповѣдникъ проситъ Бога и Ангеловъ о помощи, а слушателей о вниманіи. Наррація повѣдаєтъ обѣщанное проповѣдникомъ: эта часть наибольшая, ибо въ ней собственно и заключается проповѣдь; всѣ другія части важны только по своему къ ней отношенію. Конключія кратко повторять изложенное въ нарраціи и увѣщеваетъ слушателей сохранить рѣчи въ памяти. На вопросъ: откуда заимствовать матеріалы для сложенія проповѣди? Галатовскій отвѣчаетъ: „читай Бибію, творенія отцовъ церкви, житія святыхъ, исторію и хроники, книги о звѣряхъ, птицахъ, гадахъ, рыбахъ, деревьяхъ, травахъ, камняхъ, водахъ. Вычитанное прилагай къ своей рѣчи. Искусству приложенія научатъ проповѣдники нынѣшняго вѣка“. Такимъ образомъ практика духовнаго краснорѣчія шла рука объ руку съ риторической теоріей, которая тогда составляла общее достояніе католическаго запада, пришла къ намъ изъ польскихъ школъ и господствовала въ руководствахъ къ преподаванію риторики въ Кіевской академіи, гдѣ обучался Галатовскій. Основанія этой схоластической риторики, впервые изложенныя въ *Progymnasmata* Афеонія, греческаго ритора въ III-мъ в. по Р. Х., получили потомъ форму классическихъ руководствъ въ трудахъ Помея, Каусеина и др.

Такимъ образомъ сформировалась юго-западная проповѣдь, пользовавшаяся разнообразнымъ матеріаломъ при изобрѣтеніи содержанія, заключавшая этотъ матеріалъ въ опредѣленные рамки, по правиламъ схоластической риторики, и преимущественно старавшаяся объ искусственномъ примѣненіи его къ разъясненію темы, къ толкованію выбраннаго текста. Все было употребляемо для достиженія этой цѣли: свидѣтельства Св. Писанія, изреченія философовъ и поэтовъ, притчи, символы, сравненія и противоположенія, примѣры, объясненія именъ, даже игра словъ. Мастерство ритора преимущественно и выражалось въ ловкости пригонять собранный матеріалъ къ тому положенію, которое нужно было доказать. Само собою разумѣется, что при такой задачѣ проповѣдника весьма часто являлись у него неестественныя, натянутыя обличенія и толкованія, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ, не ограничиваясь сущностью сличаемыхъ предметовъ, иногда совершенно разнородныхъ, хотѣлъ провести параллель между всѣми ихъ свойствами и дѣйствіями, видѣть въ каждомъ явленіи жизни одного символъ жизненныхъ явленій другого. Слѣдующіе примѣры служатъ поясненіемъ сказанному. Въ словѣ Галатовскаго на Срѣтеніе Господне темою служить текстъ: „се лежитъ сей на паденіе и возстаніе многихъ по Израили“ (Лук. II, 34). Это дало проповѣднику по-



годъ уподоблять Спасителя разнымъ камнямъ, одареннымъ, какъ думали въ средніе вѣка, чудесною силою: карбункулу, аметисту, изумруду, топазу, магниту и пр., и каждое уподобленіе подкрѣплять историческимъ примѣромъ или современнымъ обстоятельствомъ. „Магнить (говорится въ Словѣ) притягиваетъ къ себѣ желѣзо: если бы кого-нибудь ранили пулей, которой нельзя было вынуть, или стрѣлою, остріе которой осталось въ тѣлѣ, тогда извлекають и то и другое прикладываніемъ магнита къ ранѣ. Такъ и Христосъ притягиваетъ къ себѣ грѣшныхъ, названныхъ въ книгѣ пророка Іереміи желѣзомъ: желѣзо, вси растлѣни суть (VI, 28). Былъ такимъ твердымъ желѣзомъ Фараонъ, котораго Богъ каралъ разными казнями... Такъ и теперь караетъ онъ грѣшниковъ войною, голодомъ, повѣтріемъ, саранчею и другими напастями, дабы они покаались и жили по заповѣдямъ“. Содержаніе другой проповѣди Галятовскаго: „На Успеніе Богородицы“, состоитъ въ толкованіи слова „риза“, находящагося въ текстѣ. „Предста Царица одесную Тебе, въ ризахъ позлащенныхъ, одѣяна преиспещренна“ (Пс. XLIV, 10). Проповѣдникъ исчисляетъ питки, изъ которыхъ соткана была одежда: льняная, шерстяная, шелковая и золотая. Каждая нитка берется какъ символъ какой-либо высочайшей добродѣтели небесной Царицы: лень—символъ терпѣнія, волна (шерсть)—символъ чистоты и невинности, шелкъ—символъ смиренія, золото—символъ мудрости. Въ первомъ словѣ на Воскресеніе Христово, Радивиловскаго, темою выбранъ текстъ: „побѣдилъ есть левъ, сый отъ колѣна Іудова“, и потому приступъ занятъ указаніемъ тѣхъ мѣстъ Св. Писанія, въ которыхъ Сынъ Божій уподобляется агнцу, человѣку, орлу, льву. Уподобленіе послѣднему составляетъ предметъ проповѣди: „въ чемъ есть подобенъ льву, о томъ слово будетъ“. Главная часть заключается, слѣдовательно, въ открытіи аналогій между львомъ и Сыномъ Божиимъ, который есть левъ отъ колѣна Іудова. Радивилевскій находитъ шесть аналогій, и чертежъ его проповѣди очень простъ: сначала говорится о какомъ-либо свойствѣ или дѣйствіи льва, а потомъ приписываются изображаемая ими свойства или дѣйствія Спасителя. Между прочимъ передана здѣсь, какъ матеріалъ для распространенія мысли, Езопова басня о договорѣ между львомъ, лисицей и осломъ—дѣлать добычу поровну: глухой оселъ, при первой добычѣ, хотѣлъ взять себѣ равную со львомъ часть, за что и былъ имъ растерзанъ, а хитрая лисица, уступая все льву, получила отъ него больше, чѣмъ ей слѣдовало. Отсюда выводится мораль: гордыхъ ожидаетъ наказаніе а смиренныхъ награда. Толкованіе собственнаго имени считалось весьма пригоднымъ способомъ для сложенія церковнаго слова;

съ помощью этого способа, говоритъ Галитовскій въ своемъ риторическомъ учебникѣ, можно написать цѣлую проповѣдь. Подобное толкованіе, равно какъ и игра словъ встрѣчаются очень часто, напримѣръ, у Лазаря Барановича, въ словахъ на великомученика Оеодора Стратилата и на равноапостольнаго кн. Владиміра. Такъ какъ Оеодоръ значитъ даръ Божій, то темою проповѣди взять текстъ „всякій даръ совершенъ“. Владиміръ нареченъ въ крещеніи Василиемъ, т.-е. царемъ: „подобало ему въ крещеніи принять имя царское, ибо онъ крещеніемъ приуготовился къ царству небесному. Онъ былъ сынъ Свѣтослава, который не далъ ему ни славы, ни свѣта. Свѣтомъ разума просвѣтилъ его Сынъ Божій, какъ свѣтъ, пришедшій въ міръ, да будетъ Владиміръ не именемъ, но дѣломъ сынъ Свѣтослава“. Или въ проповѣди на св. Николая чудотворца: „упроси о мирѣ, Міръ Ликійскій чудотворче! Сотвори наибольшее чудо, да въ міръ миръ будетъ. Самое имя твое проситъ мира: ибо въ міръ весьма не полезно безъ мира“. Есть и другія особенности юго-западнаго церковнаго краснорѣчія, отличающія его отъ проповѣдей сѣверо-восточной Руси. Въ немъ смѣшиваются элементы и тоны: учительный съ лирическимъ, серьезный съ сатирическимъ и шутивымъ; иногда замѣтно выступаетъ личность проповѣдника, выраженіе его личныхъ отношеній, прикрытыхъ притчами. Самое произнесеніе представляло болѣе живости, но менѣе спокойствія и ровности, свойственныхъ назначенію учительнаго слова и мѣсту, гдѣ собираются его слушать. Поэтому „Духовный Регламентъ“ (1720) обратилъ вниманіе на тѣ стороны юго-западной проповѣди, въ которыхъ она подражала образцамъ польскимъ. Онъ осудилъ ея изысканную, театральную декламацию: „не надобно проповѣднику шататься вельми, будто въ суднѣ весломъ гребеть; не надобно руками спляскивать, въ бока упиратися, подскакивать, смѣяться, да не надобѣ и рыдать, но хотя бы и возмущился духъ, надобѣ елико мощно, унимать слезы: все бо сія лишняя и не благообразна суть и слышателей возмущаютъ“. Равнымъ образомъ не оставлено Регламентомъ безъ замѣчанія много-различіе и смѣшеніе источниковъ, изъ которыхъ ораторъ черпалъ свой матеріалъ: онъ гребуетъ прилежно читать книги Іоанна Златоустаго и запрещаетъ читать „леткомысленныхъ казнодѣльниковъ, каковы наипаче—польскіе бываютъ“.

Школьныя драмы занесены въ юго-западную Русь изъ Польши, гдѣ онѣ существовали еще до іезуитовъ, а съ водвореніемъ этого ордена получили особенное развитіе и должны были служить воспитательнымъ средствомъ, съ какою цѣлью въ содержаніе ихъ вводились элементы догматическій и правоучительный. По формѣ

своей, школьная драма противоположна средневѣковымъ мистеріямъ (духовнымъ представленіямъ, возникшимъ изъ пасхальныхъ празднествъ и имѣвшимъ вначалѣ главнымъ своимъ предметомъ величайшую тайну религіи—искупленіе). Составъ мистерій отличался неурядицей, тогда какъ школьная драма представляетъ строго-опредѣленный типъ античной драмы. Въ ней, кромѣ общаго пролога, есть прологи частные къ каждому отдѣльному акту, нѣсколько актовъ съ извѣстнымъ числомъ сценъ въ каждомъ, хоры, которыми, въ сопровожденіи „игранія“ (музыки), оканчивался каждый актъ, и, наконецъ, эпилогъ. Начальство кіевской академіи смотрѣло на представленіе драмъ, какъ на развлеченіе назидательное. Преподавателю пѣтики вмѣнено было въ обязанность сочинять для того по крайней мѣрѣ по одной пьесѣ въ годъ. Разыгрываніе происходило въ рекреаціонное время. Обычай этотъ сохранился и въ позднѣйшее время: „Духовный Регламентъ“ разрѣшалъ воспитанникамъ академій и семинарій дважды въ годъ „дѣлать комедіи“. Замѣчательнѣйшія изъ духовныхъ лицъ, получившихъ образованіе въ Кіевѣ: Симеонъ Полоцкій (см. ниже), св. Димитрій Ростовскій, Георгій Конисскій и др., занимались сочиненіемъ школьных драмъ. Пьесы св. Димитрія разыгрывались воспитанниками Ростовской семинаріи. Пьеса Конисскаго, архіепископа бѣлорусскаго: „Воскресеніе Христова“ сочинена для майскихъ рекреацій, когда онъ обучалъ риторикѣ въ кіевской академіи. Писались эти драмы виршами, т.-е. силлабическими стихами.

Литературный стихъ началъ образовываться въ XVI в., по образцу польскаго стихосложенія, основаннаго на числѣ слоговъ и потому называемаго силлабическимъ. Господству виршей или вирней (съ перемѣною *ѣ* на *и* по южно-русскому выговору) способствовала школьная пѣтика, обучавшая искусству писать стихи, польскіе и русскіе. Въ XVII в. они становятся модой. Рѣдкое изданіе книги обходится безъ нихъ въ посвященіи, предисловіи и заключеніи. Они смѣшиваются съ прозой и употребляются для изложенія самыхъ разнородныхъ предметовъ. Любовь къ нимъ доходила до пристрастія, которое, наконецъ, вызвало осужденіе. Св. Димитрій Ростовскій, получивъ книгу архіепископа черниговскаго Максимовича: „Богородице Дѣво“ — извѣстную молитву, „расширенную риомами“, какъ выразился самъ авторъ, сдѣлалъ о ней такое замѣчаніе: „книга стиховъ печатныхъ прислана мнѣ. Богъ далъ тѣмъ виршеслагателямъ типографіи, и охоту, и деньги, и свободное житіе; мало потребныя вещи въ свѣтъ происходить“. Симеонъ Полоцкій также сочинялъ цѣлые томы



стихотвореній „о всякихъ разныхъ дѣлахъ“; извѣстный трудъ его въ этомъ родѣ есть переложеніе Псалтири стихами. Силлабическая верификація, существовавшая до Ломоносова, не отвѣчала характеру русской просодіи и потому вышла прививною, насильственною. Неизмѣнное удареніе на предпоследнемъ слогѣ, по свойству польскаго языка, сообщало речамъ неприятную монотонію и принуждало отступать отъ свойственныхъ русскимъ словамъ удареній. Притомъ стихотворный размѣръ часто шелъ наперекоръ русскому синтаксису. Будучи скована правилами чуждой ей просодіи, церковнославянская и русская рѣчь ложилась искусственными предложеніями и періодами и отступала отъ естественнаго строя ради соблюденія рѣзъ, цезуры и количества слоговъ.

§ 32. Со второй половины XVII в. началось въ Москвѣ усиленное стремленіе къ просвѣщенію. Между лицами, приближенными ко двору Алексія Михайловича, являются любители науки: Ртищевъ, Ординъ-Нащокинъ и Матвѣевъ, изъ которыхъ послѣдній отличался европейскимъ образованіемъ и европейскими обычаями въ образѣ жизни. Бояринъ Ртищевъ пригласилъ изъ Кіева, въ устроенный имъ Андреевскій монастырь, нѣсколько ученыхъ иноковъ для перевода книгъ съ греческаго и кромѣ того для обученія юношества „свободнымъ наукамъ“. Въ числѣ приглашенныхъ находился Епифаній Славинецкій, знатокъ греческаго языка и главный руководитель дѣла при сличеніи старыхъ славянскихъ переводовъ съ греческаго, исправленіи ихъ и составленіи новыхъ, болѣе удовлетворительныхъ. Появленіе раскола заставило еще болѣе думать о развитіи образованія, какъ наилучшаго средства ему противоудѣйствовать. Бывшій въ Москвѣ газскій митрополитъ Паисій Лягаридъ высказалъ ту мысль, что церковныя смятенія происходятъ отъ невѣжества, и указалъ средство противоудѣйствовать имъ: „Алківіадъ (писалъ онъ) на вопросъ доиняиъ, что нужно для веденія войны, отвѣчалъ: золото золото и золото; такъ и я говорю: для искорененія духовнаго недуга нужны училища, училища и училища“. Но уже недостаточно было ограничивать ученіе однимъ чтеніемъ и письмомъ; слѣдовало возвысить школьное образованіе, сообщить ему научный характеръ. И вотъ, сознавая эту настоятельную потребность, царь Θεодоръ Алексѣевичъ учредилъ (1679 г.) при типографіи училище, которое черезъ нѣсколько лѣтъ было преобразовано въ духовную „академію“ (славяно-греко-латинскую). Съ прекращеніемъ польскихъ войнъ и съ присоединеніемъ Малороссіи къ Московскому государству прибываютъ въ Москву воспитанники кіевской академіи. Наибольшею между ними извѣстностью пользовался іеромонахъ Симеонъ Пелопскій, выбранный

Алексѣемъ Михайловичемъ въ наставники къ царевичу Феодору. Онъ и Славинецкій были представителями юго-западной русской науки въ Москвѣ, хотя и не сходились въ вопросѣ о томъ, какому вліянію должно было господствовать въ образованіи — греческому или латинскому. Славинецкій стоялъ за первое, Полоцкій за второе. Оба они оказали важную услугу проповѣдыванію. Живая проповѣдь замолчала на сѣверѣ Россіи съ самой смерти митрополита Фотія (XV в.); Славинецкій первый возобновилъ въ Москвѣ обычай поучать народъ словомъ своего собственнаго сочиненія; за нимъ послѣдовалъ и Полоцкій.

По характеру трудовъ своихъ, Славинецкій принадлежалъ къ классу людей ученыхъ, которые не входятъ въ близкое соприкосновеніе съ обществомъ, тогда какъ Полоцкій обращалъ главное вниманіе на духовныя потребности современнаго общества и старался удовлетворить ихъ: дѣятельность его была не ученая только, но и литературная. Онъ завелъ во дворцѣ Верхнюю типографію (верхъ — царскія палаты), гдѣ и печаталъ свои книги. При дворѣ онъ оказалъ пользу своимъ вліяніемъ, — возвышая значеніе науки во мнѣніи тѣхъ, отъ кого зависѣло дать ей болѣе просторъ. Имъ была написана грамота объ учрежденіи академіи въ Москвѣ. Разнообразныя его сочиненія давали возможность многимъ находить въ нихъ что-либо для нихъ пригодное. За исключеніемъ догматико-богословскихъ и полемическихъ, они суть слѣдующія: два сборника проповѣдей (Обѣдъ душевный и Вечеря душевная); двѣ школьныя драмы: „О Царѣ Навуходоносорѣ и о трехъ отрокахъ, вверженныхъ въ печь огненную“, и „О блудномъ сынѣ“, нѣсколько томовъ стихотвореній. Главными темами поученій служили воспитаніе и суевѣріе. Говоря объ ученіи, Полоцкій разсматриваетъ его необходимость и важность, предметы его и способъ достигать успѣховъ. Онъ часто прославляетъ святыхъ, которые заботились о воспитаніи дѣтей своихъ или подавали примѣръ тщательнаго исканія мудрости. И зло, и благо, говоритъ онъ, нисходятъ на чадъ не по естеству отъ родителей, а отъ ученья. Учиться надо каждому: и монаху и мірянину; чтеніе божественныхъ писаній всѣмъ полезно: и мужчинамъ и женщинамъ. Полоцкій дѣлитъ юный возрастъ на три степени, предоставляя каждой изъ нихъ особый предметъ образованія: въ первыя семь лѣтъ надобно учить „глаголать слова блага и чистыя, вѣщать правду: а не ложь“; вторыя семь — учить художеству, „соблюдать отъ видѣнія скверныхъ“, ибо дѣтямъ равно неприлично какъ говорить дурное, такъ и видѣть дурное; третья семилѣтіе — учить страху Божию и мудрости, какъ жить Богу, разумнѣю и искус-

ству—какъ честно гражданствовать въ мірѣ. Постоянно выставляетъ онъ необходимость ученія, важность уменнаго усѣха, исканіе мудрости. Народныя суевѣрія обличаются проповѣдникомъ отъ имени просвѣщенія и религіи: онъ указываетъ смѣшную и вредную ихъ стороны, ихъ противорѣчіе наукѣ и здравому смыслу, ихъ родство съ языческими обычаями.

Комедія о „Навуходоносорѣ и трехъ отрокахъ“ представляетъ развитіе „Пещнаго дѣйства“, которое въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ древней Россіи входило въ составъ извѣстнаго богослужебнаго чина и совершалось передъ Рождествомъ. Полоцкій нѣсколько распространяетъ это дѣйство и переложилъ рѣчи дѣйствующихъ лицъ въ силлабическіе стихи. Свободнѣе отнесся Полоцкій къ притчѣ „О блудномъ сынѣ“. Пьесу этого имени онъ раздѣлилъ на шесть частей, къ каждой изъ нихъ прибавилъ нѣчто „утѣхи ради“ и, кромѣ того, вставилъ въ антракты интермедіи и „играніе“. Къ утѣшнымъ предметамъ принадлежатъ, напримѣръ, шутки воиновъ, которые въ первой комедіи связываютъ отроковъ для вверженія въ печь. Одинъ изъ нихъ говоритъ:

Азъ и двѣ кожи готовъ есть издрати  
Съ одного хребта, а самъ не страдати.

Другой продолжаетъ:

Мнѣ еврейна столь сладко убить,  
Якоже меда сладку чашу пить.

Направленіе обѣихъ комедій нравоучительное.

Въ примѣръ стихотворнаго искусства Полоцкаго приводимъ двѣ строфы изъ перваго псалма:

Блаженъ мужъ, иже во злыхъ совѣтъ не вхождаетъ,  
Ниже на пути грѣшныхъ человекъ стояше,  
Ниже на сѣдалищахъ восхотѣ сѣдѣти  
Тѣхъ, иже не желаютъ блага разумѣти.

Но въ законѣ Господни волю полагаетъ,  
Тому двумъ и ночью себя поучаетъ.  
Будетъ бо яко древо при водахъ сажденно,  
Еже дастъ во время си плодъ свой неизмѣнно.

Во второй же половинѣ XVII в. положено основаніе русскому театру. Онъ устроился при дворѣ Алексея Михайловича при содѣйствіи боярина Матвѣева. Въ 1672 г. была разыграна въ присутствіи царя комедія объ Эсепри, или такъ называемое „Артахсерксово дѣйство“. Постановкой ея распоряжался пасторъ лютеранской церкви въ нѣмецкой слободѣ Іоаннъ Готфридъ Грегори, съ помощію учителя Юрія Михайлова. Они собрали дѣтей разныхъ служилыхъ и торговыхъ иноземцевъ, всего 64 человека, и разучили съ ними комедію, которая очень понравилась государю.



„Комидійная хоромина“ (зданіе театра) находилась въ селѣ Преображенскомъ. Въ 1673 г. пасторъ завѣдывалъ уже цѣлой школой, въ которой начали учиться комидійному дѣлу 26 человекъ мѣщанскихъ дѣтей изъ новомѣщанской слободы. Переводчикъ посольскаго приказа, Георгій Гивнеръ, помогалъ Грегори въ „строепіи“ и переводѣ комедій. За Артаксерксовымъ дѣйствомъ послѣдовали комедіи: Юдино, Товій, дѣйство объ Іосифѣ; объ Адамѣ и Евѣ, Темиръ-Аксаково дѣйство, или Баязеть и Тамерланъ. Первоначальный репертуаръ состоялъ изъ буквальныхъ переводовъ тѣхъ нѣмецкихъ пьесъ, которыя въ Германіи XVII в. ходили подъ названіемъ „англійскихъ трагедій и комедій“. Называли же они „англійскими“ потому, что написаны въ стилѣ тѣхъ пьесъ, которыя начали разыгрываться странствующими англійскими актерами въ Германіи въ концѣ XVI в. Заглохшее со смертію Алексѣя Михайловича комидійное дѣло было возстановлено Петромъ I-мъ <sup>1)</sup>).

§ 33. Въмѣстѣ съ памятниками духовной, учительной и исторической письменности существовали у насъ въ древнемъ періодѣ и памятники литературы повѣствовательной, доставлявшей нашимъ предкамъ мірское развлеченіе, т.-е. соответствовавшей тому, что въ наше время называется беллетристикой. Первые повѣсти явились изъ Византіи, главнымъ образомъ, въ южно-славянскихъ переводахъ; съ XVI в., при посредствѣ Польши, стали переходить западныя переводныя сказанія. Между этими двумя отдѣлами припыхъ повѣстей (византійскимъ и западнымъ) есть нѣсколько рассказовъ восточнаго происхожденія. Преобладающее направленіе въ повѣстяхъ перваго отдѣла — христіанско-нравоучительное. Начало собственно русской повѣсти относится къ XVII в.

*Византійскія и южно-славянскія повѣсти.* Важнѣйшія изъ нихъ слѣдующія:

„Александрія“ — баснословное сказаніе о подвигахъ Александра Великаго, образъ котораго, окруженный поэтическимъ блескомъ, въ европейскіхъ поэмахъ сталъ рыцаремъ, а у мусульманъ — народнымъ героемъ. Она интересовала читателей элементомъ чудеснаго, рассказами о дивахъ, которыя встрѣчались завоевателю въ его походахъ: кентавры, пигмеи, ростомъ въ локоть; жены трехсаженныя, съ глазами какъ звѣзды; человекообразныя птицы; люди псоголовые; дѣва Горгона, съ лицомъ, персями и руками человеческими, ногами и хвостомъ конскими, змѣнными волосами на головѣ; полчища царей Гога и Магога, запертыя Александромъ въ горахъ, гдѣ они останутся до страшнаго суда; потомки Сива

<sup>1)</sup> «Первое пятидесятилѣтіе русскаго театра», Н. Тихонравова (1873).

на блаженномъ (макарійскомъ) островѣ, ведущіе ангельскую жизнь, непричастные житейскимъ смутамъ и пр.. Кромѣ того, личность героя привлекала къ себѣ симпатичностью; Александръ судить право, быть непоколебимъ въ вѣрѣ, щедръ, долготерпѣливъ къ согрѣшающимъ, имущества считалъ тѣньными и мимоидущими. Поэтому „Александрія“ имѣла въ виду не одно удовольствіе читателей: она должна была возбудить въ нихъ сочувствіе къ идеальной сторонѣ юнаго героя, подражаніе его доблестямъ, почему и пазначалась въ „паказаніе храбрымъ нашего времени“,

„Троянскія дѣянія“ (Исторія Троянской войны). Средніе вѣка, не понимая художественныхъ красотъ Иліады, предпочитали ей позднѣйшія сочиненія о Троянской войнѣ, приписанныя фригійцу Диктису и троянцу Дарету. Изложеніе послѣдняго, какъ отличающееся сочувствіемъ къ троянамъ, пользовалось большою популярностью на западѣ, гдѣ она поддерживалась литературной басней о троянскомъ происхожденіи новоевропейскихъ народностей, любившихъ возводить свое начало къ преданіямъ Рима и далѣе къ Энею и Троѣ. На основаніи Даретова разсказа написана была въ XIII в. въ прозѣ „Исторія разоренія Трои“. Въ русскомъ переводѣ она явилась въ XVII в. подъ заглавіемъ: „О царствѣ троянскомъ и коначномъ его разореніи“. „Исторія Троянской войны“ начинается описаніемъ троянской мѣстности, родословіемъ троянскихъ царей до Пріама, вѣщимъ сномъ Гекубы, что сынъ, имѣющій отъ нея родиться, будетъ причиною гибели Трои, и такъ далѣе до похищенія Елены Парисомъ. Разсказъ же о троянскихъ дѣяніяхъ идетъ отъ похода греческихъ царей до смерти Полиместора. Въ славянскихъ спискахъ Исторія оканчивается мыслью о смиреніи. „Тако скончася Тройское кралевство!.. Тако Богъ смиряетъ возносящихся и потребляетъ сѣмя нечестивыхъ, по глаголу пророка: видѣхъ нечестиваго превозносящагося и высящагося, и мимо идохъ и не обрѣте ся мѣсто къ тому, яко Богъ праведенъ“. Такое заключеніе, не вытекающее изъ содержанія, показываетъ только желаніе ввести разсказъ въ кругъ христіанскаго міровоззрѣнія.

„Житіе и дѣяніе прекраснаго Девгенія“ есть образецъ византійско-палестинскаго эпоса, представляющій борьбу христіанъ съ сарацинами. Дѣйствіе происходитъ въ греческой землѣ. Сыновья набожной вдовы Андроника Дуки, прославившагося въ царствованіе Θεодоры и Льва Мудраго, побѣждаютъ аравитскаго царя Амира (т.-е. Эмира), который похитилъ ихъ сестру. Ампръ, принявъ христіанскую вѣру, женится на похищенной дѣвушкѣ. Отъ этого брака родился Дигенисъ (т.-е. двоеродный — сынъ сарацина и гречанки), прозванный Акритомъ (стражемъ), такъ какъ онъ за-

щипаль византійскія границы отъ сарапінскихъ набѣговъ. Подвиги этого витязи и воспѣваются въ поэмѣ, состоящей изъ десяти пѣсенъ: онъ убиваетъ дракона и льва, побѣждаетъ амазонку Макенно и предводителей разбойниковъ, и потомъ женится на Евдокии, дочери стратига Дуки.

„Сборникъ индійскихъ басенъ“ (Панчатантра, т.-е. Пяткшижіе) имѣетъ цѣлю наставить царей и правителей въ искусствѣ правленія. Арабская редакція его, по имени двухъ шакаловъ, играющихъ въ немъ видную роль, называется: „Калина и Димна“, то-есть Прямодушный и Лукавый, а греческій переводъ съ арабскаго— „Стефанитъ и Ихнилать“, т.-е. Убѣжденный и Слѣдящій. Рамка, въ которую вставлены рассказы Сборника, состоитъ въ томъ, что лукавый царедворецъ Ихнилать возстаповляетъ царя Льва противъ его друга Тельца. Пріятель Ихнилата, Стефанитъ, напрасно остерегаетъ его отъ затѣянной интриги, развизывающейсѣ тѣмъ, что левъ убиваетъ тельца. Ковы Ихнилата вскорѣ обнаружены и онъ посаженъ въ темницу. Стефанитъ посѣщаетъ его и совѣтуетъ во всемъ признаться, но Ихнилать выжидаетъ время и держитъ себя на допросѣ съ нахальствомъ, обвиняя своихъ обличителей. Дѣло кончается казнью Ихнилата. „Каждый, строящій козни ближнему, впадаетъ въ вырытый имъ самимъ ровъ“—таково заключеніе разсказа, выраженное нѣкимъ философомъ въ отвѣтѣ на вопросъ индійскаго царя: какъ лукавый льстецъ вноситъ вражду въ среду людей, имѣющихъ между собой содружество? Далѣе имена Стефанита и Ихнилата исчезаютъ, а царь продолжаетъ вопрошать философа о разныхъ предметахъ: о друзьяхъ, которые любятъ другъ друга и въ любви стоятъ присно; о томъ, какъ уберечься отъ лицемерныхъ пріятелей-враговъ; какъ подобаетъ царю соблюсти свое царство—незловивымъ ли нравомъ, или благою совѣстью, или щедростью и пр. Философъ отвѣчаетъ прикладами и разсказами, въ которыхъ выражается какое-либо жизненное правило и гдѣ главную роль играютъ звѣри. Въ изложеніе этихъ разсказовъ вводятся другіе, когда дѣйствующія лица, съ цѣлю пояснить общее положеніе, прибѣгаютъ къ повѣсти или баснѣ. Такимъ образомъ создается причудливая форма, отличающая восточные сказочные сборники: цѣль повѣстей, вставленныхъ одна въ другую.

„Варлаамъ и Іоасафъ“. Оригиналomъ этого духовнаго романа послужилъ эпизодъ изъ житія Будды, зашедшій путемъ устной передачи въ христіанскую среду, записанный какимъ-либо сирійскимъ христіаниномъ въ Египтѣ, на греческомъ языкѣ, и приворовленный къ понятіямъ христіанскаго аскетизма. Индійскій царь Абенперъ (Авениръ), идолопоклонникъ, гонитъ христіанство, начинавшее



проникать въ его страну. Когда одинъ изъ приближенныхъ къ царю сдѣлался отшельникомъ, ненависть его къ христіанамъ еще болѣе усилилась. Въ это самое время у него, до-тѣль бездѣтнаго, родился сынъ необыкновенной красоты, котораго нарекли Іоасафомъ. Царь спрашиваетъ звѣдочетовъ о судьбѣ поворожденнаго. Всѣ пророчать ему богатство и имущество; одинъ только, искуснѣйшій, говорить, что царство его будетъ не въ этомъ мірѣ, а въ другомъ, лучшемъ, и что онъ станетъ послѣдователемъ новой религіи, гонимой его отцомъ. Чтобы избѣгнуть исполненія пророчества, царь приказалъ построить сыну отдѣльныя палаты, окружилъ его молодыми и красивыми воспитателями и строго запретилъ имъ пускать постороннихъ или доводить до свѣдѣнія царевича, что на свѣтѣ существуетъ что-либо печальное: бѣдность, болѣзнь, старость, смерть. дабы наслаждаясь настоящимъ, душа его не обращалась къ будущей жизни и онъ не могъ ничего услышать объ ученіи Христа. Въ заключеніи своемъ Іоасафъ совершенствовался душой и тѣломъ, удивляя отца и учителей остроуміемъ вопросовъ. Царь вынужденъ былъ согласиться на его просьбу — выходить изъ палатъ по желанію, но строго приказалъ удалять съ дороги царевича все, могущее возбудить въ немъ скорбныя мысли. Приказанія Абеннера исполнились нѣкоторое время въ точности, но однажды по небрежности слугъ, царевичъ увидалъ двухъ мужей, изъ которыхъ одинъ былъ покрытъ проказою, а другой слѣпъ, — и впервые узналъ изъ разспросовъ, что такое болѣзнь. Нѣсколько дней спустя, онъ увидѣлъ старика съ сморщеннымъ лицомъ, дрожащими ногами, бѣлыми волосами и безъ зубовъ, — и узнаетъ, что такое старость и неизбѣжная для cadaго челоѣка смерть. „Горестная эта жизнь“, подумалъ царевичъ; „и какъ челоѣкъ можетъ наслаждаться ею въ ожиданіи смерти! И меня она постигнетъ! Но что потомъ будетъ со мною? Обращусь ли я въ ничто? или есть другой міръ и другая жизнь?“ Въ это время въ пустынѣ Синаарской жилъ пустыиникъ Варлаамъ, достигшій высшаго совершенства въ знаніи и жизни. Узнавъ по откровенію о душевномъ гладѣ царевича, онъ покинулъ пустыню и пришелъ въ землю индійцевъ. Онъ явился къ воспитателю Іоасафа и объявилъ, что привезъ драгоценный камень, который готовъ продать царевичу и дѣйствія котораго чудесны: сердца слѣпыхъ освѣщаетъ свѣтомъ истины, глухихъ открываетъ слухъ, нѣмымъ даетъ голосъ, больныхъ исцѣляетъ, глухихъ умудряетъ, демоновъ изгоняетъ; онъ видимъ лишь тому, у кого чистое, здоровое зрѣніе и цѣломудренное тѣло. Царевичъ проситъ показать ему этотъ камень. Прежде чѣмъ исполнить твое желаніе, отвѣчаетъ пустыиникъ, я долженъ испытать твой разумъ: если

въ сердцѣ твоємъ найду благодарную землю, то безъ колебанія вложу въ нее божественное сѣмя. Послѣ этого слѣдуютъ поученія Варлаама, раскрывающія догматическое и нравственное содержаніе христіанства. Варлаамъ пользуется формой аполога, который подтверждаетъ какое-либо поученіе или вызываетъ иносказательное толкованіе, что сводится также къ поученію. Матеріалъ апологовъ заимствованъ отчасти изъ евангельскихъ притчъ, но въ большей мѣрѣ изъ восточныхъ разсказовъ, приспособленныхъ, впрочемъ, къ выраженію христіанскихъ идей. Затѣмъ Варлаамъ тайно креститъ царевича, который хочетъ послѣдовать за нимъ въ пустыню, но пустынникъ совѣтуетъ ему повременить, отказывается отъ денежнаго подарка и удаляется, оставивъ на память царевичу и по его просьбѣ свою грубую одежду, вмѣсто которой взялъ одежду Іоасафа, также старую и изорванную. Далѣе повѣсть рассказываетъ о средствахъ, употребленныхъ царемъ, чтобы прервать сношенія сына съ Варлаамомъ, но оставшихся безплодными. Тогда Абеннеръ раздѣлилъ царство на двѣ части и одну изъ нихъ предоставилъ Іоасафу, въ надеждѣ, что правительственныя заботы отвлекутъ его вниманіе въ другую сторону. Іоасафъ, прибывъ въ назначенный ему городъ, сталъ наставлятъ народъ въ истинной вѣрѣ и сдѣлалъ изъ своей страны образецъ христіанскаго царства. Самъ Абеннеръ увѣровалъ въ истиннаго Бога и передалъ все царство сыну. По смерти отца, Іоасафъ оставляетъ своихъ подданныхъ и удаляется въ Синаарскую пустыню отыскивать Варлаама. Два года скитается опъ здѣсь среди лишеній и искушеній, уготованныхъ ему дьяволомъ. Наконецъ учитель и ученикъ свидѣлись. Іоасафъ поселился въ пещерѣ Варлаама и своими подвигами превзошелъ учителя. Проживъ 35 лѣтъ въ пустынѣ и схоронивъ своего наставника, Іоасафъ мирно скончался.

„Посланіе пресвитера Іоанна“, или по русскому переводу, „сказаніе объ Индіи богатой“. Пресвитеръ Іоаннъ — баснословная, до сихъ поръ неразгаданная личность, на половину созданная христіанскою фантазіей, когда христіане, запятые борьбой съ мусульманствомъ, отдавались надеждамъ и слухамъ о какомъ-то могущественномъ восточномъ властелинѣ, который придетъ къ нимъ на помощь и принизитъ враговъ Христова имени. Слухи эти распространились въ Европѣ около половины XII вѣка, а черезъ нѣсколько лѣтъ затѣмъ явилось латинское посланіе пресвитера, написанное имъ будто бы къ византійскому императору Мануилу. Въ походахъ Іоанна несятъ передъ нимъ, вмѣсто знаменъ, 14 крестовъ украшенныхъ драгоценностями; въ обыкновенное же время простой деревянный крестъ, въ память страданій Спасителя. Его

власть полувѣтекаго и полудуховнаго характера, смѣсь императорства и папства; окружають его епископы, архіепископы и патриархъ св. Омы, но самъ онъ, по смиренію, ограничивается титуломъ пресвитера. Его правленіе обращено и къ духовно-христіанскому и къ матеріальному преуспѣванію подданныхъ; однимъ словомъ, онъ — идеаль правителя, какого ожидали въ послѣдніе дни, когда на землѣ настанетъ миръ и благоденствіе. Посланіе описываетъ Іоанново царство и находящіеся въ немъ диковинки: слоновъ и дромадеровъ, гиппопотамовъ и крокодиловъ, стрѣльцовъ-кентавровъ, людей рогатыхъ и одноглазыхъ, фавновъ и сатировъ, пигмеевъ и песиглавцевъ, птицу фениксъ, райскую рѣку, обильную драгоценными камнями, чудный источникъ у горы Олимпа, вода котораго, трижды испробованная натошакъ, застраховываетъ въ тотъ день отъ всякой болѣзни, такъ что человѣкъ остается навсегда какъ будто ему 32 года отъ роду, и т. п. Въ такой страпѣ не можетъ быть бѣдняковъ, нѣтъ и скупыхъ, татей и льстецовъ; всѣ живутъ въ согласіи. „Никто между нами не лжетъ и лгать не можетъ“, пишетъ Іоаннъ: „если кто примется лгать, тотчасъ же умираетъ и его память вмѣстѣ съ нимъ. Всѣ мы слѣдуемъ по стезямъ правды и любимъ другъ друга; нѣтъ у насъ порока. Простирается наша земля въ одну сторону почти на четыре мѣсяца пути, а границы ея съ другой никому неизвѣстны. Если ты сможешь пересчитать звѣзды на небѣ и морской песокъ, то оцѣни наши владѣнія и наше могущество“.

„Шемякинъ судъ“. Главное лицо повѣсти—бѣднякъ, совершающій рядъ неумышленныхъ преступленій, за которыя привлекають его къ суду. Съ точки зрѣнія формальнаго правосудія онъ дѣйствительно виновенъ и можетъ быть приговоренъ къ наказанію; но судья принимаетъ во вниманіе неумышленность преступленій и, судя по правдѣ, присуждаетъ отвѣтника къ такимъ пенямъ, что онѣ падаютъ всею своею тяжестью на истцовъ, которые потому и предпочитаютъ отказаться отъ иска. Въ такомъ свѣтѣ является судья въ восточныхъ сказкахъ, но въ нашемъ шемякинѣ судѣ онъ сильно видоизмѣнился: онъ изрекаетъ правдивые приговоры не по долгу совѣсти, а потому, что надѣялся на посулъ отъ подеудимаго. Такимъ образомъ типъ неправеднаго судьи, котораго перхитрилъ простакъ, заслонилъ все остальное, и повѣсть обратилась въ сатиру на судебскіе порядки, развитіемъ пословицы: „съ подъячимъ водись, а камень за пазухой держи“.—Вотъ содержаніе повѣсти: бѣдный братъ проситъ богатаго ссудить ему лошадь — съѣздить въ лѣсъ за дровами; по у лошади по несчастію, оторвался хвостъ, и хозяинъ ведетъ бѣдняка судиться за причинен-



ный ему убытокъ. По дорогѣ остановившись почевать, бѣднякъ упалъ съ полатей и зашибъ до смерти ребенка въ люлькѣ: отецъ ребенка является вторымъ истцомъ. Подходя къ городу, убогій бросается съ моста, чтобы покончить съ собою, и убиваетъ хвораго старика, котораго сынъ везъ въ баню. Такимъ образомъ является противъ него еще третій обвинитель, все вчетверомъ предстали передъ праведнаго судью Шемяку. Бѣднякъ завязалъ въ платокъ камень и показываетъ его изподтишка Шемякѣ: если не по миѣ будешь судить, то убью тебя до смерти. А судья принимаетъ этотъ знакъ за посулъ и рѣшаетъ дѣло въ пользу отвѣтчика. Богатому брату онъ велитъ отдать свою лошадь убогому, пока у нея отрастетъ хвостъ; сыну убитаго старика предлагаетъ броситься съ моста на отвѣтчика, который будетъ стоять внизу моста и т. д. Истцы, разумѣется, отступаются отъ дѣла, а Шемяка ждетъ себѣ награды отъ отвѣтчика; когда послѣдній объяснилъ значеніе своихъ жестовъ, судья перекрестился и сказалъ: слава Богу, что я по немъ судилъ. — Имя Шемяки — восточное: примѣненіе Шемякина суда къ исторической личности князя Дмитрія Шемяки — чистое вѣнское.

*Повѣсти западнаго происхожденія.* Изъ нихъ наиболѣе замѣчательны:

„Римскія дѣянія (Gesta Romanorum)“. Они получили свое названіе оттого, что въ первичный составъ сборника наиболѣе входили, вѣроятно, нѣкоторые анекдотическіе рассказы изъ римской исторіи. На русскій языкъ переведены съ польскаго во второй половинѣ XVII в., подъ заглавіемъ: „Дѣи Римскія или Повѣсти изъ Римскихъ дѣяній“ (слѣд. выборъ изъ латинскаго текста). Сборникъ служилъ не одному развлеченію, но и нравоучительной цѣли: каждая повѣсть истолковывалась иносказательно въ примѣненіи къ догматамъ и нравственному ученію христіанства: какъ видно изъ слѣдующаго образца: Веспасіанъ долгое время былъ бездѣтенъ; наконецъ, по совѣту мудрецовъ, женился на дѣвушкѣ изъ дальнихъ странъ и съ нею, на ея родинѣ, прижилъ дѣтей. Послѣ того онъ пожелалъ вернуться въ свое царство, но не могъ получить на то согласія жены, которая говорила: если ты удалишься, я убью себя. Тогда императоръ приказалъ изготавить два одинаковыхъ перетня, и на одномъ изъ нихъ изобразилъ Память, а на другомъ Забвеніе; первый взялъ себѣ, а другой отдалъ женѣ. Какъ только жена получила перетень, такъ тотчасъ же стала забывать о любви своей къ мужу. Увидѣвъ это, Веспасіанъ пришелъ въ радость, возвратился на царство, и, по выдавъ болѣе жены, кончилъ свою жизнь въ мирѣ. „Братія! подъ императоромъ слѣдуетъ разумѣть человѣческую душу, которой по-

добаетъ возвратиться въ ея исконное отечество — въ царствіе небесное. Жена — наша плоть, удерживающая душу многими наслажденіями, почему душа и не можетъ удостоиться жизни вѣчной, гдѣ ея обитель, ея родина и все помысленія. Потому поступи какъ императоръ: сотвори два перстия Памяти и Забвенія, т.-е. Молитвы и Поста.

„Великое зеркало“ — сборникъ, названный такъ по большому количеству помѣщенныхъ въ немъ повѣстей и переведенный на славяно-россійскій языкъ, въ 1667 г., по желанію и повелѣнію царя Алексѣя Михайловича. Содержаніе повѣстей преимущественно легендарное и духовно-историческое. Нѣсколько разсказовъ соединяются обыкновенно подъ однимъ общимъ заглавіемъ, замѣтнованнымъ отъ пороковъ и добродѣтелей, напр.: о пьянствѣ, о лукавствѣ, о терпѣніи, „честь обычаи перемѣняетъ“, „гостей или странныхъ пріятіе“ и проч., такъ что отдѣльные разсказы служить поясненіями, „прологами“ къ той или другой правоучительной рубрикѣ, поставленной въ заголовкѣ, и иногда, въ свою очередь, поясняются догматическими толкованіями. — Въ другомъ сборникѣ: „Зрѣлище житія человѣческаго“, переведенномъ съ нѣмецкаго въ 1674 г., матеріаломъ такого же примѣненія являются басня и апологъ, но примѣненіе пошло дальше: отъ басни отвлекается общее житейское правило и потомъ поясняется повѣстью, заимствованною отъ „древнихъ лѣтописцевъ“. Напримѣръ, сказка о безхвостой лисѣ обработана такимъ образомъ: лиса, лишившаяся хвоста и видя себя поруганной, старается убѣдить своихъ клеветовъ, что она сама велѣла отрѣзать ого; „зане хвосты всю красоту нашу отъемлютъ“ и совѣтуетъ и другимъ поступить также. — Они же, усмотрѣвъ ее лукавство, отвѣчали: если твой хвостъ отрастетъ и ты еще разъ отрѣчешь его, тогда мы сотворимъ такъ же. — Такъ поступаютъ многіе, лишившіеся добраго имени и желающіе увлечь къ тому и своихъ клеветовъ, ибо „злымъ есть обычаи, егда приключится имъ зло, тогда и ближнему своему злое же желаютъ“ (за симъ слѣдуетъ поясненіе нравственнаго вывода разсказомъ о воеводѣ Аделгервѣ, т.-е. баварскомъ герцогѣ Аделгервѣ).

Оригиналъ „Исторіи о семи мудрецахъ“ — индійскій. Главное дѣйствующее лицо — коварная мачеха, преслѣдующая своего пасынка. Король Еліазаръ отдалъ своего сына Діоклитіана на воспитаніе семи мудрецамъ. Мачеха, желая погубить царевича, проситъ мужа призвать его ко двору, такъ какъ образованіе уже кончилось. Мудрецы узнали по звѣздамъ, что царевичъ будетъ нѣмъ въ продолженіе семи первыхъ дней по пріѣздѣ къ отцу и что оттого ему

угрожаетъ большая опасность; тѣмъ не менѣе они отправились. Король радостно встрѣтилъ сына, но сынъ вдругъ онѣмѣлъ и не отвѣтилъ ему ни слова. Мачеха воспользовалась этимъ и оклеветала юношу передъ царемъ, а въ подкрѣпленіе клеветы рассказала апологъ „о нѣкомъ дровѣ и огородникѣ“. Король, понявъ намекъ аполога, велитъ казнить сына, который не можетъ даже высказать своихъ оправданій. Первый изъ семи мудрецовъ проситъ палачей подождать, а самъ идетъ къ царю и рассказываетъ ему притчу, обнаруживающую вредъ поспѣшностей и довѣрія къ женщинамъ. Убѣжденный рассказомъ, царь откладываетъ казнь; по снова является мачеха и новою повѣстью опять склоняетъ короля на свою сторону, подавая такимъ образомъ и второму мудрецу поводъ выступить съ защитительнымъ апологомъ. Чередованіе рассказовъ продолжается семь дней. На восьмой день къ царевичу возвращается даръ слова: онъ раскрываетъ козни мачехи и въ заключеніе рассказываетъ еще одну повѣсть, имѣющую отношеніе къ его собственной судьбѣ. Коварная мачеха подвергается должной карѣ.

„Бова Королевичъ“, любимѣйшая народная сказка, имѣвшая множество лубочныхъ изданій, составлена по итальянской редакціи, но отъ долгаго обращенія къ кругу грамотныхъ, приняла складъ и подробности нашего народнаго эпоса. Собственные имена подверглись перемѣнамъ по духу русскаго произношенія, хотя въ нихъ легко распознается подлинникъ: Бова—Buovo, отецъ его Гвидонъ, царствовавшій въ градѣ Антоповъ—Guidone d'Antona, дядька Симбалда—Sinibaldo, Король Додонъ—Duodo, графъ Суминъ—San Simone, Ангусей, какъ назывался Бова въ Армянскомъ царствѣ—Agostino, дочь армянскаго царя Дружневна—Drusiana, король Маркобрунъ—Macabruno, богатырь Лукоперъ—Lucasferro, Полканъ богатырь—Pulicane, слуга Личардъ—Ricardo. Содержаніемъ повѣсти служатъ многоразличныя и чудесныя приключенія Бовы. Король Додонъ Майнцскій убиваетъ Гвидона при сообществѣ жены его Милитрисы. Единственный сынъ убитого, Бова, съ дядькою Синибальдо, спѣшитъ укрыться въ замкъ Санъ-Симоне, но постигнуть погоней и заключенъ въ темницу, изъ которой спасается бѣгствомъ. На кораблѣ онъ пристаетъ къ Арменіи, гдѣ поступаетъ въ конюхи къ царю Арминьону. Царская дочь Друзіана влюбляется въ него. Отсюда начинаются героическіе подвиги мнимаго конюха. Бова побѣждаетъ на турнирѣ короля Маркобруна, одного изъ притязателей на руку Друзіаны, убиваетъ богатыря Лукафера (у котораго между глазъ могла уложиться мѣрная ступня), сына Султана Садонскаго, подступившаго къ Арменіи, совершаетъ страшную битву съ сильнымъ чудовищемъ Пули-



капе—до пояса человѣкомъ, отъ пояса исомъ, и т. п. Подвиги оканчиваются благополучно: послѣ долгой разлуки съ Друзианой, вышедшей невольно замужъ за Маркобруна и потомъ овдовѣвшей, герой соединяется съ нею и съ двумя сыновьями своими—Синибальдомъ и Гвидономъ.—Другіе рыцарскіе романы переходили къ намъ главнымъ образомъ чрезъ Польшу: такъ съ польскаго языка переведенъ французскій романъ „о Петрѣ Прованскомъ и Магелонѣ“, встрѣчающійся въ рукописяхъ XVII-го в. и перешедшій въ народную книгу подъ названіемъ „Исторія о храбрѣмъ князѣ Петрѣ Златыхъ ключахъ <sup>1)</sup> и о прекрасной супругѣ его княгинѣ Магиленѣ“. Повѣсть изображаетъ взаимную любовь и благочестіе этихъ лицъ, испытанныя рядомъ несчастныхъ приключеній и награжденные долгой и счастливой жизнью.

Вліяніе западныхъ повѣстей на народную поэзію и на образованіе русской повѣсти было только внѣшнее. Онѣ не внесли, въ эпическомъ отношеніи, ничего новаго, что не было бы извѣстно изъ народныхъ сказокъ и повѣстей старой литературной поры. Не оказалось также и другой стороны вліянія—бытоваго и идеальнаго: рыцарскіе романы выражали чуждый намъ бытъ, чуждые идеалы. Наконецъ, мало отразился въ нихъ и элементъ поучительности и строгой морали, сильно развитый въ повѣстяхъ византийскаго и южнославянскаго происхожденія. Между тѣмъ жизнь продолжала руководствоваться прежними нравственными идеалами, требовавшими соотвѣтствовавшего удовлетворенія въ области поэтическаго вымысла. Поэтому въ сборникахъ XVII в. пересказываются старыя переводныя повѣсти вмѣстѣ съ назидательными разсказами, удовлетворявшими въ одно и то же время и эпическимъ и христіанско-учительнымъ интересамъ читателей. Къ такимъ произведеніямъ относится: „Сказаніе о мерзкомъ зелѣи, еже есть табаць“, „Повѣсть о происхожденіи виннаго питія“ и др. Въ непосредственной съ ними связи состоитъ полудитературная и полупоэтическая повѣсть „о Горѣ и Злосчастіи“. Вступленіе къ ней заключаетъ въ себѣ мысль о первородномъ грѣхѣ. Слѣдствіе грѣха—пороки и слабости человѣческаго рода, къ отцеву ученію, непокорливаго матери“. За казуетъ людей великими напастями и припеченнымъ путемъ. Слѣдующій за тѣмъ разсказъ прикладомъ къ этому общему положенію. Глаго гостинный сынъ, выслушиваетъ отъ отца и м

<sup>1)</sup> Названіемъ такъ потому, что девизомъ е апостола Петра.

ученіе": они совѣтуютъ ему избѣгать злыхъ дѣлъ, между которыми главное мѣсто занимаютъ пьянство и азартная игра (въ кости). Но молодецъ не послушался добрыхъ совѣтовъ; онъ былъ „несовершенъ разумомъ“ и хотѣлъ жить, какъ ему любо. И вотъ у него нашлись ложные друзья, которые заманили его въ кабакъ, напоили допьяна и обобрали его дочиستا. Ему стало совѣстно явиться къ своимъ родителямъ и онъ пошелъ въ дальнюю, незнаемую сторону. Здѣсь, на одномъ почетномъ пиру, сидѣлъ онъ кручиновать. На вопросъ собесѣдниковъ о причинѣ скорби, онъ разсказалъ все случившееся. Собесѣдники даютъ ему наставленія, одинаковыя съ родительскимъ навиданіемъ. На этотъ разъ молодецъ пользуется ими; онъ сталъ жить умѣючи, нажилъ имѣнія и приемотрѣлъ себѣ невѣсту, да на бѣду свою на честномъ пиру похвалился предъ своими гостями и друзьями, а слово похвальное, говоритъ въ повѣсти, всегда гнило, похвальба—пагуба человѣку. Горе-Злосчастіе подслухало хвастовство и неотвязчиво послѣдовало за героемъ, который, благодаря его наущеніямъ, отказался отъ невѣсты, пропилъ всѣ животы свои и снова пустился странствовать, скрываясь отъ своихъ. Съ тоски и напасти молодецъ хотѣлъ броситься въ воду, какъ вдругъ Горе выскочило изъ-за камня и предстало въ дикомъ величіи:

Восо, наго, нѣтъ на Горѣ ни ниточки,  
Еще лычкомъ Горе подпоясано,  
Богатырскимъ голосомъ воскликано:  
„Стой ты, молодецъ! меня, Горя, не уйдешь нпкуда!  
Не мечися въ быстру рѣку,  
Да не буди въ горѣ кручиновать:  
А въ горѣ жить—не кручинну быть,  
А кручинну въ горѣ погибнути!  
Спамятуй, молодецъ, житіе свое первое:  
И какъ тебѣ отецъ говорилъ,  
И какъ тебѣ мати сказывала.  
А кто родителей своихъ на добро ученія не слушаетъ,  
Того выучу я, Горе злосчастное:  
Покорися мнѣ, Горю нечистому,  
Поклонися мнѣ, Горю, до сыры земли,  
и меня, Горя, мудря на семь свѣтъ.

...у неминуемую: поклонился Горю, и стало ему  
переѣздѣ черезъ рѣку, перевозчики даютъ  
рнуться на родину и взять у родителей бла-  
гушался совѣта, пошелъ на свою сторону, но  
му, такъ что нѣтъ защиты отъ злого товарища:

...одець яснымъ соколомъ,  
...бѣлымъ кречетомъ;

Молодецъ полетѣлъ снѣжимъ голубомъ,  
А Горю за нимъ сѣрымъ ястребомъ,  
Молодецъ пошелъ въ полѣ сѣрымъ волкомъ,  
А Горю за нимъ съ борзыми выжлецы <sup>1)</sup>;  
Молодецъ сталъ въ полѣ ковыль-трава,  
А Горю пришло съ косою вострою;  
Да еще Злосчастіе падъ молодцемъ насмѣялося:  
Быть тебѣ, травонька, посѣченной,  
Лежать тебѣ, травонька, покошенной,  
И буйны вѣтры быть тебѣ развѣянной.

Послѣ неудачныхъ попытокъ освободиться отъ Горю, молодецъ вспомнилъ спасенный путь и пошелъ въ монастырь постричься въ монахи.

А Горю у Святыхъ воротъ остается,  
Къ молодцу впредъ не привяжется.

Нравоучительная дѣль повѣсти состоитъ въ томъ, чтобы сбившемуся съ пути молодому человѣку внушить понятіе о святости родительской власти и объ уваженіи къ роду-племени, Горю приданъ эпитетъ „нечистаго“ какъ бы потому, что оно есть отраженіе душевной „нечистоты“ героя, который оказался непокорнымъ сыномъ и вѣроломнымъ женихомъ.

*Русская повѣсть.* Начатки оригинальной повѣствовательной литературы выразились въ „Повѣсти о Саввѣ Грудцѣнѣ“, какъ онъ далъ на себя рукописаніе дьяволу и какъ потомъ былъ избавленъ ходатайствомъ Божіей Матери. Въ ней представлены любопытныя черты домашняго быта, вѣрованій и нравовъ XVII-го в., къ первымъ годамъ котораго относится разсказываемое событіе. Главное лицо—Савва, сынъ великоустюжскаго купца Оомы, переселившись въ Казань при самозванцѣ. Отправляясь торговать въ Персію, Оома послалъ сына по тому же дѣду въ Соликамскъ. Въ уездномъ городѣ Орлѣ Савва былъ принятъ и помѣщенъ въ домѣ Бажена Второго, стараго друга его отца. Отъ разлуки съ предметомъ своей любви онъ началъ скорбѣть и сохнуть, и однажды подумалъ: если бы какой-нибудь человѣкъ или нечистый духъ исполнилъ мое желаніе, я послужилъ бы дьяволу. Бѣсъ, въ образѣ человѣка, немедленно явился и взялъ съ него рукописное отреченіе отъ Христа. Желаніе Саввы исполнилось, по отецъ его, узнавъ о безпорядочной жизни сына, потребовалъ его къ себѣ. Тогда бѣсъ уговорилъ свою жертву идти въ другіе города. Въ Шуйскѣ записались они въ солдаты, набранные противъ польскаго короля. Новобранцевъ привезли въ Москву, и отдали въ команду нѣмед-

<sup>1)</sup> Гончія собаки.



кому полковнику, который полюбил Савву за расторопность и смѣлливость и поручилъ ему три роты. Солдаты Саввы никогда не ронтали и всегда получали исправно жалованье и пищу. Подъ Смоленскомъ онъ съ бѣсовекою помощію оказываетъ чудеса храбрости и силы: побѣждаетъ трехъ польскихъ исполнителей-поединниковъ. Военачальникъ Шейнъ, по подозрѣнію или изъ-зависти, велѣлъ Саввѣ ѣхать къ отцу, котораго зналъ лично. Но Савва отправился не въ Казань, а въ Москву, гдѣ поселился у одного пѣмцакаго полковника. Здѣсь начинается развязка повѣсти. Несчастный юноша заболѣлъ тяжелою болѣзнію. Во время исповѣди представилъ предъ нимъ соблазнитель, уже въ настоящемъ своемъ видѣ: онъ грозитъ ему муками за рукописаніе. По повелѣнію царя Михаила, къ больному приставили караульныхъ, чтобъ онъ не сдѣлалъ чего вадъ собою во время бѣсовскихъ мукъ. Послѣ долгихъ страданій, Савва видитъ во снѣ Богородицу съ Іоанномъ Богословомъ и Петромъ митрополитомъ; Она обѣщаетъ избавить грѣшника отъ вѣчной гибели, если онъ приметъ иноческій чинъ. Въ праздникъ Казанской Божіей Матери (8 іюля) Савва приведенъ былъ къ церкви. Какъ только начали пѣть „херувимскую“, богоотметное писаніе упало передъ народомъ съ верху церкви, все „заглаженное“, какъ будио никогда и не было писано. Савву представили царю. Царь, выслушавъ повѣсть его жизни, дивился чуду. Послѣ этого, раздавъ все имѣніе нищимъ, Савва принялъ монашество въ Чудовомъ монастырѣ.

Гораздо ближе подходитъ къ характеру собственно повѣсти „Исторія о російскомъ дворянницѣ Фролѣ Скобѣевѣ и стольничьей дочери Нардина (Ордина)-Нащокина, Аннушкѣ“. Въ ней передается событіе изъ дѣйствительной русской жизни, съ вѣрной ея обстановкой и съ современными историческими лицами. Разсказъ интересенъ самъ по себѣ, безъ постороннихъ цѣлей. Дѣйствіе развивается легко и естественно; каждый характеръ выступаетъ съ свойственными ему чертами; составъ простъ, но полонъ. Сюжетомъ повѣсти служитъ ловкая продѣлка плута и ябедника, новгородскаго дворянина, какъ онъ изъ бѣднаго сталъ богатымъ, вошелъ въ любовь къ Аннушкѣ, при содѣйствіи ея мамки и женившись на ней обманомъ, противъ воли отца ея, знаменитаго стольника и царскаго любимца; какъ ея разгнѣванные родители преложили потомъ гнѣвъ на милость и отпустили ей вину, и какъ наконецъ Скобѣевъ умѣлъ примирить съ собою тестя, который хотя и называлъ его плутомъ, часто повторяя: „тебѣ ли, плуту, моей дочерью владѣть?“, однакожь, по смерти своей, укрѣпилъ за нимъ все свое имущество. И сталъ Фроль Скобѣевъ жить въ великомъ богатствѣ и „знатіи“, да и сестру свою выдалъ за стольничьяго сына.

## II. Новый періодъ.

§ 34. Новый періодъ русской словесности подраздѣляется на слѣдующіе четыре отдѣла: первый—отъ Петра I до Ломоносова, второй отъ Ломоносова до Карамзина, третій—отъ Карамзина до Пушкина, четвертый—отъ Пушкина до настоящаго времени.

### А. Отъ Петра I до Ломоносова.

§ 35. Время Петра есть „эпоха преобразованій“, имѣвшихъ цѣлью устроить Россію по европейскому образцу. Средствомъ для нихъ служило усвоеніе европейской образованности, но на первыхъ порахъ преимущественно такой, какая необходима для возвышенія матеріальнаго могущества государства. Поэтому преобразователь смотрѣлъ на науку съ утилитарной точки зрѣнія, т.-е. всего болѣе цѣнилъ въ ней служебное отношеніе къ государственнымъ цѣлямъ, непосредственно приносимую ею пользу, хотя, безъ сомнѣнія, очень ясно понималъ и самостоятельную важность знаній, независимо отъ ихъ практическаго примѣненія.

Для приготовленія людей къ различнымъ родамъ службы заведены были спеціальныя училища. Такъ какъ, по тогдашнимъ обстоятельствамъ, Петръ обращалъ главное вниманіе на сословіе военное, то первыми явились училища военные: въ Москвѣ школы навигаціонная, артиллерійская и инженерная, въ Петербургѣ Морская Академія (преобразованная потомъ въ Морской Корпусъ). Въ особыхъ школахъ обучали знаніямъ, нужнымъ хорошему подьячему, т.-е. служащему по гражданской части. Нѣсколько молодыхъ людей, знакомыхъ съ латинскимъ языкомъ, занимались анатоміей и хирургіей въ хирургической школѣ, при военномъ госпиталѣ. Образование начальное, или общее, необходимо каждому безъ различія служебныхъ мѣстъ и знаній, доставлялось „цыфирными“ школами, устроенными при архіерейскихъ домахъ и монастыряхъ; здѣсь разночинцевъ обучали русской грамотѣ, цыфры (арифметикѣ) и геометріи. Заботы о заведеніи школъ преимущественно спеціальныхъ кончились составленіемъ проекта Академіи Наукъ (1724), которая была открыта при Екатеринѣ I (1726). По особымъ потребностямъ Россіи, эта академія совмѣщала въ себѣ три учрежденія: „собственно академію“, члены которой обязаны были производить открытія и усовершенствованія въ наукахъ; „университетъ“, въ которомъ положено было академикамъ читать публичныя лекціи для молодыхъ людей „славянорусскаго рода“; „гимназію“, гдѣ адъюнкты академиковъ, преподавая на-

начальныя основанія наукъ, готовили своихъ учениковъ къ университету или къ учительскому званію. Для изученія специальныхъ знаній издаваемы были, по повелѣнію Петра, особыя книги. Это — начальныя, большею частію переводныя руководства къ морскому искусству, артиллеріи, фортификаціи, корабельной и гражданской архитектурѣ.

Всѣ мѣры Петра выходили изъ одного источника — изъ желанія сблизить наше отечество съ Европою, водворить въ немъ то же образованіе, какимъ отличались европейскія государства. Рѣшенію этой задачи должны были содѣйствовать и наука и литература, начиная съ азбуки. Въ бытность свою въ Амстердамѣ, Петръ заказалъ отлить новый гражданскій шрифтъ, въ основу котораго приняты формы латинскаго алфавита. Отливка этого новаго шрифта началась въ Россіи съ 1707 г. и первою книгою, имѣя напечатанною, была „Геометрія, славенски землемѣріе“ (1708). Такимъ образомъ, со введеніемъ новой латинизированной азбуки русскій языкъ по начертанію отдѣлился отъ церковнославянскаго. До Петра I заграничныя извѣстія передавались курантами (отъ лат. *currens* — бѣгущій), т. е. рукописными извлечениями изъ посольскихъ донесеній и переводами нѣкоторыхъ статей изъ иностранныхъ газетъ, преимущественно голландскихъ. Тѣмъ и другимъ завѣдывали переводчики посольскаго приказа, откуда куранты поступали къ царю и самымъ главнымъ сановникамъ, оставаясь для публики неизвѣстными. Въ бытность свою за границею, Петръ видѣлъ, какимъ важнымъ значеніемъ, политическимъ и нравственнымъ, пользовалась тамъ періодическая пресса, и потому изъ государственной тайны, какою были куранты, задумалъ обратить ихъ въ правительственный органъ для сообщенія полезныхъ извѣстій о Европѣ и своемъ государствѣ. Онъ основалъ „Русскія Вѣдомости“, первый листъ которыхъ вышелъ 2 января 1703 г. Свѣдѣнія касательно Россіи шли впереди иностранныхъ; послѣднія были заимствуемы изъ газетъ, получавшихся въ посольской канцеляріи. Петръ Великій самъ иногда отмѣчалъ статьи въ иностранныхъ газетахъ для перевода; даже самъ правилъ корректуру перваго листа „Вѣдомостей“, которая и хранится въ московской синодальной типографіи.

Книги, изданныя при Петрѣ и по его повелѣнію, образуютъ особый литературный отдѣлъ, замѣчательный по своей цѣлесообразности преобразовательнымъ планамъ. Укажемъ главнѣйшія изъ нихъ: „Приклады, како пишутся комплименты разныя“ (1708), было второю книгою, напечатанною гражданскимъ шрифтомъ; это — образцы писемъ поздравительныхъ, соболѣзновательныхъ и другихъ,



переведенные съ нѣмецкаго и положившіе начало новому энциклопедическому стилю. „Юности честное зерцало“ (1719) содержитъ въ себѣ наставленія о житейскомъ обхожденіи; оно также переведено съ нѣмецкаго и въ свое время пользовалось уваженіемъ, какъ лучшее нравоученіе юношеству. Любя бесѣдовать съ людьми учеными, Петръ I захотѣлъ узнать, откуда язычники ведутъ начало своего многобожія и есть ли о томъ какое-нибудь сочиненіе. Ему указали на „Вибліотеку Аполлодора, грамматика аѳинскаго (за 150 л. до Р. Х.), или о богахъ“, и онъ повелѣлъ перевести эту книгу на русскій языкъ и напечатать. Изданіе ея (1725) обставлено приложеніями, нужными для уразумѣнія автора: предисловіе къ переводу написано Теофаномъ Прокоповичемъ. По заказу Петра вице-канцлеромъ Шафировымъ написано историко-политическое „Разсужденіе о причинахъ войны съ Карломъ XII“ (1717). Это—первый опытъ русской публицистики, опровергающій современныя европейскіе толки о честолюбивыхъ замыслахъ Россіи. Шафировъ разсматриваетъ причины, которыя понудили русскаго монарха начать войну съ Карломъ XII; доказываетъ, что на послѣдняго должно падать обвиненіе за ея долговременность; наконецъ, представляетъ доказательства, что со стороны русскихъ война была вѣдена съ умѣренностію, по обычаю политичныхъ (образованныхъ) народовъ. Послѣсловіе или заключеніе принадлежитъ самому Петру: въ немъ опровергается мнѣніе, которое выговаривалось не только иностранцами, но и многими русскими, что было бы гораздо лучше, вмѣсто продолжительной и тягостной для отечества войны, заключить миръ, хотя бы съ потерю завоеванныхъ областей. Далѣе, важнымъ пріобрѣтеніемъ литературы Петрова времени были переводы европейскихъ сочиненій XVII вѣка, изъ которыхъ одни, на основаніи началъ, добытыхъ развитіемъ науки и политико-общественнымъ ходомъ жизни, полагали основы реформамъ и въ жизни, и въ наукѣ, а другія сообщали свѣдѣнія о политическомъ устройствѣ государствъ, ихъ законахъ, исторіи и настоящемъ состояніи. Таковы: Пуффендорфа „Введеніе въ исторію европейскихъ государствъ“ (1718) и „О должностяхъ челоѣка и гражданина“ (1726), переведенныя, по повелѣнію государя, архіепископомъ рязанскимъ Гавріиломъ Бужинскимъ; Гуго Гроція „О законахъ брани и мира“; Юста Липсія „Увѣщанія и приклады политическіе“, и проч. При этомъ надобно замѣтить, что Петръ I неограничивался заказами той или другой работы, но дѣятельно слѣдилъ за трудившимися и давалъ имъ полезныя совѣты. Замѣтивъ въ переводѣ одного сочиненія объ укрѣпленіи городовъ чужеземность, онъ писалъ (1709) переводчику, Конону Зотову: „не надлежитъ

рѣчь отъ рѣчи хранить въ переводѣ (*т.-е. переводить слово въ слово, буквально*), по точію, сіе (*содержаніе*) вырази́въ, на свой языкъ уже такъ писать, какъ впа́ти́ѣ можетъ бы́ть“. Въ изложеніи онъ требовалъ простоты, краткости и ясности, не терпя лишннихъ разглагольствованій, „праздной красоты“. Простая рѣчь должна была предпочитаться высокому славянскому діалекту. Языкъ самого Петра отличался краткостью и точностью, которымъ дивился Ломоносовъ. Къ новымъ литературнымъ явленіямъ Петрова времени относятся также путешествія, цѣль которыхъ была отлична отъ цѣли древнерусскихъ хожденій. Они совершались не для поклоненія святымъ мѣстамъ, а для знакомства съ Европою. Таковы именно путешествія графа В. П. Шереметева и графа П. А. Толстого. Первый ѣздивъ за границу для наблюденія надъ военнымъ искусствомъ, пробылъ тамъ два года (1697—99), посѣтилъ Краковъ, Вѣну, Венецію, Римъ, Неаполь, Мальту, и все имъ видѣнное описалъ въ путевыхъ запискахъ. Дневникъ путешествія П. А. Толстого, того же времени, описываетъ достопримѣчательности Италіи, острова Мальты и Венеціи, при чемъ обращаетъ особенное вниманіе на тѣ обычаи и нравы, которыми иностранцы отличаются отъ русскихъ.

§ 36. Изъ духовныхъ лицъ Петрова времени особенную извѣстность пріобрѣли себѣ какъ іерархи и писатели, Стефанъ Яворскій, митрополитъ рязанскій († 1722) и Теофанъ Прокоповичъ-архіепископъ новгородскій († 1736), а изъ свѣтскихъ Татищевъ (1686—1750).

Хотя Яворскій и Прокоповичъ получили одинаковое, по сущности, образованіе, но направленіе ихъ дѣятельности было различное. Сочиненія Яворскаго имѣютъ предметомъ отверженіе лютеранства, проникшаго и въ Россію, вмѣстѣ съ иностранцами, со времени Петра I. Книга эта „Камень вѣры“ подробно разсматриваетъ догматы Лютерова ученія, ихъ несогласіе съ ученіемъ православной церкви. Теофанъ Прокоповичъ, напротивъ, и въ догматико-богословскихъ сочиненіяхъ и въ проповѣдномъ словѣ постоянно велъ борьбу съ католичествомъ. По отношенію къ реформамъ Петра эти пастыри также расходились въ своихъ мнѣніяхъ. Яворскій не питалъ къ нимъ сочувствія, хотя официально и славилъ дѣла Петровы. Прокоповичъ же, по убѣжденію и чувству, былъ неизмѣннымъ сторонникомъ преобразованія, служилъ ему и дѣломъ и словомъ. Преобразователь находилъ въ немъ вѣрнаго исполнителя своихъ плановъ. „Духовный Регламентъ“ (1720) имѣвшій своею задачею „исправленіе духовнаго чина“, написанъ Прокоповичемъ.

Значеніе Оеофана, какъ церковнаго оратора, не ограничивается богословскимъ содержаніемъ его словъ и литературной ихъ формой. Онъ не просто проповѣдникъ—онъ проповѣдникъ Петрова времени. Проповѣди его служатъ дѣлу реформы, доказывая ея необходимость и пользу и тѣмъ возбуждая къ ней сочувствіе. Онъ или готовятъ слушателей къ мѣрамъ преобразованія, объясняя ту выгоду, какую они могутъ принести отечеству, или оправдываютъ мѣры уже дѣйствующія, исчисляя выгоды, ими принесенныя. Такъ въ словѣ на рожденіе царевича Петра Петровича (1716) исчисляются подвиги отца его и сравнивается старая, до-Петровская Русь съ Россіею новою, одолженною своимъ превосходствомъ европейскому образованію. По возвращеніи государя изъ чужихъ краевъ (1717) Оеофанъ произнесъ два слова, въ которыхъ объяснилъ законность и пользу путешествій для всѣхъ вообще, для правителей въ особенности. Морская побѣда надъ шведами, одержанная кн. Голицынымъ (1720), дала поводъ къ похвальному слову русскому флоту, гдѣ выяснена необходимость морскихъ силъ для такой державы, какъ Россія. Перенесеніе новаго года съ сентября на январь оправдано Оеофаномъ въ особомъ словѣ (1725). Соотвѣтственно этому служебному значенію церковнаго ораторства развиваются темы, избранныя проповѣдникомъ, и строятся самия слова. Оеофанъ обнаружилъ большое искусство въ томъ и другомъ. Онъ понималъ, что первою обязанностью его, какъ пастыря, было доказать согласіе дѣлъ Петровыхъ съ духомъ Священнаго Писанія и съ непремѣнными уставами Церкви. Утвержденіе этого согласія на прочныхъ основаніяхъ успокаивало паству, которая въ новыхъ явленіяхъ (новшествахъ) боялась видѣть измѣну вѣрѣ, отступленіе отъ закона Божія. Очистивъ, такимъ образомъ, правительственныя мѣры отъ всякаго противорѣчія религіи, Оеофанъ раскрылъ затѣмъ ихъ общественную и частную пользу; здѣсь выступали практическія послѣдствія реформы, способныя помирить съ нею недовольныхъ; излагалось утилитарное значеніе науки, въ то время единственное доступное большинству, которое не могло еще цѣнить ея самостоятельнаго значенія, а измѣряло ея достоинство лишь той пользой, которую она непосредственно приносило на службѣ, въ обществѣ или въ домашнемъ быту. Объяснимъ сказанное примѣромъ. Похвальное слово русскому флоту, произнесенное по случаю морской побѣды, одержанной кн. Голицынымъ при островѣ Гренгамъ надъ шведскою эскадрою, начинается вопросомъ: „Для чего Богъ создалъ столь обширныя водныя пространства? для питья ли? но для этого достаточно рѣкъ и источниковъ, и вовсе нѣтъ надобности въ такомъ изобиліи водъ,



которыя объемлют большую часть земного круга и изъ которыхъ кромѣ того, многія непригодны къ питью. Причина обилія—по разсужденію Василія Великаго—та, что премудрый Создатель міра, желая связать людей взаимнымъ дружелюбіемъ, не благоволилъ каждой странѣ производить всякіе, потребные для нея плоды, ибо тогда жители одной страны не захотѣли бы и смотрѣть на жителей другихъ странъ, но раздѣлили земныя блага по разнымъ мѣстамъ, дабы жители ихъ пуждались во взаимномъ пособіи и чрезъ то соединялись бы въ любовный союзъ. Но какъ невозможно людямъ имѣть сухопутныя сообщенія отъ одного конца земли до другого, то Богъ и проліялъ между селеніями человѣческими водное естество, могущее служить взаимному всѣхъ странъ сообществу. Отсюда видимъ, какая и колкая нужда флота, видимъ также, что каждый, не любящій флота, не любитъ добра своего и за Божіей о добрѣ нашей промыслъ неблагодаренъ“. Изложивъ такимъ образомъ общую пользу флота, Теофанъ переходитъ къ объясненію его пользы частныхъ—собственно для Россіи. Наше отечество своими границами прилежитъ къ морямъ южнымъ и сѣвернымъ: какъ же столько славной и сильной монархіи не имѣть флота, когда у каждой деревни, стоящей при рѣкѣ или озерѣ, есть лодки? Владѣя флотомъ, Россія можетъ возратить себѣ свои поморскія страны и завоевать чужія, а, завоевавъ, удержать ихъ въ своей власти, не бояться непріятельскихъ нападеній. Однимъ словомъ, поморію, флотомъ не вооруженному, такъ же трудно имѣть дѣло съ непріателемъ, какъ связанному человѣку драться съ свободнымъ, или какъ земнымъ при рѣкѣ Нилѣ животнымъ обходиться съ крокодиломъ.—Наибольшую извѣстностью пользовалось слово Теофана при погребеніи Петра (1725 г.), начинающееся такимъ обращеніемъ къ слушателямъ. „Что се есть? до чего мы дожили! О, Россіяне? что видимъ, что дѣлаемъ? Петра Великаго погребаемъ“! Оно выражаетъ чувство скорби, поразившей отечество, и величіе народной утраты. Въ немъ нѣтъ полного исчисленія дѣяній Петра: „краткимъ словомъ нельзя объять безчисленной его славы, а распространяться не допускаетъ печаль, заставляющая только проливать слезы и испускать стенанія“. Поэтому Теофанъ ограничивается краткими похвалами, въ которыхъ просвѣтитель Россіи сравнивается съ Сампсономъ, Іафетомъ, Моисеемъ, Соломономъ, Давидомъ, Константиномъ. Утѣшеніемъ въ печали служитъ то, что великій монархъ своимъ отшествіемъ въ вѣчность не оставилъ насъ совершенно нищими и сирыми: при насъ безмѣрное богатство силы и славы—Россія, которую онъ сдѣлалъ любимую, грозною и славною; при насъ его супруга,

пекущенная, какъ злато въ горнилѣ, сообществомъ его мудрости, трудовъ и бѣдствій.

Напротивъ, Стефанъ Яворскій, по своимъ воззрѣнїямъ, принадлежалъ старинѣ. Онъ не питалъ сочувствія къ реформѣ. Хотя между его проповѣдями есть много панегириковъ, но и они представляютъ не искреннюю, а официальную похвалу преобразователю; искренностью отличаются тѣ поученія, которыя ни тономъ, ни направленїемъ не соотвѣтствовали видамъ Петра и даже были запрещаемы. Эпоху Петровской реформы Яворскій называлъ временемъ изнеможенія вѣры. „Многіе“ говорилъ онъ, „отлучившись отъ своего отечества и узрѣвъ чуждыя земли, вмѣстѣ съ тѣмъ удаляются отъ своей вѣры“. Во взглядѣ на общеніе съ иностранцами онъ склонялся болѣе на сторону старовѣровъ, чѣмъ на сторону царя и его сподвижниковъ. Въ одной проповѣди (1712 г.) онъ осуждалъ указъ о фискалахъ и выразилъ сочувствіе къ царевичу Алексѣю Петровичу, называя его „единою надеждою“ и противопоставляя его, какъ „особеннаго хранителя заповѣдей Божїихъ, истиннаго раба Христова, разорителямъ закона Божія и преступникамъ Божїихъ заповѣдей“. Яворскій любилъ маскировать направленіе своихъ проповѣдей, несогласное съ духомъ реформы, вымышленными примѣрами, притчами. Таково „Слово въ недѣлю вторую по Святомъ Дусѣ“, гдѣ проводится параллель между людьми и рыбами; подобное тому мѣсто встрѣчается въ другомъ словѣ, уподобляющее Ирода и подобныхъ ему властителей верблюду, который, приходя къ водѣ напиться, возмущаетъ ее, чтобы не видѣть своего мерзкаго образа <sup>1)</sup>. Что же касается литературнаго значенія словъ Яворскаго, то они представляютъ всѣ главныя особенности югозападнаго проповѣднаго стиля, который мы видѣли въ проповѣдяхъ Галятовскаго, Радивиловскаго, Барановича. Та же изысканность постройки, то же уклоненіе отъ прямого смысла темы и обращеніе къ предметамъ стороннимъ, то же патянутае примѣненіе текстовъ къ событіямъ или мыслямъ. Такъ, въ словѣ на текстъ: „примите Духъ Святъ“, Яворскій не раскрываетъ главнаго предмета своей рѣчи—внутренняго дѣйствія Духа Святаго на человѣка, а даетъ слушателямъ цѣлый рядъ искусственныхъ примѣненій, изобрѣтая для каждаго чина и сословія прїличный образъ, въ которомъ воспринимается ими Духъ Святой. Осеофанъ Прокоповичъ, въ первый періодъ своего проповѣдничества также слѣдовалъ правиламъ школьной риторики, но впоследствии

<sup>1)</sup> „Московскіе вольнодумцы XVIII в. и Стефанъ Яворскій“. Н. С. Тихонова.

освободился отъ установленной ими постройки проповѣдей. Его слова естественнѣе и простѣе; они прямо входятъ въ сущность дѣла и раскрываютъ именно то, что заключается въ избранной темѣ.

Татищевъ представляетъ почтенный, достойный подражанія, примѣръ русскаго человѣка, который, при замѣчательномъ образованіи, сохранилъ за собою все существенныя стихіи своей народности, остался истиннымъ сыномъ своей страны, на пользу которой и употреблялъ приобретенныя имъ знанія. Ученіе, начатое въ московской артиллерійской и инженерной школѣ, завершилъ онъ въ Германіи, гдѣ въ совершенствѣ овладѣлъ нѣмецкимъ языкомъ: Серьезная умственная подготовка дала ему возможность выказать многостороннюю дѣятельность и въ администраціи, и въ наукѣ, онъ былъ начальникомъ горныхъ заводовъ, управляющимъ Оренбургскимъ краемъ, губернаторомъ астраханскимъ, историкомъ и географомъ. Два его сочиненія напечатаны: „Исторія Россійская“ и „Духовная“, третье: „Разговоры о пользѣ наукъ“, осталось въ рукописи.

„Исторію“ Татищева нельзя назвать прагматическимъ изложеніемъ событій: это — критическій сводъ лѣтописей, снабженный „примѣчаніями“. Татищевъ первый обратилъ надлежащее вниманіе на предметъ своихъ изслѣдованій, показавъ, что такое русская исторія и какія средства существуютъ для ея изученія. Такъ какъ умъ былъ его преобладающею духовною способностью, то историческій талантъ его по преимуществу обнаружился въ сужденіяхъ о возможности, значеніи и внутреннемъ смыслѣ событій. Въ „примѣчаніяхъ“ включены богословскія, философскія и политическія понятія автора—плодъ его знакомства съ знаменитыми европейскими учеными. Подобно Теофану, онъ осуждалъ фарисейство и суевѣріе. Сличая по этому поводу прошлое съ современнымъ, онъ порицалъ послѣднее, когда замѣчалъ, что христіане, лѣнясь изучать Священное Писаніе и „свободныя науки“ (*artes liberales*), не оградили себя отъ языческихъ или полуязыческихъ понятій. „Не диво“—говоритъ онъ, передавая сказаніе Нестора о волхвахъ,— „что тогда народъ, не имѣвшій довольно просвѣщенія, такимъ безумнымъ баснямъ вѣрилъ, но удивительнѣе нынѣ видѣть суевѣровъ, которые рассказы и враки ханжей и пустосвятовъ паче святаго писанія и ученія мудрыхъ людей почитаютъ“. Политическіе взгляды Татищева выразились въ той главѣ его „Исторіи“, гдѣ онъ разсуждаетъ „о древнемъ правительствѣ русскомъ“. Показавъ различіе трехъ формъ правленія: монархіи, аристократіи и



демократіи, онъ приходитъ къ тому выводу, что Россія должна необходимо быть государствомъ монархическимъ.

„Духовная“ Татищева относится къ одному разряду съ „Поученіемъ Мономаха“ и „Домостроемъ“ Сильвестра. Она даетъ наставленіе сыну. Отличіе ея отъ предшествовавшихъ ей однородныхъ произведеній заключается въ томъ, что она возлагаетъ на человека новыя обязанности, вызванныя временемъ, и требуетъ отъ него новыхъ знаній, какъ средства для надлежащаго исполненія этихъ обязанностей. Другое отличіе опредѣляется личностью завѣщателя, которая и отразилась ясно въ его совѣтахъ: въ „Духовной“ онъ является человекомъ разумнымъ и осторожнымъ, неспособнымъ на крайности, но умѣющимъ выбрать лучшую между ними дорогу, такъ называемую золотую середину. Уроки его обнимаютъ всю жизнь: воспитаніе, службу, семейный бытъ, управленіе имѣніемъ и пр. Узнавъ на самомъ дѣлѣ важность науки для государственнаго устройства, частныхъ и общественныхъ дѣлъ, Татищевъ рекомендуетъ ее особенному вниманію сына. Религіозное образованіе поставлено во главѣ угла. Чтобы приобрѣсти основательныя познанія въ законѣ Божіемъ, нужно читать: во-первыхъ, Библію, катихизисъ и церковныхъ учителей, особенно Златоуста; во-вторыхъ, книги Феофана Прокоповича: „Истолкованіе десяти заповѣдей и блаженствъ (Первое ученіе отрокомъ) и Юности честное зерцало“, какъ лучшее правоучительное руководство. Чтеніе миней и прелоговъ разрѣшается лишь тому, кто заправленъ въ Священномъ Писаніи. Утвердясь въ ученіи восточной Церкви, надобно потомъ читать и несогласныя съ нимъ книги лютеранскія, кальвинскія и папешскія, для того, что, имѣя всегдѣшнее обхожденіе съ иностранцами, русскіе часто заводятъ съ ними разговоръ о вѣрѣ.—Отъ вѣроученія „Духовная“ переходитъ къ свѣтскимъ наукамъ. Здѣсь мы видимъ, что потребности образованія при Татищевѣ значительно возвысились противъ до-петровскихъ. Важнѣйшимъ изъ свѣтскихъ знаній ставится правильное и складное писаніе; послѣ него идутъ ариметика, геометрія, артиллерія, фортификація и другія части математики, нѣмецкій языкъ, „необходимый для извѣстія о состояніи государства нашего“, русская исторія и географія, гражданскіе и воинскіе законы.—Семейныя обязанности начинаются важнѣйшею изъ нихъ—почтеніемъ къ родителямъ. Татищевъ проситъ сына любить и уважать мать, не быть судьей ея слабостей, но всепокорно извинять ихъ. Для вступленія въ бракъ назначается тридцатилѣтній возрастъ. Главныя достоинства жены—здоровье, разумъ и хорошее состояніе. Отношеніе къ ней мужа должны занимать середину между грубымъ взглядомъ старины на женщину и

повымъ, противоположнымъ тому обычаемъ. Жена,—говоритъ Татищевъ,—не раба мужу, а товарищъ, помощница; однакожь стыдно мужу и находиться подъ властію жены, какихъ примѣровъ нынѣ уже довольно видимъ.—Совѣты касательно службы начаты исчисленіемъ общихъ ея обязанностей: быть вѣрнымъ государю и отечеству во всякомъ дѣлѣ; о пользѣ общей радѣть, какъ о своей собственной; государю, какъ отъ Бога поставленной власти, воздавать честь и повиновеніе. „Ни отъ какой услуги, куда бы тебя ни опредѣлили, не отрицайся, и ни на что самъ не навязывайся“: такими словами самъ Татищевъ былъ напутствованъ отъ своего родителя, снаряжаясь на службу. „Когда я исполнялъ ихъ безусловно (говоритъ онъ)—и въ тягчайшихъ трудностяхъ благополучіе видѣлъ; а когда прилежно чего искалъ или отрекался—всегда о томъ сожалѣлъ“. Обстоятельства, сопровождавшія вступленіе Анны Іоанновны на престолъ <sup>1)</sup>, заставили его въ „Духовной“ повторить то самое, что имъ подробно было изложено въ „Исторіи“, при разсужденіи о правленіи государственномъ: „съ хвалящими вольности другихъ государствъ и ищущими власть монарха уменьшить никогда ни согласуясь, понеже оное государству крайнюю бѣду нанести можетъ“.—Пора деревенской жизни наступаетъ для дворянина въ 50 лѣтъ, изъ которыхъ не меньше 30 должны быть проведены имъ на службѣ. Надзоръ за нравственностью крестьянъ—первая его забота. Для этого и „Духовная“ совѣтуетъ имѣть священника ученаго, способнаго ежедневными поученіями наставлять прихожанъ въ добродѣтели и обезпеченнаго приличнымъ жалованьемъ, чтобъ онъ охотнѣе прилежалъ къ церкви, нежели къ землѣ и сѣнокосу. Кромѣ того и „Духовная“ настаиваетъ на обученіи крестьянъ грамотѣ, посредствомъ которой они узнаютъ законъ и страхъ Божій, на приглашеніи искуснаго лѣкаря, чтобы народъ не гибнулъ отъ безумныхъ лѣкарствъ обманщиковъ, ворожей, шептуновъ и колдуновъ.

§ 37. Въ эпоху преобразованій накопилось много такихъ явленій, которыя могли служить богатымъ матеріаломъ сатирѣ. Общество представляло разнородные классы людей, не сходившихся ни въ понятіяхъ, ни въ интересахъ. Съ одной стороны упорные приверженцы старины, вмѣстѣ съ враждою къ европейскому образованію, питали надежду воротиться къ прежнимъ порядкамъ; съ другой—легкомысленные представители Петровской Россіи, усвоивъ

---

<sup>1)</sup> Татищевымъ была составлена, отъ имени дворянства, записка, въ которой онъ признаетъ неправильнымъ предложеніе условій Анны Іоанновны членами верховнаго совѣта.

только внѣшнія отличія европеизма (костюмъ, знаніе иностраннаго языка, умѣнье танцовать и пр.), въ сущности остались невѣждами и отличались новыми недостатками, неизвѣстными ихъ предкамъ. Противоположность между двумя классами, изъ которыхъ одинъ чуждался европейскаго образованія, а другой схватывалъ одну его внѣшность, не могла не поразить мыслящаго наблюдателя. Такимъ наблюдателемъ былъ Антиохъ Кантемиръ (1708—1744), сынъ молдавскаго господаря Дмитрія, перешедшаго въ подданство Россіи послѣ Прутскаго похода. Положеніе его, сравнительно съ положеніемъ русскаго юношества, было исключительное: онъ еще дома получилъ такое образованіе, какое многіе русскіе могли получать только за границей. Первыхъ наставниковъ имѣлъ онъ въ отцѣ, членѣ Берлинской академіи наукъ и авторѣ замѣчательныхъ сочиненій, въ ученomъ греческомъ священникѣ Кондонди (впослѣдствіи епископъ суздальскомъ) и въ академическомъ переводчикѣ Ильинскомъ. Съ равныхъ лѣтъ основательно онъ изучилъ древніе и новые языки, и, служа въ гвардіи, посѣщалъ лекціи академиковъ, которыя были для него высшей школой. При такой образовательной подготовкѣ онъ не остался безъ видной служебной дѣятельности: съ небольшимъ двадцати лѣтъ онъ получилъ мѣсто резидента въ Лондонѣ, гдѣ провелъ шесть лѣтъ между учеными занятіями и дипломатическими сношеніями съ министрами Георга II, братьями Вальполь. Назначенный полномочнымъ министромъ при французскомъ дворѣ, онъ сблизился въ Парижѣ съ математикомъ Мопертюи и съ Монтескье, которые отдавали справедливость превосходнымъ качествамъ его ума.

Сатира существовала у насъ еще до Кантемира во многихъ литературныхъ произведеніяхъ. Она входила, какъ элементъ, даже въ проповѣдное слово: у Теофана Прокоповича встрѣчаются нападки на формалистовъ и ханжей, преданныхъ наружному исполненію церковныхъ правилъ, на безпечность духовенства, на невѣжество раскольниковъ. Если Кантемира называютъ первымъ нашимъ сатирикомъ, то потому только, что онъ первый далъ намъ образецъ сатиры, какъ особаго вида дидактической лирики, возникшаго у римлянъ. Всѣхъ сатиръ его, написанныхъ силлабическими стихами, девять. При сочиненіи ихъ онъ подражаетъ Горацию и Буало, многое изъ нихъ заимствуя, но заимствованное примѣняя къ русскимъ обычаямъ. Онѣ выражаютъ просвѣщенное негодованіе, возбужденное съ одной стороны противниками Петровыхъ дѣлъ, а съ другой—невѣжественными послѣдователями реформы. Сатирикъ преимущественно имѣетъ дѣло съ первыми, считая ихъ болѣе опасными для успѣховъ цивилизаціи, тогда какъ вторые представляли ему преимущественно комическія послѣдствія лжеобразованности. Лучшія



изъ сатиры: „На хулящихъ ученіе“ (или „Къ уму моему“) и „На зависть и гордость злонаправныхъ дворянъ“ (объ истинномъ благородетѣѣ). Первую Кантемиръ написалъ въ самое неблагопріятное для наукъ время—при Петрѣ II, когда начаткамъ европейскаго образованія грозила серьезная опасность; когда Долгорукіе, самыя приближенные къ царю лица, вмѣстѣ съ другими властными лицами, не только не радѣли о продолженіи дѣлъ Петровыхъ, но имѣли напротивъ, намѣреніе остановить дѣйствія преобразовательныхъ мѣръ; когда сторонники реформы—самъ авторъ, Прокоповичъ и подобные имъ—должны были потерять свое значеніе, скрываться въ тѣни. Человѣку, убѣжденному въ пользу того, что дѣлалъ Петръ Великій, прискорбно было видѣть поворотъ въ противоположную сторону. Поэтому нѣкоторыя мѣста первой сатиры проникнуты элегическимъ чувствомъ:

Къ намъ не дошло то время, въ коемъ предрекала  
Надъ веѣмъ мудрость и вѣнцы одна раздѣляла,  
Будучи способъ одна къ высшему восходу.  
Златой вѣкъ до нашего не достигнулъ роду:  
Гордость, лѣнь, богатство—мудрость одолѣло;  
Науку невѣжество мѣстомъ ужъ посѣло:  
Подъ митрой гордится то <sup>1)</sup>, въ шитомъ платьѣ ходить,  
Судить за краснымъ сукномъ, смѣло полки водить.  
Наука ободрана, въ лоскутахъ обшита,  
Изъ веѣхъ почти домовъ съ ругательствомъ сбита.  
Знаться съ нею не хотятъ, бѣгутъ ея дружбы,  
Какъ въ морѣ страдавшіе корабельной службы.  
Всѣ кричатъ: никакой плодъ не виденъ науки:  
Ученыхъ хоть голова полна, пусты руки.

Четыре типа хулителей ученія выведены въ этой сатирѣ: ханжа Критонъ, помѣщикъ Сильванъ, гуляка Лука и щеголь Медоръ. Критонъ нападаетъ на ученіе изъ религіозной ревности, разумѣя подъ религіей единственно обряды: онъ называетъ науку матерью ересей и расколовъ, источникомъ безбожія, разрушительницей древнихъ обычаевъ; Сильванъ, думающій только объ увеличеніи своихъ доходовъ, порицаетъ науку за то, что она не ведетъ къ богатству и что записываться ею слѣдуетъ только духовнымъ да подьячимъ; веселые гуляки, подобные Лукѣ, утверждали, что ученіе губить здоровье, разрываетъ людское содружество и слѣдов. мѣшаетъ пріятностямъ жизни; наконецъ Медоръ, побывшій за границей и заразившійся тамъ страстью къ модамъ, смотритъ на ученыхъ съ презрѣніемъ, предпочитая имъ портныхъ и парикмахеровъ. Вторая

<sup>1)</sup> Невѣжество.

сатира, въ формѣ разговора между Филаретомъ (любящимъ добродѣтель) и Евгеніемъ (благороднымъ), развиваетъ мысль, что истинное благородство состоитъ въ добродѣтели. Она осмѣиваетъ высокомеріе тѣхъ, которые, не принося никакой пользы отечеству своими личными заслугами, требуютъ себѣ знатныхъ мѣстъ и почестей въ награду за древность своего рода и дѣятельную службу предковъ, и горько ропщутъ на возвышеніе лицъ, „начавшихъ свой знатный родъ собою“ — своими достоинствами и подвигами. Лучшее мѣсто сатиры составляетъ портретъ современнаго щеголя, празднаго и грубаго, несмотря на заграничную поѣздку, нарисованный въ противоположность его предкамъ, пріобрѣтшимъ знатное имя ревностнымъ служеніемъ отчизнѣ.

Осмѣивая невѣжество и лжеобразование, Кантемиръ вмѣстѣ съ этимъ считаетъ нужнымъ доказывать необходимость ученія. Онъ часто входитъ въ объясненіе пользы знаній для личныхъ и государственныхъ потребностей. Одна изъ сатиръ его подробно разсматриваетъ, съ утилитарной точки зрѣнія, важность алгебры, геометріи, морского искусства, физики, астрономіи, медицины, грамматики, риторики, философіи. Другая точка зрѣнія была бы и недоступна для людей, подобныхъ Сильвапу, способныхъ понимать только прикладное достоинство знаній, ихъ непосредственную выгоду для матеріальнаго блага. Хулители книжной мудрости противопоставляли ей житейскій опытъ, говоря, что жизнь научитъ человѣка всему нужному и что слѣд. можно обойтись безъ школы. Кантемиръ возражаетъ на такое мнѣніе въ „Посланіи къ князю Н. Ю. Трубецкому“ (сатира на дурное воспитаніе): онъ доказываетъ, что человѣкъ становится умѣе не столько отъ числа прожитыхъ лѣтъ, сколько отъ числа пріобрѣтенныхъ познаній; что жизнь обогащаетъ насъ опытностью въ позднюю пору, а наука дѣлаетъ насъ искусными и въ молодости; что старые, но неученые люди могутъ знать только предметы и явленія, а ученые, будучи и молодыми, могутъ понимать причины явленій и сущность предметовъ. Вообще сатирой своей Кантемиръ служилъ дѣлу образованія. Сатира эта не принадлежитъ, по своему тону, къ карающимъ, ювеналовскимъ: она дѣйствуетъ болѣе насмѣшкой и поученіемъ, замѣчаетъ дѣйствительные недостатки, почему и служитъ вѣрной характеристикой своего времени, но излагаетъ ихъ спокойнымъ, ровнымъ тономъ, нигдѣ не возвышая голоса. Это согласовалось и съ характеромъ Кантемира, и съ его нравственнымъ ученіемъ о „золотой срединѣ вещей“ (въ подражаніе такому же ученію Горация), и съ его взглядомъ на сатиру, которая, по словамъ его, имѣла цѣлью „исправле-

ніе правовъ“, а средствомъ къ этому „осмѣяніе злоправія забавнымъ слогомъ“.

## Б. Отъ Ломоносова до Карамзина.

§ 38. Въ исторіи русскаго просвѣщенія имя Ломоносова (1711—1765) стоитъ у насъ какъ имя перваго представителя европейской науки, перваго ученаго, въ томъ смыслѣ, въ какомъ это слово понималось на Западѣ. При необыкновенныхъ дарованіяхъ, по достоинству оцѣненныхъ такими людьми, какъ Вольфъ, Эйлеръ и Плецеръ, при страстной любви къ ученію и твердой волѣ къ достиженію предположенныхъ цѣлей, онъ получилъ высшее, университетское образованіе, которое одно доставляетъ способы не только основательно усвоивать научныя званія, но и расширять ихъ предѣлы новыми изслѣдованіями. „Между Петромъ I и Екатериною II (говоритъ Пушкинъ) Ломоносовъ одинъ является самобытнымъ сподвижникомъ просвѣщенія: онъ былъ первымъ нашимъ университетомъ“. Главнымъ предметомъ его занятій были химія и физика; вообще онъ имѣлъ большую склонность къ естествознанію, чѣмъ къ наукамъ словеснымъ, но и въ этихъ послѣднихъ совершенно имъ многое, что сдѣлало имя его незабвеннымъ и съ давняго времени заслужило ему имя „отца російской словесности“; онъ дѣйствовалъ на ихъ пользу теоретически и практически—учеными сочиненіями и литературными образцами.

Литературная дѣятельность Ломоносова выразилась въ его стихотвореніяхъ и двухъ похвальныхъ словахъ: Петру I и Елисаветѣ. Онъ писалъ во всѣхъ родахъ стихотворства: лирическомъ, эпическомъ и драматическомъ, но преимущественно извѣстенъ, какъ авторъ одъ. Характеръ его лирики, равно какъ двухъ трагедій: „Тамира и Селимъ“ и „Демофонтъ“ и двухъ пѣсенъ поэмы „Петръ Великій“—ложноклассическій, надолго имъ укрѣпленный за нашей поэзіей.

Ложный классицизмъ (псевдоклассицизмъ), названный такъ въ отличіе отъ истиннаго, античнаго (греко-римскаго) классицизма, называется еще классицизмомъ „французскимъ“, по высшему, блистательному его развитію во Франціи, откуда онъ проникъ и въ другія страны, такъ что литература каждой изъ нихъ болѣе или менѣе долгое время состояла подъ его вліяніемъ. Онъ появился въ эпоху возрожденія, со второй половины XVI в., какъ результатъ знакомства съ наукой и литературой древнихъ народовъ, въ особенности грековъ. Ихъ поэтическія творенія по своему художественному совершенству, поставлены были за образецъ и для



поэтического творчества новаго, христiанскаго мiра. Памятники собственной, національной литературы были отвергнуты и забыты, какъ грубыя произведенія среднихъ вѣковъ, недостойныя подражанія. Но при этомъ увлеченіи образцами чуждой поэзіи, остался перѣшленнымъ вопросъ: что значить подражать въ искусствѣ? Подражать поэзіи древнихъ значить заимствовать изъ нея общечеловѣческія понятія и чувства, а не то, что въ древности было исключительно національнымъ и что не допускаетъ никакого соглашенія съ духомъ ново-христiанскихъ народовъ. Этотъ общечеловѣческій элементъ, нашедшій себѣ художественное выраженіе въ твореніяхъ древности, соотвѣтственно умственному и нравственному состоянію того времени и характеру національности, воспринимается и обрабатывается новымъ художникомъ уже по требованіямъ своего времени, согласно съ характеромъ своего народа, съ воззрѣніями христiанскаго мiра, отличными отъ воззрѣній мiра языческаго. Матеріалъ—одинъ и тотъ же, но представленіе его иное, какъ по формѣ, такъ и по духу, его проникающему. Не въ такомъ смыслѣ было понято въ XVI в. подражаніе древнимъ. Оно состояло, такъ сказать, въ буквальной перенесеніи поэтического достоянія грековъ и римлянъ въ поэзію новыхъ народовъ. Отзывъ Буало о Ронсарѣ (+ 1585), главномъ дѣятелѣ при образованіи псевдоклассицизма, что „муза его говорила на французскомъ языкѣ по-гречески и по-латыни“, характеризуетъ не только языкъ подражательныхъ произведеній XVI-го столѣтія, въ который вводились греческія и латинскія слова, но и весь строй ихъ: содержаніе новаго мiра облекалось въ античную форму, или, наоборотъ, античный сюжетъ являлся въ новой формѣ. Но форма въ искусствѣ не есть ничто произвольное и условное: она опредѣляется содержаніемъ, должна соотвѣтствовать ему, находится въ органической съ нимъ связи. Такимъ образомъ возникло, развилось и утвердилось насильственное сочетаніе разнокачественныхъ предметовъ, что и послужило причиной неправдоподобныхъ изображеній дѣйствительности, которая являлась не въ настоящемъ своемъ видѣ, освѣщалась ложнымъ свѣтомъ, проникалась несвойственнымъ ей духомъ. Поэзія не была уже воспроизведеніемъ жизни, потому что теряла главную свою основу—истинность. Примѣры отступленій отъ истины часто встрѣчаются въ ложноклассическомъ періодѣ словесности у каждаго народа. Такъ одна французская трагедія, имѣющая сюжетомъ судьбу Эдипа, измѣнила своему подлиннику (Эдипу Колонейскому, Софокла) въ той сценѣ, гдѣ Полиникъ приходитъ вымаливать прощеніе у раздраженнаго отца. Софокловъ Эдипъ, согласно понятіямъ своего времени о родительскомъ авторитетѣ,

не только не прощает сына, но даже отсылает его отъ себя съ проклятіемъ. Напротивъ, подражатель Софокла какъ христіанинъ, заставилъ Эдипа изречь прощеніе, и такимъ отетупленіемъ отъ подлинника неказилъ образъ страдальца: въ самомъ дѣлѣ, если главное лицо пьесы—дѣйствительно Эдипъ, то онъ не могъ простить Полиника; если же это лицо простило, то оно не Эдипъ.—Идиллики наши любили рисовать картины сельскаго, простонароднаго быта по примѣру Теоокрита или Виргилія, и потому въ ихъ стихотвореніихъ пастухи пасли стада вмѣстѣ съ пастушками, чего у насъ не бываетъ, назывались такими именами, какихъ нѣтъ въ православныхъ святцахъ, и обращались съ мольбой или клятвами къ языческимъ божествамъ, о которыхъ никогда не слыхивали. Читая эти идилліи, составляемъ самое невѣрное понятіе о бытѣ нашихъ поселянъ, ихъ образѣ мыслей, чувствъ, даже рѣчи. Выведенныя въ нихъ лица выходятъ ни русскими, ни греками.

Образецъ похвальной лирики псевдоклассики взяли у Пиндара и перенесли изъ его одъ поэтическій матеріалъ въ свои произведенія того же рода. Главной статьей этого матеріала была миеологія. Что для древнихъ составляло систему религіозныхъ вѣрованій и представленій, то для стихотворцевъ христіанскаго міра обратилось въ безжизненный, механическій приборъ, который они и употребляли въ дѣло безъ всякаго сочувственнаго отношенія къ богамъ и богинямъ, не вѣруя въ ихъ существованіе, а часто и не понимая ихъ значенія. Если бы они пользовались этимъ миеологическимъ элементомъ, какъ простымъ сравненіемъ, введеннымъ для большей наглядности, умѣстность его не подлежала бы сомнѣнію. Такъ Пушкинъ, описавъ наводненіе 1824 г. (въ Петербургѣ), прибавилъ:

И всплылъ Петрополь, какъ Тритонъ,  
По поясъ въ воду погружень.

Но въ слѣдующей строфѣ оды Ломоносова Елисаветѣ (1747 г.):

И се Минерва ударяетъ  
Въ верхи Рифейски копіемъ,  
Сребро и алато истекаетъ  
Во всемъ наслѣдін твоємъ.  
Плутонъ \*) въ разсѣлинахъ мятется,  
Что Россамъ въ руки предается  
Драгой его металлъ изъ горъ,  
Который тамъ натура скрыла;  
Отъ блеску дневнаго свѣтила  
Онъ мрачный отвращаетъ взоръ.

---

\*) По ошибкѣ вм. Плутуса, бога богатства.

языческія божества выступаютъ уже съ своими атрибутами и чудодѣйственными силами, которыхъ за ними не признаютъ ни самъ авторъ, ни читатели и которыя поэтому служатъ только безжизненной прикрасой, доказывая неискренность одушевленія. Подобное тому находится и въ благодарственной одѣ Елисаветѣ (1750); нимфа (олицетвореніе рѣки Славянки) въ девяти строфахъ рассказываетъ Невѣ о преобразованіи Царскаго Села, объ украшеніи его садами и разными произведеніями искусства. Ода есть лирика сильнаго одушевленія, возбуждаемаго великими міровыми силами и явлениями. Восторженное чувство выражается образами, въ которыхъ поэтъ видитъ соотвѣтствіе съ предметомъ, его произведшимъ. Замѣстуются эти образы изъ окружающей поэта дѣйствительности, который при ихъ выборѣ руководствуется современнымъ ему понятіемъ о томъ, что истинно велико. Мѣриломъ истиннаго величія не могутъ служить мифологическіе образы, ничега намъ не говорящіе и ничега не внушающіе. У Пиндара мифъ составлялъ часть сюжета. Легендарные рассказы находились въ исторической связи съ темою стихотворенія; они напоминали героевъ, бывшихъ главою семьи побѣдителя или главою государства, къ которому онъ принадлежалъ. Притомъ, во времена Пиндара, греки питали живую вѣру въ героическій міръ, да и самъ поэтъ твердо держался своихъ религіозныхъ воззрѣній.

Свойства пиндарической оды, какъ разумѣла ее французская пѣвица, изложены Буало въ „Наукахъ о стихотворствѣ“ и въ „Разсужденіи объ одѣ“. Это изложеніе впоследствии было развито подробнѣе. Теоретики хотѣли начертать точный путь изліянію одушевленнаго чувства: опредѣлили, изъ сколькихъ частей должна состоять ода, съ чего начать ее, чѣмъ оканчивать. Ей слѣдовало имѣть приступъ, предложеніе, отступленіе, пареніе, названное „лирическимъ безпорядкомъ“. Ученіе о послѣднемъ всего больше доказываетъ, что сущность оды не была понята настоящимъ образомъ. Въ одѣ господствуетъ сила одушевленія и смѣлый полетъ фантазіи, которая не рисуетъ образы съ эпическою отчетливостью, а переходитъ отъ одного изъ нихъ къ другому; эти переходы или скачки представляютъ только кажущійся безпорядокъ, на самомъ же дѣлѣ они подчиняются единству вдохновенной мысли. Ошибка псевдоклассическихъ одъ въ томъ и заключалась, что вмѣсто этого подчиненія являлись у нихъ намѣренныя разрывы содержанія, что переходы отъ одного образа къ другому—искусственные, а не естественные, сообразно развитію чувства—обозначались большею частію фигурами вопрошенія и восклицанія: „но что я зрю?“ „какое зрѣлище представило!“ и т. п. Короче,



являлась риторическая величавость или напыщенность вмѣсто поэтическаго одушевленія.

Но если, принадлежа по формѣ къ ложноклассическому направленію лирики, оды Ломоносова не были одобрены Пушкинымъ, который назвалъ ихъ „утомительными и надутыми“, то, по жизненному своему содержанію, онѣ представляютъ несомнѣнно большія достоинства. Этимъ содержаніемъ неизмѣнно служатъ мысли и желанія автора, объ исполненіи которыхъ онъ всю жизнь мечталъ и заботился. Существенный интересъ для него—наука; задушевная дума его—насажденіе и развитіе наукъ въ отечествѣ. Въ своихъ одахъ онъ всего болѣе раскрываетъ пользу просвѣщенія для Россіи и восхваляетъ тѣ лица, которымъ оно одолжено своимъ успѣхомъ. Петръ I, Елисавета и наука—таковы постоянные предметы ихъ похвалъ: Петръ I потому, что положилъ начало русскому просвѣщенію; Елисавета потому, что продолжаетъ дѣло, начатое Петромъ, но задержанное при Петрѣ II и Аннѣ Іоанновнѣ; наука потому, что она даетъ средства къ внѣшнему и внутреннему благосостоянію страны, къ раскрытію природныхъ дарованій русскаго народа, способнаго производить такихъ же ученыхъ какъ ихъ вызываетъ къ себѣ изъ чужихъ странъ. Всѣ три предмета (Петръ I, Елисавета и наука) нераздѣльны въ умственномъ представленіи лирика: нераздѣльно и стихотворное ихъ чествованіе, Ода 1747 г., начинающаяся описаніемъ „тишины, отрады царей и царствъ“, изображаетъ благодатныя слѣдствія мира, какъ питателя наукъ; она высказываетъ желаніе, чтобы науки изслѣдовали наше обширное отечество, богатое произведеніями всякаго рода, и дали ему способы найти у себя все, что получается изъ отдаленныхъ странъ. Ода 1750 г. (благодарственная за награду, полученную Ломоносовымъ отъ императрицы) также раскрываетъ пользу наукъ для Россіи: механики, химіи, метеорологіи. Въ нихъ говорить искреннее чувство ученаго, не затемняемое покушеніемъ на лесть. Похвалы Петру и его дочери воздаются за ихъ дѣятельность на пользу науки. Величіе Петра есть для Ломоносова величіе образователя Россіи: „онъ просвѣтилъ насъ и сталъ великъ черезъ науки“; слава Елисаветы есть слава государыни, продолжающей дѣло образованія.

Духовныя оды Ломоносова почерпали свое содержаніе или изъ библейскихъ книгъ, или изъ области естествознанія. Сюда относятся: переложеніе псалмовъ и нѣкоторыхъ мѣстъ изъ книги Іова, два размышленія (утреннее и вечернее) о Божіемъ величествѣ. Въ нихъ есть превосходныя мѣста, свидѣтельствующія о силѣ чувства и воображенія. Но эти мѣста внушены научными изслѣ-

дованіями, суть плодъ сознательнаго одушевленія тѣми истинами, которыя добываетъ пытливый умъ. Въ ученѣмъ сказывается поэтъ, и, наоборотъ: поэтъ обличаетъ въ себѣ ученаго. „Размышленіе о Божіемъ величествѣ по случаю сѣвернаго сіянія“ есть лучшая ода Ломоносова потому, что въ ней поэтическія представленія имѣли своей основой естествознаніе: величіе Творца сознано посредствомъ научнаго знакомства съ величіемъ природы, какъ Его творенія. Связь между натуралистомъ и поэтомъ въ лицѣ Ломоносова видна еще изъ того, что въ „Словѣ о явленіяхъ воздушныхъ, отъ электричества происходящихъ“, онъ ссылается на „Вечернее размышленіе“, какъ на доказательство, что мнѣніе о сѣверномъ сіяніи уже давно было имъ составлено. Да и самое названіе оды „Размышленіемъ“ даетъ знать, что картина сѣвернаго сіянія, равно какъ и чувства, ею возбужденныя, имѣли своимъ источникомъ научное знаніе. Первая строфа „Размышленія“ описываетъ наступившую ночь, въ которой всего болѣе изумляетъ стихотворца звѣздное небо: мысль его цѣпенѣтъ и теряется отъ безчисленности звѣздъ, отъ небесной бездны, не имѣющей дна (2-ая строфа). Что такое эти звѣзды? какъ думаютъ о томъ премудрые (ученые)? Каждая звѣзда есть солнце, образующее съ своей системой (планетами и ихъ спутниками) особый міръ; въ этомъ мірѣ живутъ народы, совершается теченіе времени (кругъ вѣковъ); одни и тѣ же законы управляютъ однимъ и тѣмъ же естествомъ:

Для общей славы Божества  
Тамъ равна сила естества.

Отъ мірозданія Ломоносовъ переходитъ къ отдѣльному явленію, видя въ немъ какъ бы нарушеніе неизмѣннаго мірового строя:

Но гдѣ жъ, натура, твой законъ?  
Съ полночныхъ странъ встаетъ заря <sup>1)</sup>!  
Не солнце ль ставить тамъ свой тронъ?  
Не льдисты ль мещутъ огонь моря?  
Се хладный пламень насъ покрылъ!  
Се въ ночь на землю день вступилъ.

Любознательный авторъ снова обращается къ ученымъ, знающимъ „пути всѣхъ планетъ“, и проситъ ихъ объяснить происхожденіе сѣвернаго сіянія (5 стр.), а въ слѣдующихъ затѣмъ двухъ строфахъ (6 и 7) нечисляетъ существовавшія въ то время гипотезы о причинѣ этого явленія, которое поражало автора еще въ дѣтствѣ и изслѣдованіемъ котораго занимался онъ потомъ, какъ ученый. Послѣдняя строфа (8-ая) заключается мыслью, указанною въ за-

<sup>1)</sup> Сѣверное сіяніе—aurora borealis.

главнѣ стихотворенія—мыслью о величествѣ Божіемъ, явленномъ въ твореніяхъ.

Похвальные слова Ломопосова Елисаветѣ (1747) и Петру Великому (1755) относятся къ псевдоклассическому краснорѣчію. Они написаны по правиламъ схоластической риторики, въ тѣхъ формахъ, которыя были ею установлены, какъ пригодныя для всякихъ восхваляемыхъ предметовъ, и при помощи тѣхъ средствъ, какія она предлагала оратору на всевозможныя похвалы. Построенное по такой системѣ слово всегда выходило произведеніемъ искусственнаго, условнаго ораторства: вмѣсто одушевленнаго краснорѣчія являлась холодная декламация, вмѣсто искренней страсти—риторическій пафосъ. Декламаторскій духъ господствуетъ и въ словахъ Ломоносова, особенно въ первомъ (Елисаветѣ), котораго постройка чисто схоластическая. Задачею этого слова долженствовало быть восхваленіе дѣяній императрицы, а различные виды ея дѣятельности должныствовали служить основой для дѣленія слова на части. Вмѣсто того Ломоносовъ прославляетъ семь добродѣтелей Елисаветы: благочестіе, мужество, великодушіе, мудрость, челоуѣколюбіе, милосердіе и щедрость, а въ заключеніи выражаетъ желаніе, чтобы она украшалась этими добродѣтелями, какъ великими дарами Вышняго. Задача и постройка слова напоминаютъ подобный трудъ братьевъ Перекрестовыхъ: „Дары Духа Святаго“ (1688), т. е. описаніе семи добродѣтелей царевны Софіи: мудрости, разума, совѣта, крѣпости, благочестія, видѣнія въ законѣ Господнемъ, страха Божія. Похвальное слово Петру состоитъ изъ трехъ частей: въ первой изображены важнѣйшія дѣла преобразователя, во второй—препятствія, имъ преодоленныя, въ третьей—добродѣтели, которыя были ему необходимы для совершенія великихъ подвиговъ. Хотя оно также несвободно отъ декламаторства, но нѣкоторыя мѣста его выражаютъ искреннее чувство. Таково, на примѣръ, мѣсто, въ которомъ говорится о неутомимой и многосторонней дѣятельности Петра:

Я въ полѣ межъ огнемъ; я въ судныхъ засѣданіяхъ межъ трудными разсужденіями; я въ разныхъ художествахъ между многоразличными машинами; я при строеніи городовъ, пристаней, каналовъ, между безчисленнымъ парода множествомъ, я межъ стенаніемъ валовъ Бѣлаго, Чернаго, Балтійскаго, Каспійскаго моря и самаго океана духомъ обращаюсь: вездѣ Петра Великаго вижу въ потѣ, въ пыли, въ дыму, въ пламени; и не могу самъ себя увѣрить, что одинъ вездѣ Петръ, но многіе: и не краткая жизнь, но лѣтъ тысяча.

Что же касается до другаго мѣста (уподобленія Петра Богу), которое считалось образцовымъ, то оно страдаетъ несообразностью.



Ломоносовъ заимствовалъ его изъ Плиніева панегирика Траяну: вообще оказавшаго значительное вліяніе на похвальное слово Петру. Но естественное и понятное въ устахъ римскаго панегириста становится фальшивымъ въ устахъ панегириста русскаго. Римляне причисляли своихъ великихъ людей, даже при ихъ жизни, къ богамъ и ставили ихъ изображенія въ храмахъ; христіанство не допускаетъ такого обожествленія чловѣка. Языкъ обоихъ похвальныхъ словъ исполненъ славянизмами, рѣчь, по преимуществу періодическая, построена на образецъ латинскихъ ораторскихъ словъ. То и другое сообщало панегирикамъ искусственную величавость, которая не можетъ замѣнить естественнаго, истиннаго краснорѣчія. Эта искусственность и была причиною отзыва Пушкина о Ломоносовѣ, какъ стихотворца и прозаика: „Ломоносовъ“, говоритъ онъ „не поэтъ, вдохновенный свыше, не ораторъ, мощно увлекающій. Однообразныя и стѣснительныя формы, въ кои онъ отливалъ свои мысли, даютъ его прозѣ ходъ утомительный и тяжелый“.

Ученыя сочиненія Ломоносова, относящіяся къ словесности, суть слѣдующія: „Письмо о правилахъ русскаго стихотворства“ (1739), „Риторика“ (1748), „Грамматика“ (1755) и „Разсужденіе о пользѣ книгъ церковныхъ въ русскаго языка“ (послѣ 1755 г.). Всѣ они, равно какъ и другія по предметамъ физики и химіи, отличаются строгой и стройной системой, подведеніемъ частныхъ подъ законы. По свойству своего ума, Ломоносовъ всегда стремился къ обобщеніямъ. Онъ умѣлъ примирять крайности методовъ опытнаго и умозрительнаго, взаимно ихъ ограничивая и дополняя. Хотя онъ понималъ важность наблюденій и опытовъ, однакожъ чуждался той практики, которая довольствуется одними фактами и не даетъ никакихъ общихъ выводовъ. Съ другой стороны, хотя онъ любилъ строить теоріи, но всегда основывалъ ихъ на опытахъ и наблюденіяхъ. Наилучшимъ способомъ изслѣдованій почиталъ онъ слѣдующій: „изъ наблюденій устанавливать теорію, чрезъ теорію исправлять наблюденія“.

„Письмо о правилахъ русскаго стихотворства“ прислано Ломоносовымъ изъ Германіи, вмѣстѣ съ его одой на взятіе Хотина (1739), въ Россійское собраніе, учрежденное при Академіи наукъ въ 1735 г. Тонъ его полемическій, такъ какъ оно содержитъ въ себѣ критическія замѣтки на „Способъ къ сложенію русскихъ стиховъ“ Тредьяковскаго. Сходясь съ Тредьяковскимъ въ понятіи о главныхъ основахъ русской версификаціи, Ломоносовъ положительно расходился съ нимъ въ другихъ пунктахъ. Такъ „Способъ“ полагалъ, что русскій гексаметръ не можетъ имѣть ни больше,

ни меньше тринадцати слоговъ, и притомъ долженъ быть раздѣленъ на подустишія (въ первомъ семь слоговъ, во второмъ шесть); что ямбическіе стихи хуже хорейскихъ; что мужскія рѣзны неумѣстны въ нашемъ стихосложеніи. „Письмо“, напротивъ, не видѣть причины, почему гексаметры и другіе стихотворные размѣры должны быть ограничены опредѣленнымъ числомъ слоговъ; дозволяетъ тринадцатисложнымъ стихамъ имѣть и не имѣть цезуры; находитъ, что ямбическіе стихи усугубляютъ благородство и великолѣпіе предмета, ими выражаемаго. Всѣ эти теоретическія замѣтки были приняты русскою литературою, послѣ того какъ они были оправданы и утверждены на практикѣ стихотворными образцами самаго Ломоносова.

„Риторика“ Ломоносова—первая на русскомъ языкѣ, потому что въ школахъ преподавали эту науку на языкѣ латинскомъ—не есть трудъ самостоятельный. Она одного покроя съ школьными риторическими руководствами, по которымъ самъ авторъ обучался въ славяно-греко-латинской академіи. Источники ея правилъ и примѣровъ уже указаны въ риторикахъ Кауссина, Помея и Готшеда (у послѣдняго заимствована глава о возбужденіи страстей); логическія понятія (о сопряженіи простыхъ идей, объ изобрѣтеніи доводовъ) взяты у Вольфа: всего же болѣе, по содержанію и расположенію, она сходна съ русской риторикой, хранящейся въ Императорской Публичной Библіотекѣ въ рукописи XVII в. Ломоносову принадлежитъ группировка заимствованнаго и примѣры, какъ русскіе, такъ и переводные, изъ древнихъ и новыхъ авторовъ. Въ числѣ первыхъ многіе выбраны изъ сочиненій самого автора; переводы показываютъ искуснаго переводчика: они точны и близки къ подлиннику.

Соотвѣтственно характеру древне-русской литературы, преимущественно духовной по содержанію и церковно-славянской по языку, до Ломоносова существовали только грамматики „славянскія“, за исключеніемъ одной русской (студента Ададунова), „весьма несовершенной и во многихъ мѣстахъ неисправной“. Главнѣйшею изъ этихъ церковно-славянскихъ грамматикъ была Мелетія Смотрицкаго (1619 г.), составленная по образцу греческихъ и латинскихъ грамматикъ и послужившая во многомъ Ломоносову. Какъ древнерусскіе азбуковники, или словари, имѣли цѣль благочестивую—истолкованіе непонятныхъ рѣчей въ Св. Писаніи,—такъ и грамматика должна была служить для исправленія церковныхъ книгъ и для правильного ихъ уразумѣнія: „грамотное ученіе есть дѣло Божіе. Кто пренебрегаетъ имъ даже въ чтеніи, спѣша и ошибаясь въ удареніяхъ, тотъ творитъ грѣхъ“. Такимъ образомъ церковно-славянскія

грамматики имѣли значеніе „служебное“, состоящее въ пользованіи ими при чтеніи священныхъ книгъ и пониманіи ихъ смысла. Ломоносовъ первый освободилъ эту науку отъ исключительнаго приложенія къ церковному дѣлу и возвелъ ее въ область самостоятельнаго, независимаго знанія. За норму русскаго языка, подлежащаго изслѣдованію въ его этимологическихъ и синтаксическихъ законахъ, онъ принялъ „разсудительное его употребленіе“: каждая грамматическая форма разсматривается, какъ существующій фактъ, который долженъ быть объясненъ, но который не можетъ быть измѣненъ по требованіямъ теоріи. Разлагая литературный языкъ на составныя части, Ломоносовъ приводитъ двѣ главныя ихъ группы: областныя нарѣчія (просторѣчіе) и языкъ церковно-славянскій. Изъ областныхъ нарѣчій онъ отдалъ предпочтеніе московскому, „не токмо для важности столичнаго города, но и для его отміной красоты“. Между просторѣчіемъ и церковно-славянскими формами проведены имъ границы, опредѣляемыя какъ существомъ языка, такъ и литературнымъ употребленіемъ; онъ отмѣтилъ нѣкоторые славянизмы въ противоположность соотвѣтствующимъ руссизмамъ, такъ что грамматика его имѣетъ право быть названа „сравнительной“.

Показавъ въ грамматикѣ различіе языковъ русскаго и церковно-славянскаго по грамматическимъ формамъ, Ломоносовъ различаетъ ихъ и въ отношеніи лексикологическомъ въ разсужденіи: „О пользѣ церковныхъ книгъ въ російскомъ языкѣ“. Сущность разсужденія состоитъ въ слѣдующемъ. Какъ предметы, изображаемые словомъ, различны по своей важности, такъ и русскій языкъ, чрезъ употребленіе славянскихъ словъ, имѣетъ разныя степени: высокій, средній и низкій. Эта разностепенность зависитъ отъ трехъ родовъ русскихъ словъ: къ первому относятся слова, общія славянскому и русскому языкамъ (*Богъ, слава, нынѣ...*); ко второму—славянскія, хотя и мало употребительныя, но каждому грамотному понятныя (*Господень, отверзая, насажденный...*); къ третьему—русскія (*говорю, ручей, который, пока, лишь*). Отъ разсудительнаго употребленія этихъ трехъ родовъ реченій происходятъ три стили: высокій, средній и низкій. Высокій стиль образуется изъ словъ славяно-русскихъ, т.-е. находящихся въ обоихъ языкахъ, и словъ славянскихъ, вразумительныхъ русскому; средній изъ словъ русскихъ съ осторожнымъ прибавленіемъ словъ славянскихъ; низкій—изъ словъ русскихъ. Кромѣ словъ Ломоносовъ принимаетъ въ соображеніе и формы ихъ (причастныя и дѣепричастныя). Такимъ образомъ, усвоивъ ученіе Аристотеля и Квинтиліана о трехъ родахъ



слога, Ломоносовъ въ славянскомъ языкѣ видитъ средство „къ сильному изображенію идей важныхъ и высокихъ“, стихію образующую высокій стиль.—Мнѣніе Ломоносова о *пользѣ* церковно-славянскаго языка привело, однакожъ къ противоположному результату. Слѣдовавшіе за нимъ писатели, подчиняясь его авторитету, не умѣли соблюдать того „осторожнаго введенія славянскихъ словъ“, которое должно соотвѣтствовать матеріи. Они думали писать высокимъ слогомъ, наполняя свою рѣчь славянщиной, такъ что подъ перомъ ихъ образовался особый литературный языкъ, названный въ насмѣшку „славяно-россійскимъ“ и вызвавшій, какъ увидимъ, реформу Карамзина. Впрочемъ, въ самой основѣ разсужденія о *пользѣ* церковныхъ книгъ заключается ошибка. Не говоря уже о произвольномъ дѣленіи стиля на три степени, оно ставитъ высокій стиль въ зависимость отъ славянскаго элемента. Вышнее выраженіе есть оболочка внутренняго, т.-е. содержанія: послѣднимъ опредѣляется первое. Дѣло не въ выборѣ важной матеріи (предмета), а въ важности того, что оказалось при изслѣдованіи или созерцаніи этого предмета. Если умъ пораженъ мыслями, открытыми при изученіи предмета, если чувство возбуждено его истинностью или красотой, если онъ произвелъ сильное воодушевленіе въ мыслителя или поэта, тогда содержаніе, добытое мыслителемъ или поэтомъ, будетъ непременно велико и потребуетъ соотвѣтственнаго ему словеснаго выраженія. Весь вопросъ, слѣдовательно, сводится на соотвѣтствіе рѣчи содержанію, т.-е. мыслямъ и чувствамъ. А на такое соотвѣтствіе русскій языкъ такъ же способенъ, какъ славянскій: зачѣмъ же послѣднему отдавать въ этомъ отношеніи преимущество и предписывать правило, когда и въ какой мѣрѣ смѣшивать его съ первымъ? Каждое слово хорошо, если соотвѣтственно передаетъ выражаемое. Архаизмъ и неологизмъ, варваризмъ и руссизмъ, областное слово и общепринятое въ литературномъ языкѣ съ равнымъ правомъ могутъ быть употребляемы для наиболѣе удачнаго выраженія предмета или понятія, т.-е. наиболѣе согласнаго съ ихъ сущностью или съ производимымъ ими впечатлѣніемъ. Самъ Ломоносовъ нерѣдко отступалъ отъ своей теоріи, поддаваясь природному чутью. Доказательствомъ служить первая строфа „Вечернаго размышленія о Божьемъ величествѣ“, гдѣ нѣтъ ни одного славянскаго слова, а между тѣмъ описаніе наступившей ночи производитъ величественное впечатлѣніе, особенно послѣдніе два стиха:

„Открылась бездна звѣздъ полна:  
Звѣздамъ числа нѣтъ, безднѣ два“.

Было бы не трудно русскія слова: *открылась*, *нѣтъ* замѣнить славянскими: *отверзлась*, *нѣсть*, но авторъ этого не сдѣлалъ, понимая или чувствуя, что элементъ величественнаго заключается здѣсь въ мысли о неизмѣримости мірозданія и что эта мысль нисколько бы не выиграла отъ двухъ славянизмовъ. Но „Разсужденіе о пользѣ книгъ церковныхъ“ не ограничиваетъ пользы славянскаго языка лишь тѣмъ, что онъ „высокія мысли сугубо возвыситъ“; оно указываетъ еще двѣ другія его выгоды: пріобрѣтеніе умѣнья соблюдать ровность слога и устраненіе „дикихъ и страшныхъ слова нечѣпостей“ (варваризмовъ), заимствуемыхъ изъ языковъ западныхъ. Съ этой стороны справедливость взглядовъ Ломоносова не подлежитъ сомнѣнію. Вторженіе иностранныхъ словъ, пестрившихъ и искажавшихъ рѣчь нашихъ писателей, и послужило, какъ надобно думать, поводомъ къ „Разсужденію“. Оно было въ большомъ ходу въ XVII в. между малорусскими учеными, которыхъ сочиненія наполнялись латинизмами и полонизмами, но приняло усиленные размѣры со времени Петровской реформы и продолжалось при Петрѣ II и Аннѣ Іоанновнѣ, что доказывается обиліемъ реченій, взятыхъ изъ западныхъ языковъ и безъ разбора употреблявшихся какъ въ книжной, такъ и въ разговорной рѣчи. Нужно было не только указать зло, но и дать средство къ его уничтоженію. Ломоносовъ и предложилъ для этого—„старательное и осторожное употребленіе сроднаго намъ коренного славянскаго языка купно съ російскимъ“.

Литературные образцы, данные Ломоносовымъ, не отступаютъ отъ правилъ, предложенныхъ имъ въ учебныхъ сочиненіяхъ по словесности. Между ними и не могло быть противорѣчія, такъ какъ первые (образцы) принимались не только въ соображеніе, но и въ основаніе при постановкѣ вторыхъ (правилъ). Объяснивъ пользу церковныхъ книгъ для языка русскаго, Ломоносовъ, въ концѣ разсужденія, совѣтуетъ любителямъ отечественнаго слова съ прилежаніемъ читать эти книги, *утѣрся своимъ искусствомъ* въ общей и частной пользѣ, какая отъ того воспослѣдуетъ.

Стихъ Ломоносова, построенный согласно съ его „Письмомъ о правилахъ російскаго стихотворства“ былъ для своего времени явленіемъ необыкновеннымъ даже безъ сравненія съ стихотвореніями Кантемира и Тредьяковскаго. Онъ выразителенъ, мужественъ и благозвученъ. И теперь, по истеченіи почти полутораго вѣка, многія строфы его одъ (особенно въ одѣ, выбранной изъ Іова) не потеряли своего достоинства. Такова, наприм., извѣстная строфа о пользѣ наукъ въ одѣ 1747 („науки юношей питають“), или въ одѣ 1764 г.:

„Намъ въ ономъ ужасѣ \*) казалось,  
 Что море въ ярости своей  
 Съ предѣлами небесъ сражалось,  
 Земля стенала отъ зыбей.  
 Что вихри въ вихри ударялись,  
 И тучи съ тучами спирались,  
 И устремлялся громъ на громады,  
 И что надуты водъ громады,  
 Текли покрыть пространны грады,  
 Сравнять хребты горъ съ влажнымъ дномъ.

Отношеніе „Риторики“ Ломоносова къ его сочиненіямъ доказывается уже тѣмъ однимъ, что онъ приводилъ въ ней многіе выбранные изъ нихъ примѣры, въ подтвержденіе предлагаемаго ученія. И, дѣйствительно, историческое ея значеніе состоитъ въ томъ, что она служитъ лучшимъ комментариемъ къ литературнымъ произведеніямъ автора, особенно похвальнымъ словамъ и одамъ. Прозаическая рѣчь Ломоносова была, такъ же какъ и стихотворная, великимъ шагомъ впередъ по своей чистотѣ и строю, хотя, нельзя не замѣтить, что въ этомъ строѣ, по направленію того времени, много искусственнаго и условнаго.

Что касается до „Разсужденія о пользѣ книгъ церковныхъ въ руссійскомъ языкѣ“, положившаго различіе между тремя родами слога и указавшаго, въ какихъ именно сочиненіяхъ долженъ быть употребляемъ каждый изъ этихъ родовъ, то Ломоносовъ не отступалъ отъ рекомендуемыхъ имъ правилъ: высокимъ стилемъ написаны у него трагедіи, оды, похвальные слова, поэма „Петръ Великій“; среднимъ—разсужденія, Письмо къ Шувалову о пользѣ стекла; низкимъ (простымъ)—Письма къ Шувалову и другимъ лицамъ.

§ 39. Какъ Ломоносовъ есть первый представитель ложно-классической лирики въ нашей словесности, такъ Сумароковъ (1718—1777) далъ намъ первые образцы ложно-классической драмы. Знакомый съ произведеніями Корнеля, Расина и Вольтера, онъ задумалъ испытать собственныя силы въ трагическомъ родѣ и написалъ „Хорева“ (нап. 1747 г.). Кадеты сыграли эту пьесу сначала въ корпусѣ (1749), гдѣ самъ авторъ воспитывался и по окончаніи курса состоялъ въ немъ на службѣ, а потомъ (1750) во дворцѣ, въ присутствіи императрицы, любившей театръ. За Хоровомъ еще слѣдовало восемь трагедій, изъ коихъ болѣе извѣстны: „Синавъ и Труворъ“, „Семира“, „Димитрій Самозванецъ“.

---

\*) Говорится о печальномъ состояніи Россіи при Аниѣ Іоанновнѣ (Ода 6-я, на восшествіе на престолъ Елисаветы).



Французско-классическая трагедія образовалась подъ двумя вліяніями: во-первыхъ, подъ вліяніемъ поэтической теоріи Аристотеля и греческихъ трагедій; во-вторыхъ, подъ вліяніемъ національнаго характера французовъ и состоянія ихъ общественной жизни въ XVII и XVIII вѣкахъ. Понятно, что трагическая система, сложившаяся подъ дѣйствіемъ такихъ разнородныхъ элементовъ, должна была выйти не естественнымъ и оригинальнымъ явленіемъ искусства, а искусственнымъ и ложнымъ. Въ основѣ ея лежатъ двѣ цивилизаціи: античная и новохристіанская, отдѣленная одна отъ другой многими вѣками, различныя во всѣхъ отношеніяхъ, не допускающія никакого соглашенія или допускающія соглашеніе насильственное. Заимствуя мифологическіе и историческіе сюжеты греческой трагедіи, французскіе писатели измѣняли ихъ по требованію своего вѣка и тѣмъ искажали какъ мифологію, такъ и исторію. Дѣйствующія лица, въ противоположность ихъ національному характеру, изображались по идеалу героическаго величія, какъ онъ сложился въ представленіи французскаго общества, въ эпоху Людовика XIV, при дворѣ котораго ложноклассическая трагедія достигла своего цвѣтущаго состоянія. Являясь не въ своемъ настоящемъ видѣ и духѣ, греки и римляне не были однакожъ и чистокровными французами. Примѣры отступленій французской трагедіи отъ ея подлинниковъ весьма часты. Одинъ изъ нихъ (въ трагедіи Эдипъ) указанъ выше. Вотъ еще нѣсколько другихъ. Ахиллъ въ Расиновой трагедіи „Ифигенія въ Авлидѣ“ вовсе не похожъ на Гомерова Ахилла: въ послѣднемъ нѣтъ и тѣни того рыцарскаго духа, той деликатности чувствъ и изящной вѣжливости, какою отличается первый. Да и трудно вообразить подобныя качества въ такую эпоху народной жизни, когда еще существовало принесеніе людей въ жертву. При изображеніи легендарныхъ сюжетовъ, французскіе трагики старались обходить чудесное, какъ суевѣріе, несогласное съ здравымъ смысломъ, и тѣмъ самымъ выступали изъ круга античныхъ релігіозныхъ воззрѣній въ область разсудочности. Такъ въ одной трагедіи Тезей на вопросъ придворнаго, правда ли, что онъ сходилъ въ царство тѣней, отвѣчаетъ, что здравомыслящій человѣкъ не долженъ вѣрить такой нелѣпости и что этотъ слухъ былъ имъ распущенъ изъ политическихъ видовъ. Тотъ вкусъ, тѣ нравы, обычаи и свѣтскія приличія, которыя образовались въ высшемъ французскомъ обществѣ подъ вліяніемъ двора Людовика XIV и соблюденіе которыхъ было обязательно въ литературѣ, вообще противорѣчатъ сущности трагическаго. Трагизмъ состоитъ въ сильной душевной борьбѣ, изъ которой нѣтъ исхода. Дѣйствующія лица одушевлены или нрав-

ственной идеей, или страстью, и въ такомъ положеніи открыто изливаютъ свои мысли и чувства, забывая все иныя отношенія, кромѣ общечеловѣческихъ. Въ трагедіяхъ французскихъ, наоборотъ, господствуютъ строгій порядокъ, сдержанность, этикетъ; сложность дѣйствія или быстрые переходы однихъ ощущеній къ другимъ воспрещаются ими, какъ оскорбленіе мѣры; онѣ избѣгаютъ патетическаго: пафосъ замѣняется у нихъ риторствомъ, ровное теченіе котораго только по временамъ, и то съ расчетомъ, возмущается страстными выходками. Главный законъ трагической системы французовъ заключается въ трехъ единствахъ (дѣйствія, времени и мѣста), „въ которыхъ нѣтъ спасенія“ (*hors des trois unités il n'y a point de salut*); единое дѣйствіе, изображаемое въ пьесѣ, должно, отъ начала до конца, происходить въ одномъ и томъ же мѣстѣ, въ теченіе 24-хъ часовъ. Онъ основанъ на неврѣнно истолкованномъ ученіи Аристотелевой піитики и на одностороннемъ знакомствѣ съ трагедіями грековъ. Другою основою служило ложное понятіе французской теоріи о такъ-называемомъ очарованіи, подъ которымъ она разумѣла не полноту и силу впечатлѣнія, производимаго на зрителей представленіемъ пьесы, а обманъ, т.-е. приведеніе зрителей въ такое состояніе, чтобы они вымыселъ автора приняли за дѣйствительность и чувствовали бы себя не въ театрѣ, а въ жизни, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ происходило событіе. Но такое самозабвеніе невозможно: какого бы совершенства не достигли механическая и декоративная части театра, какимъ бы искусствомъ ни отличалась игра актеровъ, пьеса при первомъ же поднятіи занавѣса, представитъ зрителю многія неправдоподобныя вещи и, слѣд. разочаруетъ его; напримѣръ, зритель услышитъ, что греки говорятъ не на своемъ языкѣ, а на чужомъ, и говорятъ стихами, а не прозой, чего не было и не бываетъ. Между тѣмъ малая мѣра времени, отведенная французскими теоретиками трагедіи, стѣснила объемъ дѣйствія и сдѣлала невозможнымъ всестороннее раскрытіе характеровъ. Дѣйствующія лица являются въ нихъ не какъ цѣльныя личности съ многообразными качествами, а только одною своею стороною, съ однимъ чувствомъ или страстью (любовь, ненависть, честолюбіе, великодушіе...), которая и остается при нихъ во все продолженіе дѣйствія. Это и неестественно и утомительно. Чтобы познакомить зрителя съ тѣмъ, что предшествовало событію, служащему сюжетомъ драмы, французы большею частію посвящали первый актъ экспозиціи, т.-е. изложенію завязки. Такое изложеніе образуетъ эпическую часть пьесы и своимъ характеромъ противорѣчитъ сущности драмы, которая требуетъ дѣйствія, а не разсказа о дѣйствіи, требуетъ овладѣть воображеніемъ зрителя съ первыхъ

же сцены. При главныхъ дѣйствующихъ лицахъ состоятъ очень часто ихъ наперсники и наперсницы: они, какъ доверенныя лица, выслушиваютъ или повѣствованіе о судьбѣ героя и героини или ихъ исповѣдь чувствъ и мыслей—тоже эпическій элементъ, непригодный въ драмѣ, которая какъ о внѣшней исторіи, такъ и о внутреннемъ мірѣ всѣхъ лицъ даетъ знать зрителю посредствомъ ихъ дѣйствій и соотвѣтственныхъ рѣчей. Къ эпическому же элементу относятся донесенія вѣстниковъ о томъ, что происходило внѣ сцены: въ этомъ случаѣ французскіе трагики любили выказывать свое стихотворное искусство и потому удлинляли рассказъ не въ мѣру: въ Федрѣ (Расина) Тезей выслушиваетъ долгій рассказъ объ ужасной смерти Ипполита, а въ Гораціяхъ (Корнеля) Камилла столь же долгій рассказъ о смерти Куріаціевъ. Рассказчики какъ бы забыли, въ какомъ душевномъ положеніи должны были находиться и отецъ при вѣсти о гибели сына, и дочь Горація при вѣсти о гибели любимого ею жениха. Разсудочность, преобладающая стихія въ духовномъ складѣ французовъ, внесла въ трагедію элементъ резонерства: страсть не мѣшаетъ героямъ и героинямъ разсчитывать и размѣривать свое собственное положеніе, останавливаться съ запросами надъ своимъ чувствомъ.

Въ трагедіи дѣйствіе производится двумя дѣятелями: характерами лицъ и положеніями (ситуаціями), въ которыхъ лица находятся. Взаимное отношеніе этихъ дѣятелей, внутренняго (характера) и внѣшняго (положенія), даетъ начало двумъ трагическимъ системамъ: въ одной—положенія обусловлены характеромъ, въ другой—характеръ опредѣляется положеніями. Французско-классическая трагедія слѣдовала второй системѣ. Трагики выбирали необычайныя положенія, ставили среди нихъ личность и завязывали борьбу между ея чувствами, съ одной стороны, и данными обстоятельствами, съ другой. Въ ряду страстей, овладѣвающихъ душою человѣка, они останавливали свое вниманіе чаще всего на любви. Она являлась у нихъ даже тамъ, гдѣ не была извѣстна ни исторіи, ни преданіямъ: Расинъ надѣлилъ ею Ипполита (въ Федрѣ), тогда какъ у Еврипида (въ трагедіи Ипполитъ), которому подражалъ Расинъ, оригинальность Тезеева сына и состоитъ именно въ свободѣ сердца. Выше сказано, что герои и героини французскихъ трагедій выступали передъ зрителями не въ полнотѣ своего характера, а только съ одною его стороною: потому авторы и употребляли все свое искусство на изображеніе этой стороны. Отъ достоинства изображенія зависѣло достоинство пьесы. Этой-то французской трагической системѣ подражалъ Сумароковъ, слѣд., все, о ней сказанное, примѣняется и къ его пьесамъ. Онъ самъ



гордился тѣмъ, что „явилъ Расиновъ театръ Россамъ“. Сущность подражательныхъ его трагедій—представленіе одной какой-либо страсти, а не цѣльнаго характера—была опредѣлена еще Карамзиннымъ, сказавшимъ, что „Сумароковъ болѣе описывалъ чувства, нежели изображалъ характеры въ ихъ естественной и нравственной истинѣ“. Главное мѣсто между этими чувствами занимаетъ любовь. Изъ ея столкновеній съ долгомъ образуется борьба, на которую нерѣдко указываютъ сами дѣйствующія лица, приведенныя въ необходимость выбрать одно изъ противоположныхъ влеченій и восклицающія въ припадкѣ отчаянія: „о должность (долгъ)! о любовь!“ Крупные таланты, какъ, напримѣръ, Расинъ, умѣли съ успѣхомъ бороться съ стѣснительными условіями системы; у нихъ одна и та же страсть принимала, смотря по лицу, различный характеръ: любовь Герміоны (въ трагедіи Андромаха) отлична отъ любви Роксаны (трагедія Баязетъ), и ревность Федры отлична отъ ревности Герміоны. И въ изображеніи одного лица они представляли полное развитіе страсти со всѣми ея перипетіями, отъ первой вспышки до катастрофы. Сумароковъ не владѣлъ такимъ искусствомъ: Оснельда въ Хоревѣ, Семира въ трагедіи того же имени, Ильмена въ Синавѣ и Труворѣ и любятъ, и выражаютъ свою любовь одинаково. Всепоглощающее дѣйствіе страсти доведено имъ до крайности въ Димитріи Самозванцѣ. Этотъ чудовищный тиранъ и думаетъ, и говоритъ только о злодѣйствахъ, хотя на самомъ дѣлѣ онъ вовсе не такъ страшенъ, какъ бы слѣдовало ожидать по его словамъ. Онъ злобствуетъ и на себя самого: онъ желалъ бы „самъ съ собою раздѣлиться“, чтобы наслаждаться собственной мукою; умирая, онъ восклицаетъ: „ахъ, если бы со мной погибла вся вселенна!“ Такой „врагъ людей и естества“, какъ называетъ себя Самозванецъ, стоитъ дѣйствительно „внѣ природы“ и производитъ скорѣе комическое, чѣмъ трагическое впечатлѣніе. О вѣрности лицъ временнымъ и мѣстнымъ отличіямъ говорить нечего: ихъ рѣчи, мысли, чувства и поступки не согласны ни съ характеромъ эпохи, въ которую они жили, ни съ характеромъ народа, къ которому принадлежали. Несмотря на свои варяжскія или славяно-русскія имена, они еще дальше отстоятъ отъ нашей исторіи, чѣмъ истинные греки и римляне отъ грековъ и римлянъ французской трагедіи. При всемъ этомъ было бы однакожъ несправедливо отрицать въ Сумароковѣ драматическое дарованіе. Пьесы его—первыя въ своемъ родѣ, и нѣкоторыя изъ нихъ содержатъ въ себѣ эффектные сцены, въ нихъ есть движеніе—необходимая принадлежность драмы, котораго чужды эпико-лирическія трагедіи Ломоносова, почему послѣднія и не имѣли сценическаго успѣха, хотя написаны умнѣе и складнѣе,

тогда какъ трагедіи Сумарокова правилсь и образованному обществу, находившему въ нихъ знакомыя имъ свойства французской драмы, и публикѣ малообразованной, для которой онѣ были пріятной новостью. Можно поставить въ заслугу Сумарокову и то, что за трагическими сюжетами онъ большею частію обращался къ отечественной исторіи, а не къ греческой и римской. Наконецъ, несомнѣнное достоинство трагедій Сумарокова заключается въ ихъ отношеніи къ идеямъ XVIII вѣка. Дѣйствующія лица часто разсуждаютъ о томъ, что обращало на себя вниманіе образованныхъ людей у насъ и въ Европѣ. Голосъ „просвѣтительной эпохи“ всего слышнѣе въ монологахъ и сентенціяхъ. Такъ Дмитрій Самозванецъ бесѣдуетъ съ своимъ наперсникомъ Парменомъ о злоупотребленіи палскаго могущества, о бѣдствіяхъ, причиненныхъ фанатизмомъ въ новомъ свѣтѣ. Мысль Монтескье о чести, какъ основѣ героическихъ дѣлъ, высказана въ „Мстиславѣ“: трагедія эта, благодаря выраженію возвышенныхъ мыслей, долго держалась на сценѣ. При каждомъ поводѣ славятся правосудіе и человеколюбіе, порицаются неправда и жестокосердіе. Способствуя развитію вкуса къ сценическому искусству, какъ одному изъ эстетическихъ удовольствій человѣка, пьесы Сумарокова въ то же время способствовали къ возбужденію въ зрителяхъ благородныхъ чувствъ, патріотизма, чести, великодушія, терпимости.

Другая сторона литературнаго таланта Сумарокова выразилась въ сатирѣ, къ которой, кромѣ собственно сатиръ, относятся и комедіи. Послѣднія (Опекунъ, Лихоямецъ, Трессотиніусъ и др.) не пользовались большимъ успѣхомъ по бѣдному содержанію, несообразностямъ въ дѣйствіи и чуждымъ русскому человѣку обычаямъ и правамъ; зато въ нихъ много „смѣхотворной остроты“. Такъ въ Трессотиніусѣ забавно выведенъ Тредьяковский съ его орфографическими нововведеніями и эротическими пѣснями. Сатира Сумарокова имѣла цѣлю, какъ онъ самъ говоритъ, „обличеніе презрительныхъ вещей“, которыя происходили или отъ невѣжества, или отъ самонадѣянной, поверхностной цивилизаціи... Въ первомъ отдѣлѣ этихъ вещей стоятъ: несправедливость судей, высокомѣріе знатныхъ родовъ, ханжество, суевѣріе, домостроительство („примноженіе избылія“); во второмъ—невѣріе, слѣпое подражаніе иностранцамъ, литературный педантизмъ. Съ наибольшимъ горячностью Сумароковъ нападалъ на судей или вообще на подъячихъ. „Эпистола къ неправеднымъ судьямъ“, „Сатира о худыхъ судьяхъ“, „Письмо о заразительной болѣзни“, „Почтеніе автора къ приказному роду“, равно какъ многія мѣста комедій и другихъ сочиненій, преслѣдуютъ безграмотность, намѣренную запутанность

дѣлъ и лихоимство недостойныхъ исполнителей закона. Раздраженіе противъ подъячихъ изливалось у него почти всегда въ комической формѣ: онъ называлъ ихъ „хамовымъ отродьемъ“, „крапивнымъ сѣменемъ“, „наперсниками бѣсовъ“. Поверхностной цивилизаціи Сумароковъ приписываетъ больше вреда, чѣмъ невѣжеству, ибо она порождаетъ невѣріе, которое хуже суевѣрія: „истинное образованіе увѣряетъ насъ въ бытіи Бога и Его мудрости, ложное ведетъ къ противоположному“. Невѣрующіе суть „непросвѣщенные умствователи, отторгнутые злосердіемъ и коркою науки (поверхностнымъ знаніемъ) отъ добродѣтели и отъ естественной простоты. Въ лицѣ Герострата (ком. Ядовитый) выставлены слѣдствія вредныхъ умствованій, эгоизмъ лжефилософа. Въ современныхъ петиметрахъ, порожденныхъ галломаніей, Сумароковъ порицаетъ развращенное сердце, легкомысленныя понятія о нравственности, пристрастіе къ модамъ и французскому языку, незнаніе языка родного, пренебреженіе всѣмъ отечественнымъ. Образчики ихъ, мужской и женскій, выставлены въ комедіяхъ: „Чудовищи“ и „Мать—совмѣстница дочери“. Увлекаясь наивною запальчивостію, Сумароковъ полагаетъ дѣйствіе реформы на петиметровъ лишь въ томъ, что они „изъ ненапудренныхъ человѣковъ превратились въ напудренную скотину“. Сатира Сумарокова оригинальнѣе его трагедій. Она возбуждаетъ смѣхъ не однимъ мѣткимъ изображеніемъ смѣшныхъ или вредныхъ сторонъ предмета, но и тѣмъ, что въ ней открыто является личность автора, которая, сама по себѣ, представляла много комическаго.

§ 40. Литература времени Екатерины II, сохраняя по формѣ ложноклассическое направленіе, данное ей Ломоносовымъ, по содержанію становится органомъ идей и стремленій XVIII вѣка, которыми интересовались всѣ мыслящіе и образованные люди. Они нашли себѣ выраженіе въ трудѣ самой императрицы—„Наказъ комиссіи для сочиненія проекта новаго уложенія“ (1767).

Новыя основы гражданскаго благоустройства, на которыхъ должна была воздвигнуться законодательная система, изложенная по Монтескье (О духѣ законовъ) и Беккарію (О преступленіяхъ и наказаніяхъ), съ перемѣнами, соотвѣтственно особому положенію Россіи, и сдѣлались темами для нашихъ писателей. Въ этомъ отношеніи литературная дѣятельность Екатерининскаго вѣка отличается послѣдовательностью: явленія ея связаны между собою согласіемъ существенныхъ воззрѣній. Сама императрица подавала тому примѣръ своими сочиненіями—педагогическими, драматическими и сатирическими.



Изъ педагогическихъ сочиненій одни излагаютъ понятія о воспитаніи, а другія, согласно этимъ понятіямъ, представляютъ матеріалъ для дѣтскаго чтенія. Къ первому отдѣлу относится „Инструкція кн. Н. И. Салтыкову“ при назначеніи его воспитателемъ великихъ князей Александра Павловича и Константина Павловича; ко второму—дѣтская бібліотека, написанная для ея влукоть: „Сказка о царевичѣ Хлорѣ“, „Сказка о царевичѣ Февеѣ“, „Записки, содержащія въ себѣ разсказы и разговоры“, „Гражданское начальное ученіе“. Новая педагогическая система, соотвѣтственно требованіямъ новой эпохи, должна была отличаться отъ прежней системы. Образованіе при Петрѣ имѣло задачу—усвоить европейскую цивилизацію на столько, на сколько она была нужна для матеріальныхъ потребностей государства. Это было собственно ученіе, т.-е. приобрѣтеніе специальныхъ знаній, какъ средствъ для отправленія служебныхъ обязанностей. Образованіе, въ исключительныхъ видахъ практической пользы, оказалось одностороннимъ и, кромѣ того, въ замѣну стариннаго невѣжества, породило недостатки иного рода, сопутствующіе превратной цивилизаціи: удаляясь отъ простоты своихъ предковъ, новое поколѣніе, вмѣстѣ съ нею, теряло и благонравіе; въ дѣйствіяхъ его не было чувства благородства и чести, истинной любви къ отечеству, желанія отличиться гражданскими заслугами. На упущеніе нравственности жалуется И. И. Бецкій, главный исполнитель педагогическихъ реформъ императрицы: „опытъ доказать, что одинъ только украшенный или просвѣщенный разумъ не производитъ еще добраго, прямого гражданина; напротивъ, онъ становится вреднымъ для того, у кого съ юныхъ лѣтъ не вкоренена въ сердце добродѣтель. Отъ небреженія нравственности, отъ ежедневныхъ дурныхъ примѣровъ онъ привыкаетъ къ мотовству, своевольству, безчестному лакомству, непослушанію“. Чтобы унатожить вредныя слѣдствія односторонняго стремленія къ европеизму, необходимо, кромѣ просвѣщенія ума наукой, облагороженіе сердца. Воспитаніе долженствуетъ быть всестороннимъ развитіемъ способностей человѣка—физическихъ, умственныхъ и нравственныхъ,—но такъ, чтобы элементъ нравственный (благонравіе) занималъ первое мѣсто; поэтому въ училищахъ слѣдуетъ „паче всего разсматривать похвальное поведеніе учениковъ“ и отдавать ему первенство передъ успѣхами въ наукахъ. Недостатки воспитанія происходили, съ одной стороны, отъ непониманія дѣтской природы, а съ другой стороны—отъ непониманія будущаго назначенія дѣтей. Исключительное вниманіе обращалось на приобрѣтеніе знаній: укрѣпленіе же тѣла и развитіе нравственнаго чувства были вынущены изъ виду. Способъ обученія подавлялъ самостоятельность учащихся;

уроки затверживались наизусть механически, такъ что память играла главнѣйшую роль, не давая простора другимъ способностямъ. Въ строгомъ обращеніи съ дѣтьми, въ тѣлесныхъ наказаніяхъ видѣли единственное средство къ успѣхамъ.—Екатерина, слѣдуя англійскому философу Локку (въ его трактатѣ о воспитаніи), построила педагогическую систему на основаніяхъ, противоположенныхъ началамъ прежней системы. Исключительное обогащеніе ума знаніями замѣщено образованіемъ всестороннимъ; главный долгъ наставника—склонять волю дѣтей къ благимъ дѣйствіямъ, направлять ихъ къ жизни добродѣтельной. Затѣмъ слѣдуютъ заботы объ укрѣпленіи тѣла: „здоровое тѣло и умонаклоненіе къ добру (сказано во введеніи въ „Инструкцію“) составляютъ все воспитаніе“. Дѣло воспитателя ограничивается разумною помощью: онъ старается, чтобы воспитанники сами доходили до познанія нужныхъ вещей, а не прямо указываетъ эти вещи. Суровое обхожденіе съ дѣтьми не только бесполезно, но и вредно: оно уничтожаетъ бодрость духа и веселость нрава—драгоценныя качества всѣхъ возрастовъ. Наказаніе должно заключаться въ стыдѣ, а награда въ чести: „хвалы, даваемые хорошему поведенію, хулы и пренебреженія—достойному хулы, суть тѣ способы, коими поощряется хорошее и отвергается дурное поведеніе“. Такимъ образомъ односторонность, механизмъ, грубость были замѣнены цѣлостностью развитія, сознательнымъ усвоеніемъ уроковъ, человѣческимъ обхожденіемъ съ учащимися. Важность педагогической системы, объясненной и въ сочиненіяхъ императрицы и въ докладахъ ей Бецкаго, стояла высоко во мнѣніи просвѣщенныхъ людей того времени. Она должна была создать „новую породу людей“, „новыхъ гражданъ“. Отличіе Екатерининскаго времени отъ времени Петра, въ этомъ отношеніи, выражалось особыми формулами: Бецкій, обращаясь къ Екатеринѣ, говоритъ: „Петръ Великій создалъ въ Россіи *людей*, Ваше Величество влагаете въ нихъ *души*“. Стихотворное переложеніе этихъ словъ сдѣлано и Сумароковымъ (Петръ далъ намъ *бытіе*, Екатерина *душу*), и Херасковымъ (Петръ Россамъ далъ *тѣла*, Екатерина *душу*).

Книги для дѣтскаго чтенія, сочиненныя Екатериною, выражаютъ тѣ же педагогическія начала, что и въ „Инструкціи“, только въ формѣ рассказовъ или наставленій. „Сказка о Хлорѣ“, сынѣ русскаго царя, жившаго еще до временъ кіевскаго князя Кія, повѣствуетъ, какъ этотъ царевичъ былъ похищенъ киргизскимъ ханомъ, который плѣнилъ его красотою, умомъ и дарованіемъ и далъ ему порученіе искать розу безъ шиповъ (т.-е. добродѣтель, доставляющую человѣку ничѣмъ неотравляемое наслажденіе). Въ

поискахъ этихъ руководствуетъ царевича Разсудокъ, сынъ Фелицы, жены хана. Съ помощью честности и правды Хлоръ преодолѣлъ всѣ препятствія и на вершинѣ горы нашелъ желанную розу. Главная мысль—исканіе добродѣтели—указываетъ на основную цѣль воспитанія. Царевичъ надѣленъ именно тѣми качествами, какихъ требуетъ „Инструкція“ отъ воспитывающагося юношества: веселость нрава, бодрость, самостоятельность, отсутствіе пустыхъ страховъ. „Сказка о Февеѣ—красномъ солнышкѣ“ представляетъ также образецъ физическаго и нравственнаго воспитанія по правиламъ „Инструкціи“: его не пелевали, не кутали, не баюкали, не качали; лѣтомъ и зимою гулялъ онъ на открытомъ воздухѣ; въ болѣзни былъ терпѣливъ; сердце имѣлъ доброе; былъ жалостливъ, щедръ, учтивъ, привѣтливъ; вездѣ и всегда повиновался истинѣ и здравому разсудку; любилъ говорить и слушать правду: лжи гнушался до того, что не прибѣгалъ къ ней даже въ шуткахъ.

Къ драматическимъ пьесамъ Екатерины относятся комедіи: „О время!“, „Именины г-жи Ворчалкиной“, „Недоразумѣнія“, „Вѣстникова съ семейю“, „Вотъ каково имѣть корзину и бѣлье!“, оперы: „Федулъ съ дѣтьми“, „Горе-богатырь Косометовичъ“; „Историческое представленіе изъ жизни Рюрика“, „Начальное управленіе Олега“. При неважности своего поэтическаго значенія онѣ интересны по отношенію къ тогдашней эпохѣ. Авторъ пользовался ими для выраженія своихъ мыслей и для осмѣянія общественныхъ недостатковъ. Съ этой стороны современные писатели и находили ихъ „достойными почтенія и благодарности“. Лучшая комедія—„О время!“. Она осмѣиваетъ ханжество, суевѣріе и страсть къ вѣстямъ и сплетнямъ въ лицѣ Ханжахиной, Чудихиной и Вѣстниковой. Ханжахина набита—пустосвятствомъ, ставитъ добродѣтель въ наружныхъ обрядахъ и ненавидитъ каждого, кто не слѣдуетъ ея правиламъ. Чудихина—суевѣрна до безконечности, притомъ безстыдная ссорщица и сплетница. Вѣстникова—жеманная, высокомерная, злорѣчивая вѣстовщица, на старости любящая наряды. Кромѣ главныхъ своихъ предметовъ, комедія касается воспитанія, выставляя, съ одной стороны, строгое обращеніе съ дѣтьми и держаніе дѣвицъ въ полномъ невѣжествѣ, а съ другой—потворство дѣтямъ и модное воспитаніе женскаго пола, образующее „новоевѣтскихъ госпожъ“. Сынъ Чудихиной—осямнадцатилѣтній недоросль, только что выучившійся читать и до крайности извѣженный матерью. Замѣчательно, что, при общемъ подчиненіи образцамъ французско-классической драмы, Екатерина обращалась за подраженіемъ къ Шекспиру. Комедія „Вотъ каково имѣть корзину и бѣлье“ есть передѣлка „Виндзорскихъ проказницъ“ на



русскіе нравы. съ замѣною англійскихъ именъ русскими (напр., Фальстафъ — Полкадь). „Историческое представленіе изъ жизни Рюрика“ и „Начальное управленіе Олега“ написаны также въ подраженіе Шекспиру, „безъ сохраненія обыкновенныхъ театральныхъ правилъ“, т.-е. безъ соблюденія единствъ времени и мѣста.

Сатирическія статьи императрицы извѣстны подъ именемъ „Былей и небылицъ“. Въ нихъ, какъ показываетъ самое названіе, смѣшаны дѣйствительность и вымыслы, но такіе, которые не лишены правдоподобія. Содержаніемъ ихъ служитъ изображеніе человѣческихъ недостатковъ и слабостей; оно взято „изъ обширнаго моря естества“, т.-е. изъ жизни во всемъ ея разнообразіи. Характеръ изображеній—легкій и веселый, не представлявшій ничего „гнуснаго и отвращающаго“; сатира ограничивалась насмѣшкой и шуткой, ибо авторъ понималъ, что, при тогдашнемъ состояніи общества, нравоученіе могло проникать въ сознаніе читателей только въ забавной и пріятной формѣ, исключая все, что „не въ улыбательномъ духѣ“, что способно возбудить горестъ или скуку. На основаніи пословицъ: „съ людьми браниться чикуда негодится“ и „съ грѣхами бранись, а съ людьми мирись“, сатира думала исправлять нравы насмѣшкой—не язвительной, а легкой. Для прикрытія собственныхъ размышленій и выраженія ихъ въ шуточномъ тонѣ, авторъ выводитъ нѣсколько лицъ, а именно: какого-то дѣдушку и двухъ пріятелей, изъ которыхъ одинъ, подобно Гераклиту, „больше плачетъ, чѣмъ смѣется“, а другой, подобно Демокриту, „больше смѣется, чѣмъ плачетъ“. Постоянная мысль дѣдушки—сила просвѣщенія, которое, какъ потокъ, съ теченіемъ времени снесетъ всѣ общественные недостатки. Въ изложеніи сочинительница не держится никакого порядка, безпрестанно переходя отъ одного предмета къ другому. Искусственность, высокопарность, темнота совершенно изгнаны; въ „завѣщаніи“ (последней статьѣ „Былей и Небылицъ“) предписано „за смѣхомъ, за умомъ, за прикрасами не гоняться, ходулей не употреблять, гдѣ ноги могутъ служить, краснорѣчіе допускать лишь въ томъ случаѣ, когда само собою явится“. Замѣчательны совѣты того же завѣщанія касательно языка: оно требуетъ слога гладкаго, легкаго; краткія выраженія предпочитаетъ длиннымъ; запрещаетъ пользоваться иностранными словами, если они легко замѣняются русскими; реченія и обороты, сами собою представляющіеся, какъ бы текущіе, должны брать верхъ надъ другими.

§ 41. Наибольшее развитіе сатиры обнаружилось въ журналахъ, слѣдовавшихъ одинъ за другимъ въ теченіе семи лѣтъ (1769—

1774). „Наказъ“ далъ поводъ къ осмотру русской жизни, съ точки зрѣнія его началъ: сатира взяла на свою долю изображеніе и оцѣнку недостатковъ современнаго общества. Важнѣйшіе изъ этихъ журналовъ: „Всякая Всячина“, „Трутенъ“ и „Живописецъ“. Первый издавался адъюнктомъ Академіи наукъ Козницкимъ, два другіе Новиковымъ, ревнителемъ отечественнаго просвѣщенія, оказавшимъ ему незабвенныя услуги. Задача ихъ имѣла свою особенность сравнительно съ задачею предшествовавшей имъ сатиры. Сторонники Петровой реформы стояли за просвѣщеніе, какъ за средство для успѣховъ на службѣ и для матеріальныхъ выгодъ въ жизни. Сатирики Екатеринына времени смотрѣли на просвѣщеніе, какъ на руководство къ нравственному возвышенію чело-вѣка; они не могли щадить и науки, если она приводила къ послѣдствіямъ, несомвѣстнымъ съ благопріемъ. Предметомъ своихъ обличеній они выбирали тѣ явленія общественной и домашней жизни, которыя противорѣчили понятіямъ XVIII вѣка, выказывавшимъ свою силу и въ правительственныхъ учрежденіяхъ, и новымъ основамъ гражданственности, начертаннымъ въ „Наказѣ“, — короче: всему тому, что, по видамъ „Наказа“, должно было вести людей къ благоденствію. Твердымъ желаніемъ сатирическихъ журналовъ было искоренять невѣжество и водворять въ отечествѣ западную цивилизацію, но только на основахъ національных, съ сохраненіемъ своей самобытности и уваженія къ родной странѣ. Филантропическій характеръ ихъ наиболѣе виденъ въ статьяхъ о матеріальномъ и нравственномъ состояніи крестьянъ. Многія статьи посвящены воспитанію, картины котораго, въ духѣ до-петровской старины, принадлежатъ къ лучшимъ страницамъ „Всякой Всячины“, „Трутня“, „Живописца“. Особенно „Письма къ Фалалею“ (въ „Живописцѣ“) предлагаютъ типическіе черты людей, закоснѣлыхъ въ невѣжествѣ, суевѣріи, грубости. Часто преслѣдуются деревенскіе трутни, поспѣшавшіе оставить службу и удалившіеся въ свои помѣстья на праздный покой. Обличенія лихоимства, ябеды, судейскихъ проволочекъ и приказной неграмотности прибавляютъ новые факты къ исторіи той неправды, противъ которой писали Кантемиръ, Сумароковъ. Гуманныя понятія объ уголовномъ судѣ, изложенныя въ „Наказѣ“, нашли себѣ отголосокъ въ разсказѣ, какъ одинъ судья пыталъ невиннаго, подозревая его въ кражѣ часовъ. Крайности французскаго вліянія выставлялись съ особеннымъ негодованіемъ, особенно воспитаніе юношества невѣжественными или безразличными гувернерами и гувернантками. Путешествія за границу, безъ всякой къ тому подготовки, стоили иностраннаго воспитанія, почему сатира и жалуется на молодежь, кото-

рая вывозить изъ чужихъ земель только свѣдѣнія объ одеждѣ, зрѣлищахъ и увеселеніяхъ, но ничего не знаетъ о нравахъ, учрежденіяхъ и законахъ просвѣщенныхъ народовъ. Въ разныхъ формахъ осмѣивалось господство моды, особенно ея дѣйствіе на родное слово: разговоръ великосвѣтскихъ особъ представляетъ смѣсь французскаго съ русскимъ: иностранныя реченія и фразы дѣликомъ вставлялись въ русскую рѣчь или переводились буквально, наперекоръ ея складу; общеупотребительнымъ русскимъ словамъ придавался новый, несоотвѣтствующій имъ смыслъ. „Живописецъ“ напечаталъ „Опытъ моднаго словаря щегольского нарѣчія“, ходившаго между петиметрами и модными барынями: этими „новоманерными“ словами испещрено „Письмо щеголихи“ къ издателю „Живописца“. Кромѣ искренняго служенія дѣлу русскаго просвѣщенія и національности, сатирическіе журналы имѣютъ и другія достоинства. Говоря русскимъ о русскихъ, представляя имъ только русское, они за предметами своихъ статей обращались преимущественно къ повседневному быту, который и явился у нихъ въ настоящемъ своемъ видѣ и свѣтѣ, безъ всякихъ украшеній и преувеличеній. Этимъ они отрѣшились отъ ложно-классическихъ условій, сообщали литературѣ естественность и простоту, выводили ее изъ тѣснаго круга высшаго общества въ просторный кругъ средняго класса. Успѣхъ „Живописца“ издатель его объясняетъ именно тѣмъ, что „онъ пришелся на вкусъ мѣщанъ (т.-е. лицъ средняго класса) нашихъ; ибо у насъ тѣ только книги третьими, четвертыми и пятыми изданіями печатаются, которыя симъ простосердечнымъ людямъ, по незнанію ими чужестранныхъ языковъ, нравятся“.

§ 42. Для успѣшнѣйшаго служенія тѣмъ идеямъ, которыя писатель признаетъ истинными, ему, кромѣ литературнаго таланта, необходимо имѣть сильный умъ и быть образованнымъ въ уровень съ своимъ вѣкомъ. Счастливымъ сочетаніемъ этихъ качествъ обладалъ фонъ-Визинъ, одинъ изъ передовыхъ людей Екатеринина царствованія. Его сочиненія состоятъ въ самой тѣсной связи съ содержаниемъ „Наказа“ и представляютъ ясное уразумѣніе его сущности, сознательное отношеніе къ предметамъ гражданскаго благоустройства. Важнѣйшій предметъ этого благоустройства — воспитаніе — и служить темой двухъ его комедій: „Бригадиръ“ и „Недоросль“.

Бригадиръ (1764) изображаетъ внѣшній лоскъ европеизма, сообщаемого французскими гувернерами, и кромѣ того — лихоимство и ябедничество, которымъ правительство старалось положить предѣлы указомъ 15 декабря 1763 г., предписавшимъ наполнять судебныя мѣста достойными и честными людьми, назначивъ имъ довольное жалованье. Главное лицо не Бригадиръ, а сынъ его



Иванушка, избалованный матерью, пробывши несколько лѣтъ въ пансіонѣ, а потомъ жившій въ Парижѣ, откуда вернулся повѣсою съ пристрастіемъ ко всему французскому и съ презрѣніемъ къ своему родному: онъ гордится тѣмъ, что „по духу принадлежитъ Франціи, хотя тѣло его родилось въ Россіи“. Въ Совѣтникѣ, выведенъ старинный подъячій — „прямая приказная строка“, по отзыву его жены. Онъ бралъ и съ виноватаго и съ праваго: съ виноватаго за вину, съ праваго за правоту; послѣ означеннаго указа, онъ вышелъ въ отставку и удалился въ деревню, неправо имъ названую. Въ противоположность неразумнымъ или безнравственнымъ лицамъ поставлены разумныя и нравственныя: Добролюбовъ нисколько не похожъ на Иванушку, потому что онъ „любить добро“, отличается „благоправіемъ“, существеннымъ качествомъ хорошо воспитаннаго человѣка; разумная и нравственная Софья нисколько не похожа на легкомысленную Совѣтницу. Завязка комедіи—взаимная любовь Добролюбова и дочери Совѣтника Софьи, которую, противъ воли, положили выдать за Иванушку, и смѣшныя отношенія бригадира и его сына къ Совѣтницѣ, а Совѣтника къ Бригадиршѣ; развязка—обнаруженіе этихъ отношеній, вслѣдствіе чего предполагаемый бракъ не состоялся, и Софья становится невѣстой Добролюбова. Пьеса исполнена забавныхъ сценъ и веселости; современники смотрѣли на нее какъ на первую комедію въ русскихъ нравахъ; она имѣла большой успѣхъ, обративъ званіе бригадира въ смѣшное нарицаніе. Недостатокъ ея, въ художественномъ отношеніи, тотъ, что между сюжетомъ и основною мыслью нѣтъ плотной связи, ибо дурное воспитаніе и лихоимство могли быть изображены безъ романической завязки, которая служила общимъ мѣстомъ французскихъ комедій и допущена нашимъ комикомъ изъ подражанія. Другой недостатокъ заключается въ томъ, что авторъ переступилъ мѣру смѣшного: въ нѣкоторыхъ сценахъ комическая картина переходитъ въ карикатуру. Это зависѣло уже отъ личныхъ свойствъ Фонъ-Визина: увлекаемый веселымъ настроеніемъ и желая смѣшить зрителей, онъ иногда заставляетъ дѣйствующихъ лицъ говорить то, чего они не могли бы сказать по своему характеру или положенію.

„Недоросль“ (1782) изображаетъ невѣжественное воспитаніе и ученіе дома, подъ вліяніемъ родителей, ослѣпленныхъ неразумною любовью къ своему сыну. Существенный смыслъ комедіи обозначенъ заключительными ея словами: при видѣ отчаяннаго положенія Простаковой, матери Митрофана (недоросля), восклицавшей: „погибла я совсѣмъ! отъ стыда нигде глаза показать нельзя! нѣтъ у меня сына!“ Стародумъ, дядя Софьи, живущей въ домѣ

Простаковыхъ, говорить: „вотъ *злонравіа* достойные плоды!“ Злонравіе, какъ видно изъ „Инструкціи кн. Салтыкову“, происходитъ отъ дурного воспитанія, тогда какъ воспитаніе хорошее ведетъ къ *благонравію*. Тотъ же Стародумъ желаетъ, чтобъ при изученіи наукъ не забывалась главная цѣль всѣхъ человѣческихъ знаній — *благонравіе*; „какъ скоро все увидятъ, что безъ *благонравія* никто не можетъ выйти въ люди, тогда всякій найдетъ выгоду быть *благонравнымъ* и всякъ хорошъ будетъ“. Такимъ образомъ идея „Недоросля“ совершенно совпадаетъ съ педагогическими понятіями Екатерины II. Въ разговорахъ между Стародумомъ, Правдинымъ и Софьей часто повторяется мысль о важности нравственнаго образованія и уму не придается никакой цѣны, если онъ не соединенъ съ благороднымъ сердцемъ: „Прямое достоинство въ чело<sup>в</sup>ѣкѣ есть душа. Безъ нея просвѣщеннѣйшая умница — жалкая тварь, невѣжда безъ души—звѣрь... Умъ, коль онъ только что умъ — самая бездѣлица. Съ пребѣглыми умами видимъ мы худыхъ мужей, худыхъ отцовъ, худыхъ гражданъ... Прямую цѣну уму даетъ *благонравіе*... Наука въ развращенномъ сердцѣ есть лютое оружіе дѣлать зло. Просвѣщеніе возвышаетъ одну добродѣтельную душу“. Вѣра въ силу воспитанія, которое искореняетъ недостатки и создаетъ достойныхъ гражданъ, была общею у образованныхъ людей Екатеринина времени. Эту вѣру выразилъ Фонъ-Визинъ въ разговорѣ Стародума съ Правдинымъ (дѣйствіе V, явленіе 1): „Несчастіямъ людскимъ, конечно, причиною собственное ихъ развращеніе; но способы сдѣлать людей добрыми въ рукахъ государя. Чтобы въ достойныхъ людяхъ не было недостатка, прилагается нынѣ особенное стараніе о воспитаніи. Оно и должно быть залогомъ благодѣянія государства“. Въ „Недорослѣ“, какъ и въ „Бригадирѣ“, главные дѣйствующія лица дѣлятся на двѣ группы: съ одной стороны—Простаковы (мужъ и жена), Митрофанъ и дядя его Скотининъ; съ другой—Стародумъ, Правдинъ, Софья и Милонъ. Въ первой выведены образцы людей злонравныхъ, не получившихъ никакого воспитанія или воспитанныхъ дурно; во второй—образцы людей благовоспитанныхъ и *благонравныхъ*. По отношенію къ сущности комическаго дѣйствія, первая группа стоитъ выше второй. „Недоросль“, его отецъ, мать и дядя — необходимые, живые члены драматическаго организма: они дѣйствуютъ, тогда какъ Стародумъ, Правдинъ, Милонъ и Софья не дѣйствуютъ, а разговариваютъ, и значеніе ихъ важно лишь въ томъ смыслѣ, что въ бесѣдахъ между собою они разъясняютъ смыслъ, идею пьесы. Милонъ и Софья имѣютъ такое же значеніе, какъ Софья и Добролюбовъ въ „Бригадирѣ“. Роли Стародума и Правдина хотя и грѣ-

шать противъ условія драмы, требующей дѣйствія, а не резонерства, но онѣ важны своимъ служебнымъ отношеніемъ къ идее комедіи. Стародумъ выражаетъ собственно мысли самого автора. Въ настоящее время его рѣчи могутъ казаться утомительными и скучными, но въ эпоху Екатерины они выслушивались съ напряженнымъ вниманіемъ: имъ-то преимущественно, по свидѣтельству самого Фонъ-Визина, и одолжена пьеса своимъ успѣхомъ. Стародумъ, какъ видно изъ его имени, думаетъ по-старому, въ противуположность людямъ Екатерининнаго времени, думающимъ и поступающимъ по-новому. Отецъ его „служилъ Петру Великому и далъ своему сыну наилучшее воспитаніе по тому времени, когда еще не умѣли чужимъ умомъ набивать пустую голову“. Это воспитаніе состояло въ одномъ правилѣ: „имѣй сердце, имѣй душу — и будешь человѣкъ во всякое время“. Въ Стародумѣ Фонъ-Визинъ представилъ человѣка стараго вѣка среди людей новосвѣтскихъ, „гдѣ всего чаще встрѣчаются умы, развращенные въ своихъ попятіяхъ, сердца, развращенныя въ своихъ чувствахъ“. Онъ — идеаль нравственнаго совершенства, противоположный безнравственному состоянію, возникшему изъ превратной цивилизаціи, которая не лучше стариннаго невѣжества и на которую указывалъ Бецкій въ своихъ докладахъ. Твердый въ своихъ убѣжденіяхъ, ставя высшее достоинство человѣка въ честности, онъ правдивой и смѣлой сатирой обличаетъ въ комедіи недостатки общества. Праздникъ — чиновникъ и служить органомъ челоѣколюбивыхъ видовъ высшей власти. Онъ полагаетъ предѣлъ злоупотребленію помѣщичьей власти — беретъ мѣѣне Простаковой въ опеку, и такимъ образомъ развязываетъ пьесу: развязка искусственная, не вытекающая изъ самаго хода дѣйствія, а взятая извнѣ, слѣд., грѣшащая противъ сущности драмы; но автору трудно было поступить иначе. Злонравный челоѣкъ внимаетъ только голосу своихъ инстинктивныхъ побужденій; дѣйствія его, не обуздываемыя собственною волею, могли быть остановлены только вмѣшательствомъ правительства. Естественная развязка привела бы къ самымъ гибельнымъ послѣдствіямъ: комедія кончилась бы трагедіей — торжествомъ Простаковой, „презлой фурии, которой адскій нравъ дѣлаетъ несчастье цѣлаго дома“. — Что касается до лицъ первой группы (Простакова и Простаковой, Митрофана, Скотинина, мамки Еремеевны и портного Тришки), этихъ живыхъ, необходимыхъ членовъ комедіи, то они мастерски представлены въ своихъ характеристическихъ особенностяхъ. Сильный талантъ Фонъ-Визина возвелъ ихъ въ типы, такъ что собственные имена ихъ обратились въ нарицательныя названія цѣлыхъ классовъ людей, имѣющихъ свойства Ми-



рофана, Простаковой, Скотяпина. Эти названія и теперь въ ходу; каждый образованный человѣкъ понимаетъ ихъ значеніе. Комедія „Недоросль“ хотя и сошла со сцены, но навсегда сохранить свое достоинство, какъ вѣрная картина общественныхъ нравовъ въ извѣстную эпоху.

§ 43. На ряду съ Фонвизинномъ слѣдуетъ поставить Державина (1743—1816), сочиненія котораго также выражаютъ, только въ другой формѣ, время Екатерины II, событія и дѣятели ея царствованія. Современники называли Державина „пѣвцомъ Екатерины II“, и самъ онъ смотрѣлъ на себя съ той же точки зрѣнія. „Тобой безсмертенъ буду самъ“, говоритъ онъ въ „Видѣніи Мурзы“, не отбѣлая такимъ образомъ своей громкой извѣстности отъ величія государыни. Посвящая ей собраніе своихъ сочиненій, онъ въ „Приношеніи“ называетъ свое безсмертіе отголоскомъ ея славы:

«Забудется во мнѣ послѣдній родъ Багрима <sup>1)</sup>,  
Мой вросшій въ землю домъ никто не посѣтитъ;  
Но лира коль моя въ пыли гдѣ будетъ зрима,  
И древнихъ струнъ ея гдѣ голосъ прозвенитъ,  
Подъ «именемъ твоимъ» громка она пребудетъ:  
«Ты «слагоу»—твоимъ я «эхомъ» буду жить.

Этимъ „эхомъ“ служили торжественныя оды, соотвѣтственно лирическому таланту, которымъ одаренъ былъ Державинъ въ сильной степени. Онѣ могутъ быть названы „поэтической лѣтописью“ царствованія Екатерины.

Торжественная лирика и въ одахъ Ломоносова, при всемъ его умѣ и дарованіи, страдала искусственною величавостію; у послѣдователей же его, гораздо менѣе даровитыхъ, а иногда и бездарныхъ, она достигла невыносимой высокопарности и напряженности. Однимъ изъ многихъ тому примѣровъ служить ода Петрова „на побѣду русскаго флота надъ турецкимъ“ (1770). Стихотворецъ, видимо, заботился не о точно-поэтическомъ выраженіи радостнаго чувства, а единственно о наборѣ громкихъ, такъ называемыхъ высокихъ словъ, полагая въ нихъ сущность лиризма. Понятно, что подобное одописаніе скоро сдѣлалось предметомъ сатиры, читатели чувствовали, что оно должно быть замѣнено чѣмъ-нибудь болѣе естественнымъ и живымъ. Державинъ, въ первый періодъ своего стихотворства, также старался подражать Ломоносову: „я хотѣлъ парить“, говоритъ онъ, „но не могъ постоянно

1) Державинъ производилъ свой родъ отъ мурзы Багрима, выхвачаго изъ Золотой Орды при Василии Темномъ, почему въ стихахъ нерѣдко называлъ себя мурзою.

выдерживать, красивымъ наборомъ словъ, свойственныхъ единственно руссiйскому Пиндару велелѣпія и пышности“. Поэтому онъ задумалъ избрать новый путь, на которой и былъ приведенъ какъ собственнымъ размышленіемъ, такъ и совѣтами своихъ друзей, а можетъ быть и подражаніемъ гораціанскимъ одамъ, представляющимъ также соединеніе тоновъ важнаго и простого. Новое направленіе торжественной лирики обнаружилось со всею ясностью въ „Фелицѣ“ (1782). Особенность этого направленія, какъ отличіе и заслуга поэтической дѣятельности Державина, признана самимъ поэтомъ въ „Памятникѣ“ (1796), подражаніи Горациевой одѣ: „къ Мельпоменѣ“. Онъ объясняетъ свою славу тѣмъ, что первый дерзнулъ

*...съ забавномъ русскомъ слоги  
О добродѣтеляхъ Фелицы возгласить,  
Въ сердечной простотѣ бесѣдовать о Богѣ  
И истину царямъ съ улыбкой говорить.*

Смыслъ послѣдняго стиха, съ нѣкоторымъ измѣненіемъ, выраженъ также въ „Видѣніи Мурзы“:

*И съ шуткахъ правду возвѣщу.*

Итакъ, сочетаніе двухъ тоновъ—возвышеннаго и забавнаго или шутиваго—составляетъ отличительный характеръ одъ Державина. Заслуга его въ томъ, что онъ низвелъ торжественную лирику съ мнимой высоты, показавъ, что возвышенныя чувства могутъ выражаться болѣе естественнымъ образомъ, что простота слога не противорѣчитъ лиризму. Поэтому въ стихотвореніяхъ его встрѣчаются высокія слова на ряду съ самыми обыкновенными, или низкими, чего прежде не дозволялось и на что бы ни одинъ изъ прежнихъ лириковъ не отважился. Примѣры двойственнаго тона въ одной и той же пьесѣ—высокаго и шутиваго—представляютъ и „Фелица“, и „Видѣніе Мурзы“. Первая ода въ противоположность достоинствамъ государыни изображаетъ недостатки тогдашнихъ вельможъ „забавнымъ слогомъ“, но заключительная строфа, обращенная къ Фелицѣ, настроена уже на иной, восторженный ладъ:

*Прошу великаго пророка  
Да праха ногъ твоихъ коснусь,  
Да словъ твоихъ сладчайша тока  
И лицезрѣнья наслажусь, и т. д.*

Картина лунной ночи и явленіе Фелицы во второй одѣ выражаютъ возвышенное настроеніе поэта, но перечетъ его недоброжелателей пизводитъ это настроеніе до шутки:

*Иной отнесъ себѣ къ безчестью,  
Что не деруть его усовъ;*

Иному показалось больно,  
 Что онъ насѣдкой не сидитъ;  
 Иному—очень своевольно  
 Съ тобой мурза твой говоритъ;  
 Иной вмѣнялъ мнѣ въ преступленіе,  
 Что я посланницей съ небесъ  
 Тебя быть мыслить въ восхищеніи  
 И лить въ восторгъ токи слезъ;  
 И словомъ: *тотъ хотѣлъ арбуза,*  
 А *тотъ соленыхъ огурцовъ.*

Въ сочетаніи топовъ величественнаго и забавнаго послѣдній нерѣдко становится у Державина строго-обличительнымъ, карающимъ. Отсюда происходятъ особые стихотворенія, которыя могутъ быть названы „одами-сатирами“, или „сатирами-одами“, смотря по тому, какой изъ двухъ элементовъ преобладаетъ. Въ нихъ, рядомъ съ нравственными недостатками, представляются доблестныя дѣла и качества человѣка. Такъ „Вельможа“ (1794) изображаетъ ложное барство, противопоставляя его истинной, заслуженной знатности. Сатира Державина вообще преслѣдуетъ эгоизмъ, сибаритство, роскошь, кичливость древнимъ родомъ, ласкательство, угодничество; смѣлость ея обличеній умѣряется образами гражданского величія, мужественнаго патріотизма, нравственной стойкости. Идеаль ея—„прямой герой“, крѣпкій своей правдой, строгій къ самому себѣ и снисходительный къ ближнимъ, недвижимый ни страстями, ни несчастіями (Памятникъ герою, 1791). Большимъ достоинствомъ Державинской лирики служить и ея стремленіе къ народности, выражаемой какъ русскимъ складомъ рѣчи, такъ и выборомъ коренныхъ русскихъ реченій. Не одни шуточные стихотворенія представляютъ образцы національнаго элемента: оды также допускаютъ простымъ разговорнымъ словамъ и поговоркамъ стоять подлѣ возвышенныхъ словъ и книжныхъ фразъ. Въ сатирѣ „На счастье“ чисто-русскій складъ: счастье „машетъ волшебною ширинкою“, „въ издѣвку“ обращаетъ свой взоръ на человѣка, „катаетъ кубаремъ“ весь міръ; или:

Стамбулу *бороду ерошпшь,*  
 На Таврѣ *идеишь чехардой,*  
 Задать Стокгольму *перцу* хочешь, и пр.

По отношенію къ народности замѣчательно посланіе „Атаману и войску донскому“ (1807), гдѣ, между прочимъ, видно и вліяніе „Слова о полку Игоревомъ“. Въ одѣ „На взятіе Варшавы“ (1792) Суворовъ является въ видѣ богатыря народныхъ сказокъ, надѣленного сверхъестественною силою:



Вихрь полуночный, летит богатырь!  
Тьма отъ чела, съ посохста пылы!  
Молнии отъ взоровъ бѣгутъ впередъ,  
Дубы градою лежатъ позади;  
Ступить на горы—горы трещать,  
Лижеть на воды—воды кипятъ,  
Граду коснется—градъ упадаетъ,  
Башии за облакъ рукою кидаетъ.

Кромѣ торжественныхъ одъ, Державинъ писалъ духовныя и нравственно-философскія. Изъ духовныхъ извѣстнѣйшая „Богъ“; замѣчательны также переложенія нѣкоторыхъ псалмовъ, особенно 81-го. Нравственно-философскія оды назывались иначе Горацианскими; темами ихъ служатъ пріятности жизни и правила любви-мудрѣя, такова, напр., oda „На умѣренность“ (1792), прославляющая завидное состояніе челоѣка, который выбралъ себѣ златую средину.

Лирическій талантъ Державина не подлежитъ сомнѣнію. Можно сказать, что въ Державинѣ русское стихотворство впервые стало поэзіей. Онъ одаренъ былъ сильной фантазіей, что доказывается изобразительными представленіями предметовъ. Недостатокъ же произведеній состоитъ въ отсутствіи художественной мѣры; они всегда почти говорятъ больше, нежели того требуетъ ихъ содержаніе. Отсюда происходятъ длиннота одъ и невидержанность ихъ тона: за строфами, внушенными вдохновеніемъ, идутъ перѣдко строфы, чуждыя лиризма; поэзія чередуется съ риторикой или резонерствомъ, соотвѣтствующія предметамъ представленія съ преувеличеніями. Впрочемъ нѣкоторыя гиперболы объясняются намѣреніемъ автора изобразить знаменитую личность по духу русскихъ былинъ и сказокъ, а не по образу греческихъ божествъ и героевъ, примѣръ чего указанъ выше въ богатырскомъ образѣ Суворова, „нашего полночнаго Геркулеса“; съ точки зрѣнія народнаго зноса, въ этомъ образѣ нѣтъ никакой гиперболы. Отдѣльныя неточныя выраженія, мѣшающія ясности понятія или созерцанія, встречаются у Державина перѣдко, напр.:

Да дѣль твоихъ въ потомствѣ звуки,  
Какъ въ небѣ звѣзды, возблестятъ...

Изъ-за облакъ мѣсяцъ красный  
Веталь и смотрится въ рѣкѣ;  
Сквозь туманъ и мракъ ужасный  
Путникъ ѣдетъ въ челнокъ.

Шепнешъ въ слухъ страннику, въ дали какъ тихій громъ.

Звуки не могут блистать; при лунномъ свѣтѣ, отражающемся въ водѣ, не можетъ быть ужаснаго мрака; равно и громъ, какъ бы ни гремѣлъ онъ тихо вдаль, не походить на шопотъ.

§ 44. Образцы ложноклассической лирики и трагедіи были даны намъ Ломоносовымъ и Сумароковымъ. Недоставало образца ложноклассическаго эпоса, такъ какъ поэма „Петръ Великій“, начатая Ломоносовымъ, остановилась на двухъ пѣніяхъ. Между тѣмъ въ литературахъ другихъ народовъ искусственныя поэмы уже существовали: у англичанъ „Потерянный рай“, у нѣмцевъ „Мессіада“, у итальянцевъ „Освобожденный Іерусалимъ“, у французовъ „Генріада“. Недостатокъ русской поэмы, какъ такого вида эпической поэзіи, который въ то время почитался самымъ важнымъ, восполненъ „Россіядой“ Хераскова (1733—1807), воспѣвающей покореніе Казани Іоанномъ Грознымъ.

Героическая поэма, повѣствуя о событіи, изображаетъ характеръ цѣлой эпохи, въ которую это событіе совершилось. Появленіе ея возможно лишь въ томъ случаѣ, когда изображаемая эпоха сохраняетъ какое-нибудь отношеніе къ живущему поколѣнію; въ противномъ случаѣ, эпическое твореніе ничего не скажетъ ни уму, ни чувству читателя. Предметъ, выбранный Херасковымъ, не представлялъ дѣйствительнаго и современнаго интереса. Покореніе Казани было дѣломъ давпоминувшимъ, которое каждый образованный узнавалъ еще на школьной скамьѣ и ограничивался этимъ знаніемъ; а необразованные, т.-е. народъ, сложившій пѣсню „про взятіе Казанскаго царства“, не могъ имѣть и понятія о „Россіадѣ“. Поэтому, если поэма могла представлять какой-либо интересъ въ царствованіе Екатерины, то не общій, а частный для извѣстнаго круга публики, и притомъ не по внутренней связи XVI в. съ XVIII-мъ, а по вѣншему отношенію воспѣваемаго въ ней событія къ современности, или по взгляду автора на это событіе. Взглядъ объясняется „восточнымъ вопросомъ“, т.-е. политическимъ проектомъ императрицы объ изгнаніи турокъ изъ Европы и о возстановленіи Греціи. Какъ христіанинъ, какъ патріотъ и какъ ревнитель наукъ, Херасковъ видѣлъ въ поклонникахъ Магомета непримиримыхъ враговъ истины, вѣры, отечества и просвѣщенія. Завоеваніе Казанскаго царства получило въ глазахъ его особенную важность; оно было торжествомъ креста надъ луною и вмѣстѣ торжествомъ Россіи надъ кровными врагами, не дававшими ей покоя. Въ предисловіи къ поэмѣ говорится слѣдующее: „воспѣвая разрушеніе Казанскаго царства, я имѣлъ въ виду успокоеніе, славу и благоденствіе *всего* русскаго государства, знаменитые подвиги *всего* русскаго воинства, возвращенное благоденствіе не

одной особѣ, по *цѣлому государству*... Горе тому россіянину, который не почувствуетъ, сколь сладкую тишину и сколь великую славу приобрѣло наше отечество отъ разрушенія Казанскаго царства! Отъ Грознаго Херасковъ ведетъ начало крутой перемѣны въ Россіи — перехода ея изъ слабости въ силу, изъ униженія въ возвышеніе, изъ порабощенія въ господство. Сообразно такому взгляду, названіе поэмы „Россіядой“ шире ея содержанія, и первые два стиха:

Пою отъ варваровъ Россію свободенну,  
Испранну власть татаръ и гордость низложенну

подвергались критикѣ, какъ несогласные съ исторіей, ибо Россія освободилась отъ татарскаго ига еще при Іоаннѣ III. Херасковъ, конечно, зналъ это, но для него важна была не историческая точность, а убѣжденіе, что завоеваніе Казани было пораженіемъ магометанъ, враждебныхъ и христіанству, и цивилизаціи, и Россіи. Сверхъ того, давнишній фактъ освѣтился для него новымъ блескомъ отъ побѣдъ Екатерины надъ турками.

Вѣрно-поэтическаго воспроизведенія событія нѣтъ и не могло быть въ „Россіядѣ“, потому что она составлена изъ подражаній *Иліадѣ*, *Энеидѣ*, „Освобожденному Іерусалиму“ (Тасса) и *Генріадѣ* (Вольтера). и потому вышла смѣсью разнородныхъ элементовъ, не относящихся ни къ опредѣленной національности, ни къ опредѣленному времени и мѣсту. Отсюда видимыя несообразности въ характерахъ дѣйствующихъ лицъ и въ вымыслахъ: Іоаннъ Грозный, русскіе князья и воеводы, а также и защитники Казани выступаютъ то въ видѣ греческихъ или троянскихъ героевъ, то въ видѣ крестоносцевъ. Въ Іоаннѣ являются и Эней и Годфредъ, въ Курбскомъ—Ринальдъ, въ Сумбекѣ—Дидона и Армида вмѣстѣ. Татарскій витязь Гидромиръ наблюдаетъ рыцарскій уставъ; Троекуровъ, точно одинъ изъ воиновъ „Иліады“, снимаетъ доспѣхи съ убитаго врага; Эдигеръ, по іудейскому обычаю, раздираетъ свою одежду и посыпаетъ пепломъ главу. Чудесное состоитъ или въ холдномъ олицетвореніи понятій, или въ сочетаніи языческаго съ христіанскимъ. Какъ у Виргилія Анхизъ, въ Елисейскихъ поляхъ, показываетъ Энею его потомковъ, или какъ у Вольтера св. Людовикъ открываетъ въ сновидѣніи Генриху IV рядъ королей, имѣющихъ за нимъ послѣдовать, такъ и Херасковъ заставляетъ пустытника Вассіана вести Грознаго на гору, въ храмъ добродѣтели, и въ книгѣ судебъ читать будущую судьбу Россіи. Очарованный казанскій лѣсъ есть копія съ такого же лѣса, описаннаго Тассомъ: что въ „Освобожденномъ Іерусалимѣ“ волшебникъ Пемень, то въ Россіядѣ волшебникъ Нигринъ. Разсказъ вездѣ искусствен-



ный: отсутствіемъ простоты и естественности авторъ думалъ сообщить поэмѣ величіе, и сообщилъ ей высокопарность и надутость. Описанія однообразны и сухи, хотя стихъ, по складу, для своего времени можетъ назваться хорошимъ; въ немъ есть плавность и достаточная обработка.

§ 45. Поэма Хераскова долгое время послѣ своего появленія подвергалась критикѣ; общій голосъ литераторовъ призналъ ее великимъ твореніемъ, а самого автора великимъ поэтомъ, „русскимъ Гомеромъ“. Такой безусловный приговоръ доказалъ, по словамъ одного изъ критиковъ Россіады, что въ литературѣ „имена“ бывають иногда болѣе безсмертны, чѣмъ „творенія“, ибо первыя находятся въ устахъ ученыхъ, а послѣднія ни у кого не находятся въ рукахъ. Дѣйствительно, Россіаду хвалили, но весьма немногіе ее читали. Напротивъ, романтическая поэма „Душенька“ (1775) была читаема всѣми съ великимъ удовольствіемъ. Она не оригинальное сочиненіе. Авторъ ея, Богдановичъ (1743—1803), подражалъ Лафонтену въ разсказѣ: „Любовь Психеи и Купидона“; Лафонтенъ же заимствовалъ сюжетъ изъ Апулеева романа: „Превращеніе, или Золотой осель“ \*), гдѣ вставлена повѣсть о судьбѣ младшей дочери греческаго царя, прослывшей за красоту свою второю Венерой и потому возбудившей ненависть и преслѣдованія этой богини. Лафонтенъ свободно отнесся къ своему оригиналу, измѣняя его сообразно вкусу своего времени. Современный же вкусъ былъ направленъ „на шутку и свѣтскую любезность“. На мнѣ Лафонтенъ смотрѣлъ какъ на басни, „способныя только тѣшить дѣтей“. Достоинства его повѣсти заключаются въ остроуміи и живописномъ изображеніи нѣкоторыхъ частныхъ вымысла, каковы, напримѣръ: плаваніе Венеры, портреты Купидона и Психеи, хотя это изображеніе вовсе не въ тонѣ Апулеева разсказа—трогательнаго и граціознаго. — Значеніемъ Лафонтеновой передѣлки опредѣляется и значеніе „Душеньки“: тотъ же взглядъ на міеологію, та же цѣль, такое же своевольное представленіе античныхъ сюжетовъ. Какъ у французскаго баснописца Психея вышла французженкой, такъ у нашего автора она обратилась въ русскую дѣвицу. Несмотря на это, „Душенька“ имѣла чрезвычайный и вполнѣ понятный успѣхъ. Причины тому слѣдующія: разсказъ, освобожденный отъ условныхъ формъ и правилъ, наложенныхъ на стихотворство обычаемъ; шутливый тонъ разсказа; вольный стихъ, вмѣсто александрійскаго, усвоеннаго поэмой и драмой, и четырехстопнаго ямба, ставшаго обычнымъ метромъ одъ; наконецъ—и бо-

\*) Апулей—латинскій писатель II-го в. по Р. Хр.

лѣе всего—картины, пріятно ласкавшія воображеніе и чувство читателей. „Душенька“ есть первое произведеніе въ родѣ легкой поэзіи, противоположномъ тому роду, который явился, съ одной стороны, въ эпическихъ повѣствованіяхъ, а съ другой—въ торжественной лирикѣ.

§ 46. Начало русской литературной басни положено Хемницеромъ (1744—1784), потому что басни Кантемира, Тредьяковского и Фонвизина показываютъ, что этотъ родъ стихотворства былъ не свойственъ ихъ таланту. Что же касается до оригинальныхъ (а не переводныхъ) притчъ Сумарокова, то онѣ по формѣ своей не подходятъ къ баснѣ въ собственномъ смыслѣ: это—рѣзкія сатиры, часто даже не прибѣгающія къ аллегорическому покрову.—Басни Хемницера дѣлятся на переводныя и оригинальныя. Зная нѣмецкій языкъ, онъ не ограничивался переводами изъ Лафонтена, но подражалъ также нѣмецкимъ баснописцамъ, Лихтеру и особенно Геллерту, при чемъ умѣлъ избѣгнуть недостатка басенъ послѣдняго, а именно: многорѣчивой морали, которая занимаетъ иногда цѣлую половину басни. Замысловатая безхитростность, или наивность, простота изложенія и языка, въ которомъ встрѣчаются чисто русскіе обороты, составляютъ отличія его басенъ. Лучшія изъ нихъ по разсказу: „Богачъ и Бѣднякъ“, „Лисица и Сорока“, „Метафизикъ“. Особенно послѣднія двѣ ловко оемѣиваютъ увлеченіе метафизическими тонкостями,

Которыя съ ума не разъ людей сводили,  
Неистолкуемымъ давая толкъ вещамъ.

По содержанію своему басни Хемницера вѣрно отражаютъ его характеръ и жизнь, а также ту среду, гдѣ ему было суждено дѣйствовать. Собственнымъ опытомъ узналъ онъ, какъ трудно пробивать дорогу умнымъ бѣднякамъ и какъ, напротивъ, легко живется на свѣтѣ глущу или богачу. Это горькое сознаніе и выражено его баснями. Такъ правоученіе басни „Умиравшій отецъ“ утверждаетъ, что

Дуракъ ужъ, вѣрно, сыщеть средство  
Счастливымъ въ свѣтѣ быть;

въ „Пожиломъ гадателѣ“ на вопросъ молодого человѣка, какова будетъ его жизнь—счастливая или вѣдучая, гадатель отвѣчаетъ:

Немного жизнь твоя добра предвозвѣщаетъ:  
Ты къ счастью, кажется, на свѣтѣ не рожденъ:  
Ты честенъ другъ, да ты жъ уменъ.

„Богачъ и Бѣднякъ“ также показываетъ неправый почетъ богачу, который не отличался ни умомъ, ни заслугами, и столько же недравое пренебреженіе къ бѣдному, имѣвшему и умъ и знанія.

§ 47. Учрежденіе русскаго театра въ 1756 году содѣйствовало развитію нашей драмы. Первымъ директоромъ его назначили Сумарокова, на которомъ, кромѣ управленія, лежала еще обязанность ставить пьесы своего сочиненія. Эти пьесы, вмѣстѣ съ переводами, преимущественно французскихъ авторовъ (Корнели, Расина, Вольтера, Мольера и др.), и составляли начальный репертуаръ русскаго театра. Но еще при жизни Сумарокова, кромѣ лжеклассическихъ трагедій и комедій, стали являться переводныя и оригинальныя пьесы другого направленія—„гражданскія трагедіи“ или „слезныя комедіи“, получившіе потомъ названіе „драмъ“, въ тѣсномъ смыслѣ слова, какъ средняго между трагедіей и комедіей вида драматической поэзіи: онѣ оживили однообразіе репертуара новымъ элементомъ и очень нравились публикѣ изображеніемъ обыкновенной дѣйствительности, доступной и понятной каждому.

Прежнее (французское) направленіе, данное Сумароковымъ, продолжалось Княжнинымъ (1742—1791). Онъ писалъ и трагедіи и комедіи. Изъ трагедій важнѣйшія: Дидона и Рославъ, изъ комедій: Хвастунъ и Чудаки. Пушкинъ справедливо назвалъ Княжнина „первейшимъ“: „Ярополкъ и Владиміръ“ скопировала съ Расиновой Андромахи, „Владисанъ“—съ Вольтеровой Меры; въ нѣкоторыхъ пьесахъ цѣлыя сцены, почти цѣлые акты, суть переводы. Трагедіи Княжнина отличаются отъ трагедій его предшественника несущественными свойствами. Первое отличіе относится къ вѣдшему выраженію: языкъ ихъ чище и стихъ стройнѣе. Вторымъ отличіемъ считали сюжетъ Рослава, гдѣ обыкновенная страсть, любовь, дотолѣ единственно выступавшая на русской сценѣ, замѣнена „страстью великихъ душъ—любовью къ отечеству“. Въ стремленіи изображать качества „великихъ душъ“ и состоитъ важнѣйшая особенность трагедій Княжнина. Образцомъ служилъ ему Корнель, какъ Сумарокову Расинъ. Долгу, которымъ заявляется гражданское величіе, онъ отдаетъ преимущество надъ любовью. Рославъ говорить:

Тиранка слабыхъ душъ, любовь—раба героя.

Коль счастья съ должностью не можно согласить,

Тогда пороченъ тотъ, кто хочетъ счастливъ быть.

Но это героическое величіе, къ сожалѣнію, выражается не дѣлами, а громкими и пышными словами. Такъ Рославъ, взятый въ плѣнъ датскимъ королемъ Христіерномъ и заключенный въ темницу, въ разговорѣ съ нимъ поражаетъ его сильными изреченіями, выбранными изъ Корнели, Расина и Вольтера.—Комедіи Княжнина также



близкія подражанія французскимъ. Въ нихъ есть нѣкоторыя черты русской жизни, но въ цѣломъ онѣ вовсе не въ русскихъ нравахъ. Такъ „Чудаки“ выставляютъ цѣлую галлерей неизмѣрно странныхъ людей. Первый между ними—Лентягинъ, сынъ кузнеца, недавно вышедшій въ дворяне, владѣлецъ несмѣтнаго „богатства“. Авторъ сдѣлалъ изъ него философа, который говоритъ своему слугѣ *вы*, вмѣсто *ты*, называетъ его другомъ и простираетъ свою любовь къ нему до того, что хочетъ не только передать ему все свое имѣніе, но даже выдать за него единственную дочь, хотя нѣтъ еще и дня, какъ слуга нанялся къ нему. Никто изъ зрителей не могъ повѣрить такой небывальщинѣ.

Подобныя несообразности, явно противорѣчащія тому, что происходило въ дѣйствительности, обратили на себя вниманіе литературной критики. Странно было слышать нерусскія имена или видѣть нерусскіе нравы въ пьесѣ, взятой у французовъ, но нѣсколько приноровленной къ русской жизни; это выходило смѣсью русскаго съ французскимъ, непріятно поражавшей публику. „Русскимъ надобно говорить о русскихъ,—сказано въ сатирическомъ журналѣ „Всякая всячина“, а не представлять „умоначертаній“ чужестранныхъ: маркизъ на нашемъ театрѣ уши деретъ, а свадебные контракты, существующіе во Франціи, не имѣютъ у насъ смысла, ибо нотаріусы у насъ только векселя протестуютъ“. Поэтому особенное удовольствіе доставляли тѣ пьесы, которыя въ дѣйствіяхъ или характерахъ отражали что-либо національное. Изъ нихъ чрезвычайный успѣхъ имѣла комическая опера: „Мельникъ, колдунъ, обманщикъ и сватъ“, сочиненная Аблесимовымъ (1742—1783); ее играли 27 разъ сряду, и при каждомъ представленіи театръ былъ полонъ. Успѣхъ объясняется тѣмъ, что содержаніе пьесы взято изъ простонароднаго быта; дѣйствующими лицами являются мельникъ, крестьяне, крестьянки, приказчикъ; пѣсни русскія по складу и напѣвамъ, такъ что изъ театра перешли въ простолюдые.

„Ябеда“, комедія Капниста (1757—1823), долго держалась на сценѣ, какъ одно изъ лучшихъ произведеній нашей драматической литературы. Она обличаетъ мздоимство и ябеду. Что въ очеркахъ разсѣяно по сочиненіямъ Сумарокова и сатирическимъ журналамъ Екатериніина времени, то въ „Ябедѣ“ образуетъ цѣльную, искусно нарисованную картину. Лицо ябедника Праволова, кривосудіе членовъ гражданской палаты и прокурора мѣтко описаны повѣтчикомъ Добровымъ, единственно честнымъ челоѣкомъ между сослуживцами, въ разговорѣ его съ полковникомъ Прямыковымъ, у котораго процессъ въ палатѣ. Нѣкоторыя характеристики тотчасъ же обратились въ типическія поговорки, напр.:

... Гражданскій *Предсѣдатель*  
Есть сущій истины Іуда и предатель.—

... *Прокуроръ*,  
Чтобъ въ рѣшѣ мнѣ сказать—существеннѣйшій воръ.  
Вотъ прямо въ точности всевидящее око <sup>1)</sup>,  
Гдѣ плохо что лежитъ, тамъ зѣтитъ <sup>2)</sup> онъ далеко.—

А о *секретарѣ*—дуракъ, кто слово тратитъ:  
Хоть голь будь какъ ладошь, онъ что-нибудь да схватитъ“.

Но еще лучше и соотвѣтственнѣе сущности драмы выставлено безцеремонное обращеніе чиновниковъ съ законами въ сценѣ пиршества у предсѣдателя палаты (Кривосудова): не стѣсняясь пичѣмъ, они цинически высказываютъ свой образъ мыслей и дѣлъ.

Особенно славилась пѣсня прокурора:

«Бери, большой тутъ нѣтъ науки:  
Бери, что только можешь взять:  
На что жъ привѣшены намъ руки,  
Какъ не на то, чтобъ брать?»

Комедія оканчивается торжествомъ правды и наказаніемъ кривосудія и ябеды (суťažничества): сенатъ, узнавъ о продѣлкахъ Праволова, предписалъ посадить его въ тюрьму, а членовъ палаты предать суду; въ минуту этой невзгоды, упавшей на Кривосудова, является Прямыковъ и предлагаетъ руку его дочери Софьѣ, которую намѣревались выдать за Праволова. Сюжетъ, по обычаю французскихъ комедій, не обошелся безъ любви и свадьбы.

## В. Отъ Карамзина до Пушкина.

§ 48. Если Ломоносовъ—первый у насъ представитель европейской науки, то Карамзинъ (1766—1826)—первый русскій литераторъ европейскаго качества. Литература для Карамзина была тѣмъ же самымъ, чѣмъ наука для Ломоносова: подвигомъ жизни, ея задачею и цѣлью. Многіе изъ его предшественниковъ занимались авторствомъ, но они не были преданы этому занятію ни по особенной любви къ нему, ни по признанію его важности; они смотрѣли на него, какъ на дѣло побочное, на отдыхъ отъ своей главной, обязательной службы. Карамзинъ посвятилъ себя литературной дѣятельности, признавая въ ней службу, не уступающую своимъ достоинствомъ и пользою другимъ служебнымъ поприщамъ. Въ литературѣ онъ видѣлъ орудіе для успѣховъ отечественнаго и всеобщаго образованія, былъ глубоко убѣжденъ въ ея цивилизующей

<sup>1)</sup> Обязанность прокурора—зорко слѣдить за точнымъ исполненіемъ законовъ, почему и называли его окомъ закона.

<sup>2)</sup> Видитъ.

силѣ, въ ея могучемъ дѣйствіи на нравственное преуспѣяніе чело-  
вѣчества. Въ то время, какъ понятіе о литературѣ и литераторахъ  
стояло очень невысоко въ нашемъ общественномъ мнѣніи, онъ  
своими сочиненіями возвысилъ значеніе литературы, а своею лич-  
ностью—званіе литератора. Заслугу эту сознавалъ онъ самъ и  
говаривалъ о ней съ благородной откровенностью: „меня не видали  
ни на полѣ сраженія, ни въ совѣтахъ государственныхъ, однако,  
не имѣя смѣшной авторской спеси, вхожу не стыдясь въ обще-  
ство нашихъ генераловъ и нашихъ министровъ“.

Дѣятельность Карамзина выразилась преобразованіемъ лите-  
турнаго языка, введеніемъ сентиментализма въ нашу литературу и  
трудомъ историческимъ „Исторія Государства Россійскаго“.

а) Реформа литературнаго языка, какъ выше сказано (§ 38),  
состоитъ въ связи съ понятіями о стилѣ, изложенными въ разсу-  
жденіи „О пользѣ книгъ церковныхъ“. Нѣкоторые изъ ближайшихъ  
послѣдователей Ломоносова, напр., Поповскій и Барсовъ (профес-  
соры Московскаго университета), подражали ему съ тактомъ и  
знаніемъ, но другіе считали обязанностью наполнять свою рѣчь  
кестати и некестати, славянщиной, особенно при изложеніи важной  
матеріи. Отсюда произошло такое явленіе: одинъ и тотъ же ав-  
теръ, говоря о предметахъ обыкновенныхъ, выражалъ свои мысли  
и чувства русскимъ языкомъ; но какъ только предметъ выступалъ  
изъ числа обыкновенныхъ, такъ и стиль становился неестествен-  
нымъ, высокопарнымъ. Въмѣсто русскихъ словъ и выраженій: *пока*,  
*до сихъ поръ*, *тамъ*, *сказалъ*, *когда встало солнце*... употреблялись:  
*дондеже*, *доселѣ*, *тамо*, *рекъ*, *возставшу солнцу*... не потому, чтобы  
послѣднія сильнѣе и точнѣе выражали мысли автора и его душев-  
ное состояніе, а потому, что они—славянскія, будто бы сооб-  
щающія рѣчи красоту и величіе. Фонвизинъ въ комедіяхъ, са-  
тирическихъ статьяхъ и письмахъ, и Фонвизинъ въ переводахъ  
съ французскаго языка на славяно-русскій—два разныхъ стилиста.  
Даже въ романахъ, при выраженіи чувства любви, встрѣчались  
слова: *паче*, *колико* (колико для тебя чувствительно) и т. п. Эту  
то славяно-россійскую рѣчь послѣдователей Ломоносова Карамзинъ  
называетъ „варварскою“ и ведетъ ея начало отъ переводовъ Ела-  
гина и Фонвизина <sup>1)</sup>. Понимая всю неестественность такъ на-  
зываемаго высокаго стиля этихъ переводовъ, онъ въ своихъ сочи-  
неніяхъ, начиная съ „Писемъ русскаго путешественника“, далъ

<sup>1)</sup> Елагинъ, статей-секретарь Екатерины II, переводъ „Похвальное слово  
Марку Аврелію“ (Тома); Фонвизинъ—то же слово и поэму „Юлиа“. Ела-  
гине. Примѣры славяно-русскаго стиля см. въ моей „Рус. Христ.“, т. I, примѣчанія.



образцы новаго слога, который, въ отличіе отъ Ломоносовскаго, получилъ названіе Карамзинскаго.

Въ этой реформѣ литературнаго языка, совершенной Карамзинымъ, надобно различать двѣ стороны: синтаксическую (строеніе рѣчи) и лексическую (составъ и форму словъ). Въ первомъ отношеніи, противоположно началамъ Ломоносовскаго синтаксиса, Карамзинъ считалъ необходимымъ писать не длинными періодами, а короткими, не утомительными предложеніями, и располагать слова сообразно съ теченіемъ мысли и съ законами языка. Во второмъ отношеніи онъ ограничилъ употребленіе славянизмовъ, т.-е. заимствованіе словъ и оборотовъ изъ церковнославянскаго языка, посредствомъ чего обѣ стихіи нашего литературнаго языка, — русская и славянская, вошли въ болѣе опредѣленныя границы; ввелъ нѣкоторыя иностранныя слова для обозначенія новыхъ понятій; сообщилъ прежнимъ словамъ иное значеніе, напр.: *потребность*, *развитіе* (ума, понятій), *вліяніе* (на разумъ, на душу...), *выработанный* (слогъ) и др.; образовалъ новыя слова (*промышленность*, *достижимая*); оживилъ современную русскую рѣчь словами и выраженіями, взятыми изъ древне-русскихъ произведеній, которыми пользовался при сочиненіи Исторіи. Такимъ образомъ съ Карамзина литературный языкъ нашъ вступилъ въ новый періодъ развитія. Онъ сблизился съ разговорною рѣчью людей образованныхъ, согласно правилу, лежавшему на основаніи реформы: „пиши такъ, какъ говорятъ (разумѣется, люди образованные), но старайся и говорить такъ какъ пишутъ“ (разумѣется, писатели образцовые); другими словами: сообщи письменной рѣчи качества рѣчи устной — естественность, простоту и живость, но и устную рѣчь возвысь качествами письменной: логической послѣдовательностью и изящной отдѣлкой. Отличительными признаками этого новаго, Карамзинскаго, слога служатъ: легкость, простота, плавность, соединенныя съ пріятностью, или изяществомъ, удовлетворяющимъ эстетическому вкусу. Карамзинъ самъ опредѣлилъ сущность своей реформы, говоря о Кантемирѣ (въ Пялтеонѣ россійскихъ авторовъ), онъ дѣлитъ исторію русскаго слога на четыре эпохи: первую ведетъ отъ Кантемира, вторую отъ Ломоносова, третью отъ славяно-русскихъ переводовъ Елагина, а четвертую отъ своего времени, въ которое, какъ онъ выразился, „образуется *пріятность* слога, называемая французами *élégance*“.

„Письма русскаго путешественника“, давшія образецъ новаго слога, замѣчательны еще потому, что положили начало новому направленію въ литературѣ русскихъ путешествій. Поѣздка въ образованнѣйшія европейскія страны — Германію, Францію и Ан-

глію — предпринята была Карамзинымъ съ цѣлю довершить свое образованіе: она служила ему своего рода высшей школой, замѣной университета, въ который онъ по обстоятельствамъ не имѣлъ возможности поступить. Поэтому главное содержаніе „Писемъ“ составляютъ подробныя извѣстія о литераторахъ и ученихъ, объ ихъ сочиненіяхъ и лекціяхъ, объ ученыхъ обществахъ, училищахъ, библіотекахъ, музеяхъ. Путешественникъ лично знакомился съ тогдашними знаменитостями ученаго и литературнаго міра, сочиненія которыхъ читалъ еще дома; вель бесѣды съ Кантомъ, Виландомъ, Боннетомъ, Лафатеромъ... Умственные интересы, факты западнаго просвѣщенія — вотъ выдающійся пунктъ его путевыхъ замѣтокъ. Русскіе читатели еще не встрѣчали такого искренняго, живого сочувствія къ дѣятелямъ искусства и науки, и въ первый разъ ознакомились съ ихъ произведеніями и личностью. — Это ознаменованіе соотечественниковъ съ Европой, а также и съ Россіей, продолжалось и по возвращеніи Карамзина на родину. Избравъ профессію литератора, онъ издавалъ два журнала: „Московский Журналь“ (1791 и 1792) и „Вѣстникъ Европы“ (1802 и 1803), изъ которыхъ первый былъ чисто-литературнымъ, а второй литературно-политическимъ. Послѣдній составляетъ эпоху въ исторіи нашей періодической прессы: онъ — первый журналъ, издававшійся по образцу европейскихъ журналовъ и представлявшій ихъ достоинства.

б) Введеніе сентиментализма въ нашу литературу объясняется, съ одной стороны, природной наклонностью Карамзина ко всему чувствительному, а съ другой — господствомъ того же направленія въ литературѣ западной. Чувствительность, по его понятію, должна была быть необходимымъ качествомъ писателя; однихъ талантовъ и знаній недостаточно: нужно по преимуществу имѣть доброе, нѣжное сердце. „Ты хочешь быть авторомъ?“, говоритъ Карамзинъ въ статьѣ „Что нужно автору?“, „читай исторію несчастій рода человѣческаго; и если сердце твое не обольется кровію, — оставь перо, или оно изобразитъ намъ хладную мрачность души твоей“. — Сентиментальное направленіе выразилось прежде всего въ „Письмахъ русскаго путешественника“ и въ двухъ повѣстяхъ: „Бѣдная Лиза“ и „Наталья боярская дочь“, но оно болѣе или менѣе выступаетъ и въ послѣдующихъ сочиненіяхъ, не исключая „Исторіи Государства Россійскаго“. Образцомъ „Писемъ“ нашего путешественника служило путешествіе англійскаго юмориста Стерна, который называлъ его „сентиментальнымъ“, потому что оно описываетъ не столько ви́шній міръ, имъ видѣнный, сколько его собственный, внутренній міръ — впечатлѣнія и чувства.

Это, говоря его словами, „путешествіе сердца къ природѣ и такимъ ощущеніямъ, которыя пронтекають изъ нея и побуждаютъ насъ любить ближнихъ и даже цѣлый міръ больше, нежели мы обыкновенно его любимъ“. Такъ поступаетъ и Карамзинъ, съ тѣмъ однакожъ различіемъ, что у него нѣтъ юмористическаго чувства, которымъ въ высокой степени обладалъ Стернъ. Природа и люди, съ которыми встрѣчался Карамзинъ, давали ему поводъ къ изліанію своихъ чувствъ. Первое письмо есть прозаическая элегія на разлуку съ друзьями и домашними, при отъѣздѣ за границу. Наиболѣе сильное сентиментальное настроеніе возбудилось въ Швейцаріи: она плѣнила Карамзина, какъ царство наивной жизни, согласной съ природою; въ ней онъ видѣлъ новую Аркадію, осуществленіе мечты о невозмутимомъ счастьи пастуховъ и пастушекъ: „для чего не родились мы въ тѣ времена, когда всѣ люди были пастухами и братьями? Я съ радостью отказался бы отъ многихъ удобностей жизни, которыми обязаны мы просвѣщенію дней нашихъ, чтобы возвратиться въ первобытное состояніе чело-вѣка. Всѣми истинными удовольствіями—тѣми, въ которыхъ участвуетъ сердце и которыя насъ подлинно счастливыми дѣлають—наслаждались люди и тогда, еще болѣе, нежели нынѣ: болѣе наслаждались они любовью, болѣе наслаждались дружбою, болѣе красотою природы“. Изъ этой-то области чувствительнаго заимствованъ сюжетъ повѣсти „Бѣдная Лиза“, прославившей автора и сдѣлавшей его любимцемъ публики. Въ настоящее время трудно представить себѣ силу впечатлѣнія, произведеннаго небольшимъ рассказомъ, въ которомъ нѣтъ ничего особеннаго ни по интригѣ, ни по развитію чувствъ. Симоновъ монастырь съ его окрестностями, гдѣ жила Лиза съ матерью, сталъ для москвичей мѣстомъ мечтательныхъ прогулокъ; посѣтители и посѣтельницацы, гуляя по берегу пруда, въ который съ тоски и отчаянія бросилась героиня, вздыхали о несчастной судьбѣ ея и вырѣзывали буквы именъ Л. и Э. (Лиза и Эрастъ) на прибрежныхъ берегахъ; стихотворцы славили автора или писали стихи „Къ праху бѣдной Лизы“. Такой необычайный успѣхъ объясняется тѣмъ, что повѣсть была первымъ произведеніемъ въ новомъ направленіи повѣствовательной поэзіи. Существовавшіе до того времени романы относились болѣею частію къ разряду героическихъ сказаній; въ нихъ выводились баснословныя и древнеисторическія личности, не похожія на обыкновенныхъ смертныхъ ни породой своей, ни духовными и тѣлесными силами. Къ такимъ романамъ принадлежали, напримѣръ, изъ переводныхъ: „Телемакъ“, „Киропедія“, „Жизнь царя египетскаго Сиса“, „Похожденія Ахиллесова сына Неоп-



толема“, изъ оригинальных: „Кадмъ и Гармонія“, „Поллidorъ, сынъ Кадма и Гармоніи“ (Хераскова), „Приключенія Омистокла“ (О. Эмина). Карамзинъ низвелъ вымыселъ изъ недоступнаго героическаго міра въ среду обыкновенной, ежедневной и всеѣмъ понятной жизни. Много значило также соблюденіе, до извѣстной степени, національнаго колорита: мѣсто дѣйствія близъ Москвы; Симоновъ монастырь съ его окрестностями описанъ вѣрно; Эрастъ, добросердечный, но вѣтранный и слабый, легко могъ встрѣчаться въ кругу тогдашней молодежи; крестьянка Лиза, по мыслямъ и чувствамъ, вышла выше своего состоянія, но такая идеализація сообщила ей, во мнѣніи тогдашнихъ читателей, особенную цѣну. Но главнымъ своимъ успехомъ повѣсть одолжена выраженнымъ въ ней общечеловѣческимъ элементамъ: читатели сострадали бѣдной Лизѣ, какъ челоѣку; они становились на ея сторону; никто съ гуманной точки зрѣнія не думалъ оправдывать Эраста. Сюжетъ другой повѣсти „Наталья, боярская дочь“ взятъ изъ русской старины (XVII в.) и также направленъ къ возбужденію чувствительности. Предполагая, что читатели усомнятся въ быстро зародившейся „симпатіи сердецъ, другъ для друга сотворенныхъ“ (Алексѣя и Натальи), Карамзинъ дѣлаетъ слѣдующую оговорку: „кто не вѣритъ симпатіи, тотъ поди отъ насъ прочь и не читай нашей исторіи, которая назначается для однѣхъ чувствительныхъ душъ“. Впослѣдствіи литературный сентиментализмъ былъ опошленъ неразумными поклонниками Карамзина, доведенный ими до мелкой, приторной чувствительности (*sensiblerie*), такъ что самое слово утратило свой прежній смыслъ и обратилось изъ похвалы въ порицаніе. Но въ свое время онъ имѣлъ несомнѣнное значеніе, былъ нуженъ и необходимъ какъ средство, смягчающее грубость нравовъ, которая господствовала даже среди такъ называвшагося образованнаго общества. Долгъ литератора состоялъ въ томъ, чтобы читателямъ давать примѣры сердечныхъ привязанностей, состраданія къ несчастнымъ, нѣжности и деликатности чувствъ, гуманнаго обращенія съ низшими, благоволенія ко всеѣмъ. Карамзинъ исполнилъ этотъ долгъ, сообщивъ литературѣ своей эпохи филантропическое направленіе.

в) Достоинство „Исторіи“ Карамзина опредѣляется прежде всего состояніемъ науки русской исторіи до появленія его капитальнаго труда.

Изданіе историческихъ памятниковъ началось у насъ еще въ XVIII в.; но большая часть рукописей были и прочитаны и изданы чрезвычайно небрежно. Самые важныя списки лѣтописей

оставались не только неизданными, но и неизвѣстными. Грамоты, какъ и лѣтописи, печатались съ перваго, попавшагося подъ руки списка, даже безъ заявленія, откуда онѣ взяты. Ученыхъ комментариев не существовало: только Шлецеръ началъ объяснять наши лѣтописи, отдѣлять источники, годные къ употребленію, отъ негодныхъ. Примѣчанія Татищева интересны главнымъ образомъ указаніями на нравы и обычаи XVII и XVIII вв., но вовсе не имѣютъ цѣны ученыхъ изысканій. Пособій историческихъ также не было. Генеалогическія таблицы были до того перепутаны, что одинъ и тотъ же князь (Всеволодъ Чермный, въ Исторіи Щербатова) являлся сыномъ двухъ разныхъ князей. Не въ лучшемъ состояніи находилась и географія древней Россіи: смѣшивались такіе города, какъ Владиміръ на Клязьмѣ и Владиміръ на Волынѣ, такіе народы, какъ болгары камскіе и болгары задунайскіе. Мифологія считалась дѣломъ празднаго любопытства. Съ той же точки зрѣнія смотрѣли и на произведенія устной словесности: въ сборникахъ пѣсенъ, сказокъ, пословицъ не отличали чисто-народныхъ отъ сочиненныхъ литераторами. На основаніи накопившагося матеріала Татищевъ и кн. Щербатовъ старались изобразить прошлую жизнь Руси. Но „Исторія Россійская“ Татищева, доведенная до смерти Θεодора Іоанновича, есть въ сущности сводная лѣтопись, объясненная примѣчаніями, но не прагматическое изложеніе событий: первымъ опытомъ такого изложенія служила „Исторія Россійская“ кн. Щербатова, который хотя понималъ исторію какъ цѣпь причинъ и слѣдствій, но не искалъ этихъ причинъ въ состояніи самого общества: для него онѣ были болѣе или менѣе случайныя. Сравнивая неудовлетворительное состояніе нашей исторіи до Карамзина съ его „Исторіей“, ясно видимъ достоинство его труда. Примѣчанія къ тексту каждаго изъ двѣнадцати томовъ занимаютъ цѣлую его половину. Просматривая ихъ, нельзя не чувствовать уваженія къ его работѣ: они свидѣтельствуютъ объ его обширной начитанности и образцовой критической внимательности; онъ оставался надъ каждымъ памятникомъ, надъ каждымъ вопросомъ. Онъ прочелъ массу памятниковъ, изучилъ ихъ, провѣрялъ, изъ всего извлекъ самое любопытное. До него никто такъ много не пользовался иностранными писателями о Россіи. Встрѣчающіеся въ памятникахъ слова, вышедшія изъ употребленія, онъ старался объяснить, и объяснилъ большею частию вѣрно. Все, что возбуждало какой-либо вопросъ касательно древностей, не оставлено имъ безъ изслѣдованія; чужія мнѣнія о томъ или другомъ предметѣ, о томъ или другомъ фактѣ, тщательно разсмотрѣны и опровергнуты. Словомъ, на пространствѣ времени отъ 862 г. до 1611-го

немного найдется вопросовъ, которыхъ бы онъ не предвидѣлъ и на которые не нашлось бы у него рѣшенія, указанія или по крайней мѣрѣ намека. Велика заслуга того, кто первый познакомилъ большинство читающихъ съ отечественной исторіей, бывшей для нихъ какъ бы землей невѣдомой; кто, по выраженію Пушкина, былъ „Колумбомъ древней Россіи“ <sup>1)</sup>.

„Исторія Государства Россійскаго“ повѣствуетъ объ устроеніи государственнаго устройства въ Россіи силою самодержавія. Самодержавіе даровало нашему государству единство, могущество, независимость, образованіе и политическое значеніе. Въ этомъ — идея историческаго труда Карамзина, связующая все событія въ одинъ цѣльный организмъ. Историкъ слѣдитъ за ея осуществленіемъ, изображая начало, постепенное развитіе и окончательное укрѣпленіе неограниченнаго единодержавія, или самодержавія. Главными эпохами русской государственной жизни служатъ, слѣдовательно, тѣ событія, въ которыхъ выказался наибольшій успѣхъ въ стремленіи къ означенной цѣли.

Идеей опредѣляется планъ, постройка исторіи, дѣленіе ея на періоды и группировка событій въ каждомъ изъ нихъ. На историческомъ пути нашемъ Карамзинъ различаетъ три періода: „Россія основалась единоначаліемъ, гибла отъ разновластія и спаслась самодержавіемъ“. Въ первый періодъ (отъ Рюрика до смерти Ярослава I) Россія, рожденная и возведенная единовластіемъ, не уступала въ силѣ и гражданскомъ благоденствіи первѣйшимъ европейскимъ державамъ того времени. Второй періодъ (отъ смерти Ярослава I до Іоанна III) есть время народнаго и правительственнаго заблужденія: удѣльная система, междоусобныя войны и татарское иго ниспровергли прежнее величіе; Россія утратила единовластіе и независимость. Это заблужденіе миновало, истина явилась въ началѣ третьяго періода, при Іоаннѣ III, совершившемъ два великіе подвиги: освобожденіе Россіи отъ татаръ и водвореніе единовластія неограниченнаго, или самодержавія. Исторія Карамзина дѣлится однакожь не на части, соответствующія постепенному развитію самодержавія, а на книги и главы, изъ коихъ послѣднія обозначаются именами князей. Онъ поступилъ такимъ образомъ не потому, чтобы находилъ первое дѣленіе, согласное съ его взглядомъ на нашу исторію, невѣрнымъ, а потому, что онъ находилъ его яснымъ для читателя изъ самаго разказа о событіяхъ. „Нѣтъ нужды ставить грани тамъ, гдѣ мѣста служатъ живымъ урочищемъ“, замѣчаетъ онъ въ предисловіи. Эти жи-

<sup>1)</sup> Карамзинъ, какъ историкъ; рѣчь К. Н. Бестужева-Рюмина.



выя урочища суть именно тѣ выдающіеся пункты нашей государственной исторіи, ея главнѣйшія эпохи, которыми опредѣляется начало каждаго періода. Заголовки излишни тамъ, гдѣ разсказъ даетъ наглядное понятіе объ историческихъ пространствахъ. Группировка событій и оцѣнка государственныхъ дѣятелей подчинены основному взгляду на задачу историка—представить развитіе самодержавія и одновременно съ тѣмъ развитіе государственнаго строя. Что бросаетъ сильнѣйшій свѣтъ на идею, въ чемъ она наиболѣе проявилась, то и выдвинуто на первый планъ, какъ существенное; все прочее, какъ не столь важное и не столь характеристичное, занимаетъ второстепенное мѣсто или стоитъ въ сторонѣ.—Правители оцѣниваются по ихъ отношенію къ той же идее: кто больше содѣйствовалъ развитію и укрѣпленію самодержавія, тотъ большую заслуживаетъ славу. Историкъ восхваляетъ Андрея Боголюбскаго, потому что онъ явно стремился къ „спасительному единовластію“; Всеволода III-го, напоминавшаго Россіи „счастливые дни единовластія“; Іоанна Калиту, указавшаго своимъ преемникамъ путь къ лучшей, т.-е. монархической, системѣ правленія. Но идеаломъ правителя Карамзинъ считаетъ Іоанна III, укрѣпившаго Россію духомъ самодержавія: „не знаю монарха, достойнѣйшаго жить и сіять въ святилищѣ исторіи“.

Но при сужденіи объ историческихъ дѣятеляхъ Карамзинъ не ограничивается государственной точкой зрѣнія. Онъ прилагаетъ къ нимъ еще требованія нравственныя, обязательныя для каждаго человѣка. Это уваженіе къ нравственности, служащее мѣркой достоинства и властвующихъ и подвластныхъ, отъ начала до конца господствуетъ въ его исторіи и возбуждаетъ искреннее сочувствіе къ автору, какъ лицу гуманному. Только та политика одобряется имъ, которая не противорѣчитъ справедливости и вообще добродѣтели; другой политики онъ не допускаетъ, такъ какъ она, по его убѣжденію, была бы коварствомъ и лицемеріемъ. Съ дурнымъ поступкомъ не мирили его ни похвальная цѣль, ни успѣшное достиженіе цѣли, потому что отъ человѣка зависитъ только дѣло, совершаемое имъ по совѣсти и крайнему разумнію, а послѣдствія дѣла зависятъ отъ Бога. На основаніи нравственнаго устава, прилагаемаго къ дѣятелямъ, Карамзинъ не прощаетъ Калитѣ смерти Александра Тверскаго, хотя и хвалитъ его за утвержденіе великокняжеской власти. Особенной строгости историка подвергся Іоаннъ Грозный, который, лишась первой своей супруги, лишился въ то же время „и добродѣтели“. Курбскій возбуждаетъ сожалѣніе, какъ злополучный мужъ, не имѣвшій главнаго утѣшенія въ несчастіи—внутренняго чувства добродѣтели; напротивъ, имя „до-

бродѣтельнаго“ слуги его Шибанова сочтено достойною принадлежностью исторіи. Разсказъ о Борисовомъ царствованіи заключенъ строгимъ приговоромъ: „имя Годунова, одного изъ разумѣйшихъ влстителей въ мірѣ, въ теченіе столѣтій было и будетъ произношено съ омерзеньемъ (какъ ими убійцы Димитрія), во славу нравственнаго неуклоннаго правосудія“. Измѣна Басманова, „честолюбца безъ чести“, дала поводъ заявить иствердость того, что противно нравственности: „Басмановъ не зналъ, что сильныя духомъ падаютъ какъ младенцы на пути беззаконія“. Отъ Василия Шуйскаго историкъ не ожидалъ ничего великаго, потому что онъ могъ быть только вторымъ Годуновымъ—лицемѣромъ, а „не героемъ добродѣтели, которая бываетъ главною силою и влстителей народи и народовъ въ опасностяхъ чрезвычайныхъ“.

Исторія Карамзина проникнута горячимъ чувствомъ патріотизма. Соглашаясь, что дѣянія грековъ и римлянъ важнѣе и любопытнѣе русскихъ, онъ выставляетъ особенный интересъ отечественной исторіи: „Всемирная исторія великими воспоминаніями украшаетъ міръ для ума, а Россійская украшаетъ отечество, гдѣ живемъ и дѣйствуемъ... Чувство: *мы, наше*, оживляетъ повѣствованіе, и какъ грубое пристрастіе несносно въ историкѣ, такъ любовь къ отечеству даетъ его кисти жаръ, силу, прелесть. Гдѣ нѣтъ любви, тамъ нѣтъ души“. Это одушевленіе, возбуждаемое любовью къ родной странѣ, особенно выразилось въ концѣ предисловія, при обращеніи къ соотечественникамъ: „мы одно любимъ, одного желаемъ: любимъ отечество, желаемъ ему благоденствія еще болѣе, нежели славы: желаемъ, да не измѣнится никогда твердое основаніе нашего величія; да правила мудраго самодержавія и святой вѣры болѣе и болѣе укрѣпляютъ связь частей; да цвѣтетъ Россія... по крайней мѣрѣ долго, долго, если на землѣ нѣтъ ничего безсмертнаго, кромѣ души человѣческой“.

Таково направленіе „Исторіи Государства Россійскаго“, указанное самимъ авторомъ въ слѣдующихъ словахъ: „я писалъ съ любовью къ отечеству, къ благу людей въ гражданскомъ обществѣ и къ святымъ уставамъ нравственности“!

Слогъ „Исторіи“ ясный, точный и весьма часто живописный. Строеіе рѣчи удержало тѣ же самыя особенности, какими отличаются литературныя труды автора: только, соотвѣтственно излагаемому предмету, она настроена на болѣе высокій тонъ. Разсказы перѣдко украшаются старинными словами и оборотами, вѣяющими изъ лѣтописей и другихъ древнихъ письменныхъ памятниковъ, чѣмъ придается ему колоритъ эпохи. Таковы, напримѣръ, отдѣльныя реченія: *благорѣчіе*, *остуши* (охлажденіе), *исправа* (полиція),

*увѣлнвъ* (привѣтнвъ); и цѣлыя фразы: въ угодность пмѣ *не затворимъ дорогъ* въ свою землю; жадаеть всегда *блжсти ихъ подѣ* своею рукою; *ишывая мѣрскія суеты и доуки*, онѣ не хотѣлъ слушать ихъ и посылалъ къ Борису: *покрыть милосердіемъ* вину заблужденія. Къ особенностямъ Карамзинской рѣчи отнесится также дактилическое окончаніе фразъ и предложений, въ виду чего прилагательныя ставились послѣ существительныхъ; напр.: Исторія Государства Россійскаго; достигнувъ цѣли усиліями неутомимыми, хитростію неусыпною; не хотѣлось мѣшаться въ дѣла чуждыя, и т. п. Въ изображеніи личностей наиболѣе замѣчательны характеристики Іоанна III и Іоанна IV, митрополита Филиппа, Годунова, Шуйскаго, Прокопія Ляпунова; въ разсказѣ о событіяхъ—осада и взятіе Казани есть одна изъ самыхъ живыхъ и блистательныхъ картинъ.

§ 49. Какъ сильный талантъ, Карамзинъ нашелъ себѣ многихъ подражателей, которые образовали особую школу. Съ именемъ „карамзинистъ“ соединилось понятіе о такомъ писателѣ, произведенія котораго представляли характеристическія отличія образца какъ по слогу, такъ и по направленію словесности. Первымъ предметомъ подражанія сдѣлался слогъ. Всѣ болѣе или менѣе видные литераторы времени Александра I образовали искусство выражать свои мысли по сочиненіямъ Карамзина, относящимся къ первому, собственно литературному періоду его дѣятельности (1791—1803). Выходъ въ свѣтъ „Исторія Государства Россійскаго“ надолго утвердилъ за Карамзинскимъ слогомъ право быть исключительнымъ образцомъ для каждаго, кто принимался за перо. Но не всѣ однакожъ признавали это право законнымъ. Нѣкоторые литераторы (Шишковъ) стояли за Ломоносовскій или славяно-россійскій стиль, видя въ немъ высшій образецъ; другіе (Гнѣдичъ) требовали для прозы слога средняго между высокимъ и пріятнымъ, т. е. между Ломоносовскимъ и Карамзинскимъ; третьи (Крыловъ) не находили въ рѣчи Карамзина чисто-русскаго, однороднаго склада; всѣ же вмѣстѣ видѣли въ новомъ слогѣ односторонность, такъ какъ существеннымъ его отличіемъ служила „пріятность“, а другой стороны — крѣпости и мужественности—онѣ, по ихъ мнѣнію, не имѣлъ.

Первое, по времени, мѣсто между послѣдователями Карамзина принадлежитъ И. И. Дмитріеву (1760—1837). Заслуга его была опредѣлена еще современною ему критикою такимъ образомъ: Карамзинъ далъ образцы, какъ должно писать въ прозѣ; Дмитріевъ далъ образцы, какъ должно писать въ стихахъ. Другими словами: Дмитріевъ сообщилъ стихотворной рѣчи тѣ же качества, какія пред-



ставляет прозаическая рѣчь Карамзина: непринужденное строение, плавность, пріятность; онъ—образователь легкаго стиха, свойственнаго тому роду произведеній, которые извѣстны подъ именемъ „легкой поэзіи“.—Дмитріевъ писалъ пѣсни, сказки, басни, сатиры, эпиграммы. Нѣкоторыя пѣсни („Споетъ сизый голубочекъ“, „Всѣхъ цвѣточковъ болѣ“) имѣли чрезвычайный успѣхъ, потому что пришлись по вкусу публики своимъ сентиментальнымъ настроеніемъ. Въ сказкахъ („Модная жена“, „Причудница“) подражалъ онъ Вольтеру, многое у него заимствовалъ. Какъ баснописецъ, онъ также не самостоятеленъ: почти всѣ его басни переведены съ французскаго, преимущественно изъ Лафонтена. Достоинство ихъ въ хорошемъ переводѣ, который „отворилъ имъ двери въ просвѣщенія, образованныя общества, отличавшіяся вкусомъ и владѣніемъ языкомъ“, и, кромѣ того, ввелъ ихъ въ учебныя заведенія. Такія басни, какъ Дубъ и Трость, Чижикъ и Зяблица, Пытухъ, Котъ и Мышонокъ, Слѣпецъ и Разслабленный, находили себѣ почетное мѣсто и въ сборникахъ образцовыхъ сочиненій и въ книгахъ для дѣтей, которые выучивали ихъ наизусть. По свойству своего таланта Дмитріевъ былъ болѣе способенъ къ сатирѣ, что доказывается лучшимъ его стихотвореніемъ: „Чужой толкъ“. остроумно и колко осмѣивающимъ бездарныхъ авторовъ торжественныхъ одъ. Но и здѣсь онъ подражалъ иностраннымъ сатирикамъ, именно англійскому поэту Пону. Подражаніемъ объясняется преувеличенное представленіе страсти къ стихотворству (метроманіи), которая въ нашей литературѣ никогда не достигала такихъ размѣровъ, какъ въ литературѣ англійской или французской. Вообще за Дмитріевымъ остается честь искуснаго версификатора, чѣмъ и приобрѣлъ онъ такую извѣстность, которая превышала степень его авторскихъ заслугъ, но поэтическаго таланта у него не было.

§ 50. Въ драматической поэзіи времени Александра I шли рядомъ два направленія: одно выражалось развитіемъ вкуса къ мѣщанской драмѣ, появившейся у насъ во второй половинѣ XVIII-го вѣка: другое держалось трагедіями и комедіями во французско-классическомъ духѣ. Репертуаръ мѣщанской драмы состоялъ преимущественно изъ пьесъ Коцебу, переведенныхъ съ нѣмецкаго. Онѣ были въ такой модѣ, что ихъ въ насмѣлку называли „коцебутиной“. Въ подражаніе имъ явились оригинальныя пьесы, имѣвшія чрезвычайный сценическій успѣхъ, напр.: „Лиза или торжество благодарности“ и „Великодушіе или рекрутскій наборъ“ (Ильина). Что же касается ложноклассической трагедіи, то здѣсь замѣчается прежде всего, что пьесы Сумарокова почти совсѣмъ изъяты изъ репертуара;

сходить со сцены и Княжнина, хотя пьесы его по временамъ возобновляются или для дебюта поступающихъ на сцену, или изъ желанія артистовъ блеснуть талантомъ въ той роли, которую прославились ихъ предшественники.

Мѣсто Княжнина занялъ Озеровъ (1770—1816), третій и послѣдній представитель нашей трагедіи французско-классическаго стиля. Онъ написалъ пять трагедій, изъ которыхъ три долго держались на сценѣ: „Эдипъ въ Аоніахъ“, „Фингалъ“ и „Димитрій Донской“. — Первая изъ этихъ пьесъ есть подражаніе французской трагедіи Дюси: „Эдипъ въ Колонѣ“. Озеровъ много перевелъ изъ нея: такъ первая сцена второго акта есть близкое и хорошее переложеніе подлинника; да и слѣдующія за тѣмъ явленія съ Антигоной до конца взяты изъ того же источника, съ тѣмъ различіемъ, что у Озерова умираетъ Креонъ и оставленъ въ живыхъ Эдипъ, тогда какъ у Дюси умираетъ Эдипъ, а Креона нѣтъ вовсе. Заслуга Озерова состоитъ собственно въ переводѣ французскаго образца такими стихами, какіе до него еще не раздавались на русской сценѣ: звучные, сильные, проникнутые трагическимъ чувствомъ, они производили сильное впечатлѣніе на зрителей. Ничего самостоятельнаго не представляетъ его трагедія; отклоненія ея отъ подлинника такъ маловажны, что не измѣняютъ понятія о цѣломъ. Оба трагика — и Дюси и Озеровъ — отступили отъ своего первообраза, по нѣкоторымъ требованіямъ теоріи и современнаго взгляда на нравственность. У Озерова Эдипъ остается въ живыхъ, какъ будто ему значить что-нибудь жизнь послѣ всего, извѣданнаго имъ въ жизни. Такое измѣненіе, или, вѣрнѣе, искаженіе греческаго преданія, сдѣлано въ угожденіе тому правилу морали, по которому слѣдовало награждать добродѣтель и наказывать порокъ. Порочный и претерпѣвъ наказаніе: громъ поражаетъ Креона, который также является не въ томъ видѣ, въ какомъ онъ выведенъ Софокломъ. Изъ Креона, сначала благороднаго мужа въ Софокловой трагедіи „Царь Эдипъ“, а потомъ честолюбиваго и самовластнаго, Озеровъ сдѣлалъ непонятнаго мстителя Эдипу, не просто злодѣя, но злодѣя, величающагося самимъ собою, гордящагося своими преступленіями, что противно природѣ. — Трагедія „Фингалъ“ представляетъ событіе изъ жизни древнихъ шотландцевъ (каледонинъ). Озеровъ имѣлъ цѣлью изобразить „Фингала, Ахилла сѣверныхъ странъ“. Содержаніе взято изъ поэмы „Фингалъ“, приписываемой сыну этого героя, Оссіану, шотландскому барду III-го вѣка. Подлинникъ исполненъ оригинальной поэзіи — суровой, величественной, унылой. Фингалъ, вождь морвенскій, побѣдивъ локлинскаго царя Старна и захвативъ его въ плѣнъ, даровалъ ему

свободу. Сердце Старна исполнилось гордости и злобы: онъ замыслилъ смерть побѣдителя, единственнаго соперника своей силы. Для выполненія замысла онъ пригласилъ къ себѣ Фингала и предложилъ ему руку своей дочери. Дочь, изъ любви къ герою, открываетъ угрожающую ему опасность. Раздраженный отецъ убиваетъ ее. Тогда Фингаль сзываетъ своихъ воиновъ, поражаетъ доклищевъ, уноситъ на корабль тѣло своей невѣсты и погребаетъ ее на одномъ изъ утесовъ своей родины. У Озерова другая причина мести: Фингаль убилъ Старнова сына, Тоскара, и огорченный отецъ далъ обѣтъ успокоить тѣнь убитаго смертію убійцы; Моина, невѣста Фингала, избавляетъ его отъ смерти, но сама принимаетъ смерть отъ руки отца. Старикъ—самое интересное лицо пьесы по своему трагическому положенію, но онъ утратилъ свою подлинную суровость и неподатливость: сдѣлался хитрѣе, осторожнѣе въ дѣйствіяхъ; авторъ далъ ему много скрытной злобы, а не той, которой трудно притворяться, выдерживать тайно злоумышленіе. Фингаль тоже удался отъ подлинника: въ немъ много пѣжно-рыцарскаго элемента. Несмотря на это, Фингаль очень нравился зрителямъ новостью сюжета, прекрасными стихами и чувствительностью, которою былъ одаренъ нашъ трагикъ и сила которой

Моины душу создала <sup>1)</sup>.

Въ „Димитріи Донскомъ“ исторія принесена въ жертву вымыслу. Извѣстно, что Димитрій въ эпоху борьбы съ Мамаемъ былъ уже женатъ, а трагедія представляетъ его влюбленнымъ въ нижегородскую княжну Ксенью и домогающимся руки ея. Эта Ксенія живетъ въ воинскомъ станѣ, что совершенно противорѣчитъ древнерусскимъ обычаямъ. Такое нарушеніе исторической истины произошло отъ того, что трагикъ, слѣдовавшему правиламъ французской трагической системы, была необходима завязка, основанная на любви. Но при невѣрности исторической, пьеса могла соблюсти вѣрность идеѣ патриотизма, воплощенной въ главномъ лицѣ. Героическая любовь къ отечеству требуетъ всецѣлой ему преданности, и нѣтъ такой жертвы, предъ которой было бы дозволено остановиться въ минуту критическаго его положенія, угрожающихъ ему бѣдъ. Димитрій Озерова не одушевленъ такимъ чувствомъ. Въ то время, когда готовится бой съ татарами, отъ исхода котораго зависитъ судьба отечества, онъ не въ силахъ заглушить голоса любви и малодушно предается ревности; вмѣсто того, чтобы дружно со всеми князьями дать отпоръ врагу, онъ соперничаетъ съ княземъ тверекимъ, которому обѣщана рука Ксении, и такимъ

<sup>1)</sup> Стихъ Жуковского въ „Посланіи къ кн. Вяземскому и В. Пушкину“



образомъ предается личному своему дѣлу, тогда какъ его прямая обязанность—забыть себя и думать о дѣлѣ общенародномъ, объ освобожденіи Россіи. Героемъ является не Димитрій, хотя онъ главное лицо трагедіи, а князь тверской, потому что онъ великодушно отказывается отъ Ксеніи. Впрочемъ, внутренняя несостоятельность пьесы нисколько не помѣшала ей чрезвычайному успѣху на сценѣ, который объясняется современными событіями, возбуждившими въ сильной степени патріотизмъ. Трагедія была представлена во время войны съ Наполеономъ, чрезъ недѣлю послѣ Прейсишъ-Эйлауской битвы. Публика примѣняла прошедшее къ настоящему: въ Димитріи Донскомъ она видѣла императора Александра, торжествующаго надъ Мамаемъ новаго времени — Наполеономъ. И потому послѣднія слова Димитрія, приносящаго благодарность Богу за побѣду, должны были произвести сильное дѣйствіе на зрителей.

...Первый сердца долгъ къ Тебѣ, Царю царей!  
 Всѣ царства держатся десницею Твоей:  
 Прославь и утверди, и возвеличь Россію!  
 Какъ прахъ земной, сотри враговъ кичливу выю,  
 Чтобъ съ трепетомъ сказать иноплеменикъ могъ:  
 Языки, вѣдайте—великъ россійскій Богъ!

Озеровъ заслужилъ большія похвалы отъ современниковъ. Онъ дѣйствительно возвышается надъ Сумароковымъ и Княжниннымъ не только по языку и версификаціи, но и по тому одушевленію, которое отъ него сообщалось артистамъ и посредствомъ игры ихъ переходило къ публикѣ. Чувствительность, главное его качество, выразилась въ трогательныхъ сценахъ и въ женскихъ характерахъ (Антигоны, Ксеніи, Моины), которыя вышли интереснѣе мужскихъ. Лучшихъ трагедій въ духѣ французскаго классицизма мы не имѣемъ.

§ 51. Подражательное направленіе нашей литературы мѣшало самостоятельному развитію поэзіи, постигающей характеръ народной жизни и выражающей ее въ подлинномъ ея видѣ. Частные опыты такой поэзіи не могли положить предѣла французскому классицизму: еще не малое время суждено ему было вліять на нашихъ литераторовъ, Примѣры такихъ опытовъ мы видѣли въ стихотвореніяхъ Державина, въ комедіяхъ Фонвизина, въ пьесѣ Аблесимова „Мельникъ“, а также въ нѣкоторыхъ драмахъ, переложенныхъ съ иностраннаго языка на русскіе нравы. Но отдѣльныя черты этихъ нравовъ, отдѣльныя представленія собственныхъ обычаевъ смѣшивались съ чертами и представленіями совершенно чуждаго, часто непонятнаго намъ быта. Высшее проявленіе самостоятельной русской поэзіи мы находимъ у Крылова (1768—1844),

хотя это проявленіе было также частнымъ, т.-е. оно ограничивалось преимущественно однимъ поэтическимъ родомъ — басней.

Характеръ сочиненій Крылова — сатирический. Сатира его мѣняла формы, выражаясь сначала въ журнальныхъ статьяхъ, потомъ въ комедіяхъ и наконецъ въ баснѣ.

а) Крыловъ издавалъ три журнала: „Почта духовъ“ (1789), „Зритель“ (1792) и „С.-Петербургскій Меркурій“ (1793). Въ „Почтѣ духовъ“ принадлежать ему письма гномовъ, жителей подземнаго (Плутонова) царства. Посланные на землю, они извѣщаютъ арабскаго философа Маликульмулька о жизни ея обитателей. Главная тема этихъ обличительныхъ писемъ — иноземное воспитаніе нашихъ дворянъ, которое искореняло въ нихъ похвальные черты отечественныхъ нравовъ, внушало презрѣніе къ родинѣ, безумную расточительность, легкомысленный взглядъ на нравственность. Сатира преслѣдуетъ современныхъ родителей и дѣтей ихъ, не касаясь ни дѣдушекъ, ни бабушекъ, „скучные предрасудки которыхъ не задерживаютъ уже новыхъ кавалеровъ и дамъ на пути ихъ приключеній“. Крыловъ иронически отзывался о томъ просвѣщеніи, съ развитіемъ котораго быть всѣхъ сословій разстроился и которое, мѣняя званія и названія, не ослабляетъ пороковъ и дурныхъ наклонностей, а, напротивъ, даетъ имъ большую личу и благовидный покровъ. Къ реформамъ относился онъ или равнодушно или недовѣрчиво, а если онѣ вводились съ самонадѣянностью и рѣзкостью, обнаруживали неловкость и педантизмъ, то онѣ встрѣчались ихъ насмѣшкой. Такое направленіе въ молодомъ сатирикѣ замѣчательно: оно доказываетъ врожденную степенность и благоразуміе, не увлекающіяся повизной и блескомъ; съ самаго начала оно заявило консервативный образъ мыслей. — Статья Крылова въ „Зритель“: „Похвальная рѣчь моему дѣдушкѣ“, иронически восхваляющая достоинство помѣщика, не уступаетъ лучшимъ очеркамъ Новикова „Живописца“, превосходя ихъ остроуміемъ. Въ „С.-Петербургскомъ Меркуріи“ помѣщены двѣ его сатиры: „Похвальная рѣчь наукъ убивать время“ и „Похвальная рѣчь Ермалафиту“<sup>1)</sup>. говоренная въ собраніи молодыхъ писателей: первая осмѣиваетъ празднолюбцевъ, вторая — бездарныхъ авторовъ.

б) Изъ драматическихъ шестъ Крылова имѣли успѣхъ на сценѣ двѣ комедіи: „Модная лавка“ и „Урокъ дочкамъ“. Последняя получила названіе потому, что дочери одного помѣщика, за ихъ пристрастіе къ французскому языку, получаютъ чувствительный урокъ: слугу проѣзжаго офицера, назваваемаго маркизомъ Глаго-

<sup>1)</sup> Человѣкъ несущій ермалафію (чепуху).

лемъ, онѣ принимаютъ за дѣйствительнаго маркиза и обращаются съ нимъ, какъ съ важнымъ господиномъ. Это—подражаніе Мольеровой комедіи: „*Les précieuses ridicules*“, въ которой такой же урокъ данъ чопорнымъ дочкамъ одного добраго буржуа. Сцены между дочками и приставленной къ нимъ няней, чтобъ онѣ не смѣли говорить по-французски, а также съ слугой Семеномъ, принятымъ за маркиза, исполнены комизма, хотя въ цѣломъ пьеса построена на французскій ладъ и оттого представляетъ искusstvenное смѣшеніе чужого съ своимъ.

в) Сатирическій талантъ Крылова самымъ яркимъ образомъ обнаружился въ басняхъ, упрочившихъ за нимъ славу знаменитаго баснописца—не только русскаго, но и всемірнаго. Этою славой онъ, паравиѣ съ Лафонтеномъ, обязанъ особеннымъ качествамъ своихъ басенъ. Предметъ басни—разнообразныя явленія человѣческой жизни, которая она изображаетъ аллегорически, замѣняя людей животными или растеніями и другими неодушевленными предметами. Въ ней двѣ части: разсказъ и выводъ изъ разсказа. Выводъ есть мысль, къ которому разсказъ относится, какъ единичное къ общему: такъ въ баснѣ „Дубъ и Трость“ мысль, что слабый, но уступчивый предметъ противостоитъ силѣ гораздо лучше, нежели крѣпкій, но упорный, выразилась въ отношеніи тростника и дуба къ бурѣ. Взглядомъ на значеніе обѣихъ составныхъ частей басни опредѣлялось ея направленіе. Въ исторіи басни былъ долгій періодъ, когда конечную цѣль ея полагали въ выводѣ и когда этотъ выводъ ограничивали какимъ-нибудь нравственнымъ правиломъ, такъ называемымъ правоученіемъ, а разсказъ считали элементомъ прибавочнымъ, служебнымъ, нисколько не требующимъ самостоятельнаго значенія. Басня поэтому обратилась въ чисто дидактическое, поучительное стихотвореніе. Византійскіе сборники Езоповыхъ басенъ (наприм. Максима Плануда въ XIV в. по Р. Х.) представляютъ примѣръ такого направленія басни.—По этимъ одностороннимъ направленіемъ не могли удовлетворяться баснописцы, одаренные творческимъ талантомъ: для нихъ вымышленный разсказъ имѣлъ такой же интересъ, какъ и выводъ, органически связанный съ вымысломъ, необходимо изъ него вытекающій; вслѣдствіе чего разсказъ явился въ ихъ басняхъ элементомъ равноправнымъ выводу, и значеніе вывода расширилось, т. е. онъ пересталъ обращаться исключительно въ кругу правоучительныхъ изреченій. Извѣстѣйшими представителями такого направленія басни справедливо почитаются Лафонтенъ и Крыловъ. Они возвысили ее самостоятельнымъ достоинствомъ обѣихъ ея членовъ: разсказа и мысли, лежащей въ его основаніи. Разсказъ отличается поэтиче-



скимъ изображеніемъ, которое само по себѣ, независимо отъ вывода, интересуется читателя. Событіе изъ міра животныхъ выступаетъ какъ драма, почему Лафонтенъ и называлъ свои басни странной, стоактной комедіей. Дѣйствующія лица являются не простыми аллегоріями, въ родѣ отелеченныхъ понятій: лукавство, алчность, глупость, и т. п., а живыми существами, съ разнообразіемъ вѣншнаго вида и движеній, каждое съ своимъ неизмѣннымъ стереотипнымъ характеромъ: лисица съ хитростью, волкъ съ хищностью, оселъ съ тупоуміемъ. Выводъ, не ограниченный правоученіемъ, не всегда занимаетъ особое мѣсто, въ концѣ или въ началѣ басни, но часто выговаривается въ рѣчи дѣйствующаго лица и тѣмъ доказываетъ свою органическую связь съ разсказомъ. Иногда и вовсе нѣтъ вывода: басня, по выраженію Лафонтена, ведетъ мысль не за собою, а съ собою, слѣд. читателю легко понять ее и безъ авторской помощи. При этомъ слѣдуетъ однакожь замѣтить, что хотя Лафонтенъ и Крыловъ постоянно заботились о поэтическомъ достоинствѣ разсказа, но все же главное вниманіе обращали на мысль разсказа, полагая въ ней существо басни. Лафонтенъ называетъ вымыселъ тѣломъ басни, а мораль—ея душою. Крыловъ также дорожилъ выводомъ, считая благотворителемъ людей того, кто правоучительныя правила предлагаетъ въ разсказахъ или изреченіяхъ, дабы они глубже впечатлѣвались въ памяти. Однимъ словомъ, для Крылова и для Лафонтена басня была также дидактическимъ стихотвореніемъ, намѣреннымъ средствомъ къ извѣстной цѣли. Они понимали, что никто изъ развитыхъ людей не станетъ наслаждаться басней, какъ дѣти сказкой, но вмѣстѣ съ этимъ они видѣли, что басня несравненно интереснѣе читателю, когда въ ней оба элемента: поэтическій (разсказъ) и дидактическій (выводъ) представляютъ самостоятельное достоинство, уравновѣшены въ своемъ значеніи.

При указанномъ достоинствѣ обѣихъ частей басни, какъ особаго вида поэтическихъ произведеній, она должна представлять еще другое достоинство, необходимое для того, чтобы производить дѣйствіе на читателей и возбуждать ихъ сочувствіе: она должна изображать жизнь и нравы того народа, къ которому принадлежитъ баснописецъ, должна быть народною. Красота народности есть первенствующая красота басенъ Крылова. Подъ аллегорическимъ покровомъ тотчасъ узнаются русскіе люди съ ихъ отличительными особенностями въ характерѣ, обычаяхъ, образѣ мыслей и чувствъ, и наконецъ по языку. „Крылову“, говоритъ одинъ изъ писателей <sup>1)</sup>, „принадлежала честь единственная, ни съ кѣмъ въ

1) Н. В. Карамзинъ.

его время пераздѣленная: онъ хотѣлъ и успѣлъ быть русскимъ въ то время, когда подражаніе почиталось просвѣщеніемъ, когда слово *иностранное* было однозначительно съ словомъ *умное* или *прекрасное*. Въ это время Крыловъ не только былъ русскимъ въ своихъ басняхъ, но умѣлъ еще сдѣлать свое русское плѣнительнымъ. Народность очевидна не только въ собственныхъ басняхъ Крылова, но и въ его переводахъ или передѣлкахъ басенъ иностранныхъ. Заимствованные сюжеты обрабатывалъ онъ сообразно съ представленіемъ русскаго человѣка, почему и имѣлъ право причислять эту обработку къ оригинальнымъ произведеніямъ. При сличеніи басенъ: „Оселъ и Соловей“, „Демьянова уха“, „Лжецъ“ съ ихъ подлинниками открывается превосходство нашего баснописца, умѣвшаго посредствомъ разсказамъ сообщать поэтическую красоту и цвѣтъ народности. Такъ въ баснѣ „Оселъ и Соловей“, оселъ, по своей поступи, сужденію, рѣчи, есть образъ чисто-русскаго тупоумнаго человѣка, а не французскаго или нѣмецкаго

...Оселъ, уставясь въ землю лбомъ,  
„Изрядно, говорить, сказать неложно,  
Тебя безъ скуки слушать можно;  
А жалъ что незнакомъ  
Ты съ нашимъ пѣтухомъ:  
Еще бъ ты болѣ навострился,  
Когда бы у него немного поучился“.

Рѣчь Крылова, строившаяся по складу народной и любившая прибѣгать къ пословицамъ, въ свою очередь дала значительный матеріалъ для русскаго синтаксиса и для собирателей русскихъ пословицъ (Снегирева, Даля).

Предметами или темами басенъ Крылова служили разнообразныя явленія современной ему общественной жизни. На первомъ мѣстѣ стоятъ басни, выражающія мысль о воспитаніи: „Крестьянинъ и Змѣя“, „Бочка“, „Кукушка и Горлинка“. Первая показываетъ вредное вліяніе иностранцевъ на вѣтрелыхъ имъ дѣтей; вторая—слѣдствіе гибельныхъ ученій, которыми человѣкъ заражается съ юности; третья—что происходитъ, когда дѣти воспитываются не родителями, а посторонними лицами. Авторъ придавалъ этимъ баснямъ особенную важность, что видно изъ внушительныхъ наставленій, обращенныхъ къ родителямъ: „Отцы, понятно ль вамъ, на что здѣсь мѣчу я?“ „Старайтесь не забыть, отцы, вы басни сей“. „Отцы и матеря! вамъ басни сей урокъ“.—Къ баснямъ, обличающимъ невѣжество, относятся: „Мартышка и очки“, „Свиный подъ дубомъ“, „Голикъ“. Наружно-европейская образованность, дающая человѣку только пустой блескъ, но уничтожающая добрыя

природныя свойства, портретная правда, представлена въ „Червонцѣ“. Длиннота второй части этой басни (вывода) даетъ знать, что ей авторъ также приписываетъ значительную важность. Басня „Водолазы“ показывается, въ чемъ Крыловъ полагаетъ истинное просвѣщеніе: онъ требуетъ ученія умѣреннаго, серединаго между педантизмомъ, происходящимъ отъ лѣни, и глубокимъ, происходящимъ отъ дерзости ума, егемудрія и ведунимъ къ гибели. Изображенію несправедливаго суда, „лихихъ супостатовъ“ закона, посвящены многія басни. „Слонъ на воеводство“ есть образъ добродушныхъ, но глупыхъ судей, дозволяющихъ „волкамъ взять съ каждой овцы по одной только шкурѣ“. — „Вельможа“ — образъ правителя, который не погубилъ цѣлаго края лишь потому, что не принимался за дѣла. Въ другой категоріи тѣхъ же басенъ („Шука“, „Крестьянинъ и Овца“) являются умные бездѣльники, которые при несправедномъ рѣшеніи дѣлъ соблюдаютъ всѣ законныя формальности. Представитель ихъ Лиса — то секретарь, то прокуроръ. Крыловъ давалъ уроки и тѣмъ лицамъ, отъ власти которыхъ зависить установленіе правильной администраціи („Лиса-строитель“, „Мірская сходка“, „Волкъ и Овцы“). Взаимныя отношенія гражданъ, по различію ихъ сословій и службы, указаны баснями: „Листы и Корни“, „Пушки и Паруса“. — Ложное пониманіе благородства обличено въ баснѣ „Гуси“, а неумѣніе дворянъ поправлять свое состояніе, растроенное жизнью не по средствамъ. — въ басняхъ: „Тришкинъ кафтанъ“ и „Мельникъ“. Всѣ указанныя басни имѣли, а многія и теперь имѣютъ общественное значеніе: онѣ могутъ быть названы „историческими“ въ томъ смыслѣ, что каждая изъ нихъ относится къ цѣлому роду явленій, которые извѣстное время господствовали въ обществѣ и, слѣд., занимаютъ болѣе или менѣе видное мѣсто въ исторіи этого времени. Но, кромѣ того, у Крылова есть басни собственно-историческія, т.-е. написанныя по поводу лицъ и событій. Таковы: „Волкъ на псарьѣ“, „Обозъ“, „Ворона и Курица“, „Шука и Котъ“. Первая изъ нихъ представляетъ затруднительное положеніе Наполеона послѣ Бородинской битвы, его попытки вступить въ переговоры съ Кутузовымъ, изображеннымъ въ лицѣ опытнаго ловчаго: цѣль басни „Обозъ“ — оправдать медлительность дѣйствій Кутузова, возбуждавшую противъ него общественное мнѣніе; въ баснѣ „Ворона и Курица“ разсказывается, какъ ворона, считавшая себя безопасною, потому что воронъ ни варятъ, ни жарятъ, попала въ сѣть къ голоднымъ французамъ; наконецъ, поводомъ къ сочиненію басни „Шука и Котъ“ послужила неудача адмирала Чичагова, который долженъ былъ пресѣчь путь Наполеону черезъ рѣку Березину.



§ 52. Система лжеклассицизма возникла, какъ сказано выше, изъ невірно истолкованной пѣтики Аристотеля, а также изъ преративно или односторонне понятыхъ образцовъ древней поэзіи. Чтобы открыть ложь, принятую французами за истину и перешедшую отъ нихъ къ другимъ народамъ, необходимо было ближайшее, непосредственное знакомство съ ученіемъ Аристотеля и съ художественными произведеніями грековъ. Этимъ путемъ пѣмцы освободили свою литературу отъ господства псевдоклассицизма; этотъ же путь предстоялъ и намъ. Для непосредственнаго знакомства съ истиннымъ классицизмомъ требовалось, кромѣ знанія древнихъ языковъ, и безпристрастное, не стѣсняемое французскимъ авторитетомъ отношеніе критики къ поэтическимъ образцамъ древности. Средства наши въ томъ и другомъ отношеніи были слабы. Очень немногіе изъ нашихъ литераторовъ могли похвалиться филологическимъ образованіемъ; немногіе также могли отрѣшиться отъ французскихъ воззрѣній какъ на самые подлинники, такъ и на способъ ихъ перевода. Отсюда происходило, что Аристотель, Гораций и Буало становились на одну доску, и каждый изъ нихъ почитался законодателемъ изящнаго вкуса; что въ Расинѣ и Вольтерѣ видѣли не только соперниковъ Софоклу и Эврипиду, но и побѣдителей ихъ; что переложенія греческихъ и римскихъ стихотвореній, сдѣланныя съ французскихъ вольныхъ переводовъ, удовлетворяли насъ, даже заслуживали громкія похвалы.

Были однакожь между учеными и литераторами такія лица, которыя своими трудами содѣйствовали нашему знакомству съ античною поэзіей и тѣмъ полагали начало освобожденію нашей литературы отъ исключительнаго вліянія французскихъ авторовъ. М. Н. Муравьевъ, попечитель Московскаго университета, заботился о введеніи классическаго элемента въ отечественную словесность и поощрялъ другихъ къ такимъ же трудамъ. Мерзляковъ, профессоръ русской словесности въ томъ же университетѣ, издалъ „Подражанія и переводы изъ греческихъ и латинскихъ стихотворцевъ по всѣмъ тремъ поэтическимъ родамъ: эпическому (изъ Гомера и Виргилія), драматическому (изъ Эсхила, Софокла и Эврипида) и лирическому (изъ Пиндара, Теокрита, Горация, Тибулла, Проперція, Овидія и др.). Прозаическій переводъ классиковъ, И. Мартынова (въ 26 томахъ), заключаетъ въ себѣ Гомера, Софокла, Пиндара, Анакреона, Каллимаха, Эзона, Геродота, Лонгина. Распространенію здоровыхъ понятій о значеніи французской литературы сравнительно съ литературами другихъ народовъ, въ особенности гречко-латинской, много содѣйствовали сужденія И. М. Муравьева-Аностола, переводчика Аристофановой комедіи „Облака“. Эти су-

ждений, въ то время весьма замѣчательныя, изложены имъ въ „Письмахъ изъ Москвы въ Нижній-Новгородъ къ другу“, писанныхъ въ 1813—1815 гг., по окончаніи борьбы съ Наполеономъ. Они направлены противъ галломаніи, которая господствовала въ высшемъ дворянствѣ. Авторъ убѣдительно доказалъ, какъ много французская словесность уступаетъ въ своемъ достоинствѣ не только своему образцу—античной поэзіи,—но и словесности нѣкоторыхъ новыхъ народовъ. Пристрастіе къ ней объясняется исключительнымъ съ нею знакомствомъ, которое начинается съ дѣтскаго возраста, и совершеннымъ незнаемъ литературъ англійской, нѣмецкой, итальянской, испанской. Чтобы искоренить зло, отъ котораго происходитъ и односторонность литературныхъ сужденій и другія еще худшія послѣдствія, необходимо перемѣнить нашу учебную систему: вмѣсто французскаго языка основательно изучать греческій или, по крайней мѣрѣ, латинскій, вмѣстѣ съ русскимъ. „Ни одна изъ новѣйшихъ литературъ не усовершенствовалась отъ подражанія новѣйшимъ же; всѣ онѣ, безъ изыятія, почерпнули красоты свои въ единственномъ и неизсякаемомъ источникѣ всего изящнаго — у грековъ и римлянъ“. Основныя мысли Муравьева-Апостола вошли въ „Разсужденіе Гнѣдича о причинахъ, замедляющихъ успѣхи нашей словесности“. Главная причина — отсутствіе надлежащаго ученія; изучать слѣдуетъ образцовыя творенія древнихъ. Но это изученіе или вовсе не существуетъ или находится въ крайнемъ небреженіи — отсюда и происходитъ печальное состояніе нашей словесности; французская словесность служить для молодыхъ литераторовъ исключительнымъ образцомъ; поэтическія ихъ свѣдѣнія ограничиваются мнѣологическимъ словаремъ, а научныя — словаремъ историческимъ. — Задумавъ перевести „Иліаду“ на русскій языкъ, Гнѣдичъ началъ было свой трудъ съ половины девятой пѣсни, такъ какъ предшествующія были уже переведены Костровымъ при Екатеринѣ II. Для перевода выбралъ онъ александрійскій стихъ, слѣдую Кострову. Но это намѣреніе было остановлено „Письмомъ Уварова (впослѣдствіи министра народнаго просвѣщенія) къ переводчику о греческомъ гексаметрѣ“. Въ этомъ письмѣ доказывается, что выборъ другого стихотворнаго метра, а не гексаметра, не согласенъ ни съ понятіемъ о воспроизведеніи художественныхъ твореній, со всеми отличіями ихъ времени, мѣста и народнаго характера, ни съ понятіемъ о сущности этихъ твореній, въ которыхъ идея и форма составляютъ единое и нераздѣльное. „Не въ томъ дѣло, чтобы написать поэму съ поэмы“, — пишетъ Уваровъ, — „а въ томъ, чтобы представить *отъ тѣло* творенія Гомера въ духъ оригинала съ его формами и всеми отбѣсками,

такъ чтобы мы имѣли передъ глазами не Гоетрова, не Гнѣдича, но Гомера въ яснѣйшемъ созерцаніи его красоты, а чтобы достигнуть этой цѣли, неотходимо признать правиломъ, что *формы* въ поэзии неразлучны съ *духомъ*. Неразлучный союзъ этотъ въ поэзии древнихъ еще сильнѣе, чѣмъ въ поэзии новыхъ народовъ. Стихосложеніе Гомера есть совершеннѣйшій плодъ эпоса, или, лучше сказать, источникъ онаго, почему Аристотель и называетъ эпосъ *повѣствующимъ и гексаметрами* изображающимъ“. Гнѣдичъ внялъ совѣтамъ Уварова и чрезъ двадцать лѣтъ кончилъ свой добросовѣстный трудъ.

Переводчику предстояли большія трудности. Главнѣйшая изъ нихъ — передать во всей чистотѣ и вѣрности не только содержаніе поэмы, но и характеръ ея, тонъ и форму повѣствованія. Гнѣдичъ сознавалъ эту трудность, опредѣляя ее непрерывной борьбой переводчика съ собственнымъ духомъ, съ собственною внутреннею силою, которыхъ свободу должно обуздывать на каждомъ шагѣ, ибо выраженіе оной было бы совершенно противоположно духу Гомера. Вторая трудность состояла въ борьбѣ съ греческимъ языкомъ, съ его богатыми, разнообразными формами и оборотами. Необходимо было создать эпическій складъ, по возможности равноразный языку подлинника, чтобы поэма на чуждомъ языкѣ возбуждала въ читателѣ такое настроеніе, какое она производила на языкѣ родномъ. Гнѣдичъ сознавалъ эту трудность: „Я былъ вѣренъ Гомеру и, слѣдуя умному изреченію: *должно переводить нравы, такъ же какъ и языкъ*, я ничего не упустилъ, ничего не измѣнялъ. У великихъ писателей есть такія выраженія, которыхъ сила, хорошо чувствуемая, болѣе нежели цѣлая книга даетъ понятіе о лицѣ, которое произноситъ ихъ, или о народѣ, который ихъ употребляетъ. Дѣлая выраженія греческія русскими, должно было стараться, чтобы не сдѣлать русскою мысли Гомеровою, но, что еще болѣе — не украшать подлинника. Очень легко украсить, а лучше сказать — подкрасить стихъ Гомера; но несравненно труднѣе сохранить его Гомерическимъ, какъ онъ есть, ни хуже, ни лучше“. Третья трудность — самый стихъ, гексаметръ, еще мало обработанный русскими стихотворцами въ то время, когда Гнѣдичъ принялся за переводъ „Иліады“. Изъ борьбы со всѣми этими трудностями Гнѣдичъ вышелъ съ честью. Переводъ его отличается точностью, которая не исключаетъ художественности. Языкъ перевода — крѣпкій и мужественный. Гексаметръ, до того бывшій неустроеннымъ, получилъ обработку. Недостаткомъ перевода считаютъ отсутствіе простоты, торжественный тонъ, чему особенно содѣйствовало употребленіе славянскихъ словъ и оборотовъ. Вообще, переводъ Гнѣдича есть



капитальная услуга тѣмъ изъ русскихъ, которые, не зная греческаго языка, желаютъ познакомиться съ „Илиадою“. Лучшаго перевода мы не имѣемъ.

§ 53. Кромѣ знакомства съ древнеклассическими произведеніями необходимо было, для усовершенствованія нашей поэзіи, знакомство съ литературами новыхъ народовъ, кромѣ французской. Частію это и было дѣлано, если литераторъ зналъ какой-нибудь иностранный языкъ: такъ Державинъ обращался къ нѣмецкимъ стихотворцамъ, а Княжнинъ къ италіанскимъ. Но важнѣйшая заслуга по этому предмету принадлежитъ Жуковскому (1783—1852): прекрасными переводами образцовыхъ твореній онъ расширилъ передъ нами поэтическій горизонтъ, который до того почти исключительно ограничивался французскими авторами ложноклассическаго періода. Жуковский переводилъ преимущественно сочиненія нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ, которыя относятся къ романтическому направлению. Поэтому онъ называлъ себя родоначальникомъ романтизма на Руси. Романтическая поэзія получила свое названіе оттого, что первыя ея произведенія явились на языкахъ „романскихъ“, образовавшихся изъ смѣшенія латинскаго съ языками народовъ, сокрушавшихъ римское могущество. Это—поэзія новаго, христіанскаго міра, противоположная поэзіи древняго міра, греко-римской. Она образовалась подъ вліяніемъ христіанства, и этимъ вліяніемъ опредѣляются ея существенныя свойства. Христіанство подчинило тѣлесное духовному, земное небесному; и для романтическаго поэта идеаломъ красоты сдѣлался человѣческій духъ—его помыслы, чувствованія и желанія. Земная жизнь не удовлетворяла поэта, потому что онъ не находилъ въ ней идеала: отсюда грусть, какъ главнѣйшій элементъ романтизма, служить почти неизсякаемою темою для поэтовъ христіанскаго міра. „Меланхолія“, говоритъ Жуковский, „есть одна изъ звучащихъ струнъ романтической лиры, т.-е. лиры, настроенной послѣ христіанства“. Этимъ объясняется сильное развитіе элегической поэзіи, выражающей бренность, преходимость всего земного. За идеаломъ романтикъ устремляется къ другому міру—таинственному, небесному; но какъ человѣку невозможно достигнуть его, то эти стремленія отличаются мечтательностью и туманностью.

Романтическія произведенія Жуковскаго какъ переводныя, такъ и оригинальныя, относятся преимущественно къ элегіямъ и балладамъ. Первый родъ былъ преобладающимъ въ его стихотворствѣ. Переводомъ элегіи „Сельское кладбище“ (англійскаго поэта Грей) началась его поэзія. Большею частію переводилъ онъ изъ Шиллера, по особенному къ нему сочувствію, затѣмъ изъ Гете, Уланда, Бюргера, Гёбеля, Зейдлица и другихъ нѣмецкихъ

поэтовъ; а изъ англійскихъ—Грея, Саути, Гольдсмита, Вальтеръ-Скотта, Байрона, Мура. Для переводовъ выбиралъ онъ то, что своимъ содержаніемъ совпадало съ его душевнымъ настроеніемъ; „у меня, писалъ онъ Гоголю, почти все чужое или по поводу чужаго—и все однако мое“, т.-е. заимствуемое у другихъ было въ то же время и его собственностью, такъ какъ постигнутое и прочувствованное оригинальнымъ авторомъ постигалось и чувствовалось имъ въ той же мѣрѣ и находило въ немъ мастерскаго переводчика. Изъ собственныхъ элегій Жуковского наилучшая—„Тетонъ и Эсхинъ“. Содержаніемъ ея, равно какъ и всѣхъ другихъ пьесъ того же рода, служить „тоска по благамъ прежнихъ лѣтъ“, по утраченномъ идеалѣ. Идеаломъ счастья была жизнь съ любимымъ человѣкомъ; поэтъ стремился къ нему, но судьба не увѣчала его стремленій: разлука погубила счастье. Въ несчастіи поэтъ находить двойное утѣшеніе—воспоминаніе о потерянномъ благѣ и надежду на его возвращеніе:

О милое *воспоминаніе*  
О томъ, чего ужъ въ мѣрѣ нѣтъ!  
О дума сердца—*упованіе*  
На лучший, неизмѣнный свѣтъ!  
Блаженъ, кто васъ среди губящаго  
Волненья жизни сохранилъ,  
И съ вами низость настоящаго  
И пренебрегъ, и позабылъ.

Въ настоящемъ поэтъ живетъ воспоминаніемъ прошлаго:

Все *близкое* мнѣ зрится *отдаленнымъ*,  
*Отжившее*, какъ прежде, *оживленнымъ*.

Скорбь есть замѣна счастья, вѣрное свидѣтельство того, что идеалъ не окончательно утраченъ:

И скорбь о погибшемъ не есть ли, Эсхинъ,  
Обътъ неизмѣнной надежды,  
Что гдѣ-то въ знакомой, но тайной странѣ  
Погибшее намъ возвратится?  
А этотъ безмолвный, таинственный гробъ...  
О другъ мой, онъ вѣрный свидѣтель,  
Что лучшее въ жизни еще впереди,  
Что вѣрно желанное будетъ.  
Сей гробъ—затворенная къ счастью дверь:  
Отворится... жду и надѣюсь!  
За нимъ ожидаетъ сопутникъ меня,  
На мигъ мнѣ явившійся въ жизни.

Такимъ образомъ скорбь объ утраченномъ благѣ въ элегіяхъ Жуковского ~~на~~ есть безотрадно-тяжелое чувство: она умирается вос-

поминаямъ и надеждой, находятъ утѣшеніе и въ прошломъ и въ будущемъ. Жалобы не выражаютъ ни душевной горечи, ни презрѣнія къ жизни; напротивъ, онѣ оканчиваются внутреннимъ покоемъ, благодушнымъ примиреніемъ съ несчастной долей. О спутникахъ, которые своимъ присутствіемъ животворили для насъ міръ, Жуковский говоритъ не съ печалью: *ихъ нѣтъ*, а съ благодарностію: *были*. Разсказъ о своей тяжелой судьбѣ Теонъ заключаетъ восклицаніемъ: „Хвала жизнедавцу-Зевесу!“

Элегія Жуковского, равно какъ и другія его произведенія, обогатили нашу лирику новымъ, плодотворнымъ содержаніемъ, которое составляетъ важную эпоху въ ея развитіи. Онѣ впервые искренно и поэтично выражали жизнь души,—предмета, наиболее достойнаго поэзіи. Въ какія бы формы ни облекались представленія и чувства Жуковского, внутренний міръ человѣка постоянно занимаетъ у него первенствующее мѣсто. Красота любви, дружбы, поэзіи, таинственныя соотношенія природы и человѣка, радость въ наслажденіи ими, печаль при ихъ утратѣ... выступаютъ даже въ стихотвореніяхъ, написанныхъ на случай. Такъ „Пѣвецъ въ станѣ русскихъ воиновъ“, возбуждая патріотизмъ, содержитъ въ себѣ не мало мѣстъ, выражающихъ тоску о погибшемъ счастьѣ, о прелестяхъ любви, дружбы и служенья музамъ. Такъ еще въ пьесѣ „На кончину королевы Виртембергской“, кромѣ трогательнаго воспоминанія объ умершей, поэтъ вводитъ строфы о бѣдности нашей жизни вообще, о гибели всего прекраснаго на землѣ:

О наша жизнь, гдѣ вѣрны лишь утраты,  
Гдѣ милому мгновенье лишь дано,  
Гдѣ скорбь безъ крыль, а радости крылаты,  
И гдѣ навѣкъ минувшее одно...  
Почто жъ мы здѣсь мечтами такъ богаты,  
Когда мечтамъ не сбыться суждено?  
Внимая глазъ надежды намъ поющей,  
Не слышимъ мы шаговъ бѣды грядущей

Жуковскому одолжены мы также введеніемъ въ нашу литературу новаго поэтическаго вида—баллады. Первообразомъ баллады была народная пѣснь англичанъ и шотландцевъ. Это—лироэпическое стихотвореніе, въ которомъ кратко повѣствуется о какомъ-нибудь небольшомъ событіи и вмѣстѣ выражается внутреннее состояніе дѣйствующаго лица. Перешедъ въ Германію, оно расширилось въ объемѣ и, кромѣ того, приняло въ себя фантастическій элементъ, который, однакожъ, не составляетъ существеннаго признака, а есть случайная примѣсь. Въ этомъ послѣднемъ, національно-нѣмецкомъ характерѣ явилась баллада и въ нашей литературѣ. Первый



опытъ ея: „Людмила“—передѣлка Бюргеровой „Леноры“—своею новостію и прелестью гармоническихъ стиховъ произвела сильное впечатлѣніе на публику, подобно тому, какое произвелъ Карамзинъ „Вѣдной Лизой“. Затѣмъ слѣдовали переводы другихъ нѣмецкихъ балладъ: Шиллера („Кассандра“, „Ивиковы журавли“, „Графъ Габсбургскій“, „Торжество побѣдителей“, „Кубокъ“, „Жалоба Цереры“ и др.), Уланда („Мщеніе“, „Гаральдъ“, „Три пѣсни“), Гете („Лѣсной царь“), и англійскихъ: Саути, Гольдсмита, Вальтеръ-Скотта („Замокъ Смальгольмъ“). Оригинальныхъ балладъ Жуковского только двѣ: „Свѣтлана“ и „Ахиллъ“. Первая описаніемъ гаданья на свѣткахъ и страшнаго сна гадавшей дѣвицы придавала русскій колоритъ стихотворенію, чѣмъ особенно и нравилась читателямъ и читательницамъ; вторая по изяществу стиха и по искреннему выраженію печальнаго предчувствія считалась образцовой. Современники восхищались обѣими; многіе знали ихъ наизусть отъ начала до конца.

Главная заслуга Жуковского, какъ сказано выше, состоитъ въ томъ, что онъ познакомилъ насъ съ разнообразными произведеніями иностранныхъ литературъ и тѣмъ далъ возможность сравнивать ихъ одиѣ съ другими, судить о ихъ достоинствахъ. Дѣйствительно, переводы его захватываютъ большое число авторовъ, представляютъ образцы многихъ поэтическихъ родовъ и видовъ. Собраніе его сочиненій заключаетъ въ этомъ отношеніи обильный матеріалъ. Для знакомства съ греческимъ, индѣйскимъ и персидскимъ эпосомъ служатъ: вторая пѣсня „Энеиды“, „Одиссея“, „Наль и Дамаанти“, „Рустемъ и Зорабъ“, съ средневѣковымъ—романсы „О Сидѣ“, съ романической драмой—„Орлеанская Дѣва“ (Шиллера), съ поворотомъ повѣстью—„Унди́на“, съ поэзіей Байрона и Мура—„Шильонскій узникъ“ и „Ангель и Пери“, съ лирикой—всѣ ея виды и формы: оды, гимны, элегин, пѣсни, съ другими видами эпической поэзіи: повѣсти, сказки, баллады и романсы. Въ художественномъ исполненіи переводы Жуковского справедливо считаются образцовыми, какъ по внутреннему значенію (духу и тону), такъ и по внѣшнему (выраженію). Чтобъ убѣдиться въ томъ, достаточно сличить переводы такихъ пьесъ Шиллера, какъ „Орлеанская Дѣва“, „Торжество побѣдителей“, „Жалоба Цереры“ съ ихъ подлинниками. Жуковский приступалъ къ дѣлу съ вѣрнымъ понятіемъ объ обязанностяхъ переводчика поэтическихъ произведеній. Онъ поставлялъ главную заслугу перевода въ дѣйствиіи, равносильномъ дѣйствию оригинала, а для этого переводчику необходимо исполниться духомъ переводимаго поэта. Вотъ слова его: „Поэтъ оригинальный воспламеняется идеаломъ, который находитъ у себя въ во-

ображеніи; поэтъ-переводчикъ въ такой же степени воспламеняется образцомъ своимъ, который вступаетъ для него мѣсто идеала собственнаго: слѣдовательно, переводчикъ, уступаая образцу своему пальму изобрѣтательности, долженъ необходимо имѣть одинаковое съ нимъ воображеніе, одинаковое искусство слога, одинаковую силу въ умѣ и чувствахъ“.

Стихъ и проза Жуковского обнаруживаютъ свободное, мастерское умѣнье владѣть роднымъ языкомъ. Особенно важенъ стихъ, составляющій эпоху въ исторіи нашей версификаціи. По двумъ періодамъ поэтической дѣятельности Жуковского онъ представляетъ два отличія: въ пьесахъ романтическихъ, соотвѣтственно ихъ содержанію, онъ по преимуществу музыкаленъ; въ пьесахъ того времени, когда Жуковский, говоря его словами, изъ мечтателя романтика сдѣлался классикомъ, онъ, также соотвѣтственно ихъ содержанію, по преимуществу изобразителенъ. Эти два свойства: музыкальность, или благозвучіе, и изобразительность, или живописность, и образуютъ истинно художественный стихъ. До Жуковского ни одинъ изъ русскихъ писателей не употреблялъ столь разнообразныхъ стихотворныхъ размѣровъ: онъ первый ввелъ ихъ въ нашу версификацію и водворилъ въ ней навсегда; каждый опытъ его въ томъ или другомъ былъ въ то же время образцомъ. Замѣтивъ монотонность хореевъ съ дактилическими окончаніями, которыми Карамзинъ, въ подражаніе народнымъ пѣснямъ, написалъ „Илью Муромца“, онъ употребляетъ эти окончанія черезъ стихъ (наприм., въ Монологѣ Іоанны д'Аркъ, „Ахъ, почто за мечъ воинственный“...). „Орлеанская Дѣва“ Шиллера переведена пятистопными ямбами, что тогда было новостью, потому что трагедіи обыкновенно писались alexandрійскими стихами. Въ „Шильонскомъ узникѣ“ (Байрона) однѣ мужскія рифмы, которыя, однако, не утомляютъ монотонностью. Въ балладѣ „Замокъ Смальгольмъ“ (Вальтеръ-Скотта) чередуется трехстопный и четырехстопный анапестъ, на который рѣдко покушались наши стихотворцы, какъ на тяжелый метръ. Въ послѣднее время простота формы сдѣлалась идеаломъ Жуковского: любимыми его метрами стали ямбы безъ рима и гексаметръ. Переводъ „Одиссеи“ въ литературномъ отношеніи удовлетворителенъ; но нельзя того же сказать о вѣрности подлиннику: въ этомъ отношеніи онъ, сдѣланный не съ подлинника, а съ подстрочнаго нѣмецкаго перевода, много уступаетъ „Иліадѣ“ Гвѣдича.

§ 54. Поэтический талантъ Батюшкова (1787—1855), равносильный таланту Жуковского, по качеству существенно отличается отъ него. Батюшковъ не былъ романтикомъ; стихотворенія его имѣютъ свойства, составляющія принадлежность античной поэзіи,

и главное изъ этихъ свойствъ—красота формы. Онъ самъ такимъ образомъ понималъ значеніе своей дѣятельности, какъ видно изъ его „Рѣчи о вліяніи легкой поэзіи на языкъ“. Подъ легкой поэзіей онъ разумѣетъ тѣ сочиненія, которыя противоположны эпической поэмѣ, драмѣ, восторженной лирикѣ, требующимъ великихъ усилій ума, пламеннаго воображенія и страстнаго чувства; тогда какъ произведенія легкой поэзіи требуютъ изящества формы, совершенства словеснаго выраженія. Это изящество и характеризуетъ лучшія стихотворенія Батюшкова. Однимъ изъ многихъ тому примѣровъ можетъ служить пьеса „Выздоровленіе“.

Какъ ландышъ подъ серпомъ убійственнымъ жнеца  
Склоняетъ голову и вянетъ,  
Такъ я въ болѣзни ждалъ безвременно конца  
И думалъ: Парки день настанетъ.  
Ужъ очи покрывалъ Эреба мракъ густой,  
Ужъ сердце медленнѣе билось:  
Я вянуль, исчезалъ, и жизни молодой,  
Казалось, солнце закатилось, и пр.

При чтеніи такихъ стиховъ, вполнѣ чувствуется ихъ образность и гармоничность. У грековъ собраніе небольшихъ, но изящныхъ по формѣ стихотвореній, а именно эпиграммъ и надписей называлось антологіей. Нѣкоторыя изъ этихъ антологическихъ пьесъ переложены Батюшковымъ не съ подлинниковъ, потому что онъ не зналъ греческаго языка, а съ французскаго перевода, сдѣланнаго С. С. Уваровымъ; несмотря на это, переложеніе вышло артистическимъ. Вотъ, для примѣра, надпись, подъ названіемъ „Яворъ къ прохожему“.

Смотрите, виноградъ кругомъ меня какъ вьется!  
Какъ любить мой полуистлѣвшій пенъ!  
Я нѣкогда давалъ ему отрадну тѣнь;  
Завяль—но виноградъ со мной не разстается.  
Зевеса умоли,  
Прохожій, если ты для дружества способенъ,  
Чтобъ другъ твой моему былъ нѣкогда подобенъ,  
И пепелъ твой любилъ, оставшись на земли.

Такъ какъ многія изъ собственныхъ сочиненій Батюшкова отличаются тѣми же художественными качествами, какія необходимо имѣтъ избраннымъ, антологическимъ пьесамъ, то отсюда и заключаютъ, что призваніемъ его было не только знакомить насъ съ красотами древне-классической поэзіи, но и создавать самостоятельныя произведенія въ ея духѣ.

Сочиненія Батюшкова можно раздѣлить на четыре отдѣла. Къ первому относятся тѣ, въ которыхъ авторъ, при воспоминаніи о



важѣйшихъ событіяхъ своей жизни, выражаетъ испитанныя имъ впечатлѣнія; лучшія изъ нихъ: „Посланіе къ Даникову“, „Возрожденіе“, „Тѣнь друга“. Второй заключаетъ въ себѣ переводы изъ главѣйшихъ итальянскихъ поэтовъ: Петрарки, Аріоста, Тасса, а также и оригинальную элегію. „Умирающій Тассъ“; въ лицѣ пѣвца „Освобожденнаго Іерусалима“ онъ представляетъ идеальный образъ поэта, къ которому Батюшковъ питалъ искреннее сочувствіе, находя въ немъ сходство съ собою по обстоятельствамъ жизни. Третій отдѣлъ — переводы античныхъ произведеній: три элегіи Тибулла и двѣнадцать пьесъ изъ Антологіи. Характеръ четвертаго отдѣла — эротическій: сюда принадлежатъ переводы изъ французскаго поэта Парни и собственныя стихотворенія въ томъ же родѣ; по граціи поэтическихъ изображеній и по изяществу стиха отдѣлъ этотъ заслуживаетъ также названія образцоваго и долженъ быть поставленъ на ряду съ переводами изъ антологіи.

§ 55. Первая четверть XIX-аго вѣка останется памятною въ исторіи нашей драмы и сценическаго искусства. Замѣчательные ихъ успѣхи зависѣли отъ сильнаго развитія общественнаго вкуса къ театру, а также отъ одновременнаго появленія талантливыхъ писателей и талантливыхъ артистовъ. Чтобы удовлетворить охотѣ публики къ зрѣлищамъ, доставлявшимъ ей эстетическое удовольствіе, необходимо было позаботиться о разнообразномъ репертуарѣ. Многіе изъ литераторовъ и приняли на себя эту обязанность, по любви къ драматической поэзіи. Особенною страстью къ театру и особенными ему заслугами отличался кн. А. Шаховской, членъ петербургской театральн. конторы по репертуарной части. Его стараніемъ учреждена въ Петербургѣ театральная школа для формированія „молодой труппы“, обновлявшей составъ главной труппы новыми дарованіями. При выборѣ и постановкѣ пьесъ артисты дорожили его опытностью. Самъ онъ написалъ до 80 пьесъ различнаго рода: трагедій, комедій, драмъ, оперъ, водевилей. Домъ его былъ сборнымъ мѣстомъ просвѣщенныхъ любителей театра и актеровъ. Общеніе послѣднихъ съ первыми служило имъ образовательною школою, развивало въ нихъ природные таланты. Гибдячъ, Катенинъ, Кокошкинъ, Загоскинъ, Хмѣльницкій, Жандръ... составляли литературный кругъ Шаховскаго: выслушивали чтенія новыхъ драматическихъ произведеній, дѣлали замѣчанія объ ихъ достоинствахъ и недостаткахъ, оцѣнивали игру артистовъ, обсуждали мѣры для лучшей постановки пьесъ. Къ этому же кругу присоединился и Грибоѣдовъ (1796—1829), авторъ комедіи „Горе отъ ума“.

Главная мысль этой знаменитой комедіи выражена въ ней самой слѣдующими словами главнаго дѣйствующаго лица, Чацкаго:

Какъ посравнить, да посмотрѣть  
Вѣкъ нынѣшній и вѣкъ минувшій,—  
Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ.

(Дѣйствіе II, явленіе 2).

Отсюда видно, что дѣлю автора было показать различіе между двумя послѣдовательными временами, почему въ комедіи два главныхъ лица: Чацкій и Фамусовъ. Первый (Чацкій) есть представитель времени Александра I; второй (Фамусовъ) вмѣстѣ съ Молчалинымъ и другими лицами служатъ представителями второй половины минувшаго вѣка, времени Екатерины II.

Въ первую четверть XIX-аго столѣтія образовался немногочисленный кругъ людей, который по умственному развитію и нравственнымъ началамъ выдѣлялся изъ общественнаго большинства. Появленіемъ своимъ онъ былъ обязанъ дѣйствию различныхъ силъ. Первая изъ нихъ — правительство, которое своимъ мѣрами распространяло и возвышало народное просвѣщеніе, даровавъ служебныя преимущества лицамъ, кончившимъ университетскій курсъ. Этою мѣрою дворянство, пренебрегавшее высшимъ ученіемъ для того, чтобы скорѣе поступать на службу, принуждено было основательнѣе готовиться къ ней въ той школѣ, которая сообщаетъ знанія, необходимыя для правильного и надежнаго прохожденія служебнаго поприща. По волѣ Государя переводились съ иностранныхъ языковъ капитальныя сочиненія по разнымъ отраслямъ знаній. Другою силой было болѣе серьезное знакомство съ Европой, т.-е. съ ея наукой и литературой. Наконецъ, третья сила заключалась въ нѣкоторыхъ капитальныхъ произведеніяхъ собственной литературы и науки, чтеніе которыхъ приносило большую пользу любознательнымъ, заботившимся о самовоспитаніи, какъ средствѣ сдѣлаться лучшимъ человекомъ и лучшимъ гражданиномъ. Члены образованнаго меньшинства общества составили себѣ твердое понятіе о нормальномъ качествѣ человѣческой жизни и старались, по этому понятію, устроить свою собственную жизнь, опредѣлить свои отношенія къ себѣ самимъ и другимъ. Интересы ума, нравственности, искусства возбуждали полное ихъ сочувствіе, какъ первенствующія блага, которымъ каждый долженъ служить своимъ образомъ мыслей и дѣлъ. Къ числу такихъ-то личностей, жившихъ осмысленною жизнію—жизнію по внутреннимъ убѣжденіямъ, а не по виѣшнимъ побужденіямъ—принадлежитъ Чацкій.

Фамусовъ рѣшительная противоположность Чацкому: они расходятся какъ въ мнѣніяхъ, такъ и въ дѣйствіяхъ. Ихъ понятія о службѣ несогласимы. Для Чацкаго служба есть долгъ, требующій добросовѣстнаго исполненія и имѣющій единственнымъ своимъ

предметомъ — пользу отечеству. На совѣтъ Фамусова: „Поди-ка послужи“, онъ отвѣчаетъ:

Служить бы радъ, прислуживаться тошно.

Онъ хочетъ „служить дѣлу, а не лицамъ“, потому что знаетъ что

Чины людьми даются,  
А люди могутъ обмануться.

Прислуживаньемъ отличался Молчалинъ и подобные ему люди, которые въ Александрову эпоху назывались „искательными“, способными „втираться“ въ милость къ началству исключительно для своей собственной пользы. Кромѣ того, во мнѣніи Чацкого, служба потеряла свою прежнюю исключительность, по которой дворянство обязано было избрать непременно одну изъ двухъ дорогъ — или военную, или статскую; все прочія занятія считались неприличными. Передъ людьми „новыхъ правилъ“ (такъ отозвался о нихъ Скалозубъ) открывались другія поприща, кромѣ officialнаго: дворянинъ, согласно своему призванію и способностямъ, могъ оказать пользу государственному благоустройству сельскохозяйственными трудами, могъ служить отечеству, занимаясь наукой и литературой, если чувствовалъ къ тому наклонность. Для Фамусова — служба есть средство къ личнымъ выгодамъ: наживѣ, чинамъ, знакамъ отличія. Онъ отправляетъ ее формально, заботясь только объ очисткѣ бумагъ: „что дѣло, что не дѣло — подписано, такъ съ плечъ долой“, другія побужденія — долгъ, добросовѣстность, общественная польза — не приходятъ ему въ голову. При выборѣ чиновниковъ онъ смотритъ не на ихъ способность и знаніе дѣла, а на родство:

При мнѣ служащіе чужіе очень рѣдки:  
Все больше сестрины, свояченицы дѣтки.

Кругъ друзей и знакомыхъ у такихъ личностей, какъ Чацкій, образуется не случайно, а разумнымъ выборомъ: связи между ними завязываются и крѣпнута отъ сродства мнѣній, отъ единства нравственныхъ началъ и цѣли жизни. Общество Фамусова не руководилось подобными резонами:

Кто хочетъ къ намъ пожаловать—изволь,  
Дверь открыта для званыхъ и незваныхъ...  
Хоть честный человѣкъ, хоть нѣтъ,  
Для насъ ровнехонько: про всехъ готовъ обѣдъ.

Какъ для Чацкого важенъ голосъ собственнаго о себѣ мнѣнія, которое безъ ошибки оправдываетъ или обвиняетъ поступки человека, потому что основано на нравственныхъ началахъ, такъ у



Фамусова голосъ совѣсти, чувство правды замѣняется боязнью свѣтскихъ пересудовъ, страхомъ передъ вопросомъ: „что скажутъ?“ Какъ отецъ, Фамусовъ считаетъ свою судьбу плачевною не потому, что дочь его попала въ исторію, а потому,

. . . . что станетъ говорить  
Княгиня Марья Алексѣвна.

Объ искренности, силѣ и достоинствѣ любви Чацкого къ Софѣ можно судить по словамъ его послѣдней:

. . . . Есть ли въ немъ <sup>1)</sup> та страсть, то чувство, пылкость та,  
Чтобъ кромѣ васъ ему міръ цѣлый  
Казался прахъ и суета?  
Чтобъ сердца каждое бие  
Любовью ускорялось въ вамъ?  
Чтобъ мыслямъ были веѣмъ и веѣмъ его дѣламъ  
Душою—вы, вамъ угожденье?

Фамусовъ, при желаніи выдать дочь замужъ, не принимаетъ въ расчетъ взаимнаго чувства; онъ слѣдуетъ другому правилу: „кто бѣденъ, тотъ тебѣ не пара“. Другимъ условіемъ для жениха полагалось видное мѣсто въ обществѣ по рангу или родству съ знатными:

. . . . у насъ ужъ изстари ведется,  
Что по отцу и сыну честь;  
Будь плохенькій, да если наберется  
Душъ тысячи двѣ родовыхъ,  
Тотъ и женихъ.

Наконецъ, Фамусовъ враждебенъ къ наукѣ; онъ называетъ ученіе чумою и предлагаетъ радикальное средство истребить чуму:

. . . . Ужъ коли зло пресѣчь,  
Собрать всѣ книги бы, да сжечь.

Чацкій не щадитъ поборниковъ невѣжества: онъ смѣется надъ родственникомъ Софьи, врагомъ книгъ,

въ ученый комитетъ который поселился  
И съ крикомъ требовать присягъ,  
Чтобъ грамотъ никто не зналъ и не учился;

смѣется также надъ воспитаньемъ, при которомъ заботились не о далекости въ наукѣ, а о наборѣ учителей „числомъ поболѣе, цѣною подешевле“.

Кромѣ главной мысли, въ „Горѣ отъ ума“ есть другая, хотя второстепенная, но тѣмъ не менѣе замѣчательная — о нашемъ подражаніи всему иностранному; она выражена въ монологъ Чацкого (*дѣйствіе III, явленіе 22*):

---

<sup>1)</sup> Въ Молчалинѣ.

... Я возсылать желанья,  
 Чтобъ истребилъ Господь нечистый этотъ духъ  
 Пустого, рабскаго, слѣпота подражанья;  
 Чтобъ искру заронилъ онъ въ комъ-нибудь съ душой,  
 Кто могъ бы словомъ и примѣромъ  
 Насъ удержать, какъ крѣпкою вожжей,  
 Отъ жалкой тошноты по сторонѣ чужой

...  
 Ахъ, если рождены мы все перенимать,  
 Хотъ у китайцевъ бы намъ нѣсколько запять  
 Премудраго у нихъ незнанья иноземцевъ!  
 Воскреснемъ ли когда отъ чужевластья модъ,  
 Чтобъ умный, добрый нашъ народъ  
 Хотя по языку насъ не считалъ за нѣмцевъ!

Негодованіе Чацкаго, или, вѣрнѣе, самого автора, объясняется двумя причинами. Во-первыхъ, Грибоѣдовъ жилъ среди московскаго общества въ то время, когда пристрастіе къ французскому, доходя до крайности, производило то комическія, то оскорбительныя для русскаго чувства послѣдствія: гостепріимство готовило столы для званныхъ и незванныхъ, но „особенно для иностранныхъ“; отъ иностранцевъ, для составленія партій, не требовали того, что требовалось отъ русскихъ жениховъ — „съ имѣніемъ быть и въ чинѣ“; русскія барышни обращались въ копіи парижскихъ модистокъ. Во-вторыхъ, Грибоѣдовъ, вмѣстѣ съ другими мыслящими людьми своего времени, сознавалъ необходимость самостоятельнаго развитія не только нашей литературы, но и всей нашей жизни, почему и считалъ патріотическою обязанностью противоборствовать чужеземнымъ вліяніямъ, отъ кого бы они ни исходили.

Отцѣнивая комедію Грибоѣдова не со стороны ея идеи, а по отношенію къ законамъ комедій вообще, критики справедливо находили въ ней недостатокъ дѣйствія: положеніе дѣйствующихъ лицъ не измѣняется въ теченіе всѣхъ четырехъ актовъ; они мало дѣлаютъ, а большею частью говорятъ. Отсюда и выводилось заключеніе, что „Горе отъ ума“ не столько комедія, сколько сатира, превосходно обдуманная, строго-правдивая, кипящая огнемъ негодованія. Но въ этой сатирѣ высокій талантъ выразился такъ сильно и блистательно, какъ другіе таланты не выражались и въ десяткахъ комедій. Есть рѣчи, которыя лучше всякихъ дѣйствій характеризуютъ людей и живѣе представляютъ картину современныхъ нравовъ. Къ такимъ рѣчамъ принадлежатъ разговоры Фамусова съ дочерью, Чацкимъ и Скалозубомъ: они до тонкости знакомятъ насъ съ наклонностями, понятіями и бытомъ современнаго ему общества. Истинный комизмъ Фамусова заключается въ томъ, что онъ отъ чистаго сердца убѣжденъ въ превосходствѣ своего

образа мыслей, не понимая вреда, который производится дѣлами, основанными на такомъ образѣ мыслей. О Чацкомъ сдѣланъ справедливый приговоръ Пушкинымъ: „Чацкій совѣтъ не умный человѣкъ, но Грибоѣдовъ очень уменъ“. Умный и благовоспитанный человѣкъ не позволитъ себѣ, конечно, въ обществѣ того, что позволялъ Чацкій: говорить въ глаза колкости, обнаруживать раздражительность и заносчивость. Но мысли, которыя высказываются Чацкимъ отъ лица автора, очень умны. Чацкаго можно сравнивать съ Стародумомъ Фонвизина, и какъ „Недоросль“ былъ обязанъ главнымъ своимъ успѣхомъ рѣчамъ Стародума, такъ и „Горе отъ ума“ привлекаетъ публику преимущественно ролью Чацкаго. Его рѣчи выслушиваются съ особеннымъ вниманіемъ и сочувствіемъ; онѣ увѣковѣчили имя ея автора; благодаря имъ, пьеса долго еще будетъ держаться на сценѣ, какъ по мысли, такъ и по образцовому изображенію дворянскаго московскаго общества въ эпоху Александра I.

## Г. Время Пушкина и Гоголя.

§ 56. Пушкинъ (1799—1837) освободилъ нашу литературу отъ подражательности, господствовавшей въ ней со времени Ломоносова, и далъ ей самобытное направленіе. Содержаніе для своей поэзіи бралъ онъ изъ народной жизни, которую и изображалъ художественно, почему основанная имъ школа называется художественною.

Для совершенія такого подвига необходимъ высокій поэтический гений. Поэзія, какъ искусство, представляетъ сущность предметовъ, ихъ идеи, не отвлеченно, то-есть не въ сужденіяхъ, а конкретно, то-есть въ образахъ, посредствомъ слова. Образы создаются творческой способностью, фантазіей. Отъ степени ея силы зависитъ большее или меньшее достоинство созданныхъ образовъ. Наибольшая сила обнаруживается въ созданіи такихъ образовъ, которые въ совершенной чистотѣ и истинѣ воплощаютъ въ себѣ идеи и образуютъ съ ними нераздѣльное, органическое единство. Если поэтическое произведеніе отличается такимъ сочетаніемъ идеи и образа (какъ формы идеи), что форма вполне соотвѣтствуетъ идеѣ и даетъ возможность ясно созерцать ее, то оно получаетъ названіе художественнаго. Пушкинъ и былъ у насъ первымъ поэтомъ-художникомъ, потому что обладалъ высокимъ творческимъ гениемъ. Поэзія, какъ онъ самъ говоритъ, была его страстью; она поглощала всѣ другія впечатлѣнія жизни. Онъ сознавалъ свое призваніе — открыть собою новый періодъ творчества въ русской поэзіи — и чувствовалъ въ себѣ силу совершить дѣло, на которое былъ при-



звать. Этимъ объясняется понятіе Пушкина и его послѣдователей о значеніи поэта: поэтъ—избранникъ неба, человѣкъ, высоко стоящій надъ другими смертными; къ поэтической дѣятельности они относились съ благоговѣніемъ, называли ее „священнодѣйствіемъ“, а каждый актъ творчества—„священною жертвой“, приносимой поэтомъ, какъ „жрецомъ Аполлона“, своему богу-вдохновителю.

Художественная мѣра—это существенное отличіе произведеній искусства—является у Пушкина во всей своей силѣ. Отъ природы обладалъ онъ удивительнымъ эстетическимъ тактомъ, указывающимъ предѣлы, изъ которыхъ не слѣдуетъ выходить. Созданія его отличаются точною соразмѣрностью между содержаніемъ и формой: въ формѣ заключается именно то, что нужно для разумнѣя содержанія, для созерцанія воплощенной въ ней идеи. Нѣтъ ничего лишняго, неумѣстнаго, что бы мѣшало ясности созерцанія; а съ другой стороны нѣтъ ничего односторонняго, недостающаго, что бы мѣшало *полнотѣ* созерцанія. Это показываетъ, какъ зорко Пушкинъ слѣдилъ за собою въ моменты творческаго процесса. Не только созданный образъ, но и внѣшнее его выраженіе, т.-е. языкъ, запечатлѣнъ у него, какъ ниже увидимъ, тѣмъ же чувствомъ художественной мѣры. Даровитѣйшіе изъ его предшественниковъ—Державинъ, Жуковский, Батюшковъ—не безупречны въ этомъ отношеніи. Въ ихъ стихотвореніяхъ нерѣдко нарушается поэтическая красота излишествомъ матеріала, не нужнымъ для выраженія чувствъ или мыслей. Они выходятъ растянутыми, безъ сосредоточенности въ одномъ пунктѣ; безъ органической цѣльности. Нѣкоторыя оды Державина (напр. „Водопадъ“) и подобные пьесы Жуковского („Пѣснь барда надъ гробомъ славянъ-побѣдителей“, „Пѣвецъ въ Кремлѣ“, „Посланіе Императору Александру I“) уклоненіями въ сторону—иногда разсужденіями, иногда риторическимъ многословіемъ—даютъ чувствовать отсутствіе мѣры, безъ которой поэтическая форма лишается существенной своей принадлежности—изящества, граціи.

Въ изображеніи дѣйствительности поэтъ-художникъ раскрываетъ намъ истинную сущность: иначе онъ не художникъ. Одаренный уметвенною зоркостью и сильною воспримчивостью впечатлѣній, онъ видитъ въ каждомъ предметѣ природы, въ каждомъ явленіи человѣческой жизни ихъ характеристическія особенности, отличительную ихъ фizioномію, и знакомитъ насъ съ ними въ вѣрномъ ихъ отраженіи—въ своемъ твореніи. Отражаемый предметъ является вполне правдоподобнымъ, согласнымъ съ законами естества и даетъ намъ знать именно то, что отъ природы ему

присуще. Это художественно-вѣрное воспроизведеніе жизни ведетъ свое начало отъ Пушкина. Давно и справедливо называлъ онъ первымъ „поэтомъ дѣйствительности“. А такой поэтъ не можетъ посягать на искаженіе предметовъ: онъ не возвышаетъ и не унижаетъ ихъ, не возвеличиваетъ и не умаляетъ, не стираетъ данной имъ красоты, но и не украшаетъ той красотой, какой они не имѣютъ. Творенія его запечатлѣны истинной, *художественной правдой*; они согласны съ дѣйствительностью. Таковы творенія Пушкина: онъ первый уничтожилъ *противорѣчіе между жизнью и поэзіей*. Прежде стихотворцы часто грѣшили въ этомъ отношеніи — и невольно, и намѣренно: невольно, когда они не замѣчали того, что есть; намѣренно, когда они старались видѣть то, чего нѣтъ. Лучшій образецъ тому — картины нашихъ идилликовъ: онѣ живописали сельскій бытъ въ такомъ состояніи, въ какомъ онъ никогда не находился; въ нихъ все невѣрно, отъ начала до конца. Невѣрность происходила оттого, что дѣйствительность, какова она на самомъ дѣлѣ, не привлекала нашихъ литераторовъ: находя ее бѣдною, невзрачною, слишкомъ простою и обыкновенною, они хотѣли украшать ее, облагораживать, возвышать, — отсюда фальшивая идеализація, противная трезвому взгляду на вещи.

Поэтъ дѣйствительности вообще, Пушкинъ по преимуществу — *поэтъ дѣйствительности русской*. Русская природа, русскій человѣкъ были любимѣйшими предметами его поэзіи. Въ выборѣ предметовъ изъ родной природы и родной жизни онъ не ограничивался какимъ-нибудь однимъ отдѣломъ. „Все было предметомъ его поэзіи“, говоритъ Гоголь: „и ничего въ особености, исключительно; въ природѣ видимой — отъ Кавказа и Крыма до бѣдной деревушки съ балалайкой и трепакомъ; въ мірѣ природы человѣческой — отъ героическаго подвига и высокаго помысла до малѣйшаго вздоха слабости. На все откликнулся онъ, какъ звучное эхо, съ которымъ самъ себя сравниваетъ“:

Реветь ли звѣрь въ лѣсу глухомъ,  
Трубить ли рогъ, гремитъ ли громъ,  
Поетъ ли дѣва за холмомъ—

На всякій звукъ  
Свой откликъ въ воздухѣ пустомъ  
Родишь ты вдругъ.

Его поэтическая сила была способна все обнимать, во всемъ находить себѣ пищу:

Таковъ прямой поэтъ: онъ *смыкаетъ* душой  
На пышныхъ играхъ Мельпомены,  
И *улыбается* забавѣ площадной  
И вольности лубочной сцены.

Само собою разумѣется, откликъ Пушкинской поэзія на голоса видимой и невидимой природы не былъ пассивнымъ, какъ у эхо; онъ, по словамъ Гоголя, возводился въ *перль созданія*, отражалъ сущность предмета или явленія.

Но въ мірѣ физическомъ, равно какъ и въ мірѣ человѣческомъ, двѣ стороны: возвышенная и низменная, эстетическая и пошлая, свѣтлая и темная. Выборъ той или другой, какъ матеріала для поэтического представленія, зависитъ уже отъ природной склонности поэта. Пушкинъ выбралъ себѣ первую, эстетическую сторону дѣйствительности. Онъ воспроизводилъ красоту мірозданія. Стремленіе къ изящному, даръ видѣть и чувствовать его вездѣ обнаруживается у него постоянно. Укажемъ нѣсколько примѣровъ. Извѣстно, что осень считается самымъ дурнымъ временемъ года; но отчего же картины осени, въ сочиненіяхъ Пушкина, плѣняютъ каждого, обладающаго чувствомъ изящнаго? Оттого, что онъ художественно-вѣрны природѣ; оттого, что поэтъ видѣлъ дѣйствительныя красоты осеннихъ дней, которыя каждый изъ насъ замѣчалъ въ извѣстные моменты, хотя въ другіе моменты замѣчалъ и другія, также дѣйствительныя принадлежности осени: дождь, сырость, грязь, холодъ. Вотъ нѣсколько строкъ изъ стихотворенія „Осень“:

Унылая пора, очей очарованье  
Пріятна мнѣ твоя *прощальная краса!*  
Люблю я *пышное* природы *увяданье*,  
Въ *багрецѣ* и *золото* одѣтые лѣса.

Итакъ у осени есть красота, хотя и *прощальная*, но *пріятная*; природа увядаетъ, но это увяданье—пышное: листья потеряли зеленый цвѣтъ, но одни сдѣлались желтыми какъ золото, другіе красными, какъ багрецъ. Все вмѣстѣ образуетъ картину, которая очаровываетъ зрѣніе. Другая картина осени (въ стихотвореніи „Капризъ“, обличающемъ фальшь идиллическихъ описаній), настраивая душу на печальный тонъ, не представляетъ, однакожъ, ничего отвращающаго глазъ и оскорбляющаго чувство изящнаго; напротивъ, она чрезвычайно граціозна:

Смотри, какой здѣсь видъ: избушекъ рядъ убогой,  
За ними черноземъ, равнины скать отлогой,  
Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса.  
Гдѣ жъ нивы свѣтлыя? гдѣ темные лѣса?  
Гдѣ рѣчка? На дворѣ у низкаго забора  
Два бѣдныхъ деревца стоятъ въ отраду взора.  
Два только деревца, и то изъ нихъ одно  
Дождливой осенью совсѣмъ обнажено,  
А листья на другомъ размокши и, жемчѣя,  
Чтобъ лужу засорить, ждуть перваго Вояка,  
И только.



Одинъ и тотъ же предметъ въ одно время бываетъ красивымъ, въ другое некрасивымъ. Цыганскій таборъ въблизи можетъ оскорбить слухъ, зрѣніе и даже чувство обонянія: по этотъ же самый таборъ, при лунномъ освѣщеніи, можетъ представить пріятную картину, которую живописецъ охотно перенесетъ на полотно. Подобная картина находится въ „Цыганахъ“. Если нельзя сказать, что безпорядокъ, грязь и лохмотья не суть принадлежности цыганскихъ таборовъ, то равно нельзя сказать, что черты цыганскаго табора въ поэмѣ Пушкина невѣрны, еще менѣе можно сказать, что онѣ сочинены. То и другое вѣрно; разница въ томъ, что одинъ поэтъ склоняется къ представленію перваго, а другой къ представленію второго. Гоголь вѣрно обозначилъ отличительное свойство Пушкина, какъ *поэта эстетической стороны дѣйствительности*. Въ Мертвыхъ душахъ (часть I, гл. VI) онъ изобразилъ различную судьбу двухъ писателей, опредѣляемую господствующею наклопностью ихъ талантовъ: одного—воспроизводящаго возвышенную, свѣтлую, эстетическую сторону дѣйствительности; другого — воспроизводящаго низменную, пошлую, прозаическую сторону той же дѣйствительности. Подъ первымъ разумѣлъ онъ Пушкина, подъ вторымъ — себя. Вотъ что говорится о первомъ: „Счастливъ писатель, который, мимо характеровъ скучныхъ, противныхъ, поражающихъ печальною своею дѣйствительностью, приближается къ характерамъ, являющимъ высокое достоинство человѣка; который изъ великаго омута ежедневно вращающихся образовъ избралъ одни немногія исключенія; который не измѣнялъ ни разу возвышеннаго строя своей лиры, не ниспускался съ вершины своей къ бѣднымъ ничтожнымъ своимъ собратьямъ и, не касаясь земли, весь повергался въ свои далеко отторгнутые отъ нея и возвеличенные образы. Вдвойнѣ завиденъ удѣлъ его: онъ среди ихъ, какъ въ родной семьѣ; а между тѣмъ далеко и громко разносится его слава. Онъ окурилъ употѣлнымъ куревомъ людскія очи; онъ чудно польстилъ имъ, сокрывъ печальное въ жизни, показавъ имъ „прекраснаго человека“.

Отъ Пушкина и нельзя было ожидать иного представленія, зная его врожденную любовь къ изящному и возникшее изъ этой любви міросозерцаніе. Онъ смотрѣлъ на міръ, какъ на высочайшее художественное произведеніе. Этимъ взглядомъ объясняется особенный характеръ его элегій. Въ нихъ временный разрывъ съ дѣйствительностью заканчивается примиреніемъ. Какъ ни серьезно задумывался поэтъ надъ жизнію, какія невзгоды ни посылала она на его долю,—неизмѣннымъ его чувствомъ было чувство сладости бытія. Жизнь была для него идеаломъ, къ которому онъ постоянно

обращался, какъ къ цѣлительному источнику, возстановляющему бодрость духа. Необходимость страданій для человѣка, какъ существа мыслящаго, не ослабляла его жизнелюбія. Предчувствуя трудъ и горе, которыя сулило ему „грядущаго волнующее море“, онъ настойчиво восклицаетъ:

Но не хочу, о други, умирать:

Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать.

Въ стихотвореніи: „Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ“, печальное раздумье о близости смерти переходитъ въ успокоительное настроеніе духа, любящаго жизнь и природу:

И пусть у гробового входа

Младая будетъ жизнь играть,

И равнодушная природа

Красою вѣчною сиять.

Поэтъ другого направленія, напротивъ, пригласилъ бы природу облечься въ трауръ, по случаю его смерти, а близкихъ и друзей почтить его память надгробными слезами. Такъ еще въ стихотвореніи: „Опять на родинѣ“, при видѣ молодой рощи, разросшейся въ его отсутствіе, Пушкинъ обращается къ ней съ желаніемъ, чтобы она своимъ привѣтнымъ шумомъ встрѣчала его внука:

Здравствуй племя

Младое, незнакомое! Не я

Увижу твой могучій поздній возрастъ,

Когда перерастешь моихъ знакомцевъ

И старую главу ихъ заслонишь

Отъ глазъ прохожаго. Но пусть мой внукъ

Услышитъ вашъ привѣтный шумъ, когда

Съ пріятельской бесѣды возвращаясь,

Веселыхъ и пріятныхъ мыслей полнъ,

Пройдетъ онъ мимо васъ во мракѣ ночи

И обо мнѣ вспоманетъ.

Отсюда видно, что эти элегіи не похожи на элегіи Жуковского, который хотя и находитъ утѣшеніе въ своей тоскѣ по утраченному благу, но не въ самой жизни, какъ Пушкинъ, а въ ея — въ воспоминанія о прошломъ и въ надеждѣ на возвратъ блага въ загробномъ существованіи. Но онъ совершенно въ характерѣ народныхъ чувствъ и представленій. Русскій человѣкъ не падаетъ духомъ въ бѣдѣ. Онъ неспособенъ къ унынію и отчаянію, и въ пѣснѣ „о горѣ-гореваньицѣ“ поетъ: „въ горѣ жить — не кручину быть“. Въмѣсто того, чтобы поддаваться горю, онъ овладѣваетъ имъ, даже иногда смѣется надъ нимъ; а кто смѣется надъ горемъ, тотъ ужъ этимъ доказываетъ, что онъ выше горя, и слѣдов. свободенъ отъ него.

Произведенія Пушкина, какъ истинно-художественныя, чужды тенденціозности, т.-е. стремленія служить извѣстному образу мыслей или возбуждать извѣстные чувства. Его поэзія не имѣла никакой посторонней, внѣ ея лежащей цѣли: „Какъ ему было говорить о чемъ-нибудь потребномъ современному обществу въ текущую минуту (замѣчаетъ Гоголь), когда всякій предметъ равно звалъ его... Борисъ Годуновъ и Полтава—откликъ минувшему. Ничего не хотѣлъ онъ сказать ими своему времени; никакой пользы соотечественникамъ не замышлялъ онъ выборомъ этихъ двухъ предметовъ; не видно также, чтобы онъ исполнился особеннаго участія къ какому-нибудь изъ выведенныхъ здѣсь героевъ и предпринялъ бы изъ-за того эти двѣ поэмы. Онъ только изумился необычайности двухъ историческихъ событій и хотѣлъ, чтобы, подобно ему, изумились другіе“. Что Пушкинъ именно такъ, а не иначе, понималъ призваніе поэта — быть только выразителемъ художественной истины, независимо отъ какихъ-либо покушеній на ея служебное значеніе, это видно изъ его стихотвореній: „Чернь“ и „Поэту“. Первое, отвергая вторженіе поэтовъ въ чуждыя имъ области, въ то же время указываетъ прямую ихъ обязанность:

Не для житейскаго волненья,  
Не для корысти, не для битвъ:  
Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Второе предоставляетъ дѣятельности поэта свободный путь, по которому онъ шествуетъ властительно, совѣтуясь только съ самимъ собою, довольствуясь только своимъ собственнымъ судомъ:

Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной  
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,  
Усовершенствуя плоды высокихъ думъ,  
Не требуя наградъ за подвигъ благородный.  
Онъ въ самомъ тебѣ. Ты самъ свой высшій судъ.

Такимъ поэтомъ и былъ Пушкинъ—искренній служитель чистаго искусства, искусства ради искусства. Такое искусство, разумѣется, не приноситъ той пользы, которая называется утилитарностью. Но оно даетъ гораздо больше того, что получается отъ приложенія поэтическихъ произведеній къ потребностямъ дня. Высокія думы, какъ плодъ свободного ума, и художественное выраженіе этихъ думъ, какъ плодъ свободного творчества, суть дѣйствительно подвиги благородные и несомнѣнно полезные, въ высшемъ значеніи этого слова.

Пушкинъ—поэтъ національный. Съ него литература наша вступила въ періодъ художественно-народной, которая не состоитъ въ противоположности съ народной устной, но отличается отъ послѣд-



ней тѣмъ, что развилась подъ вліяніемъ культуры и получила чрезъ то высшее значеніе. Это качество поэзіи Пушкина тѣмъ болѣе замѣчательно, что по своему начальному воспитанію и раннему знакомству съ французской литературой онъ легко могъ бы подпасть ея исключительному игу. Однакожъ этого не случилось. Онъ быстро отрѣшился отъ своего „проклятаго“ воспитанія, какъ онъ самъ называетъ его. Такой переворотъ нельзя объяснить посторонними обстоятельствами, напр., выслушиваніемъ и записываніемъ разсказовъ няни, или двухлѣтнимъ пребываніемъ съ нею въ деревнѣ. Объясняется онъ тѣмъ, что въ природѣ Пушкина крѣпко заложены были истыя начала русскаго духа, отличающія насъ, какъ народъ, отъ другихъ народностей. Случайныя вліянія могли принести нѣкоторую пользу поэту только при могучей организациі его духа.

Подъ словами „національный“ или „народный“ поэтъ должно разумѣть не то, что онъ для своего творчества выбираетъ предметы изъ природы и жизни родной земли, ибо выборъ предмета самъ по себѣ ничего не значить, а то, что въ произведеніяхъ поэта отражаются стихійныя, существенныя свойства его народа, такія свойства, по которымъ всѣ члены одной и той же народности, какого бы ни было возраста, сословія и развитія, состоятъ въ кровномъ между собою родствѣ, образуютъ единое цѣлое, отличное отъ всѣхъ прочихъ народностей. Чѣмъ выше поэтическое талантъ, тѣмъ чище, сильнѣе и содержательнѣе отражается въ его творествѣ народный духъ. Но чтобы вполне воспринимать это отраженіе, т.-е. не только чувствовать, но и сознавать его истинность и красоту, необходимо имѣть извѣстный уровень образованности, соотвѣтственно поэтическому уровню отраженія. Человѣкъ образованный, прошедшій ту или другую школу, легко схватываетъ мотивы простонародной пѣсни и тотчасъ узнаетъ въ ней свое, родное; но нельзя сказать, чтобы простолюдинъ могъ схватить и понять свое, родное въ твореніяхъ культурной поэзіи, хотя здѣсь и тамъ одинъ и тотъ же духъ. Пушкину слышалось родное

Въ долгихъ пѣсняхъ ямщика:  
То разгулье удалое,  
То сердечная тоска.

Отсюда не слѣдуетъ обратнаго заключенія: ямщикъ можетъ не слышать родного въ поэзіи Пушкина; до такого слуха онъ еще не доросъ, не дообразовался. А между тѣмъ различія между необразованнымъ и высоко-образованнымъ, по отношенію къ народной ихъ природѣ, никакого не существуетъ; тотъ и дру-

уч. ист. лит. 13

гой чисто-русскіе люди, только стоящіе на разныхъ ступеняхъ духовнаго развитія. Но изъ того, что русскій возвысилъ свой духъ развитіемъ, нисколько не слѣдуетъ, чтобы чрезъ это самое онъ пересталъ быть русскимъ.

Пушкинъ видѣлъ отличительную черту русской поэзіи на всѣхъ ся степеняхъ:

Поэтъ уныло русская дѣвица,  
Какъ музы наши, грустная пѣвица.  
. . . . .Всей семьей,  
Отъ ямщика до перваго поэта,  
Мы всѣ поемъ уныло. . .  
. . . . .Печалию согрѣта  
Гармонія и нашихъ музъ и дѣвъ;  
Но правится ихъ жалобный напѣвъ.

Этотъ отличительный мотивъ нашей народной поэзіи перешелъ въ созданія Пушкина, а вмѣстѣ съ тѣмъ и отношеніе къ горести какъ у народа, такъ и у поэта вышло тождественнымъ, что мы видѣли въ элегіяхъ. Оба они „живучи въ горѣ—остаются некручинными“. Подражанія Пушкина народнымъ произведеніямъ мастерски воспроизводятъ ихъ духъ и складъ. Таковъ, напримѣръ, прологъ къ „Руслану и Людмилѣ“, сжато, точно и картинно изображающій русскій сказочный міръ; по совершеннымъ образцамъ въ этомъ отношеніи служить „Русалка“.

Внѣшняя форма, т.-е. словесное выраженіе, въ произведеніяхъ Пушкина такъ же художественна, какъ форма внутренняя, т.-е. образы, созданные фантазіей для воплощенія идей. Качества послѣдней отличаютъ и первую. Важнѣйшее изъ этихъ качествъ—мѣра, состоящая въ отсутствіи всего лишняго. Говорится лишь то, что было нужно сказать; словесный матеріалъ строго подчиненъ содержанію и не выходитъ за его предѣлы. Второе качество—точность, которую Пушкинъ цѣнилъ въ особенности и которая состоитъ въ выборѣ словъ и выраженій, самыхъ опредѣлительныхъ, самыхъ соответственныхъ понятіямъ. Поэтъ никогда не увлекался желаніемъ щегольнуть красивымъ выраженіемъ потому только, что оно красиво; онъ заботился о пріисканіи ближайшаго къ сущности понятія слова, самаго точнаго и въ то же время самаго простого. Въ особенности художественны, по точности и мѣткости, эпитеты; никто не сравнился съ нимъ въ этомъ отношеніи. Третье качество—свобода, гибкость и подвижность. Пушкинъ не исключалъ изъ своей рѣчи никакихъ словъ и никакихъ оборотовъ, если видѣлъ, что они вполне умѣстны: онъ равно пользовался архаизмами, неологизмами, славянизмами, барбаризмами, когда они были ему пужны для обозначенія какого-нибудь оттѣнка мысли. Народ-

ный говоръ разрѣшался имъ съ такимъ же правомъ, съ какимъ и говоръ образованнаго общества. Кто хорошо знаетъ отечественный языкъ и притомъ не лишенъ чувства изящнаго, тому не придетъ и на мысль считать погрѣшностями то, что считалось таковыми съ точки зрѣнія лже-пуристовъ, остановившихся на одной-сторонней и условной теоріи слога. Встрѣчая, напримѣръ, такіе стихи

Подъ ними спать сей властелинъ,  
Сей *идолъ* сѣверныхъ дружинъ,  
Сей остальной изъ *стай* славной  
Екатерининскихъ орловъ (*Ко гробу Кутузова*);

И путникъ слово примиренья  
На *ономъ* камнѣ начертить (*Наполеонъ*);

Людскую *моль* и конскій *тонъ* (*Полтава*);

*Зане* святыи владыка передъ царемъ  
Во храминѣ тогда не находился (*Борисъ Годуновъ*);

никто не спроситъ: почему *сей* и *онъ* употреблены вмѣсто *этотъ* и *тотъ*, *идолъ* вмѣсто *кумиръ*, *стая* вмѣсто *сонмъ*? или зачѣмъ монахъ Пименъ сказалъ *зане*, а не сказалъ *потому что*? никто не удивится словамъ *моль* и *тонъ*, такъ какъ они взяты изъ русской сказки и слѣд. не могутъ быть противны духу русскаго языка.

Характеристическое отличіе стиха Пушкина—грація, при необыкновенной простотѣ и естественности. Эта грація есть вышнее выраженіе внутренняго—самаго чувства поэта, которое проникаетъ собою стихъ и кладетъ на него печать собственной прелести. Владѣя стихомъ совершенно свободно, Пушкинъ безразлично относился къ разнымъ его размѣрамъ. Любимѣйшимъ размѣромъ его былъ ямбъ, по преимуществу четырехстопный, потому что поэтъ-художникъ въ стихѣ одного и того же рода можетъ выражать многообразныя мысли и чувства: стихъ получаетъ у него другой толкъ не по роду и количеству стопъ, а по теченію рѣчи, зависящему отъ характера чувства. Онъ цѣнилъ достоинство каждой стихотворной формы и умѣлъ приспособляться къ ней: въ каждой онъ чувствовалъ себя одинаково ловко; вполне свободный отъ пристрастія къ той или другой онъ могъ по произволу держаться какой ему вздумается <sup>1)</sup>.—Но изъ того, что Пушкинъ совершенно свободно владѣлъ языкомъ вообще, стихомъ въ частности, не слѣдуетъ за-

<sup>1)</sup> Замѣтка о Пушкинѣ, Н. Страхова (Складчина, литературный сборникъ 1874).



ключать, что стихотворенія не стоили ему никакого труда. Черновые рукописи, сохранившіяся послѣ его смерти, показываютъ съ какою тщательностью отдѣлывалъ онъ свою работу, какъ, не довольствуясь какимъ-нибудь словомъ или рѣчю, онъ замѣнялъ ихъ другими, другія третьими... и не успокаивался до тѣхъ поръ, пока не находилъ самыхъ соотвѣтственныхъ, необходимо принадлежавшихъ предмету.—Со времени Пушкина главные элементы нашего литературнаго языка—русскій и церковнославянскій—вошли въ принадлежащія имъ предѣлы. Что Ломоносовъ писалъ въ разсужденіи о пользѣ церковныхъ книгъ, что было предметомъ спора между Шишковымъ и послѣдователями Карамзина, о чемъ стилистическая критика до Пушкина и при немъ толковала въ своихъ разборахъ,—то все стало анахронизмомъ. Сужденія о преимуществѣ того или другого элемента потеряли всякій смыслъ: оба равно хороши, если умѣстны; оба равно дурны, если занимаютъ не свое мѣсто. Отъ Пушкина же народный языкъ получилъ право гражданства въ языкѣ литературномъ. Онъ и самъ пользовался имъ, какъ великій художникъ, и обращалъ на него вниманіе другихъ. Вотъ какъ онъ думалъ о немъ: „Разговорный языкъ простого народа (не читающаго иностранныхъ книгъ и, слава Богу, не искажающаго, какъ мы, своихъ мыслей на французскомъ языкѣ) достоинъ глубочайшихъ изслѣдованій. Альфіери изучалъ италіанскій языкъ на флорентинскомъ базарѣ. Не худо намъ иногда прислушиваться къ московскимъ просвирнямъ: онѣ говорятъ удивительно чистымъ и правильнымъ языкомъ“. Прежде этотъ народный языкъ допускался въ одинъ какой-нибудь родъ литературныхъ произведеній (какъ, напр., въ басняхъ Крылова); съ Пушкина онъ получилъ высшее значеніе, какъ основной, коренной элементъ, изъ котораго почерпаются матеріалы для обновленія и усовершенствованія языка общелитературнаго.

Поэзія Пушкина принесла русскому обществу великую пользу, соотвѣтственно великой важности искусства, имѣющаго свое самостоятельное значеніе, а не значеніе средства для достиженія постороннихъ цѣлей. Его художественныя произведенія, раскрывая истинную сущность человѣческаго духа, содѣйствовали нашему сознанію этой сущности. Поэтическое творчество свойственными ему средствами даетъ намъ ясно видѣть и вѣрно понимать то, что безъ него осталось бы незримымъ и незнаемымъ. Какъ поэтъ русской дѣйствительности—и современной, и отошедшей въ исторію,—Пушкинъ несомнѣнно вліялъ на народное самопознаніе, потому что русская природа, русскій человѣкъ явились у него въ

ихъ внутренней правдѣ, въ откровеніи ихъ существенныхъ свойствъ. Можно сказать, что своимъ вліяніемъ на развитіе сознательной мысли, на ускореніе процесса самопознанія, поэтическая дѣятельность Пушкина предупредила дѣятельность научную, ведущую къ той же цѣли. Серьезное изученіе нашего прошлаго и настоящаго, всесторонній изслѣдованіи нашего быта, опредѣленіе коренныхъ стихій нашей народности, обнародованіе и анализъ памятниковъ, необходимыхъ для этого опредѣленія, начались поздиѣе — въ то время, когда поэтическое творчество Пушкина уже заявило себя капитальными созданіями. — Далѣе, художественная красота этихъ созданій, доставляя духовное наслажденіе, воспроизводя въ каждомъ, не лишенномъ чувства изящнаго, то именно впечатлѣніе, какое испытывалъ самъ творецъ, послужила средствомъ для нашего эстетическаго развитія, безъ котораго образованіе остается неполнымъ. Развитое чувство изящнаго обнаруживаетъ свою благотворную силу во всѣхъ сферахъ жизни. Вотъ вторая польза, принесенная поэзіей Пушкина. Подъ этой пользой надо разумѣть, конечно, не дѣйность стиха въ одномъ техническомъ отношеніи, а вообще художественную прелесть твореній, какъ внутреннюю, такъ и внѣшнюю.

Произведенія Пушкина относятся ко всѣмъ родамъ поэзіи: лирикѣ, эпосу и драмѣ.

1. *Лирика*. Выше сказано, что Пушкинъ сравнивалъ поэта съ эхомъ, отзывающимся на каждый звукъ. Таковъ онъ былъ и самъ. Отзвуки его разнообразны, какъ разнообразны впечатлѣнія, произведенныя въ душѣ предметами и явленіями. Отличительныя ихъ качества: искренность, или задумчивость, и прелесть выраженія. Пушкинъ никогда не сочинялъ чувствъ, никогда ихъ себѣ не называлъ: онъ говорилъ именно то, что чувствовалъ; обнаруживалъ себя прямо и откровенно; пѣлъ, какъ говорится, своимъ голосомъ, всегда вѣрнымъ, никогда себѣ не измѣнявшимъ. Правдивостью запечатлѣны всѣ его душевныя изліянія. Выраженіе отражаетъ на себѣ достоинство выражаемаго. Оно увлекаетъ своимъ изяществомъ, потому что изящны самыя чувства. Это изящество не поддается анализу: оно можетъ только чувствоваться. Справедливо сравниваютъ его съ запахомъ цвѣтовъ, неуловимымъ и неизмѣримымъ. Это дѣйствительно „сладкіе звуки“, для которыхъ, по словамъ Пушкина, рождены поэты.

Лирическія произведенія Пушкина различны по видамъ: въ числѣ ихъ находятся и оды, и пѣсни, и элегіи, и сатиры, и антологическія пьесы. Характеръ его элегій указанъ выше. Оды представляютъ важную особенность, которою онѣ отличаются отъ

предпешествовавшихъ имъ одѣ. Эта особенность — ясное сознаніе величія лица или предмета, и соответственный тому подъемъ духа въ поэтѣ. Превжіе авторы часто грѣпили на этомъ пунктѣ: они или выдумывали небывалое величіе, или представляли дѣйствительное величіе свыше его настоящей мѣры, или не понимали, въ чемъ именно состоитъ оно. Свѣтлый умъ и тонкое чувство Пушкина отвращались отъ такихъ покушеній, противныхъ правдѣ и недостойныхъ призванія поэта. Въ каждомъ лицѣ, въ каждомъ предметѣ онъ видѣлъ лишь то, что въ нихъ есть. Такъ въ стихотвореніи „Къ морю“ являются признаки „свободной стихіи“ въ тотъ моментъ, въ который онъ созерцалъ ее: гордая, торжественная красота, неодолимость, глухіе звуки, блескъ, тѣнь, то тишина, лелѣющая смиренный парусъ рыбака, то своенравные порывы, отъ которыхъ тонетъ стая кораблей, и пр. Съ картиною моря связываются воспоминанія о двухъ властителяхъ тогдашнихъ думъ: Наполеонѣ и Байронѣ, которые въ мірѣ человѣческомъ были то же, что море въ природѣ физической. Байронъ для Пушкина не только пѣвецъ моря, но и подобіе его:

Твой образъ былъ на немъ означенъ,  
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:  
Какъ ты, могущъ, глубоко и мраченъ,  
Какъ ты—ничѣмъ неукротимъ.

Наполеонъ, въ одѣ того же имени, охарактеризованъ иначе, нежели какъ онъ изображался стихотворцами до 1812-го г. и послѣ нашествія на Россію. Это изображеніе, конечно, обуславливалось тогдашними политическими событіями и ненавистью къ завоевателю. Державинъ видѣлъ въ Наполеонѣ даже апокалипсическаго звѣря. Но въ годъ смерти геніальнаго полководца (1821), „тоскою душнаго изгнанья“ искупившаго зло, нанесенное его войнами, прежнее чувство теряло смыслъ, и Пушкинъ не только примиряется съ бывшимъ нашимъ врагомъ, но и считаетъ позорнымъ укоры умершему, даже воздастъ ему похвалу:

Да будетъ омраченъ позоромъ  
Тотъ малодушный, кто въ сей день  
Безумнымъ возмутитъ укоромъ  
Его развѣчанную тѣнь!  
Хвала! онъ русскому народу  
Высокій жребій указалъ.

Въ посланіи къ „Клеветникамъ Россіи“ (1831) не одна сила народнаго чувства, затронутого шумными и легкомысленными рѣчами во французской палатѣ депутатовъ, не одинъ смѣлый вызовъ



клеветникамъ Россіи, но и важный историко-политическій вопросъ, непонятный ораторамъ вчужѣ, но понятный русскому, знающему исторію своего отечества:

Славянскіе ль ручки соплются въ русскомъ мѣстѣ?  
Оно ль насякнеть? — вотъ вопросъ.

Ода, или дума, „Полководецъ“ указываетъ достойное слезъ и смѣха заблужденіе людей, не умѣющихъ оцѣнивать достоинства современныхъ имъ подвижниковъ на томъ или другомъ поприщѣ дѣятельности. Мысль этого прекраснаго стихотворенія высказана въ обращеніи къ такимъ легкомысленнымъ людямъ.

Жрецы минутнаго, поклонники успѣха!  
Какъ часто мимо васъ проходитъ человѣкъ,  
Надъ кѣмъ ругается слѣпой и буйный выхъ,  
Но чей высокій ликъ въ грядущемъ поколѣньѣ  
Поэта приведетъ въ восторгъ и умиленье!

Еще обучаясь въ Царскосельскомъ (нынѣ Александровскомъ) Лицеѣ, Пушкинъ подражалъ Батюшкову и французскому поэту Шенье, какъ такимъ писателямъ, произведенія которыхъ по формѣ подходятъ къ античной поэзіи. Изъ Шенье Пушкинъ превосходно перевелъ двѣ пьесы: „Муза“ („Въ младенчествѣ моемъ она меня любила“) и „Ты вянешь и молчишь“. Но потомъ, въ самостоятельныхъ, антологическихъ стихотвореніяхъ, онъ выказалъ поразительное искусство воспроизводить характеръ, тонъ, красоту выраженія такихъ же греческихъ стихотвореній. Для примѣра приводятся здѣсь „Трудъ“ и „Художнику“:

#### Т р у д ъ.

Мигъ возжелѣнный насталъ; оконченъ мой трудъ многотѣйный.

Что жъ непонятная грусть тайно тревожитъ меня?

Или, свой подвигъ свершивъ, я стою какъ поденщикъ ненужный,

Плату пріавшій свою, чуждый работъ другой?

Или жаль мнѣ труда, молчаливаго спутника ночи,

Друга Авроры златой, друга Пенатовъ святыхъ?

#### Х у д о ж н и к у.

Грустенъ и веселъ вхожу я, ваятель, въ твою мастерскую.

Гипсу ты мысли даешь, мраморъ послушенъ тебѣ:

Сколько боговъ и богинь, и героев!.. Вотъ Зевсъ громовержець;

Вотъ изъ подлѣбья глядитъ, дуя въ цѣвню, Сатиръ;

Здѣсь начинатель Барклай, а здѣсь совершитель Кутузовъ;

Тутъ Аполлонъ—Идеаль, тамъ Ниобея—Печаль...

Весело мнѣ! Но межъ тѣмъ, въ толпѣ молчаливыхъ кумировъ,

Грустенъ гуляю: со мной добраго Дельвига нѣтъ.

Въ темной могилѣ почилъ художниковъ другъ и совѣтникъ.

Какъ бы онъ обнялъ тебя, какъ бы гордился тобой!

2. *Эпосъ*. Сюда относятся поэмы, повѣсти и романы, сказки.

Всѣхъ поэмъ пять: „Русланъ и Людмила“, „Кавказскій Плѣнникъ“, „Бахчисарайскій Фонтанъ“, „Цыганы“ и „Полтава“.

Сюжетъ романтической поэмы „Русланъ и Людмила“ заимствованъ изъ „темныхъ преданій старины“, изъ сказочнаго міра, разнобразіе и чудесность котораго изображены въ прологѣ къ поэмѣ: одну изъ этихъ сказокъ, говоритъ Пушкинъ, повѣдаю я свѣту. Тонъ повѣданія, т.-е. повѣствованія, во всѣхъ шести пѣсняхъ поэмы, неизмѣнно отличается веселою шуткой и остроуміемъ, почему какъ дѣйствующія лица: Русланъ, Людмила, Рогдай, Фарлафъ, Ратмиръ, Нанна, Финнъ, Черноморъ, такъ и многообразные предметы, входящіе въ рассказъ: любовь, война, пиры, чародѣйство... являются въ такомъ освѣщеніи, что производятъ въ читателѣ непрерывно-веселое настроеніе духа. Приступы къ пѣснямъ соотвѣтствуютъ общему тону и образуютъ лирическій элементъ разсказа, идущій отъ лица самого автора, который подражалъ въ этомъ случаѣ Аріосту и Вольтеру. Но при всемъ разнообразіи характеровъ, предметовъ, сценъ и картинъ поэма есть стройное созданіе. Каждая пѣснь, самобытная и законченная сама по себѣ, необходимо входитъ въ составъ цѣлаго; у cadaго изъ лицъ свой особенный характеръ, хотя нельзя не замѣтить, что характеристика Руслана вышла менѣе опредѣленною сравнительно съ другими.

Кавказскій Плѣнникъ (2 части), Бахчисарайскій Фонтанъ и Цыганы относятся къ лироэпическимъ повѣствованіямъ, которыя назывались также лирическими поэмами. Въ нихъ преобладаетъ субъективное настроеніе автора; не событіе, а чувство, имъ возбуждаемое, стоитъ на первомъ планѣ. Единствомъ этого чувства связуются отступленія и перерывы, допускаемые поэмой и служашіе причиною не строго-стройнаго представленія предметовъ. Своимъ распространеніемъ и господствомъ этотъ видъ эпической поэзіи былъ одолженъ англійскому поэту Байрону († 1824), высшему представителю той поэзіи, которая по его имени называется байроническою. Она выражаетъ духовное состояніе людей западно-европейскаго общества, произведенное важными историческими событіями въ концѣ XVIII и началѣ XIX вв. Существенное свойство этого состоянія—недовольство прежними идеалами, исканіе идеала новаго, лучшаго, и тоска при его недостигаемости. Отсюда тяжкія внутреннія мученія Байроновыхъ героев: они страдаютъ разладомъ между ихъ духомъ, стремящимся успокоиться на твердыхъ идеальныхъ основахъ, и дѣйствительностью, не дающею имъ та-

кихъ основъ. Но указанное настроеніе духа, понятиое въ западныхъ обществахъ послѣ пережитой ими эпохи, у насъ не существовало, а потому и отраженіе его въ поэзи не могло явиться естественнымъ образомъ, какъ слѣдствіе является изъ причины: оно могло возникнуть только чрезъ знакомство съ твореніями Байрона, т.-е. байронизмъ могъ быть у насъ только подражаніемъ. Главныя лица въ Кавказскомъ Пѣвннкѣ (русскій пѣвннй офицеръ) и Цыганахъ (Алеко) дѣйствительно оказались подражательными. Они принадлежатъ къ разочарованнымъ, хотя это разочарованіе не равняетъ ихъ съ героями Байрона: они бѣднѣе, ниже послѣднихъ, одаренныхъ необычайно мощными силами духа. Кромѣ созданія лицъ, подчиненіе образцу выразилось въ формѣ, изложеніи и тонѣ поэмъ; къ самобытнымъ же частямъ ихъ относятся превосходныя по своей вѣрности и поэтической прелести описанія нравовъ и обычаевъ горцевъ, кавказской и крымской природы, образа жизни цыганъ, затѣмъ свѣжесть впечатлѣній, элегическія мѣста, драматизмъ нѣкоторыхъ сценъ, напримѣръ, сцены Заремы съ Маріей (въ Бахчисарайскомъ Фонтанѣ), Земфиры съ Алеко и старикомъ, Алеко съ старикомъ, рассказъ старика объ Овидіи (въ Цыганахъ), оригинальность чисто-русскаго языка... всѣ эти истинно поэтическія достоинства прославили автора, сдѣлали его любимцемъ публики, заставили всю Россію читать его поэмы, привлекавшія особенно своимъ искреннимъ лиризмомъ. Впослѣдствіи Пушкинъ ясно видѣлъ недостатки своихъ произведеній перваго періода: „молодые писатели“, говорилъ онъ, „вообще не умѣютъ изображать физическія движенія страстей: ихъ герои всегда содрогаются, хохочутъ дико, скрежещутъ зубами, и пр.; все это смѣшно, какъ мелодрама“.

Въ „Полтавѣ“ (3 пѣсни) Пушкинъ освободился отъ подчиненія Байрону. Это—поэма историческая; сюжетъ ея взятъ изъ нашего прошлаго. Сначала авторъ хотѣлъ дать ей другой титулъ „Мазепа“, что лучше соотвѣтствовало бы ея содержанію, такъ какъ первыя двѣ пѣсни посвящены исторіи любви Мазепы и крестницы его Маріи (собственно Матрены), а Полтавская битва изображена только въ третьей пѣснѣ, какъ развязка событія, не имѣющаго отношенія къ романтической завязкѣ. Въ отсутствіи единства интереса критика и видѣла главный недостатокъ поэмы: третья пѣснь—разсуждала она—или излишня, если любовь Мазепы и Маріи составляетъ главный предметъ поэмы, или она была бы необходима, если бы главнымъ предметомъ служили политическіе замыслы Мазепы и его измѣна отчизны. Съ этимъ сужденіемъ нельзя не согласиться, равно какъ и съ замѣчаніемъ о несвойственной Мазепѣ



романической чувствительности, когда онъ, въ бѣгствѣ съ Карломъ, узналъ хуторъ Кочубея.

Евгеній Онѣгинъ есть романъ въ стихахъ, состоящій изъ восьми главъ. Первая глава описываетъ свѣтскую жизнь молодого человѣка въ Петербургѣ, и это описаніе напоминаетъ Беппо, шуточное произведеніе Байрона. Но характеръ главнаго дѣйствующаго лица вовсе не представляетъ величественныхъ и могучихъ качествъ Байроновскихъ героевъ. Страданіе послѣднихъ нисколько не похоже на разочарованіе Онѣгина, рано охладѣвшаго въ своихъ чувствахъ. Онѣгинъ просто скучаетъ или хандритъ. Онъ жалуется на душевную пустоту, потому что никогда и ничѣмъ не хотѣлъ наполнить души своей, предавался бездѣлю, не зналъ, что такое трудъ и обязанность. Одно лишь хорошо изучилъ онъ — науку страсти нѣжной. Всѣ его поступки или безпричинны, или вытекаютъ изъ очень мелкихъ побужденій, надъ которыми онъ не въ силахъ возвыситься. Пустая прихоть заставила его раздражить Ленскаго; а боязнъ глупой общественной молвы и ложное понятіе о чести не удержали его отъ дуэли, хотя онъ чувствовалъ себя неправымъ. Если Онѣгинъ воображалъ себя Чайльдъ-Гарольдомъ, то онъ сильно ошибался; онъ былъ не Гарольдомъ, а пародіей его, „москвичемъ въ Гарольдовомъ плащѣ“. Пушкинъ называетъ его пасмурнымъ „чудакомъ“. Такой эпитетъ показываетъ, что на Онѣгина онъ смотрѣлъ не какъ на идеаль, и если въ лицѣ его видѣлъ „современнаго человѣка“, то этотъ человѣкъ, какъ существо самое обыкновенное и ничтожное, ничѣмъ не могъ напоминать Байроновскихъ героевъ. Таковымъ дѣйствительно и вышелъ характеръ Онѣгина въ романѣ, вполне выдержанный, нигдѣ себѣ не измѣняющій. — Изображенія другихъ характеровъ: Ленскаго, Татьяны и Ольги, еще цѣннѣе въ поэтическомъ отношеніи, потому что свободнѣе отъ Байроновскаго вліянія, сказавшагося въ первой главѣ. Ленскій прямо противоположенъ Онѣгину. Онъ полонъ очарованія и надеждъ, чистой любви къ добру и стремленія къ славѣ:

Онъ съ лирой странствовалъ на свѣтѣ;  
Подъ небомъ Шиллера и Гете,  
Ихъ поэтическимъ огнемъ  
Душа воспламенилась въ немъ,  
И музъ возвышенныхъ искусства,  
Счастливецъ, онъ не постыдилъ:  
Онъ въ пѣсняхъ гордо сохранилъ  
Всегда возвышенныя чувства,  
Порывы дѣвственной мечты  
И прелесть важной простоты.

Нѣкоторые полагали, что Ленскій и Олѣгинъ — представители двухъ періодовъ жизни самого поэта, чѣмъ и объясняютъ глубоко-грустные думы послѣ разсказа о безвременномъ концѣ Ленскаго. Справедлива ли такая гипотеза—рѣшить трудно. Несомѣнно, однакожъ, что эти думы—наилучшее эгическое мѣсто въ романѣ. Татьяна и Ольга, при всемъ различіи характеровъ, вполне русскія дѣвушки, хотя онѣ воспитаны при помощи французскихъ гувернантокъ и читаютъ французскіе романы. Особенный интересъ возбуждаетъ Татьяна, задумчивая, мечтательная, сосредоточенная въ себѣ самой и страстно любящая красоты природы. Она выше своей веселой и простодушной сестры по оригинальности, серьезности ума и глубинѣ душевной. Ея портретъ, равно ея вѣщій сонъ—оригинальныя созданія художника, передъ которымъ не было подобныхъ образцовъ. Къ другимъ, также первокласснымъ красотамъ романа принадлежатъ изображенія русской деревни и русской природы въ разныхъ ея видахъ. Описанія зимы, осени, весны, несмотря на краткость, такъ вѣрно воспроизводятъ передъ нами родныя времена года, что въ душѣ нашей тотчасъ же возникаютъ тѣ самыя чувства, которыя мы ощущали непосредственно, въ послѣдовательные періоды жизни, начиная съ младенчества. Иногда авторъ прерываетъ разсказъ, чтобы дать мѣсто своимъ чувствамъ или думамъ — то сатирическимъ, то большею частью печальнымъ; выраженіе этихъ послѣднихъ думъ по своей задушевности должно быть причислено къ образцовымъ элегіямъ.

Повѣсть „Капитанская дочка“ относится къ послѣднему періоду творчества Пушкина, когда его гений достигъ наибольшей высоты и когда первыми условіями искусства онъ ставилъ простоту и естественность. И въ ней, дѣйствительно, все естественно, просто и въ то же время художественно какъ въ вымыслѣ, такъ въ развитіи событія и характеристикъ лицъ. Главное лицо (на что указываетъ самое заглавіе) — дочь капитана Миронова, коменданта Бѣлогорской крѣпости въ Оренбургской губерніи. На ряду съ ней, если не по характеру, то по мѣсту, занимаемому въ дѣйствіи, стоитъ молодой Гриневъ, отправленный отцомъ своимъ на службу въ Оренбургъ и поступившій подъ начальство Миронова. Взаимная любовь этихъ двухъ лицъ образуетъ завязку повѣсти. Между ними стоитъ негодий Швабринъ, переведенный въ крѣпость изъ гвардіи за убійство товарища своего на дуэли. Онъ-то своими злыми проѣсками причиняетъ непріятности двумъ первымъ лицамъ. Дѣйствіе происходитъ во время Пугачевского бунта. Судьба Гринева случайно связывается съ исторіей самозванца, чѣмъ и воспользовался Швабринъ. По ложному доносу послѣдняго Гриневъ былъ арестованъ, какъ со-

участникъ Пугачева. Его спасаетъ капитанская дочь: прибывъ въ Петербургъ, она имѣла случай увидѣть императрицу Екатерину II и объяснить ей полную невинность своего жениха; императрица освобождаетъ Гринева отъ суда и награждаетъ его невѣсту прицанымъ. Основная мысль повѣсти — женскій героизмъ. Лишась отца и матери, умерщвленныхъ Пугачевымъ за то, что они не хотѣли признать его царемъ, терпя постоянныя преслѣдованія отъ Швабрина, испытывая и многія другія лишенія и горести, Марья Ивановна (такъ звали капитанскую дочку) осталась тверда въ своей привязанности къ Гринеvu. По смерти родителей и по разореніи Бѣлогореской крѣпости, она нашла пристанище въ симбирской деревнѣ у родителей нареченнаго жениха своего, которые приняли ее радушно, какъ будущую дочь. Видя ихъ горестъ и сама страдая, она рѣшилась на трудный подвигъ; отправилась въ Петербургъ, чтобы спасти напрасно обвиняемаго, и достигла своей цѣли. Въ сюжетѣ повѣсти, равно какъ и въ нѣкоторыхъ ея сценахъ, есть сходство съ романомъ Вальтеръ-Скотта „Эдинбургская темница“. Здѣсь также представленъ героизмъ одной шотландской дѣвушки, которая спасаетъ отъ казни свою сестру, заподозрѣнную въ тяжкомъ преступленіи. Она отправляется въ Лондонъ просить заступничества герцога Аргайля, родомъ шотландца, охотно исполнявшаго просьбы своихъ земляковъ. Аргайль, разсмотрѣвъ бумаги, привезенныя дѣвушкой, не нашелъ въ нихъ повода къ смертному приговору. Затѣмъ онъ представилъ ее королевѣ Каролинѣ, супругѣ Георга II. Дѣло кончилось по желанію героини, которая послѣ того не хотѣла ни одного дня оставаться въ Лондонѣ, какъ и Марья Ивановна въ Петербургѣ, а послѣдила воротиться въ провинцію, чтобы утѣшить старика-отца. Пушкинъ цѣнилъ геній Вальтеръ-Скотта, его свѣтлое созерцаніе въ историческихъ романахъ, и потому естественно могъ заимствовать у него нѣкоторыя частности, возсоздавая ихъ, какъ художникъ.

Изъ сказокъ Пушкина, написанныхъ въ подражаніе народнымъ, самая замѣчательная — „О рыбахъ и рыбкѣ“. Безыскусственность рассказа доведена въ ней до совершенства. Стихи построены не по правиламъ литературной версификаціи: они сохраняютъ свободный ритмъ народнаго языка, съ его созвучіями и оборотами. Такъ воспроизводить произведенія естественнаго, простодушнаго творчества можетъ лишь тотъ, кто постигнулъ таинства русскаго міра и духа.

3. *Драма.* Геній Пушкина относился къ многоразличнымъ предметамъ объективно, воспроизводилъ ихъ въ полной чистотѣ ихъ



настоящей сущности, безъ примѣси воззрѣній и чувствъ своей собственной личности. А такія качества, какъ многосторонность и объективность, суть необходимыя принадлежности драматическаго таланта. Стремленія къ драмѣ видны у Пушкина еще въ поэмахъ его: *Цыганахъ* и *Полтавѣ*, гдѣ изложеніе, покидая разсказъ отъ лица автора, прибѣгаетъ къ діалогу между дѣйствующими лицами. Первымъ произведеніемъ въ драматической формѣ былъ „Борисъ Годуновъ“. Оно явилось, какъ плодъ долгаго изученія Шекспира, родственнаго нашему поэту по разнообразію и объективности творческаго дара. Въ статьѣ „о драмѣ“, въ письмахъ по поводу „Бориса Годунова“ и въ „Запискахъ“ Пушкинъ высказалъ понятія о драмѣ, внушенныя ему знакомствомъ съ твореніями Шекспира, родоначальника и представителя новоевропейской трагедіи, существенно отличной отъ трагедіи древнеклассической. „Борисъ Годуновъ“, „Скупой Рыцарь“ и „Русалка“ суть важнѣйшія драматическія произведенія Пушкина.

Источники и образцы „Бориса Годунова“ указаны самимъ авторомъ. Это — Шекспиръ, Карамзинъ и лѣтописи: „Шекспиру подражалъ я въ вольномъ и широкомъ развитіи характеровъ; Карамзину слѣдовалъ въ свѣтломъ развитіи происшествій; въ лѣтописяхъ старался угадать образъ мыслей и языкъ тогдашняго времени“.

а) Что разумѣлъ Пушкинъ подъ вольнымъ и широкимъ развитіемъ характеровъ, ясно изъ тѣхъ его словъ, въ которыхъ онъ Шекспирову драматическую систему противопоставляетъ системѣ лжеклассической драмы <sup>1)</sup>. „Лица, созданныя Шекспиромъ, не суть типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живыя, исполненныя многихъ страстей, многихъ пороковъ: обстоятельства развиваютъ передъ зрителемъ ихъ разнообразныя, многосложныя характеры. У Мольера скупой (въ комедіи того же имени) скупъ—и только; у Шекспира Шейлокъ (въ Венеціанскомъ купцѣ) скупъ, смѣтливъ, мстителенъ, чадолубивъ, остроуменъ; у Мольера, лицемѣръ (въ Тартюфѣ) все и всегда дѣлаетъ лицемѣри, у Шекспира лицемѣръ (Анджело, въ пьесѣ „Мѣра за мѣру“) произноситъ судебный приговоръ съ тщеславною гордостью, но справедливо; оправдываетъ свою жестокость глубокомысленнымъ сужденіемъ государственнаго человѣка: онъ лицемѣръ, потому что его гласныя дѣйствія противорѣчатъ тайнымъ страстямъ“. Разбирая затѣмъ характеръ Фальстафа, Пушкинъ указываетъ главную черту его—сластолюбіе, а потомъ и другія: онъ—трусъ, прикрывающій

<sup>1)</sup> Объ этой послѣдней системѣ говорилось въ §—ѣ о трагедіяхъ Сумар.

свою трусость уклончивой и насмѣшливой дерзостью; онъ хвастливъ по привычкѣ и расчету; не глупъ, но слабъ, какъ женщина, править у него нѣтъ никакихъ. Всѣ эти второстепенныя качества вмѣстѣ съ преобладающимъ и образуютъ то многообразіе характера, которое свойственно человѣку и которымъ одарены лица, созданныя Шекспиромъ. Такое созданіе возможно лишь тому, кто одаренъ глубоко-поэтическимъ созерцаніемъ человѣческой сущности и жизни вообще и умѣньемъ обособлять эту общую сущность въ отдѣльных, индивидуальных образахъ.

Согласно съ этимъ взглядомъ на характеристику дѣйствующихъ лицъ у Пушкина какъ главные, такъ и второстепенныя лица въ Борисѣ Годуновѣ являются въ полнотѣ и разнообразіи ихъ качествъ. Первое лицо—Борисъ—постоянно находится подъ гнетомъ совѣсти. Это—наиболѣе выдающаяся черта въ его душевномъ настроеніи: отсюда постоянное безпокойство и тревога; онъ самъ говоритъ, что жало въ тотъ, у кого совѣсть нечиста. Сознвая свой тяжкій грѣхъ и боясь крамолъ и покушеній на власть и жизнь свою, онъ сдѣлался подозрителенъ, недовѣрчивъ и жестокосердъ: заточилъ или постригъ людей знатнѣйшаго рода, устроилъ шпионство въ домахъ между прислугой, самъ разспрашивалъ доносчиковъ, хотѣлъ все знать. Страхъ и подозрительность заставили его прибѣгать къ кудесникамъ и гадалеямъ. Въ сценѣ съ патріархомъ и боярами, молившими его принять вѣнецъ, выказалось лицемеріе. Но, съ другой стороны, Борисъ Годуновъ—„высокій державный умъ“ (слова Басманова). Онъ видитъ вредъ мѣстничества, которое намѣренъ уничтожить, и посылаетъ Басманова начальствовать надъ войскомъ, ставя въ воеводы умъ, а не родъ. Онъ сознаетъ сладкій плодъ ученія и совѣтуетъ сыну учиться, такъ какъ наука даетъ способъ легче и яснѣе постигать трудъ правителя. Наконецъ, онъ добрый и попечительный отецъ семейства: онъ искренно жалѣетъ, что судьба не судила ему устроить счастье дочери.

Самозванецъ, уже въ разговорѣ съ Пименомъ, даетъ знать о своей природной склонности къ тревожной и разгульной жизни. Въ 8-й сценѣ (Корчма на литовской границѣ) онъ хотѣлъ избавиться отъ приставовъ плутней, а когда это не удалось, онъ избѣжалъ неволи дерзкой отвагой. Отвага и смѣлость развились еще болѣе въ школѣ запорожцевъ. На вопросъ самого самозванца: какъ обо мнѣ думаютъ въ вашемъ станѣ? русскій плѣнникъ отвѣчаетъ: говорятъ, что ты дескать хотя и воръ, а молодецъ. Московскихъ бѣглецовъ, къ нему явившихся, онъ обворожилъ умомъ, пріятливостью и ловкостью. Храбрость его засвидѣтельствована

Маржеретомъ. Онъ любитъ поэзію и уважаетъ поэтовъ; ему даже знакомъ голосъ латинской музы. Онъ легкомысленъ: ухаживая за Мариной и пируя въ замкѣ Мнишка, онъ забылъ и войну и московскій тропъ. Онъ сознается въ самозванствѣ Маринѣ, которая упрекаетъ его „въ вѣтреномъ“ обличіи позора. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ гордъ, какъ видно изъ его отвѣта на упрекъ:

Тѣнь Грознаго меня усыновила,  
Димитріемъ изъ гроба нарекла“ и пр.

Обманивая Бога и людей, этотъ, по выраженію Карамзина, проходимецъ не былъ чуждъ любви къ отчизнѣ: при восторгахъ Курбскаго (сцена 15) онъ впалъ въ печальное раздумье: ему стало жаль крови своихъ соотечественниковъ, которая скоро должна была пролиться. Другая хорошая въ немъ черта—умѣнье отдавать справедливость врагамъ: досадуя на нѣмцевъ, отразившихъ его войско, онъ, однакожъ, называетъ ихъ молодцами и намѣренъ образовать изъ нихъ почетную стражу. (Безпечность самозванца указана однимъ изъ его сторонниковъ (Пушкинымъ), который, видя, какъ претендентъ на русскій престолъ спокойно уснулъ послѣ проиграннаго сраженія, говоритъ:

„Разбитый въ прахъ, спасаяся побѣгомъ,  
Безпеченъ онъ, какъ глупое дитя“.

Наконецъ, онъ понимаетъ свое настоящее положеніе среди поляковъ: онъ знаетъ (какъ это ясно изъ 14-й сцены), что ни король, ни папа, ни вельможи не думаютъ о правдѣ словъ его; что имъ нѣтъ дѣла до того—Димитрій онъ или нѣтъ; что имъ лишь нуженъ предлогъ для войны, а такъ какъ этотъ предлогъ нашли они въ его лицѣ, то онъ и не опасается за свой обманъ, вѣруя притомъ, по легкомыслію или по духу предпримчивости, въ свою счастливую судьбу.

То же самое и въ лицахъ второстепенныхъ. Каждое выступаетъ съ полною совокупностью своихъ качествъ, изъ коихъ одно первенствуетъ и отличаетъ его, какъ индивидуальность, отъ прочихъ индивидуальностей; каждое и говоритъ и дѣйствуетъ сообразно своему характеру.

Независимо отъ слѣдованія драматической системѣ Шекспира, Пушкинъ могъ подражать ему въ нѣкоторыхъ частностяхъ, что очень естественно при короткомъ знакомствѣ съ первоклассными поэтами. Такое подражаніе замѣтно въ предсмертныхъ наставленіяхъ Бориса своему сыну (сцена 21), напоминающихъ предсмертные же совѣты Генриха IV наследнику престола (во 2-й части драматической хроники того же имени). Но это подражаніе, весьма умѣстное, потому что въ исторіи Годунова есть сходственные об-



стоятельства съ исторіей Генриха IV, вышло лучше образца по художественной мѣрѣ, по соотвѣтственности характеру и положенію говорящаго, по силѣ и точности его рѣчей <sup>1)</sup>. Есть также одно мѣсто (сцена 15-я, когда князь Курбскій и Самозванецъ приблизились къ русской границѣ), имѣющее нѣкоторое сходство со второю сценою второго акта въ неконченной и необработанной трагедіи Шиллера: „Дмитрій Самозванецъ“ <sup>2)</sup>.

б) Карамзину Пушкинъ слѣдовалъ и въ основномъ воззрѣніи на Бориса Годунова, и въ представленіи фактовъ его царствованія. Годуновъ драмы, какъ и Годуновъ исторіи, — убійца царевича Дмитрія, мучимый совѣстью, чуждый спокойствія и счастья, наказываемый печальными событіями семейными и государственными. Мопологъ въ 7-й сценѣ, начинающійся словами: „Достигъ я высшей власти“ и выражающій это внутреннее состояніе царевубійцы, соотвѣтствуетъ взгляду историка, воспроизводя то, что сказано послѣднимъ въ его исторіи <sup>3)</sup>. Молитва, читаемая мальчикомъ на пиру у Шуйскаго (сцена 9-я), есть переложеніе молитвы, приведенной Карамзинымъ <sup>4)</sup>.

в) Что касается лѣтописей, то самъ Пушкинъ свидѣтельствуетъ, что онѣ, кромѣ указанія образа мыслей и языка эпохи, представленной въ драмѣ, дали ему матеріалъ для превосходнаго изображенія древнерусскаго монаха: „Характеръ Пимена не есть мое изобрѣтеніе. Въ немъ собраны черты, плѣнившія меня въ нашихъ старыхъ лѣтописяхъ: умиленная кротость, младенческое и вмѣстѣ мудрое простодушіе, набожное усердіе къ власти царя, данной Богомъ, совершенное отсутствіе суетности дышитъ въ сихъ драгоценныхъ памятникахъ временъ минувшихъ“.

„Борисъ Годуновъ“ явился при жизни автора безъ всякой прибавки къ заглавію; только въ послѣдующихъ изданіяхъ онъ обозначенъ, какъ „драматическое произведеніе“. Гоголь называлъ его поэмой; другіе относили его къ одному роду съ „драматическими хрониками“ Шекспира. Но эти хроники раздѣлены на акты; въ нихъ больше простора для послѣдовательнаго развитія дѣйствія и для характеристики дѣйствующихъ лицъ. Наша пьеса меньше объемомъ, въ ней всего 24 сцены, которыя, какъ рядъ художественныхъ картинъ, изображаютъ важнѣйшія событія въ семилѣтній періодъ времени (1598 — 1605) отъ избранія Годунова въ цари

1) и 2) См. примѣчанія къ 2-му т. моей „Рус. Хрестоматіи“.

3) Изданіе Эйнерлинга, т. XI, гл. 2, стр. 55—57, отъ словъ: „Достигнувъ цѣли“...

4) Ibid. Другія мѣста указаны въ примѣчаніяхъ ко 2-му тому моей „Русской Хрестоматіи“.

до смерти его сына Теодора. Онъ связанъ между собою единствомъ предмета — судьбою Бориса, и послѣдовательность ихъ опредѣляется послѣдовательностью главныхъ фактовъ въ исторіи этой судьбы. Дѣйствіе идетъ непрерывно, не задерживаясь никакими отступленіями, что также есть существенная принадлежность Шекспировой драматической системы.

„Борисъ Годуновъ“ не есть собственно трагедія. Трагедія представляетъ внутреннюю борьбу между двумя противоположными и потому непримиримыми влеченіями. Такой борьбы въ душѣ Годунова нѣтъ. Поэтому сочиненіе Пушкина, разсматриваемое какъ драма, имѣетъ нѣчто особенное. Эта особенность указана мнѣніями Кирѣевскаго и Вариагена фонъ Энзе, которыя предлагаются здѣсь въ извлеченіи <sup>1)</sup>. Основная идея драмы Пушкина состоитъ въ томъ, что злодѣяніе, подобное Борисову, сопровождается личными, семейственными и государственными несчастіями <sup>2)</sup>. Авторъ имѣлъ цѣлью показать „фактическія“ послѣдствія царубійства, и эта цѣль достигнута вполне. Историческая Немезида караетъ Годунова тѣмъ самымъ, въ чемъ онъ самъ повиненъ: какъ онъ вступилъ на престолъ не по праву, такъ и сынъ его лишается наслѣдства беззаконнымъ дѣйствіемъ врага — самозванствомъ; прежнее преступленіе (Бориса) наказывается новымъ преступленіемъ (Самозванца). Кромѣ фактическихъ послѣдствій злодѣянія, какъ главной идеи драмы, представлено и „психологическое“ вліяніе его на убійцу: если съ одной стороны монахъ въ кельѣ произноситъ надъ Годуновымъ приговоръ судьбы и потомства, то, съ другой стороны, самъ Годуновъ выражаетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пьесы угрызения своей совѣсти. Большая часть трагедій имѣетъ предметомъ дѣло совершающееся. Трагедія Пушкина развиваетъ послѣдствія дѣла уже совершеннаго; и преступленіе Бориса является не какъ дѣйствіе, а какъ сила, которая обнаруживается мало-по-малу въ шопотѣ царедворца, въ воспоминаніяхъ монаха, въ мечтахъ Григорія <sup>3)</sup>, въ ропотѣ придворномъ, въ волненіяхъ народа, въ угрызенияхъ совѣсти Бориса, наконецъ, въ ниспроверженіи несправедливо царствовавшего дома.

„Скупой рыцарь“ есть оригинальное произведеніе Пушкина, хотя оно, неизвѣстно почему, было приписано имъ Ченетону, небывалому въ Англіи автору. Правда, въ одномъ изъ романовъ

<sup>1)</sup> Прим. къ моему Рус. Хрест., т. 2.

<sup>2)</sup> Эта идея выказывается самимъ Годуновымъ въ монологѣ: „Достигъ я высшей власти“...

<sup>3)</sup> Григорій также выговариваетъ приговоръ надъ Годуновымъ:

И не уйдешь ты отъ суда людскаго,

Какъ не уйдешь отъ Божьяго суда.

Вальтеръ-Скотта выведено лицо, взглядъ котораго на скопленіе денегъ сходенъ со взглядомъ барона. Этотъ скупецъ также время отъ времени посѣщалъ то мѣсто, гдѣ хранились его сокровища, и любовался ими. Онъ не тупой скопидомъ, который въ золотыхъ монетахъ дивится только ихъ блеску. Его привлекаетъ власть, которую онѣ даютъ ихъ владѣльцу: „Есть ли что-нибудь, чего бы магическая сила золота не отдала въ ваше распоряженіе? Безобразны вы, уродливы и дряхлы: вотъ приманка, на которую пойдетъ самая гордая красота. Слабы вы, безпомощны, терпите притѣсненія: вотъ что вооружить за васъ защитниковъ, болѣе могучихъ, чѣмъ тѣ, которыхъ вы боитесь. Хотите ли выказать весь блескъ изобилія? въ этомъ сундукѣ много плодоносныхъ холмовъ и луговъ, много лѣсовъ, наполненныхъ дичью, тысячи васаловъ. Желаете ли, чтобы папа простилъ вамъ старыя преступленія и далъ индульгенціи на преступленія новыя? все получите за золото. Самое мщеніе, которое, говорятъ, боги предоставляютъ самимъ себѣ, легко купить золотомъ“. Таковы были мысли скупца, когда къ накопленной массѣ прибавилъ онъ вновь полученное имъ золото. Затѣмъ онъ тщательно заперъ ключемъ денежный сундукъ и вышелъ изъ дому. По дорогѣ онъ раскланивался съ знакомыми, а самъ думалъ въ глубинѣ сердца: „презрѣнные, если бѣ вы знали, что этотъ ключъ можетъ явить вашему взору, никакая буря не помѣшала бы вамъ стоять передо мною съ открытой головой“. — Но этой тирадой ограничивается сходство между скупымъ, созданнымъ Вальтеръ-Скоттомъ, и скупымъ рыцаремъ Пушкина; все остальное совершенно различно. Въ пьесѣ только три сцены, изъ коихъ вторая заключаетъ въ себѣ монологъ барона, знакомящій насъ съ его взглядомъ на значеніе богатства и съ тѣми лишеніями, которыми онъ его „выстрадалъ“.

Что не подвластно мнѣ?... Какъ явкій демонъ  
Отселъ править міромъ я могу...  
Мнѣ все послушно, я же—ничему;  
Я выше всѣхъ желаній; я спокоенъ,  
И знаю мощь мою: съ меня довольно  
Сего сознанья...

Я царствую!.. Какой волшебный блескъ!  
Послушна мнѣ, сильна моя держава;  
Въ ней счастье, въ ней честь моя и слава!  
Я царствую!

Но въ этихъ небольшихъ сценахъ ясно выражаются всѣ принадлежности Шекспировскаго драматическаго строя: вѣрная характе-



ристика лицъ, свободное развитіе дѣйствій, естественная развязка и мѣткій, соответственный характерамъ діалогъ. Скупой рыцарь выступаетъ не съ одною скупостью, но съ чертами рыцарскаго духа, который не заглушенъ окончательно страстью къ скопленію денегъ: онъ бросаетъ сыну перчатку, когда этотъ назвалъ его лжецомъ. Кромѣ того, онъ сохранилъ чувство вѣрнопопданнаго: является къ герцогу по первому призыву и готовъ усердно служить ему въ случаѣ войны. Характеръ сына слагается изъ многихъ добрыхъ свойствъ: онъ храбръ и добръ, благодушно обращается и съ слугой своимъ, и съ жидомъ, который ссужаетъ его деньгами; несмотря на „проклятое житье“ у скупого отца, онъ приходитъ въ ужасъ при намекѣ Соломона (жида) на отраву и хочетъ его повѣсить: когда же скупой рыцарь, чтобы отдѣлаться отъ предложенія герцога — назначить сыну приличное содержаніе — клевещетъ на сына, что онъ хотѣлъ его убить и обокрасть, — этотъ сынъ, находившійся въ сосѣдней комнатѣ и молчавшій при первой клеветѣ, не могъ снести второй, ибо воровство для рыцаря считалось вѣщшимъ безчестіемъ, чѣмъ убійство; онъ называетъ своего отца лжецомъ, поднимаетъ перчатку, имъ брошенную, даже жалѣетъ, что эту перчатку отнимаетъ у него герцогъ. Катастрофа хотя эффектна, но вполне естественна: эффекты не выдуманы, а сами собою слѣдовали изъ внутренняго состоянія лицъ и сложившихся обстоятельствъ. Какъ рыцарь, Альберъ не могъ молчать при несправедливомъ обвиненіи его въ кражѣ; по той же причинѣ баронъ не могъ не требовать удовлетворенія отъ того, кто назвалъ его лжецомъ; наконецъ, тотъ же самый баронъ, какъ человѣкъ старый, взволнованный требованіемъ герцога назначить сыну приличное содержаніе, еще болѣе взволнованный и оскорбленный неожиданнымъ появленіемъ сына, который назвалъ его лжецомъ и принялъ его вызовъ, естественно былъ не въ силахъ выдержать тяжкихъ душевныхъ потрясеній.

Сюжетъ „Русалки“ (неоконченной) взятъ изъ пѣсни „Янышъ Королевичъ“, которая, вмѣстѣ съ другими пѣснями западныхъ славянъ, сочиненными французскимъ писателемъ Мериме, переведена Пушкинымъ, но не вся, а только первая ея часть, именно та, которая послужила матеріаломъ для драмы. „Это превосходное созданіе, художественно воспроизводящее народныя представленія“, говоритъ біографъ Пушкина и авторитетный цѣнитель его поэзіи <sup>1)</sup>, „особенно поражаетъ соединеніемъ фантастическаго сказочнаго со-

<sup>1)</sup> П. В. Анненковъ, въ Матеріалахъ для біографіи Пушкина.

держанія съ истинно-драматическимъ положеніемъ лицъ, отчего въ одно время и въ удивительной гармоніи развивается чудное и сверхъестественное о бокъ съ самымъ опредѣленнымъ содержаніемъ и съ картиною стараго русскаго быта“. Высшаго изищества отдѣлки, болѣе сильной и обильной поэзіи, болѣе вѣрнаго народнаго колорита не представляютъ другія произведенія. Къ Русалкѣ особенно идетъ стихъ изъ посланія Гнѣдича къ Пушкину, говорящій, что Пушкинъ постигъ тайнства русскаго духа и міра.

§ 57. Ближайшими послѣдователями Пушкина были Дельвигъ, Языковъ и Баратынскій. Имена ихъ обыкновенно связывались съ именемъ начальника художественной школы. Затѣмъ явился цѣлый рядъ молодыхъ, образованныхъ и даровитыхъ писателей того же направленія: О. Тютчевъ, Веневитиновъ, Хомяковъ, двое Туманскихъ (Федоръ и Василій), Вердеревскій, Илличевскій, Подолинскій, Деларю, Тепляковъ... Нѣкоторые изъ литераторовъ, начавшихъ писать прежде Пушкина, также переходятъ на проложенный имъ новый путь; таковы: кн. Вяземскій, О. Глинка, И. Козловъ, Д. Давыдовъ.

Изъ стихотвореній Дельвига (1798—1831) замѣчательны русскія пѣсни: въ нихъ особенно обнаружилось его поэтическое дарованіе; ими приобрѣлъ онъ себѣ извѣстность. Достоинство ихъ состоитъ въ томъ, что онѣ ближе подходятъ къ нашимъ народнымъ пѣснямъ, вѣрнѣе воспроизводятъ ихъ, чѣмъ прежнія въ томъ же родѣ стихотворенія И. Дмитріева и Нелединскаго-Мелецкаго. Поэтому онѣ скоро и охотно усвоены были обществомъ и долго пользовались его любовію. Лучшія изъ нихъ: „Соловей мой, соловей“, „Ахъ ты ночь ли, ноченька“, „Голова ль моя, головушка“, „Что, красотка молодая“, „Пѣла, пѣла пташечка“, „Какъ за рѣченкой слободушка стоитъ“, „Скучно, матушка, весною жить одной“... Нѣкоторыя и теперь не потеряли своей цѣны. Но, отдавая справедливость пѣснямъ Дельвига, критика справедливо замѣчала въ нихъ и недостатки, которые нарушали вѣрность подражанія или характеромъ чувства, или выраженіемъ чувства. Художественная поддѣлка подъ народное поэтическое творчество—дѣло очень трудное. Для успѣха въ ней, кромѣ таланта, необходимо или глубокое изученіе народнаго быта, образа мыслей и чувствъ, и языка простолюдыя, или сближеніе съ народомъ, жизнь среди него, вмѣстѣ съ нимъ. Еще лучше, конечно, соединеніе обоихъ способовъ знакомства: посредственнаго, т.-е. научнаго, и непосредственнаго, т.-е. жизненнаго. Литератору, вышедшему изъ народа, легче входить въ область народныхъ представленій, понятій и чувствъ; у литератора же, живущаго вдалекѣ отъ поселянъ,

не знавшася съ нимъ, всегда появляея обмолвки и недосказы въ изображеніи ихъ: личность его невольно выдается изъ-за личностей, имъ представляемыхъ; онъ не въ силахъ выдержать принятую на себя роль — вполне притвориться простолюдиномъ: грусть—тоска переходить у него въ уныніе, меланхолію, простодушная любовь—въ нѣжность, безыскусственная рѣчь—въ полированную. Критика, современная Дельвигу, замѣтила, что онъ въ своихъ идилліяхъ на классическія формы набросилъ „душегрыбку новѣйшаго унынія“. То же замѣчаніе можетъ быть отнесено и къ его пѣснямъ: на нихъ наброшенъ покровъ образованной жизни, образованнаго чувства, такъ что, при несомнѣнномъ ихъ достоинствѣ, все же нельзя назвать ихъ вполне удовлетворительными воспроизведеніями собственно-народной пѣсни.

Сила поэтического таланта Языкова (1803—1846) выражалась почти исключительно въ произведеніяхъ лирическаго рода. Первый по времени и главный по числу пьесъ отдѣлъ его лирики составляютъ анакреонтическія стихотворенія: въ нихъ воспѣваются наслажденія благами жизни. Самъ Языковъ называлъ себя разногласнымъ проповѣдникомъ мірскихъ удовольствій, пѣвцомъ любви, дружбы, радости, красоты, вина.

Анакреонтическое вдохновеніе занимаетъ такое же законное мѣсто въ поэзіи, какъ и вдохновеніе элегическое. Если поэтъ имѣетъ право выражать свои печали и страданія, то онъ имѣетъ равное право выражать свои наслажденія и радости. Область поэзіи обширна, какъ жизнь, ея воспроизводимая: гдѣ жизнь, тамъ и поэзія (*ubi vita, ibi poesia*). Въ сужденіи объ анакреонтическихъ стихотвореніяхъ надобно обращать вниманіе не на ихъ предметы, а на чувства, возбуждаемые этими предметами. Не въ томъ дѣло, *чѣмъ* поэтъ наслаждался, а въ томъ, *къ чему* наслажденіе привело его. Если при восторгѣ земными благами сохраняется благоговѣйная любовь къ добру, истинѣ и изяществу, тогда этотъ восторгъ вполне нравственный. Для чистаго все чисто: такъ и анакреонтическое вдохновеніе достойно сочувствія, если оно внушаетъ чистые помыслы и ощущенія. Именно такимъ достоинствомъ и отличается первый отдѣлъ стихотвореній Языкова. Говоря его словами, они возбуждаютъ „могучія мечты“, иначе: стремленіе къ душевному простору. Они выводятъ человека, хотя и на время, изъ жизни будничной, мелкой, прозаической въ другую, противоположную — просторную, праздничную, поэтическую. Подъемъ мысли и чувства: таково ихъ полезное дѣйствіе. Однимъ изъ многихъ тому примѣровъ можетъ служить стихотвореніе „Разсвѣтъ“. Авторъ приглашаетъ своихъ сотоварищей



прервать неоконченный ночной пиръ, чтобы насладиться зрѣлищемъ солнечнаго восхода, идти

Туда, на высь холма! Тамъ утренней прохлады  
Въ **живительныхъ** волнахъ омоемъ наши взгляды;  
Горячія уста и груди освѣжимъ.  
Пойдемъ, товарищи! Оттолкъ мы уаримъ,  
Какъ съ розовымъ лицомъ, съ веселыми очами,  
Передъ широкими своими зеркалами,  
Восточной роскошью и нѣгой убрана,  
Красуется земля, возставшая отъ сна.

Такимъ образомъ, ночной пиръ не только не помѣшалъ пирующимъ любоваться красотой природы, но и далъ этой любви большую силу и восторженность.

Стихотворенія второго отдѣла—патріотическія. Въ нихъ искренно и сильно выражены любовь къ отечеству, привязанность къ родинѣ, чувства и помысленія вполне русскаго человѣка, которому дорого и современное и прошлое его страны. Сюда относятся: Моя родина, Евпатій, Олегъ, Кудесникъ, къ Д. В. Давыдову, На объявленіе памятника Карамзину и нѣкоторыя элегіи (напр. Къ Рейну), написанныя за границей, гдѣ поэтъ, лѣчась отъ болѣзни, все тосковалъ по родному краю: по матушкѣ-Волгѣ, которая „больше, шире, глубже, пышнѣе и великолѣпнѣй завѣтной нѣмецкой рѣки“.

Третій отдѣлъ — переложенія псалмовъ и другія священные пѣсни. Это направленіе поэзіи началось еще въ то время, когда Языковъ былъ студентомъ Дерптскаго университета (Молитва), развилось по пріѣздѣ его изъ Дерпта въ Москву (Подражанія псалмамъ 14-му и 136-му) и окончательно установилось по возвратѣ изъ чужихъ краевъ (Подражаніе псалму I, Землетрясеніе, Сампсонъ). На переходѣ отъ анакреонтическихъ стихотвореній къ патріотическимъ и религіознымъ Языковъ начерталъ идеальный образъ поэта (Поэту). Въ этомъ превосходномъ стихотвореніи указаны и подготовительный путь къ предназначенному поэтическому подвигу, и неизмѣнныя условія для совершенія подвига. Поэту необходимо пріобрѣсти два дара: свѣтъ и жаръ могучей мысли и огнедышащее слово; тогда, говоритъ ему Языковъ:

Иди ты въ міръ—да слышитъ онъ пророка!  
Но въ міръ будь величественъ и святъ:  
Не лобызай сахарныхъ устъ порока,  
И не проси и не бери наградъ.  
Привѣтно ли сіяніе денницы,  
Ужасенъ ли судьбины приговоръ:

Невиненъ будь, какъ голубица,  
Смѣль и отваженъ, какъ орелъ.

То-есть, душевная чистота, безупречная нравственность должны быть вождами поэтической дѣятельности. Понятіе о высокомъ призваніи поэта выражено еще въ пьесѣ „Землетрясеніе“. Содержаніемъ ея служить одно изъ церковныхъ преданій, что во время землетрясенія, колебаннаго Византію, когда царь, сенатъ, синклитъ и народъ молились предъ алтаремъ объ избавленіи, невидимая сила подняла отрока къ небесамъ, и онъ услышалъ горнюю пѣснь: „святъ, святъ, святъ!“, принесъ ее на землю, и Византія была спасена этою пѣснью. Языковъ видитъ въ отрокѣ символъ поэта:

Такъ ты, поэтъ, въ годину страха  
И колебанія земли  
Носись душой превыше праха  
И ликамъ ангельскимъ внемли,  
И принеси дрожащимъ людямъ  
Молитвы съ горней вышины,  
Да въ сердце примемъ ихъ и будемъ  
Мы нашей вѣрой спасены.

Поэтому религіозныя стихотворенія Гоголь почиталъ настоящимъ утѣшломъ Языкова, какъ таланта лирическаго, который долженъ быть передовою, возбуждающею силой общества во всѣхъ его благородныхъ и высшихъ стремленіяхъ.

Лирика Языкова отличается и красотою выраженія: звучнымъ, бойкимъ, мужественнымъ стихомъ чисто русскаго склада. По отзыву Пушкина и Дельвига, искусство слагать стихотворный періодъ было достигнуто Языковымъ въ совершенствѣ. Умѣнье властвовать имъ видно почти въ каждомъ произведеніи; для примѣра укажемъ „Тригорское“, „Пловецъ“ (Нелюдимо наше море), „Ливонія“. Поэтъ легко находилъ въ родномъ языкѣ реченія для замѣны иностранныхъ общеупотребительныхъ словъ: такъ въ „Тригорскомъ“, говоря объ игрѣ на фортепіано, вмѣсто „клавиши“ онъ употреблялъ „лады“:

Какъ персты легкіе летали  
По очарованномъ *ладамъ*,

Въ удареніяхъ онъ слѣдовалъ иногда народному говору:

Бывало въ царственномъ покоѣ  
Великое свѣтило дня  
Во слѣдъ за раннею денницей  
*Шаромъ* восходить огненнымъ.

или въ указанномъ стихотвореніи „Поэту“;

Не лобызай *салѣрныхъ* устъ порока.

Если стихотворенія Языкова съ перваго же раза поражаютъ блескомъ и силой внѣшняго выраженія, то нельзя того же сказать о лиричѣ Баратынскаго (1800—1844): она не отличается красотою отдѣлки. Самъ авторъ вѣрно судить о ней въ этомъ отношеніи, какъ видно изъ стихотворенія „Муза“:

Но ослѣпленъ я музою моею:

Красавицей ея не назовуть...

Но пораженъ бываетъ мелькомъ свѣтъ

Ея лица *не общимъ выраженьемъ*.

Дѣйствительно, при чтеніи многихъ его лирическихъ пьесъ нерѣдко чувствуешь неблагозвучность стиха, тяжелый его ходъ, усиленія въ сочетаніи словъ и замыканія ихъ рифмой, какъ бы слѣдъ трудной работы. Этимъ и объясняется, почему при новомъ изданіи своихъ сочиненій авторъ многое въ нихъ передѣлывалъ, замѣняя прежнія стихи значительными вариантами. Красота лирическихъ произведеній Баратынскаго совершенно иного рода. Она состоитъ именно въ *необщей*, необычной фizioноміи его музы. Это—красота болѣе важная и серьезная, красота внутренняя, порожденная особымъ образомъ мыслей и силою чувствъ, имъ возбужденныхъ. Баратынскій выдавался изъ числа послѣдователей Пушкина, какъ человѣкъ многообразованный и мыслящій. Пушкинъ называлъ его „Гамлетомъ“,—прототипомъ такихъ людей, у которыхъ преобладаніе умственного развитія ослабляетъ другія способности духа, которые раздумываютъ надъ жизнію—ея значеніемъ и цѣлью, анализируютъ самихъ себя, предаются рефлексіи. Такимъ-то путемъ Баратынскій пришелъ къ темному, безотрадному міровоззрѣнію, что и выражалъ въ своихъ произведеніяхъ, по преимуществу элегическихъ. Элегіи его имѣютъ особый характеръ, соотвѣтственный источнику печали и рѣзко отличающій ихъ отъ элегій Жуковского и Пушкина. Онѣ проникнуты безотрадною грустью, потому что эта грусть порождена мыслию, убѣжденіемъ, отъ котораго нельзя освободиться по волѣ и желанію. Въ нихъ являются всѣ принадлежности мрачнаго душевнаго состоянія: разочарованіе, равнодушіе, доходящее до апатіи, чувство бесплодности жизненнаго итога, напраснаго теченія времени для того, кто узналъ и извѣдалъ на своемъ вѣку многое и кому грядущее сулитъ только повтореніе уже имъ извѣданнаго и перечувствованнаго. Самыми характерными элегіями, выражающими мысль автора, служатъ:



„Черепь“, „Осень“, „На что вы днѣ?“ Недаромъ сборникъ позднѣйшихъ произведеній Баратынскаго названъ „Сумерками“: подъ этимъ знаменательнымъ словомъ разумѣлъ онъ не ослабленіе поэтического дара, а усиленное потемнѣніе своей тоскующей мысли. Она осталась при немъ навсегда, обратилась въ его хроническую неисцѣлимую боль.

Впрочемъ, не одна „тоскующая мысль“ вліяла на элегическое направленіе поэзіи Баратынскаго. Ей предшествовали другія, болѣе или менѣе сильныя, вліянія. Баратынскій отъ природы получилъ очень чувствительное сердце и умъ, наклонный къ предметамъ возвышеннымъ, къ вопросамъ глубокомысленнымъ, къ движеніямъ внутренней жизни. Безпричинная меланхолія обнаружилась въ немъ рано. На 16-мъ году, въ одномъ изъ писемъ его къ матери, встрѣчается такое мѣсто: „Иногда человѣкъ, посреди всего того, что, повидимому, должно бы сдѣлать его счастливымъ, носить въ душѣ своей сокрытый ядъ, который гложетъ его и дѣлаетъ неспособнымъ къ радостному ощущенію; болѣзненное настроеніе духа, исполненное тоскливой досады и грусти, сопровождаетъ его посреди шумныхъ забавъ свѣта,—и я хорошо знаю такого человѣка“. Кромѣ того, юность Баратынскаго, когда онъ былъ воспитанникомъ Пажескаго корпуса омрачилась однимъ проступкомъ, который повредилъ его карьерѣ и за который легло на него тяжкое бремя осужденія. Это несчастное обстоятельство въ совокупности съ прирожденными свойствами и сложившимся понятіемъ о жизни положили на поэта нестираемое клеймо грусти, такъ что и впослѣдствіи, при самой благоприятной обстановкѣ, при обезпеченномъ состояніи и семейномъ счастіи, при литературной извѣстности, при любви къ нему друзей и уваженіи образованнаго общества, онъ не чувствовалъ себя ни счастливымъ, ни веселымъ, какъ бы оправдывая то, что говорилось имъ въ одномъ изъ раннихъ стихотвореній:

. . . . . дни печали,  
 Быть можетъ, поздно миновали:  
 Съ тоской на радость я гляжу,  
 Не для меня ея сіянье,  
 И я напрасно упованье  
 Въ больной душѣ моей бужу.  
 Судьбы ласкающей улыбкой  
 Я наслаждаюсь не вполне:  
 Все мнится, счастливъ я ошибкой  
 И не къ лицу веселье мнѣ.

Выше сказано, что муза Баратынскаго не отличается красотой вѣднѣшаго выраженія сравнительно съ стихомъ Пушкина, Лыжкова,

О. Тютчева. Но это замѣчаніе не должно быть относимо ко всѣмъ его произведеніямъ. Между ними есть превосходныя какъ по содержанию, такъ и по формѣ, тѣ именно, которыя имѣютъ своимъ предметомъ мысль,—особенно мысль, надъ поэтомъ господствовавшую. Тамъ является у Баратынскаго воодушевленіе и пробуждается фантазія, въ другихъ случаяхъ небогатая. Къ стихотвореніямъ, выдающимся въ этомъ отношеніи, принадлежатъ: „Истина“ и „На смерть Гете“. Последнее представляетъ образцовую по глубинѣ мысли и силѣ выраженія характеристику земного подвига нѣмецкаго поэта.

§ 58. Поэтическая дѣятельность Гоголя (1808—1852) одинакова съ дѣятельностью Пушкина въ томъ смыслѣ, что та и другая имѣютъ своимъ предметомъ изображеніе русской дѣйствительности. Въ этомъ ихъ существенное сходство, несомнѣнная связь. При этомъ надобно замѣтить, что Гоголю стоило меньше труда, чѣмъ Пушкину, обратиться за матеріаломъ для своего творчества прямо къ родной жизни. Менѣе образованный, чѣмъ Пушкинъ, не знавшій, въ началѣ своего авторства, ни одного иностраннаго языка, Гоголь даже не имѣлъ возможности подражать чуждымъ литературнымъ образцамъ. Подражаніе его должно было ограничиться отечественными писателями, въ особенности малорусскими, напримеръ талантливымъ романистомъ Нарѣжнымъ, вліяніе котораго дѣйствительно и обнаруживается въ нѣкоторыхъ разсказахъ. Сверхъ того на Украинѣ, родинѣ Гоголя, образованный кругъ находился въ большемъ общеніи съ народомъ, чѣмъ въ Великороссіи.

Различіе же между Пушкинымъ и Гоголемъ обуславливается различіемъ сторонъ жизни, которыя они изображали въ своихъ созданіяхъ. Если Пушкинъ любилъ воспроизводить поэтическую сторону дѣйствительности, показывать прекрасное въ природѣ и въ человѣкѣ, то Гоголь воспроизводилъ противоположную сторону той же дѣйствительности—низменную, пошлую. Это свойство таланта и опредѣляемое имъ направленіе поэтической дѣятельности ясно сознавалось самимъ Гоголемъ. Въ вышеуказанномъ мѣстѣ Мертвыхъ душъ <sup>1)</sup>, представивъ счастливый удѣлъ поэта, какъ изобразителя красоты, онъ противопоставляетъ ему удѣлъ писателя, дерзнувшаго вызвать наружу все, что ежеминутно предъ очами и чего не зрятъ равнодушныя очи,—всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь,—и крѣпкою силою неумолимаго рѣзца выставить ихъ вышукло и ярко на все-

---

<sup>1)</sup> Выше, стр. 190.

народныя очи. Впослѣдствіи онъ еще точнѣе объяснилъ свою особенность слѣдующимъ образомъ: „Обо мнѣ много говорили, но главнаго существа моего не опредѣлили. Его слышать одинъ только Пушкинъ. Онъ мнѣ говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять такъ ярко *пошлость жизни*, уметь очертить въ такой силѣ *пошлость пошлаго человека*, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула крупно въ глаза всѣмъ. Вотъ мое главное свойство, одному мнѣ принадлежащее; вотъ въ чемъ мое главное достоинство“ <sup>1)</sup>. Но, отдавая, съ извѣстной точки зрѣнія, преимущество писателю перваго рода, Гоголь вовсе не думаетъ возвысить его надъ писателемъ втораго рода. Творчество обоихъ стоитъ на одной высотѣ, одинаково по значенію, потому что въ своихъ созданіяхъ одинаково художественно являетъ сущность, идею изображаемаго. Мысль эта поясняется прекраснымъ уподобленіемъ одного изъ поэтовъ—телескопу, въ который мы наблюдаемъ величественные міровые предметы, небесныя свѣтила, а другаго — микроскопу, посредствомъ котораго разсматриваемъ мелкія твари, иногда незамѣтныя невооруженному глазу. Оба орудія приводятъ мыслящаго наблюдателя къ одному и тому же—къ сознанію премудраго устройства міра: „Равно чудны стекла, озирающія солнца и передающія движеніе незамѣченныхъ насѣкомыхъ; много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ созданья; высокій восторженный смѣхъ достоинъ стать рядомъ съ высокимъ лирическимъ движеніемъ“ <sup>2)</sup>. То-есть: дѣло не въ томъ, какой предметъ выбранъ поэтомъ; дѣло въ томъ, чтобы представленіе выбраннаго предмета было художественнымъ, или, по мѣткому слову Гоголя, *перломъ созданія*.

Второе отличіе Гоголя отъ Пушкина состоитъ не въ особой сторонѣ изображаемыхъ предметовъ, а въ чувствѣ, сопровождающемъ изображеніе. Это чувство—юморъ, такъ что характеристика поэтической дѣятельности Гоголя опредѣляется слѣдующей формулой: *юмористическое представленіе пошлой стороны жизни*.

Юморъ относится къ обширной области смѣшного или комическаго вообще, въ которомъ различаютъ три степени: комическое низшее, или элементарное, комическое разсудка, или остроуміе, и комическое разума, или юморъ.

Элементарное комическое обнаруживается въ грубо-чувствен-

---

<sup>1)</sup> Четыре письма къ разнымъ лицамъ, по поводу „Мертвыхъ душъ“ (Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями),

<sup>2)</sup> „Мертвыя души“,



ныхъ явленіяхъ, наприм. въ фарсахъ, шутовствѣ, паясничествѣ и т. п., и воспринимается вѣншими чувствами. На него указываетъ Гоголь въ отвѣтъ критикамъ „Ревизора“, требовавшимъ, чтобы комедія представляла только смѣшные случаи: „если вамъ правятся такіа комедіи, поѣзжайте только въ театръ: тамъ всякій день вы увидите пьесу, гдѣ одинъ спрятался подъ столъ, а другой вытащилъ его оттуда за ногу“ \*). Отношеніе его къ высшей степени комизма тоже выражено Гоголемъ: „дѣлая пропасть лежитъ между высокимъ восторженнымъ смѣхомъ и кривляньемъ балаганнаго скомороха“.

Комическое разсудка основывается на способности находить сходство между различными предметами и различіе между предметами сходными. Эта способность есть остроуміе: оно состоитъ въ сочетаніи представленій, не имѣющихъ между собою естественнаго отношенія.

Собственное значеніе слова юморъ (humor) — влага, жидкость. Старинная фізіологія различала въ человѣческомъ тѣлѣ четыре влаги и на преобладаніи той или другой основывала дѣленіе темпераментовъ (сангвиническій, флегматическій, холерическій, меланхолическій). Впослѣдствіи это слово отъ значенія матеріальнаго перешло къ психическому; имъ стали называть расположеніе духа, хорошее или дурное (*bonne humeur, mauvaise humeur*), зависящее отъ состоянія организма. Наконецъ у англичанъ оно получило болѣе тѣсный смыслъ, какъ выраженіе духовнаго настроенія, въ которомъ соединены два противоположныя чувства: веселость и грусть. Выраженіе этой настроенности въ поэзіи производитъ юмористическія созданія, а выражающій именуется юмористомъ. Гоголь поэтически охарактеризовалъ сущность юмора вообще и своего собственнаго въ частности, сказавъ, что онъ „озираетъ жизнь сквозъ видный міру *смѣхъ* и незримыя, невѣдомыя міру *слезы*“. Не менѣе поэтичнымъ символомъ юмора считаютъ образъ Андромахи, въ тотъ моментъ, когда, при прощаніи съ Гекторомъ, она прижимаетъ къ своей груди сына-младенца, *улыбаясь сквозъ слезы*.

Смѣшное трудно поддается опредѣленію, но преимущественно разумѣютъ подъ нимъ противорѣчіе между идеей и ея осуществленіемъ. Предметомъ юмористическихъ изображеній служатъ несовершенства человѣческой жизни, сравнительно съ идеей человѣка, какъ существа, созданнаго по образу и подобию Божію. Одностороннее или искаженное проявленіе идеи въ дѣйствительности не согласно съ тѣмъ понятіемъ, которое нашъ разумъ составилъ объ

---

1) Театральный разъѣздъ послѣ перваго представленія комедіи.

идеѣ, и потому неудовлетворительно для разума. Противорѣчіе между осуществляемымъ (идеѣй) и осуществленнымъ (идеѣй въ явленіи), идеальнымъ и реальнымъ, возбуждаетъ смѣхъ, а сознаніе величія, важности идеи, выразившейся несоотвѣтственно своему величію, производитъ чувство сожалѣнія, печали. Юмористъ открываетъ эту несостоятельность формъ, воплощающихъ идеи. Онъ видитъ общее несовершенство конечнаго. Для него не существуетъ безусловно величественнаго: ему извѣстно, что отъ величественнаго до смѣшного — одинъ только шагъ. Онъ смотритъ не на лицевую только сторону предмета, но и на его изнанку, и повсюду видитъ смѣсь важнаго съ неважнымъ, умнаго съ глупымъ, героическаго съ ничтожнымъ. По этой причинѣ онъ охотно изображаетъ въ своихъ произведеніяхъ, какъ иногда изъ малаго происходитъ великое, а великое, напротивъ, разрѣшается малымъ. Онъ не удивляется ни тому, что сплошь и рядомъ бываетъ много шуму изъ пустяковъ, ни тому, что пустякъ нерѣдко ведетъ къ неожиданно-серьезнымъ послѣдствіямъ. Гоголь указалъ на это свойство юмора въ повѣсти „Старосвѣтскіе помѣщики“: „По странному устройству вещей, всегда ничтожныя причины родили великія событія и, наоборотъ, великія предпріятія оканчивались ничтожными слѣдствіями. Какой-нибудь завоеватель собираетъ всѣ силы своего государства, воюетъ нѣсколько лѣтъ, полководцы его прославляются, и наконецъ все это оканчивается пріобрѣтеніемъ клочка земли, на которомъ негдѣ посѣять картофель, а иногда, напротивъ, два какіе-нибудь колбасника двухъ городовъ подерутся между собою за вздоръ, и ссора объемлетъ цѣлые города, потомъ села и деревни, а тамъ и цѣлое государство“. Эти слова напоминаютъ другого юмориста, Шекспира, который, въ трагедіи „Гамлетъ“, по поводу просьбы норвежскаго принца Фортинбраса позволить переходъ войскъ черезъ владѣнія датчанъ, влагаетъ въ уста Гамлету слѣдующее замѣчаніе:

... .. двадцать тысячъ войска  
Идутъ на смерть, и за видѣнье <sup>(1)</sup> славы  
Въ гробахъ, какъ въ лагерѣ, уснутъ. За что?  
За клочъ земли, гдѣ даже нѣтъ и мѣста  
Сражаться всѣмъ, гдѣ для однихъ убитыхъ  
Нельзя довольно накопать могилъ.

Примѣромъ комическаго паденія идеи можетъ служить „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифорови-

<sup>1)</sup> Призракъ.

чемъ“. Здѣсь дружба, одно изъ самыхъ благородныхъ человѣческихъ чувствъ, порвалась отъ бездѣлицы — оттого, что Иванъ Никифоровичъ называлъ Ивана Ивановича „гусакомъ“, — не только порвалась, но и обратилась въ противоположное чувство — во взаимную, непримиримую ненависть: „Два почтенные мужа, честь и украшеніе Миргорода, поссорились между собою! и за что? за вздоръ, за гусака! не захотѣли видѣть другъ друга, прервали всѣ связи, между тѣмъ какъ прежде были извѣстны за самыхъ неразлучныхъ друзей“. Но контрастъ между идеями и ихъ проявленіями не раздражаетъ юмориста, не возбуждаетъ въ немъ презрѣнія къ жизни и людямъ. Напротивъ, отличительная черта юмора — благодушіе, гуманность, любовь къ миру. Юмористъ смѣется надъ вѣщностью, потому что она не выражаетъ сущности, но вмѣстѣ съ тѣмъ и любить вѣщность, какъ покровъ внутренняго, сущности, всегда сохраняющей свое значеніе. Основой его изображеній служить убѣжденіе въ непоколебимости идеи. Онъ вѣруетъ, что, при всѣхъ несовершенствахъ людей, человѣческая сущность все же остается образомъ и подобіемъ Бога. Его девизъ: все минется, одна правда останется. Поэтому юморъ ведетъ къ примиренію съ дѣйствительностью, а не къ раздору съ нею. Этимъ примиряющимъ исходомъ юморъ существенно отличается отъ сатирическаго чувства. Сатира преслѣдуетъ отступленія отъ нравственныхъ началъ, а въ сферѣ нравственности нѣтъ ничего малаго: здѣсь возбуждается только почтеніе или презрѣніе, любовь или ненависть. Напротивъ, смѣшное не имѣетъ ничего общаго ни съ презрѣніемъ, ни съ ненавистью: оно слишкомъ маловажно, чтобы заслужить первое, и слишкомъ невинно, чтобы возбудить вторую. Смѣшное находится не въ сферѣ нравственности, а въ сферѣ разума. Примѣры указанного перѣдко встрѣчаются у Гоголя. Несмотря на крайне мелочную жизнь „Старосвѣтскихъ помѣщиковъ“, читатель симпатично относится къ ихъ добрымъ свойствамъ: простодушію, гостепріимству, снисходительному обращенію съ домочадцами, взаимной супружеской любви. Какъ ни скуденъ умомъ и духомъ Акакій Акакіевичъ (въ повѣсти „Шинель“), но все же въ немъ проглядываютъ обще-человѣческія черты. Даже на деревянномъ лицѣ Плюшкина, ставшаго, по выраженію автора, „прорѣхою въ человѣчествѣ“, „скользнулъ какой-то теплый лучъ, выразилось блѣдное отраженіе чувства“, при воспоминаніи о его бывшемъ школьномъ товарищѣ. Такъ какъ юморъ мирится съ неразуміемъ дѣйствительности во имя высшей идеальной разумности, то онъ есть обратная сторона величественнаго и приводитъ, только инымъ образомъ, къ той же цѣли, къ какой ведетъ прямое представленіе величія красоты, или,



повторяя слова Гоголя: „равно чудны стекла, озирающія солнца и передающія движеніе незамѣченныхъ частыкомъ“.

*Сочиненія Гоголя*: Вечера на хуторѣ близъ Диканьки“; Повѣсти, изданныя въ двухъ книгахъ: „Арабески и Миргородъ“; комедіи: „Ревизоръ“, „Женитьба“, „Игроки“; „Мертвыя души“ (два тома).

„Вечера на хуторѣ“ поэтически изображаютъ природу Малороссіи и жизнь ея поселянъ. Лучшія изъ нихъ: „Майская ночь, или утопленница“, и „Ночь передъ Рождествомъ“; послѣдняя есть картина домашняго народнаго быта, его радостей и горестей.

Продолженіемъ „Вечеровъ на хуторѣ“ служили повѣсти, подъ названіемъ „Миргородъ“. Ихъ четыре: Старосвѣтскіе помѣщики“, „Вій“, „Тарасъ Бульба“, „Повѣсть о томъ, какъ Иванъ Ивановичъ поссорился съ Иваномъ Никифоровичемъ“.

Старосвѣтскіе помѣщики—прекрасная идиллія, представляющая патріархальную, тихую и спокойную жизнь старой четы: Аѳанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны. Это—русскіе Филемонъ и Бавкида, добрые, простосердечные, радушные, счастливые взаимною любовью: „ни одно ихъ желаніе не перелетало за частоколъ, окружающій небольшой дворикъ, за плетень сада, наполненнаго яблоками и сливами, за деревенскія избы, пошатнувшіяся на сторону, осыпанныя вербами, бузиною и грушами; страсти, желанія и неспокойныя порожденія злаго духа, возмущающія міръ, для нихъ не существовали“. Они были довольны и счастливы въ своей мелкой жизни. Жизнь Аѳанасія Ивановича проходила въ сидѣніи на высокомъ стулѣ, въ яденіи сушеныхъ рыбокъ и грушъ, въ добродушныхъ разсказахъ, а Пульхерія Ивановна посвящала все свое время хозяйственнымъ хлопотамъ. У людей такого рода теченіе времени однообразно: ихъ „сегодня“ повторяетъ вчерашній день и повторяется „завтра“. О нихъ собственно разсказывать нечего: ихъ надобно описывать. И Гоголь дѣйствительно описываетъ съ идиллическимъ одушевленіемъ, поддаваясь самъ очарованію ихъ безмятежности и настраивая читателя на такое же душевное состояніе. Какъ ни мелка, какъ ни бездѣтельна жизнь „старосвѣтской“ четы, авторъ относится съ сочувствіемъ къ ихъ простотѣ и чистосердечію—тѣмъ качествамъ, которыя исчезаютъ при переходѣ въ другую жизнь. Аѳанасію Ивановичу и Пульхеріи Ивановичѣ онъ противопоставляетъ тѣхъ малороссіянъ, „которые выдираются изъ дегтярей, торгашей, наполняютъ, какъ саранча, палаты и присутственныя мѣста, дерутъ послѣднюю копейку съ своихъ же земляковъ, наводняютъ Петербургъ ябедниками, наживаютъ наконецъ капиталъ и торжественно прибавляютъ къ фамиліи своей, оканчивающейся на о, слогъ въ“. Противопоставляетъ онъ имъ и наслѣдника, страшнаго

реформатора, который своими преобразованиями и улучшениями разорилъ въ корень аркадскій уголокъ.

Повѣсть „Тарась Бульба“, въ эпическомъ топѣ (почему ее и пазывали эпопеей), воспроизводитъ характеръ вольной казачьей общины, съ ея своеобразнымъ уставомъ, не хотѣвшимъ знать условій и требованій государственныхъ. Будучи пограничною стражей, казаки постоянно чинили набѣги на турецкія владѣнія и тѣмъ вовлекали Россію и Польшу въ опасную вражду съ могучимъ соседомъ. Со времени Уніи, имъ открылась возможность связать свое дѣло съ дѣломъ народнымъ, т.-е. охранять оружіемъ православіе отъ притѣсненій Польши, защищать крестьянъ (хлоповъ) отъ варварства помѣщиковъ (пановъ) и жидовъ-арендаторовъ, и въ этомъ отношеніи ихъ служба принесла большую пользу \*). Представителемъ казачества, съ его добрыми и недобрыми сторонами, въ повѣсти является Тарась-Бульба, „одинъ изъ тѣхъ характеровъ, которые могли возникнуть въ грубый вѣкъ и притомъ на полукочующемъ востокѣ Европы во время праваго и неправаго понятія о земляхъ, сдѣлавшихся какимъ-то спорнымъ, нерѣшеннымъ владѣніемъ, къ какимъ принадлежала Украина. Вѣчная необходимость пограничной защиты придавала вольный, широкій размѣръ подвигамъ сыновъ ея и воспитала упрямство духа. И Бульба былъ страшно упрямъ“. Этотъ желѣзный характеръ, ничѣмъ не смягчаемый, типично выставленъ авторомъ въ главнѣйшихъ событіяхъ, рассказываемыхъ повѣстью. Бульба самъ убиваетъ своего младшаго сына (Андрея), какъ измѣнника и вѣропродавца, перешедшаго на сторону враговъ изъ любви къ полячкамъ; онъ съ твердымъ духомъ присутствуетъ при казни старшаго сына (Остапа), огнемъ и мечомъ справляетъ по немъ поминки; попавшись въ плѣнъ, привязанный цѣпами къ древесному стволу, осужденный на сожженіе, онъ за минуту до смерти кричитъ полякамъ: „что взяли, думаете, есть что-нибудь на свѣтѣ, чего бы побоялся казакъ?“ Но чѣмъ сильнѣе упрямая воля Тараса, чѣмъ трогательнѣе проявленіе чувства въ такомъ мужѣ. Когда любимый сынъ его Остапъ былъ взятъ въ плѣнъ, его перестало занимать все, что прежде занимало: „онъ уходилъ въ луга и степи, будто бы за охотою, но зарядъ его оставался невыстрѣленнымъ, и, положивъ ружье, полный тоски, садился онъ на морской берегъ, Долго сидѣлъ онъ тамъ, понутивъ голову и все говоря: „Остапъ мой! Остапъ мой!“ Передъ нимъ сверкало и разстилалось Черное море; въ дальнемъ трост-

---

\*) Исторія Россіи, Соловьева.

някъ кричала чайка; бѣлый усь его серебрился, и слеза капала одна за другою.—Образы Остана и Андрея являются живыми отраженіями родительскихъ свойствъ. Останъ весь въ отца: „онъ будетъ добрый полковникъ“, говорить о немъ Бульба, „да еще такой, что и батьку за поясъ заткнетъ“. Андрей—подобіе матери: онъ увлекся сердечною нѣжностью, и этого увлеченія не прощаетъ отецъ, знающій только увлеченіе войною и разгуломъ.—Рядомъ съ такимъ характеромъ, какъ Бульба, стоитъ его жена—подневольное существо. Дня два или три въ годъ она видала своего мужа, который затѣмъ покидалъ ее надолго; она терпѣла отъ него оскорбленія, даже побои, ласки же оказывались ей изъ милости. Она не только не смѣетъ возразить мужу, когда онъ рѣшилъ ѣхать съ сыновьями въ Сѣчу, не давъ имъ погулять въ родномъ дому—не смѣетъ и просить его объ отпѣлѣхъ намѣренія. Чтобы наглядѣться на нихъ, бѣдная мать не ложилась спать: „Она припирала къ изголовью дорогихъ сыновей своихъ, лежавшихъ рядомъ; она расчесывала гребнемъ ихъ молодые, небрежно исключенныя кудри; она глядѣла на нихъ вся, глядѣла всѣми чувствами, вся превратилась въ одно зрѣніе и не могла наглядѣться. Она вскормила ихъ собственной грудью; она возрастила, взлелѣяла ихъ—и только на одинъ мигъ видитъ ихъ передъ собою! „Сыны мои, сыны мои милые! Что будетъ съ вами, что ждетъ васъ?“ говорила она, и слезы остановились въ морщинахъ, измѣнившихъ прекрасное когда-то лицо ея... Мѣсяцъ съ вышины неба давно уже озарялъ весь дворъ, наполненный спящими, густую кучу вербъ и высокій бурьянъ, въ которомъ потонулъ частоколъ, окружавшій дворъ. Она все сидѣла въ головахъ милыхъ сыновей своихъ, ни на минуту не сводила съ нихъ глазъ и не думала о снѣ. Уже кони, чуя разсвѣтъ, всѣ легли на траву и перестали ѣсть; верхніе листья вербъ начали лепетать, и мало-по-малу лепечущая струя спустилась по нимъ до самаго низу. Она просидѣла до свѣта, вовсе не утомилась и внутренно желала, чтобы ночь протянулась какъ можно дольше. Со степи понеслось звонкое ржаніе жеребенка; красныя полосы ясно сверкнули на небѣ. Бульба вдругъ проснулся и вскочилъ: онъ очень хорошо помнилъ все, что приказывалъ вчера... Бѣдная старушка, лишняя послѣдней надежды, уныло поплелась въ хату“. Немного найдете мѣстъ въ сочиненіяхъ великихъ поэтовъ, гдѣ бы такъ вѣрно, просто и трогательно была изображена материнская любовь. Въ повѣсти есть также много поэтическихъ описаній: одно изъ нихъ (разсвѣтъ) мы привели въ выписанномъ отрывкѣ; между другими наиболѣе замѣчательны красотой своей: картина степей, до того поразив-



пихъ самого автора, что онъ невольно воскликнулъ: чортъ вась возьми, степи, какъ вы хороши!“ и картина зарева горѣвшихъ окрестностей.

Въ повѣсти „Вій“ Гоголь воспользовался народнымъ преданіемъ о царѣ подземныхъ существъ (гномовъ)—дюжемъ, приземистомъ, косолапомъ чудовищѣ-человѣкѣ: „Весь быть онъ въ черной землѣ. Какъ жилистые, крѣпкіе корни, выдавались его, засыпанныя землею, ноги и руки. Тяжело ступалъ онъ, поминутно оступаясь. Вѣки на глазахъ спускались до самой земли. Лицо его было желѣзное“. Фантастическій элементъ повѣсти искусно смѣшивается съ дѣйствительною жизнію. Особенно интересны черты бурсацкаго быта. Представленіе ихъ отличается высокимъ комизмомъ, сравнительно съ тѣмъ, какъ они являются въ романѣ даровитаго Нарѣжнаго: „Бурсакъ“. Что касается до вѣдьмы, дочери сотника, умершей и встающей въ полночь изъ гроба, то подобное лицо служить предметомъ сказокъ у многихъ народовъ.

На повѣсти „о томъ, какъ Иванъ Ивановичъ поссорился съ Иваномъ Никифоровичемъ“, также замѣтно вліяніе Нарѣжнаго, который въ романѣ „Два Ивана или страсть къ тяжбамъ“ рассказъ исторію процесса, изумительнаго съ одной стороны ничтожностью поводовъ, а съ другой—долговременностью и ожесточеніемъ. Но это вліяніе простирается только на сюжетъ, все прочее—обработка сюжета, характеристика лицъ, описаніе ихъ пустой, ничтожной жизни, забавный переходъ отъ дружбы къ ссорѣ и ненависти, такъ же различны, какъ различны простой рассказъ и художественное повѣствованіе. Исполненная комизма повѣсть оканчивается не комически, а жалобой автора на скуку жизни. Проѣзжая чрезъ Миргородъ и увидѣвъ Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича послѣ двѣнадцатилѣтней съ ними разлуки, онъ услышалъ отъ того и другого одинаковое извѣстіе: „завтра рѣшится дѣло въ мою пользу“. Эта новость заставила его вздохнуть глубоко и заключить повѣсть слѣдующими словами: „Я поспѣшилъ проститься, и поскорѣ сѣлъ въ кибитку. Тощія лошади потянулись, производя копытами своими, погружавшимися въ сѣрую массу грязи, непріятный для слуха звукъ. Дождь лилъ ливнемъ... Сырость меня проияла пaskвозъ. Печальная застава съ будкою медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, мѣстами изрытое, черное, мѣстами зеленѣющее, мокрая галки и вороны, однообразный дождь, слезливое безъ просвѣту небо... Скучно на этомъ свѣтѣ, господа!“—Разумѣется, не столько скучно отъ дурной погоды, сколько печально отъ мысли о разореньѣ дружбы, бывшей такою трогательною.

Дѣйствіе въ комедіи вытекаетъ не изъ разумныхъ началъ, а отъ неразумія, иногда доходящаго до безумія. Въ немъ господствуетъ произволъ и случайность. Дѣйствующія лица стремятся къ пустымъ, ничтожнымъ цѣлямъ и для достиженія ихъ придумываютъ безразсудныя средства, строятъ забавныя планы. Одна случайность сталкивается съ другою случайностью, одинъ произволъ съ другимъ произволомъ, одинъ цѣль съ другими, противоположными цѣлями. Изъ столкновений происходитъ запутанность, суматоха, которая вызываетъ тѣмъ болѣе смѣхъ, чѣмъ столкновение неожиданнѣе и чѣмъ сильнѣе приносятъ они съ собою разочарованіе въ успѣхъ нелѣпыхъ надеждъ и сумасбродныхъ намѣреній. Этотъ смѣхъ и миритъ зрителя съ игрою случайностей и произволомъ, ибо они своимъ самоуничтоженіемъ заявляютъ торжество разумности, подобно тому, какъ въ трагедіи ужасъ и состраданіе мирятъ зрителей съ гибелью героя, которая возмещаетъ нарушенную имъ гармонію нравственныхъ силъ.

„Ревизоръ“ въ совершенствѣ выполняетъ эти условія истинно-комическаго представленія и потому принадлежитъ къ образцовымъ комедіямъ. Авторъ пренебрегъ обычной интригой, основанной на любви, потому что видѣлъ, что все давно измѣнилось на свѣтѣ, что теперь выгодная женитба, желаніе получить доходное мѣсто, чинъ или денежный капиталъ, гроза идущаго вдали закона скорѣе и крѣпче, нежели любовь, завязываютъ драму. Онъ выбралъ послѣдній пунктъ—грозу закона. Дѣло началось съ извѣстія о пріѣздѣ ревизора — инкогнито и съ секретнымъ предписаніемъ. Не вѣрить извѣстію нельзя: городничій получалъ письмо отъ знакомаго изъ Петербурга; сверхъ того ему приснились двѣ необыкновенныя крысы: черныя, вѣсественной величины. Не бояться также нельзя: за нимъ, какъ и за великимъ, водились грѣшки. Городничій спланируетъ по этому случаю, со своей стороны, сдѣлать приличныя распоряженія, взять соотвѣтственные мѣры, и совѣтуетъ тоже другимъ уѣзднымъ властямъ. Комизмъ заключается въ томъ, что всѣ эти мѣры и распоряженія, по мнѣнію распорядителя, очень разумныя и основательныя, приводятъ вовсе не къ тому, что онъ имѣлъ въ виду. Въ этомъ отношеніи Сквозникъ-Дмухановскій похожъ на Эдипа, который принималъ всѣ мѣры, чтобъ избѣгнуть исполненія предсказаній оракула, но именно эти самыя мѣры и направили его на путь преступленій. Такъ и городничій: опираясь на обычный пріемъ ревизоровъ—ухаживанье, угощенье, подарки, онъ примѣняетъ его и къ Хлестакову. Все, повидимому, удалось ему свыше ожиданій: дочь просватана за челоуѣка, который и во дворецъ ѣздитъ, и съ министрами въ

карты играетъ; самъ онъ думаетъ вѣзть въ генералы, украситься голубою лентой, переѣхать на житье въ Петербургъ. И что же? все это лопнуло, какъ мыльный пузырь; стараго воробья на мякинь обмануть, надуть мальчишка: „Вотъ такъ зарѣзаль!“ вопиеть онъ одураченный. „убить, убить, совсѣмъ убить! Какъ я, глупый баранъ, выжилъ изъ ума!.. Тридцать лѣтъ живу на службѣ; ни одинъ купецъ, ни подрядчикъ не могъ провести; мошенниковъ надъ мошенниками обманывалъ; пройдохъ и плутовъ такихъ, что весь свѣтъ готовъ обокрасть, поддѣлъ на уду; трехъ губернаторовъ обманулъ!.. Не могу придти въ себя. Вотъ подлинно, если Богъ хочетъ наказать, такъ отниметъ прежде разумъ. Ну что было въ этомъ вертопрахѣ похожаго на ревизора? Ничего не было“. Супруга городничаго за неприличное по лѣтамъ кокетничанье съ петербургскимъ гостемъ наказывается неожиданнымъ „пассажемъ“; она застаеть Хлестакова на колѣняхъ передъ дочерью и убѣждается, что онъ влюбленъ въ дочь, а не въ ея мамашку. Почтмейстеру, любившему распечатывать и читать чужія письма, пришлось изъ письма Хлестакова услышать очень не лестную себѣ рекомендацію: „Почтмейстеръ—точь-въ-точь департаментскій сторожъ Михеевъ, должно-быть также, подлець, пьетъ горькую“. Бобчинскій пострадалъ вдвойнѣ: сначала, за подслушивание у дверей, получилъ напелеку на носъ, а потомъ досталось ему вмѣстѣ съ Добчинскимъ, когда на нихъ, какъ на любителей сплетенъ и разносчиковъ вѣстей, со всѣхъ сторонъ посыпались упреки и брань: „сплетники городскіе, лгуны проклятые, трещетки, сороки короткохвостыя, пачкуны, колпаки, сморчки короткобрюхе“. И эти самые вѣстовщики, считавшіе особымъ удовольствіемъ узнать новость прежде всѣхъ, перебивавшіе другъ друга, сообщая о пріѣздѣ ревизора, теперь, въ заключеніи пьесы, стали отрекаться и сваливать вину одинъ на другого: „Ей Богу, это не я, это не я, это Петръ Ивановичъ“. — „Э, лѣтъ, Петръ Ивановичъ, вы вѣдь первые“. Такимъ образомъ всѣ сами себя наказали собственнымъ неразуміемъ. Одинъ только избѣгнулъ наказанія—Хлестаковъ. Но онъ служить орудіемъ судьбы, которая послала его отуманить голову опытнаго дѣльца, тридцать лѣтъ пробывшаго на службѣ. Сверхъ того, при немъ состоитъ опытный слуга Осипъ, посовѣтовавшій ему заблаговременно убираться изъ города. Наконецъ, онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, которые не вѣдаютъ что творять. Имъ управляла не умышленность, а легкомысленность; а такія личности не казятся комедіей: она часто не только сохраняетъ ихъ цѣлыми и невредимыми, но и дозволяетъ имъ достигать извѣстнаго счастья, завершая, напримѣръ,



дѣйствіе свадьбой, въ противоположность трагедіи, которая завершается смертію.

Зрѣлище комическихъ запутанностей, паденія пустыхъ надеждъ, глупыхъ замысловъ и мелочныхъ расчетовъ сопровождается непрерывнымъ смѣхомъ. Этотъ смѣхъ, по словамъ самого автора, и „есть единственно честное, благородное лицо комедіи, дѣйствовавшее во все время ея продолженія, — не тотъ смѣхъ, который порождается временной раздражительностью, желчнымъ, болѣзненнымъ расположеніемъ характера, также не тотъ легкій смѣхъ, который излетаетъ изъ свѣтлой природы человѣка, но тотъ, который заставляетъ выступить то, что проскользнуло бы, безъ проникающей силы котораго мелочь и пустота жизни не испугали бы такъ человѣка“. Но наказаніе дѣйствующихъ лицъ въ „Ревизорѣ“, какъ слѣдствіе ихъ собственнаго неразумія и произвола, было бы недостаточно въ сравненіи съ ихъ поступками и не удовлетворило бы зрителей. Эти лица страдаютъ не одною мелочностью и пустотою: за нѣкоторыми изъ нихъ водятся „грѣшки“; ихъ дѣйствія противорѣчатъ требованіямъ не разума только, но и нравственности, не просто смѣшатъ, но и возмущаютъ; они творятъ „несправедливости на тѣхъ мѣстахъ и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ всего больше требуется отъ человѣка справедливость“. Поэтому для городничаго потеря нѣсколькихъ сотенъ рублей—ничтожное наказаніе. Что они ему значатъ? Въ короткое время онъ навѣрстаеетъ съ купцовъ вдвое или втрое большую сумму. За нарушеніе его воздушныхъ замковъ заплатится городъ. Вслѣдствіе этого завязка комедіи—„гроза идущаго закона“—должна была остаться въ своей силѣ и сдѣлаться завязкой будущей пьесы, какъ продолженія „Ревизора“. И вотъ въ послѣднемъ явленіи, когда Бобчинскій и Добчинскій не знали куда дѣваться отъ напора лицъ, раздраженныхъ письмомъ Хлестакова, ихъ выручаетъ изъ бѣды жандармъ, возвѣщающій, что изъ Петербурга по именному повелѣнію пріѣхалъ чиновникъ и требуетъ господина городничаго сейчасъ же къ себѣ. Какъ развизался этотъ новый узелъ: обогнулся ли настоящій ревизоръ дороже мнимаго, отдѣлался ли уѣздныя власти за свои грѣшки подарками или понесли заслуженную ими кару закона — намъ неизвѣстно, Знаемъ только нѣмую сцену, послѣдовавшую за этимъ возвѣщеніемъ—сцену неожиданности, смущенія, боязни, окаменѣвшихъ всю группу.

Послѣ „Ревизора“ Гоголь, какъ онъ самъ говоритъ, почувствовалъ потребность написать такое сочиненіе, въ которомъ было бы не одно то, надъ чѣмъ слѣдуетъ смѣяться. Ему хотѣлось выставить съ одной стороны тѣ высшія свойства русской природы, которая

еще не все́ми цѣнятся справедливо, а съ другой—тѣ низкія свойства, которыя недостаточно осмѣяны и поражены; хотѣлось, чтобы, по прочтеніи сочиненія, читателю предсталъ *весь русскій человѣкъ* со все́мъ разнообразіемъ богатствъ и даровъ, доставшихся на его долю преимущественно предъ другими народами, и со все́мъ множествомъ тѣхъ недостатковъ, которые находятся преимущественно въ немъ же <sup>1)</sup>. Этимъ новымъ произведеніемъ были два тома „Мертвыхъ душъ“. Сюжетъ его данъ Гоголю Пушкинымъ, которому также принадлежитъ мысль „Ревизора“. Главное лицо въ „Мертвыхъ душахъ“—Чичиковъ, *пріобрѣтатель*, положившій себѣ цѣлью разбогатѣть, не потому что имъ овладѣла скупость, а для того, чтобы съ довольствомъ и комфортомъ пользоваться благами жизни: имѣть отлично устроенный домъ, экипажи, вкусный столъ и т. п. Такъ какъ ему не удалось нажить на таможенной службѣ, то онъ задумалъ вознаграждать себя другимъ образомъ. Планъ его состоялъ въ слѣдующемъ: на имѣвшіеся у него деньги (около десяти тысячъ руб.) накупить „мертвыхъ душъ“, т.-е. крестьянъ, умершихъ послѣ ревизіи. Этотъ планъ не трудно было привести въ исполненіе, такъ какъ онъ представляетъ обоюдную выгоду: помѣщики, по условію съ покупщикомъ, освобождались отъ платы податей за проданныя души, а покупщикъ, пріобрѣтая за безцѣнокъ извѣстное количество душъ, могъ водворить ихъ въ одной изъ мало населенныхъ губерній (Таврической или Херсонской), гдѣ земля отдавалась даромъ, и потомъ, съ законными документами въ рукахъ, заложить пріобрѣтенное въ опекунскій совѣтъ, что доставило бы ему значительный капиталъ. Но чтобы осуществить проектъ свой, Чичиковъ долженъ былъ путешествовать по Россіи: это давало автору возможность представить множество разнообразныхъ характеровъ, выбирая изъ нихъ, соотвѣтственно своей задачѣ, тѣ въ особенности, на которыхъ замѣтнѣй, глубже отпечатлѣлись коренныя свойства русскаго человѣка. Если бы знакомство героя ограничилось только однимъ классомъ народа—классомъ помѣщиковъ, или, попрежнему, „душевладѣльцевъ“, то и въ такомъ случаѣ, принимая въ соображеніе ихъ многочисленность и различія—имущественное, образовательное, общественное,—сочиненіе вышло бы большихъ размѣровъ. Но замыселъ Гоголя не допускалъ подобнаго ограниченія: онъ хотѣлъ представить „всего русскаго человѣка“, а весь русскій человѣкъ не выражается въ одномъ дворянствѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ слѣдующихъ томахъ „Мертвыхъ душъ“ выступили бы на сцену и другіе

<sup>1)</sup> Авторская исповѣдь.

классы. Притомъ, въ задуманное изображеніе всего русскаго чело-  
вѣка должны были войти какъ его достоинства, такъ и не-  
достатки. Въ первомъ же томѣ, который собственно и надобно  
имѣть въ виду, говоря о „Мертвыхъ душахъ“, потому что второй  
не обработанъ и не конченъ, выступаютъ единственно недостатки.  
пошлая сторона помѣщичьей жизни. Сколько томовъ потребова-  
лось бы для всецѣлаго выполненія авторскаго замысла — неиз-  
вѣстно; но можно сказать положительно, что авторъ имѣлъ право  
назвать свое произведеніе поэмой, такъ какъ оно должно было  
обнимать всѣ сословія русскаго народа, быть „Россіею“, въ  
правильномъ и ясномъ значеніи этого слова. Въ первомъ  
томѣ Чичиковъ знакомится всего-на-все съ пятью помѣщиками,  
принадлежащими къ тому разряду дворянъ, до котораго цивили-  
зація или мало коснулась, или не коснулась вовсе. Это — Ма-  
ниловъ, пустой, хотя и добрый чело-вѣкъ, преданный праздно-  
и смѣшной мечтательности, что и отзывается у него на дурномъ  
воспитаніи дѣтей и безпорядочномъ управленіи имѣніемъ; ду-  
бинноголовая Коробочка, ничего не понимающая, кромѣ своего  
хозяйства; Поздrevъ — разбитной малый, кутила, враль, „чело-  
вѣкъ въ нѣкоторомъ отношеніи историческій“, такъ какъ ни одно  
собраніе, гдѣ онъ присутствовалъ, не обходилось *безъ исторіи*; Собакевичъ, по внѣшнему устройству — медвѣдь, по внутреннимъ  
качествамъ — хозяинъ-кулакъ; наконецъ Плюшкинъ — отвратитель-  
ный скряга, „явленіе рѣдкое на Руси, гдѣ все любитъ скорѣе  
развернуться, чѣмъ съежиться“. Всѣ эти лица до такой степени  
вѣрны дѣйствительности, характерны и типичны, что собственное  
имя почти каждаго изъ нихъ обратилось въ нарицательное для  
означенія понятія: скареднаго скупца мы называемъ Плюшкинымъ,  
плутватаго прибрѣтателя — Чичиковымъ, неутомимаго кутилу  
и вряля — Поздrevымъ. Эти прозвища дали начало словамъ,  
выражающимъ то или другое качество чело-вѣка: маниловщина,  
чичиковщина, поздrevщина. Кромѣ перечисленныхъ лицъ, есть еще  
одно собирательное: губернский городъ съ его чиновнымъ людомъ.  
Въ своей особой жизни, столь же пустой, какъ жизнь душевла-  
дѣльцевъ, оно сначала сильно интересовалось личностью Чичи-  
кова, а потомъ серьезно и боязненно озабочилось думой о назна-  
ченіи новаго генераль-губернатора.

„Мертвыя души“, по словамъ автора, сдѣлали свое дѣло, т.-е.  
произвели именно то впечатлѣніе, какое должны были произвести:  
внушили отвращеніе отъ выведенныхъ въ нихъ лицъ. „Пошлость  
больше всего испугала читателей. Испугало ихъ то, что другъ  
за другомъ слѣдуютъ герои одинъ пошлѣе другого, что нѣтъ ни



одного утѣшительнаго явленія, что негдѣ даже пріотдохнуть или перевести духъ бѣдному читателю, и что по прочтеніи всей книги кажется, какъ бы точно вышелъ изъ какого-то душнаго погреба на Божій свѣтъ“ <sup>1)</sup>. Но такой испугъ всего яснѣе свидѣтельствуешь о достоинствѣ и пользѣ книги. Художественное изображеніе ничтожнаго и безобразнаго, отвращая отъ нихъ, въ то же время направляетъ мысль и привлекаетъ чувство къ предмету противоположному — къ красотѣ и величію разумно-нравственной жизни. Независимо отъ этого общаго впечатлѣнія, выносимаго читателями изъ поэмы и примиряющаго ихъ съ несовершенствами людей и русскаго человѣка въ частности, въ ней есть отдѣльныя мѣста, которыми умѣряется дѣйствіе испуга. Сюда относятся преимущественно лирическія изліянія самого автора, когда онъ отступаетъ отъ разсказа, чтобы отвести свою душу на чувствахъ и думахъ, не похожихъ на тѣ, какія свойственны его героямъ. Таковы, напримѣръ, два обращенія къ Руси, выражающія предчувствіе великихъ судьбъ, ее ожидающихъ <sup>2)</sup>; вышеприведенное сравненіе двухъ писателей <sup>3)</sup>; патетическое заключеніе къ образу Плюшкина, начертаннаго съ такимъ искусствомъ. Последнее мѣсто содержитъ въ себѣ прекрасный нравственный урокъ: „И до такой ничтожности, мелочности, гадости могъ снизойти человѣкъ! могъ такъ измѣниться! И похоже это на правду? Все похоже на правду, все можетъ статься съ человѣкомъ. Нынѣшній же пламенный юноша отскочилъ бы съ ужасомъ, если бы показали ему его же портретъ въ старости. Забирайте же съ собою въ путь, выходя изъ мягкихъ юношескихъ лѣтъ въ суровое ожесточающее мужество, забирайте съ собою всѣ человѣческія движенія, не оставляйте ихъ на дорогѣ, — не подымете потомъ! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдаетъ назадъ и обратно! Могила милосердіе ея, на могилѣ напишется: здѣсь погребенъ человѣкъ! но ничего не прочитаешь въ холодныхъ, въ безчувственныхъ чертахъ безчеловѣчной старости“ <sup>4)</sup>. Можно думать, что не безъ намѣренія также художественное описаніе сада Плюшкина предпослано знакомству съ его владѣльцемъ. Природа является здѣсь въ яркомъ контрастѣ съ имѣющимъ выступить на сцену человѣческимъ существомъ. Въ саду „все было хорошо, какъ не выдумать ни природѣ, ни искусству, но какъ бываетъ только

<sup>1)</sup> Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями.

<sup>2)</sup> „Мертвыя души“, т. I, гл. 11.

<sup>3)</sup> *Иб.*, гл. 7.

<sup>4)</sup> *Иб.*, гл. 6.

тогда, когда они соединятся вмѣстѣ“. Напротивъ, въ Плюшкинѣ все было безобразно, потому что онъ далъ волю своей страсти къ безцѣльному скопидомству, упразднилъ всякій надзоръ надъ собою, всякое самообладаніе, пренебрегъ искусствомъ облагораживать, возвышать свою природу, хотя и не глубокую, но имѣвшую въ себѣ нѣкоторые хорошіе задатки: отсюда — полное душевное запустѣніе, человѣкъ безъ признаковъ человѣчности.

Гоголь предвидѣлъ дѣйствіе, какое должна была произвести его поэма. Въ концѣ перваго тома онъ касается обвиненій, какія могутъ явиться со стороны читателей вообще, лжепатріотовъ въ особенности. Письма его о „Мертвыхъ душахъ“ <sup>1)</sup> даютъ объясненія по поводу неприятныхъ для него толковъ. Какъ бы для ослабленія эффекта, возбужденнаго первымъ томомъ, во второмъ, на ряду съ лицами прежняго покроя, выведены лица противоположныя, своего рода идеалы: Улинька, Костанжогло, Муразовъ. Но они вышли очень неудачны по самой простой причинѣ, указанной въ тѣхъ же письмахъ: „людей добросовѣстныхъ, героевъ въ головѣ не выдумаешь“, если ихъ нѣтъ въ наличной дѣйствительности.

Дѣятельность Гоголя занимаетъ высокое мѣсто въ исторіи нашей литературы:

а) Онъ какъ художникъ, раскрылъ *скудость образованія и нравственную немощь современнаго общества*; первый ввелъ въ область художества изображеніе пошлой стороны дѣйствительности, тотъ міръ, въ которомъ нѣтъ ничего идеальнаго и который онъ воспроизводитъ съ поразительной истиной сквозь зримый смѣхъ и незримыя, невѣдомыя слезы. Въ основѣ его юмора лежитъ глубокое чувство скорби, происходящее отъ любви къ людямъ. Нездаромъ на его надгробномъ камнѣ вырѣзана надпись: „горькимъ словомъ моимъ посмѣюсь“ <sup>2)</sup>. Слово его, дѣйствительно, было горькое: оно изображало несовершенства тѣхъ существъ, которые обязаны совершенствоваться.

б) Художественное воспроизведеніе пошлыхъ, неразумныхъ и безнравственныхъ явленій внушало Гоголю не одною склонностью таланта, но и сознаніемъ необходимости и пользы. „Бываетъ время“, говоритъ онъ, „когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколѣніе къ прекрасному, когда не покажешь ему всю глубину его настоящей мерзости“. Обнаруживая эту мерзость, выставляя ее на „всенародныя очи“, онъ тѣмъ самымъ

<sup>1)</sup> Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями.

<sup>2)</sup> Книга пророка Іереміи, гл. XX, ст. 8.

устремлялъ читателя въ сторону противоположную — въ сторону прекраснаго, разумаго и нравственнаго, къ мысли о важности образованія, совершенствованія. Его сочиненія служили такимъ образомъ дѣлу цивилизаціи, на что онъ самъ опредѣленно указываетъ: „Развѣ положительное и отрицательное не можетъ служить той же цѣли? Развѣ комедія и трагедія не могутъ выразить ту же высокую мысль? Развѣ все, до малѣйшей излучины души подлаго и безчестнаго человѣка, не рисуетъ уже образъ честнаго человѣка? Развѣ все это накопленіе низостей, отступленіе отъ законовъ и справедливости не даетъ уже знать, чего требуетъ отъ насъ законъ, долгъ и справедливость? Въ рукахъ искуснаго медика и холодная и горячая вода лѣчатъ съ равнымъ успѣхомъ однѣ и тѣ же болѣзни. Въ рукахъ таланта все можетъ служить орудіемъ къ прекрасному, если только правится высокой мыслью послужить прекрасному“ <sup>1)</sup>.

в) Своимъ трезвымъ взглядомъ на жизнь, не скрывая отъ читателей того, что у нихъ ежедневно передъ глазами, называя каждый предметъ настоящимъ его именемъ и представляя его въ настоящемъ его видѣ и состояніи, Гоголь положилъ конецъ литературнымъ искаженіямъ дѣйствительности. Фальшивый идеализмъ, ложный стыдъ, лжечувствительность, мелодраматизмъ, манерность, всякаго рода аффектація съ его времени не только потеряли свое обаяніе, но сдѣлались смѣшными и невозможными.

г) Наконецъ Гоголь ввелъ въ свои произведенія психическій анализъ. Онъ не ограничивался представленіемъ своихъ героевъ, *каковы они есть*, но указывалъ причины, въ силу которыхъ эти герои сдѣлались *такowymi*, а не иными. Благодаря обстоятельному раскрытію внутреннихъ и вѣшнихъ побужденій, или такъ называемой „мотивировкѣ“, личность становилась вполне ясною, такъ что каждая въ ней перемѣна, даже самая крутая, не могла поражать невѣроятностью, казаться баснословной метаморфозой. Читатель не изумлялся, видя, какъ Плюшкинъ изъ разумно-бережливаго хозяина превратился въ отвратительнаго скупца, отчего Чичиковъ сдѣлался „приобрѣтателемъ“, а Тентѣтниковъ — „коптителемъ неба“, несмотря на свое образованіе и добрыя намѣренія. Этотъ психическій элементъ въ сочиненіяхъ Гоголя объясняется его сильной наблюдательностью и особенностью его таланта. Вотъ какъ онъ самъ говоритъ объ этомъ: „Я никогда ничего не создавалъ въ воображеніи и не имѣлъ этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной изъ дѣйстви-

<sup>1)</sup> Театральный разъѣздъ послѣ представленія новой комедіи.



тельности, изъ данныхъ мнѣ извѣстныхъ. Угадывать челоѣка я могъ только тогда, когда мнѣ представлялись самыя мельчайшія подробности его внѣшности. Я никогда не писалъ портрета въ смыслѣ простой копіи. Я *создавалъ* портретъ, но создавалъ его вслѣдствіе соображенія, а не воображенія. Чѣмъ болѣе вещей принималъ я въ соображеніе, тѣмъ у меня вѣрнѣй выходило создатель<sup>1)</sup>.

§ 59. По силѣ поэтическаго таланта Лермонтовъ (1814—1841) принадлежить къ Пушкинской школѣ, по содержаніе его поэзіи иное. Пушкинъ и послѣдователи его, какъ онъ выразился, были рождены „для вдохновенія, для звуковъ сладкихъ и молитвъ: стихотворенія Лермонтова, напротивъ, отличаются отрицательнымъ характеромъ, а въ отрицаніи нѣтъ ничего сладкаго. Если элегіи Баратынскаго запечатлѣны безотрадною скорбью, то эта скорбь понятна, какъ слѣдствіе взгляда автора на міръ и жизнь,—взгляда, сложившагося подъ влияніемъ внѣшнихъ обстоятельствъ и серьезнаго мышленія. Гоголь изображалъ людскую пошлость, но онъ глубоко скорбѣлъ о ней во имя нравственныхъ требованій отъ челоѣка, долженствующаго возвышать, совершенствовать свою природу. Мучительная безнадежность Байрона, его гордость, скептицизмъ, жажда забвенія вытекли изъ разлада съ дѣйствительностью, изъ стремленія къ лучшему, изъ исканія новыхъ идеаловъ и отъ тоски по недосыгаемости искомаго. У Лермонтова, больше всѣхъ нашихъ поэтовъ подходившаго къ Байрону и свойствомъ таланта, и энергіей слова, идеаловъ нѣтъ. Ни онъ самъ, ни герои, имъ созданные, не показываютъ, во имя чего они дѣйствуютъ, по какимъ причинамъ и побужденіямъ образовалось то духовное состояніе, которое обнаруживается въ ихъ дѣйствіяхъ, чувствахъ и понятіяхъ.

Для знакомства съ характеромъ любимыхъ героевъ Лермонтова, надобно обратиться прежде всего къ его произведеніямъ эпическимъ и драматическимъ. Къ эпическимъ относятся стихотворныя повѣсти: „Бояринъ Орша“, „Демонъ“, „Измаилъ-Бей“, „Миѣри“, „Сказка для дѣтей“, „Хаджи-Абрекъ“, и романъ въ прозѣ „Герой нашего времени“; изъ драматическихъ болѣе замѣчательное — „Маскарадъ“. Главныя лица, выведенныя поэтомъ въ этихъ обѣихъ родахъ, представляютъ поразительное между собою сходство, достигающее почти до тождества. Можно сказать, что это одинъ и тотъ же образъ, являющійся въ разныхъ возрастахъ и полахъ, въ разные времена и у разныхъ народовъ, подъ разными именами, а иногда

1) Исповѣдь.

и подь однимъ именемъ. Такъ Арбенинъ выступаетъ въ трехъ сочиненіяхъ: отрокомъ „во второмъ отрывкѣ изъ начатой повѣсти“, юношей въ драмѣ „Странный человѣкъ“ и мужемъ въ драмѣ „Маскарадъ“. Нина (въ „Сказкѣ для дѣтей“)—такая же героиня между женщинами, какъ Арбенинъ и Печоринъ („въ „Героѣ нашего времени“) среди мужчинъ. Эти послѣднія лица, будучи европейцами, служатъ подлинниками для азіатцевъ — Измаила, Хаджи-Абрека, Мцыри, которые, въ свою очередь, могли бы сдѣлаться образцами для европейцевъ. Бояринъ Орша и Арсеній, люди XVI в., ярко отражаются въ своихъ потомкахъ—Печоринѣ и Арбенинѣ, жителей XIX в., современникахъ Лермонтова. Мало того, герои часто говорятъ одно и то же, выражаются одними и тѣми же словами. Такъ Арсеній и Мцыри, въ разсказахъ о своей жизни, какъ бы повторяютъ другъ друга. Само собою разумѣется, что всѣ эти лица обладаютъ одинаковымъ характеромъ, который обнаруживается въ нихъ съ самаго ранняго возраста и не покидаетъ ихъ до конца жизни. Арбенинъ, едва вышедъ изъ дѣтства, уже выказывалъ повелительность, гордость и презрѣніе. Болѣзнь развила въ шестилѣтнемъ Мцыри „могучій духъ“. Душа Арбенина-мужа ни въ комъ не принимала участія: всѣ ей были чужды и она—всѣмъ чужая: онъ—въ высшей степени эгоистъ, Орша—страшно мстителенъ. Всѣ безъ исключенія страдаютъ сомнѣніемъ, скукой, жадной забвенія, безнадежностью. На вопросъ Печорину: „что подѣлывали?“ онъ отвѣчаетъ „скачалъ“. Измаиль-Бей въ отчаяніи восклицаетъ: „все въ мірѣ есть—забвенія только нѣтъ“. Но самое отличительное, коренное свойство такихъ исключительныхъ личностей состоитъ въ томъ, что ихъ природа тревожна, что надъ ними властвуетъ какой-то фатумъ. Они сами себя называютъ дѣтьми рока, жертвами судьбы. Эти двѣ силы: природа и судьба, окружили ихъ такую атмосферу, въ которой они претерпѣваютъ страшныя мученія и изъ которой не въ силахъ выйти на свѣжій воздухъ. Вездѣ и всюду присутствуетъ у нихъ или судьба, какъ цѣлѣдомая враждебная сила, или природа, даровавшая имъ неизмѣнныя наклонности и потому играющая также роль судьбы. „На жизни я своей узналъ печать проклятья“; бываютъ люди, которыхъ бытіе — „причуда злой судьбы“: вотъ что говорятъ Арбенинъ и Измаиль. Но вмѣстѣ съ этимъ такіе люди сами одарены магическою, роковою силою, которую не въ состояніи сдерживать, отъ которой не желаютъ освободиться. Измаиль-Бей „не властенъ щадить: его дыханье губить радость“; бурная природа Арбенина сокрушаетъ все на своемъ пути и съ гордымъ презрѣніемъ смотритъ на развалины; внимательство Печорина въ чужую жизнь всегда разрѣшалось бѣдою,

трагическимъ крушеніемъ надеждъ и счастья: „Сколько разъ игралъ я роль топора въ рукахъ судьбы! Какъ орудіе казни, я упиалъ на голову обреченныхъ жертвъ: часто безъ злобы, всегда безъ сожалѣнія“. Понятно, при такихъ двигателяхъ, каковы судьба и природа, человѣкъ, управляемый ими, движется невольно: ни измѣнить природу, ни побѣдить судьбу невозможно. Невозвратно идетъ онъ туда, куда повела его случайность, какъ сказано въ „Сказкѣ для дѣтей“. О разумныхъ стремленіяхъ, о сознательномъ идеалѣ не можетъ быть и рѣчи. Арбенины, Печорины и все подобныя имъ личности „сами не знаютъ, чего хотѣть“; они не знаютъ самихъ себя: „воспитаніе ли сдѣлало меня такимъ, Богъ ли такъ меня создалъ, не знаю (разсуждаетъ Печоринъ); знаю только, что если я причиной несчастья другихъ, то и самъ не менѣе несчастливъ“. Дѣйствительно, достойны сожалѣнія эти Прометей. существенно отличные отъ своего прототипа тѣмъ, что настоящій Прометей зналъ, отчего онъ страдалъ, а они не знаютъ. Одаренные какою-то стихійною силою, большою въ количественномъ отношеніи, но недоброю или пустою въ отношеніи качественномъ, они не представляютъ никакихъ идеаловъ.

Но Лермонтовъ сочувствовалъ имъ, какъ показываютъ его личные ощущенія, которыя частію проявлялись уже въ указанныхъ повѣстяхъ, но съ особенною силою и блескомъ раскрылись въ стихотвореніяхъ лирическихъ, какъ выраженіи его собственнаго духа. Видно, что герои этихъ повѣстей ему не чужіе, не только какъ автору, съ любовію творящему образы, но и какъ человѣку, распознающему въ нихъ себя самого, свое я. Такъ въ „посвященіи“ Демона прямо говорится, что эта поэма, хотя сюжетъ ея заимствованъ изъ грузинскаго преданія, есть „простое выраженіе точки много лѣтъ тяготѣвшей умъ поэта“. Эпиграфъ къ Измаилу-Бегомъ даетъ знать о внутреннемъ настроеніи поэта, рожденномъ настроенію героя: въ немъ Лермонтовъ называетъ свою душу „безжизненною“, грудь „опустошенною тоской“, а вдохновеніе—воспѣвающимъ эту тоску, развалину страстей. Обрисовавъ характеръ Нины (въ „Сказкѣ для дѣтей“) —этой какъ бы родной сестры Арбениныхъ и Печориныхъ,—авторъ замѣчаетъ:

Такія души я любилъ давно  
Отыскивать по свѣту на свободѣ:  
*Я самъ видѣ былъ немножко въ этомъ родѣ.*

Но самымъ лучшимъ подтвержденіемъ сходства между поэтомъ и созданными имъ лицами служить лирика, а въ ней наиболѣе характеристичное стихотвореніе „Парусъ“:



Блѣбеть парусъ одинокій  
 Въ туманѣ моря голубомъ...  
 Что ищетъ онъ въ странѣ далекой?  
 Что кинулъ онъ въ краю родномъ?  
 Играютъ волны, вѣтеръ свищетъ,  
 И мачта гнется и скрипитъ...  
 Увы, онъ счастья не ищетъ,  
 И не отъ счастья бѣжитъ.  
 Подъ нимъ струя свѣтлѣй лазурь,  
 Надъ нимъ лучъ солнца золотой:  
 А онъ, мятежный, проситъ бури,  
 Какъ будто въ буряхъ есть покой!

Ничѣмъ инымъ нельзя объяснить душевнаго настроенія, выраженнаго въ этихъ стихахъ, кромѣ врожденной наклонности къ тревогѣ. Обстоятельства жизни совершенно благоприятны: и золотые лучи солнца, и свѣтло-лазурныя воды. Обвинять ихъ нѣтъ никакого повода. Нельзя также думать, что по естественной наклонности нашего сердца поэтъ недоволенъ тѣмъ, что имѣетъ, и стремится къ большому, лучшему: „онъ счастья не ищетъ“. Но отсюда однакожъ не слѣдуетъ, что счастье найдено: „онъ бѣжитъ не отъ счастья“. Онъ самъ не даетъ себѣ отчета, зачѣмъ бросилъ родину и направился въ далекій край. Положительныя тому причины имъ не указываются. Причина одна—природа. Мятежнорожденный проситъ бури, потому что въ него вложенъ инстинктъ мятежа и ему необходима непогода жизни—грозы и бури. Такъ Печоринъ не уживается съ мирною долею; его душа сроднилась съ битвами и бурями; онъ томится и вздыхаетъ на гостепріимномъ берегу, не прельщаясь ни тѣнистыми рощами, ни солнечнымъ свѣтомъ. Такъ и Мцыри готовъ отдать двѣ спокойныя жизни за одну, полную тревогъ и битвы; ничего не возьметъ онъ взамѣнъ живой дружбы межъ грозой и бурнымъ сердцемъ: онъ былъ бы радъ обняться съ бурей. Что въ „Парусѣ“ представлено эмблематически, то въ другихъ стихотвореніяхъ выражается непосредственно, безъ помощи аллегорій и символовъ. Въ „Романсѣ къ \*\*\*“ поэтъ уноситъ въ чужую сторону, подъ южное небо, свою „мятежную“ кручину; элегія: „Когда волнуется желтѣющая нива“, указываетъ, какъ иногда, при видѣ красоты природы, смиряется „тревога“ его души. Онъ и въ могилѣ хочетъ сохранить тревожный духъ, память своей тяжелой боли:

Покой, мира и забвенья  
 Не надо мнѣ <sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Любовь мертвеца.

Ничего онъ не ждетъ и ничего не жальтъ:

Ужъ не жду отъ жизни ничего я,

И не жаль мнѣ прошлаго ничуть <sup>1)</sup>.

Тоже чувствовалъ и „Демонъ“. Волшебный голосъ, утѣная Тамару, говорить объ облакахъ, не оставляющихъ по себѣ слѣдовъ на небѣ:

Имъ въ грядущемъ нѣтъ желанья,

Имъ прошедшаго не жаль.

Другіе два стиха въ томъ же описаніи облаковъ:

Часть разлуки, часть свиданья

Имъ не радость, не печаль,

какъ бы повторены въ пьесѣ „Договоръ“:

Была безъ радости любовь,

Разлука будетъ безъ печали.

Такимъ образомъ мысли, чувства и даже выраженія героев повѣстей и драмъ въ лирическихъ произведеніяхъ относятся къ самому поэту, составляютъ его собственность: тотъ же духъ сомнѣнія, гордости и отчаянія, та же роковая сила судьбы и природы, то же неукротимое волненіе сердца. Отсюда естественно вытекаетъ заключеніе, что томительная душевная тоска поэта, какъ и созданныхъ имъ лицъ, происходятъ отъ пустоты души, отъ безвѣрія, отъ отсутствія идеала и, слѣдовательно, отъ неспособности къ очарованію. Поэзія его, по мѣткому слову Жуковского, есть поэзія „безочарованія“.

Но отчего бы ни болѣла душа поэта — по его ли собственной винѣ, или по обстоятельствамъ, въ которыхъ онъ неповиненъ, — эта боль была томительная и тяжелая. Страдающій освобождался отъ нея временно при помощи тѣхъ предметовъ, которые по своей сущности противоположны душевной тревогѣ. Мирныя красоты природы, подчиненныя установленнымъ законамъ, тихая пѣсня незнакомаго сосѣда, слова молитвы, дарующей благодатную силу разбитому сердцу, видъ цвѣтущаго ребенка или память о другѣ, сохранившемъ и въ зрѣлыхъ лѣтахъ свойства дѣтскаго возраста... вотъ что умиряетъ внутреннее волненіе, наполняетъ грудь покоемъ, гонитъ сомнѣніе, внушаетъ вѣру. Тогда страдальцу становится легко: онъ можетъ постигать земное счастье и способенъ видѣть въ небесахъ Бога. Это бремя душевной тоски выразилась у Лермонтова превосходными элегіями: „Молитва“ („Въ минуту жизни трудную“), „Ребенку“. „Памяти А. И. Одоевскаго“, „Къ сосѣду“, „Ангель“, „Ребенка милаго рожденіе“..., „Выхожу

<sup>1)</sup> Элегія: „Выхожу одинъ я на дорогу“.

одниъ я на дорогу“... „Когда волнуется желтѣющая пива“... и др. Едва ли найдутся въ нашей элегической поэзіи равносильныя стихотворенія, въ которыхъ исповѣданіе печали поражае бы такою искренностью, давало бы себя такъ сильно чувствовать, па-страивалось бы на такой соотвѣтственный тонъ и облекалось бы въ такую изящную рѣчь. При чтеніи ихъ вполнѣ понимаешь, какъ наболѣла душа страдальца, и неотразимо соболѣзнуешь объ его душевной боли.

Кромѣ могучаго, титаническаго образа, въ поэзіи Лермонтова есть другой типъ, совершенно ему противоположный, — типъ людей мелкихъ, слабодушныхъ и слабовольныхъ, возбуждающій не только сожалѣніе, но и презрѣніе. Таковъ князь Звѣздичъ (въ драмѣ „Маскарадъ“), характеризуемый однимъ изъ лицъ драмы:

Ты—безхарактерный, безправственный, безбожный,  
Самолюбивый, злой, но слабый человѣкъ;  
*Въ тебѣ одномъ весь отразился вѣкъ,*  
*Вѣкъ нынѣшній, блестящій, но ничтожный.*  
Наполнить хочешь жизнь, а бѣгаешь страстей;  
Все хочешь ты имѣть, а жертвовать не знаешь;  
Людей безъ гордости и сердца презираешь,  
А самъ—игрушка тѣхъ людей“.

Съ болѣею силой изображены черты этого ничтожнаго вѣка въ стихотвореніи „Дума“—прекрасномъ въ отношеніи поэтическомъ, но невѣрномъ по отношенію къ истинѣ. Въ немъ можетъ распознавать себя западный человѣкъ, но до насъ, русскихъ, оно не касается. Благодаря Богу, мы не имѣли и не имѣемъ причины бояться того безнадежнаго духовнаго состоянія, которое бичуетъ поэтъ. При всѣхъ успѣхахъ въ образованіи и литературѣ, общество наше, современное Лермонтову, заслуживало упрека не въ перерѣзлости, а въ недозрѣлости, не во всезнаніи, а въ мало-знаніи. Мы не могли изеушнить свой умъ наукой, потому что плохо, не серіозно ею занимались; она не принесла еще надлежащихъ плодовъ, и только въ этомъ смыслѣ должна быть названа „безплодною“. Если и встрѣчались между современниками Лермонтова субъекты, подобные тѣмъ, которыхъ преслѣдуетъ „Думасатира“, то это были единицы, да и тѣ болѣею частію жили чужимъ опытомъ, думали чужимъ умомъ, вычитаннымъ изъ чужихъ книгъ. Презрѣніе къ нимъ поэта понятно: все его сочувствіе лежитъ на сторонѣ противоположнаго типа, созданнаго подъ вліяніемъ Байрона. Вотъ почему онъ предпочитаетъ предковъ ихъ жалкимъ, хилымъ потомкамъ: предки хотя бросались изъ одного заблужденія въ другое, но имѣли надежду, испытывали опредѣленное сильное наслажденіе, которое встрѣчаетъ душа въ борьбѣ



съ людьми или судьбою; „а мы, потомки, скитающіеся по землѣ безъ убѣжденій и гордости, безъ наслажденія и страха, кромѣ той невольной боязни, сжимающей сердца при мысли о неизбѣжномъ концѣ, мы не способны болѣе къ великимъ жертвамъ ни для блага человѣчества, ни даже для собственнаго нашего счастья, потому что знаемъ его невозможность и равнодушно переходимъ отъ сомнѣнія къ сомнѣнію“ <sup>1)</sup>. Вотъ почему также Лермонтовъ выбиралъ перѣдко въ своихъ повѣстяхъ мѣстомъ дѣйствія Кавказъ, а дѣйствующими лицами горцевъ—народъ первобытный, не утратившій естественныхъ силъ и готовый отважно заявлять ихъ при каждомъ случаѣ; или же обращался къ годамъ старымъ—къ нашимъ предкамъ, менѣе насъ знавшимъ, но пользовавшимся благами, для насъ заповѣдными.—Но, не смотря на предпочтеніе, оказанное поэтомъ первому типу—породѣ людей могучихъ,—этотъ типъ не можетъ служить вознагражденіемъ за ничтожность лицъ второго типа. Тотъ и другой, не смотря на ихъ крайнюю противоположность, сходятся: оба равно страдаютъ отъ душевной пустоты, отъ отсутствія идеальныхъ стремленій, отъ безочарованія.

Изъ подражателей нашихъ Байрону Лермонтовъ несомнѣнно стоитъ на первомъ мѣстѣ, что зависѣло отъ родственности ихъ поэтическаго таланта, и, можетъ-быть, отъ сходства въ личномъ характерѣ. Слѣды подражанія видны во всемъ: въ образахъ героевъ, въ постройкѣ повѣстей; даже въ выраженіи (такъ, напримѣръ, въ Измаилъ-Бей виденъ Лара, сюжетъ Боярина Орши подходит къ сюжетамъ Абидосской невѣсты и Паризины). Никто до Лермонтова не былъ способнѣе и переводить и воспроизводить Байрона. Къ сожалѣнію, герои англійскаго поэта, при переходѣ въ нашу литературу, потерпѣли значительное преображеніе, не къ выгодѣ, а въ ущербъ себѣ. Они сдѣлались или пустоватыми, или звѣрскими натурами; Онѣгинъ вышелъ „Москвичемъ въ Гарольдовомъ плащѣ“; Алеко (въ „Цыганахъ“) поражаетъ Земфиру кинжаломъ; Арбенинъ отравляетъ свою жену; странно-мстительный Орша запираетъ родную дочь въ башнѣ, гдѣ она медленно умираетъ отъ голода; Печоринъ служитъ орудіемъ казни, топоромъ палача, падающимъ на жертву безъ сожалѣнія. Такіе нецивилизованные и цивилизованные варвары не могли долговременно существовать въ литературѣ. Они скоро ниспали съ незаслуженнаго высокаго пьедестала. Въ романѣ Авдѣева: „Тамаринъ“, главное лицо этого имени.

<sup>1)</sup> „Герой нашего времени“.

пзъ образа своего, Печорина, обратился уже въ существо комическое, въ смѣшного фата, шеголяющаго разочарованіемъ.

Самъ Лермонтовъ, несомнѣнно, отрѣшился бы отъ подражательной Байрону. Онъ сознавалъ, что у него есть силы взойти на высшую ступень поэтического творчества, и чувствовалъ призваніе быть воспроизводителемъ родной дѣйствительности:

Нѣтъ, я не Байронъ, я другой,  
Еще невѣдомый избранникъ,—  
Какъ онъ, гонимый міромъ странникъ,  
Но только съ *русскою душой*.

А что онъ былъ бы дѣйствительно высокимъ мастеромъ на этой ступени, это доказано такими его стихотвореніями, какъ „Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалаго купца Калашникова“, „Бородино“, „Валерикъ“, „Родина“, „Споръ“ и др., и такимъ созданіемъ, какъ штабсъ-капитанъ Максимъ Максимычъ. Не надобно забывать, что поэтъ умеръ двадцати шести лѣтъ, въ тотъ періодъ времени, когда другіе едва выходятъ на литературную карьеру. Литература наша понесла въ немъ великую потерю: при его могучемъ талантѣ, въ эпоху его полной зрѣлости, онъ, несомнѣнно, обогатилъ бы ее капитальными произведеніями. По направленію своего творчества, родственнаго съ направленіемъ Байрона, равно какъ и по языку, Лермонтовъ стоитъ особнякомъ, на почетномъ мѣстѣ въ исторіи нашей поэзіи. Его стихъ, не представляя такой граціи и художественной точности, какъ стихъ Пушкина, имѣетъ самобытное, характеристическое отличіе: силу, энергію. Недаромъ онъ называлъ его „желѣзнымъ, облитымъ горечью и злостью“.

§ 60. Литературная пѣсня, какъ художественное воспроизведеніе народныхъ пѣсенъ, явилась впервые въ стихотвореніяхъ Кольцова (1808—1842), Поэтъ-прасоль <sup>1)</sup>, отъ природы даровитый и любознательный, былъ самоучка, пополнившій самоученіе сначала помощію своихъ земляковъ-пріятелей, а потомъ знакомствомъ и обращеніемъ съ нѣкоторыми литераторами Москвы и Петербурга. Но не это, а окружавшая его природа и народный бытъ служили школой, развивавшей его талантъ. Съ отроческихъ лѣтъ Кольцовъ полюбилъ широкій просторъ полей и степи <sup>2)</sup>, съ отроческихъ лѣтъ началъ сближаться съ народомъ, сочувствовать его радостямъ и горестямъ, восхищаться складомъ и мелодіей его пѣ-

<sup>1)</sup> Прасоль—торговецъ рогатымъ скотомъ и вѣзмъ, что относится до этого промысла: сѣмкою земель, луговъ и т. п.

<sup>2)</sup> Кольцовъ родился въ Воронежѣ.

сень. Красоты природы и окружающая народная среда вдохновляли его, и его призваніемъ стало поэтическое изображеніе того и другого. Это изображеніе отличается простотой, правдой и прелестью. Пѣсни Кольцова вѣрны дѣйствительности и въ чувствѣ и въ выраженіи <sup>1)</sup>. Непосредственно знакомый съ предметами своихъ пѣсень, онъ не впадаетъ въ тѣ ошибки, которымъ платили дань предшествовавшіе ему подражатели народнаго поэтическаго творчества. Лучшія его пѣсни: „Ты не пой, молодецъ“, „Не шуми ты, рожь“, „Пѣсня пахаря“, „Урожай“, „Что ты спишь мужичокъ?“, двѣ „Пѣсни Лихача-Кудрявича“, „Деревенская бѣда“, „Въ непогоду вѣтеръ“, „Лѣсъ“ и др.

---

---

<sup>1)</sup> А. В. Кольцовъ. Сочиненіе Де-Пуло.





## БЮГРАФИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ.

### О ВАЖНѢЙШИХЪ ПИСАТЕЛЯХЪ

---

#### 1. Кантемиръ (Антіохъ Дмитріевичъ 1708—1744).

Кантемиръ род. въ 1708 г. въ Константинополь. Отецъ его Дмитрій, господарь молдавскій, въ 1711 г., послѣ Прутскаго похода, перешелъ въ подданство Россіи, получилъ отъ Петра I богатые помѣстья и поселился сначала въ Харьковѣ. Онъ принадлежалъ къ замѣчательно образованнымъ людямъ своего времени: зналъ нѣсколько иностранныхъ языковъ, восточныхъ и европейскихъ; написалъ нѣсколько сочиненій, изъ коихъ „Система магометанской религіи“, посвященная Петру I, переведена на русскій языкъ; Берлинская Академія, во вниманіе къ его ученымъ заслугамъ, выбрала его въ свои члены. Мать Антіоха, рожденная княжна Кантакузенъ, изъ рода греческихъ императоровъ, также отличавшаяся умомъ и образованностью, сама наблюдала за воспитаніемъ дѣтей своихъ. Первымъ наставникомъ ихъ былъ ученый грекъ Кондоиди (впослѣдствіи Аванасій, епископъ вологодскій). Затѣмъ ученіе продолжалось въ Москвѣ въ славяно-греко-латинской академіи. Есть извѣстіе, что Антіохъ, будучи десяти лѣтъ, сочинилъ на греческомъ языкѣ похвальное слово Дмитрію Солунскому, соименнику своего отца, и поднесъ его Петру въ русскомъ переводѣ, и что, по желанію царя, оно было произнесено авторомъ съ кафедры въ Заиконоспасскомъ монастырѣ. Возможность этого факта объясняется тѣмъ, что въ семействѣ Кантемира обычнымъ языкомъ былъ греческій. Послѣ Кондоиди, при Антіохѣ и его братьяхъ состоялъ преподавателемъ русскаго языка и словесности Иванъ Ильинскій, „мужъ праводушный, честный и добронравный“, по отзыву Тредьяковскаго. Многое, безъ сомнѣнія, сообщалъ имъ и отецъ, слѣдившій за ихъ ученіемъ. Въ 1722 г. Антіохъ ѣздилъ въ персидскій походъ вмѣстѣ съ отцомъ своимъ, которому Петръ I поручилъ составленіе воззваній и манифестовъ къ жителямъ Персіи на персидскомъ и турецкомъ языкахъ. Это путешествіе не осталось безплоднымъ для Антіоха: оно сообщило ему свѣдѣнія о нравахъ и обычаяхъ народовъ. Въ завѣщаніи отца, умершаго въ томъ же 1722 г., Антіохъ названъ „лучшимъ“ изъ братьевъ по уму и наукамъ, хотя онъ былъ самый младшій. Въ 1724 г. онъ просилъ императора отпустить его за границу для обученія наукамъ и дать на то средства, такъ какъ

онъ, по сиротству и крайнему недостатку въ деньгахъ, не могъ исполнить своего желанія. Хотя эта просьба принадлежала къ самымъ доступнымъ царю-преобразователю, но, неизвѣстно почему, осталась безъ послѣдствій. Неудавшееся намѣреніе было вознаграждено слушаніемъ лекцій у первыхъ членовъ нашей Академіи Наукъ, открытой въ 1726 г.; у Бернулли—математики, у Вильфингера—физики, у Баера—исторіи, у Гросса—нравственной философіи. Послѣдняя особенно привлекла любознательнаго юношу и осталась навсегда любимѣйшимъ предметомъ его занятій: „она“ говаривать Кантемиръ, „научаетъ насъ познавать самихъ себя, поступать честно и быть полезнымъ обществу“. Понятіе его о нравственности положено въ сатиру „О истинномъ блаженствѣ“ и въ „одинадцати письмахъ“ къ какой-то русской госпожѣ. Сатира, во взглядѣ на счастье, очень сходна съ ученіемъ Горация о „Златой срединѣ“, о мѣрѣ въ вещахъ (*modus in rebus*); главная мысль выражена четырьмя начальными стихами:

Тотъ въ сей жизни лишь блаженъ, кто малымъ доволенъ,  
Въ тишинѣ знаетъ прожить, отъ суетныхъ воленъ  
Мыслей, что мучать другихъ, и топчетъ надежду  
Стезю добродѣтели къ концу неизбѣжную.

На службѣ Кантемиръ поступилъ гвардіи въ Преображенскій полкъ. Въ царствованіе Петра II началъ писать сатиры, побуждаемый и особенной склонностью къ этому роду стихотворства, и состояніемъ дѣлъ по смерти Екатерины I, когда сторонники преобразователя Россіи, такъ называемые „птенцы“ его, потеряли прежнее значеніе и должны были уступить свое мѣсто людямъ противнаго направленія. Главнѣйшій изъ сподвижниковъ Петра I, Теофанъ Прокоповичъ, состоявшій въ дружбѣ съ Кантемиромъ по единомыслию, находился въ опалѣ. Невыгодное положеніе сторонниковъ реформы и непріязнь ея недоброжелателей къ наукѣ Кантемиръ выставилъ въ первой своей сатирѣ: „Къ уму моему“, или „На хулящихъ ученіе“ (1729). Независимо отъ направленія, противнаго убѣжденіямъ Кантемира, онъ самъ въ это время находился въ стѣснительныхъ обстоятельствахъ. Отецъ его, по указу Петра I о майоратѣ, долженъ былъ предоставить все имѣніе старшему сыну, котораго, однакожъ, онъ совершенно устранилъ отъ наслѣдства и въ духовномъ завѣщаніи указалъ двоихъ — Константина и Антіоха, какъ „лучшаго по уму и наукамъ“. Но имѣніе досталось первому изъ нихъ, благодаря вліянію его тестя кн. Д. М. Голицина, одного изъ членовъ верховнаго тайнаго совѣта. Антіохъ очутился въ бѣдности, изъ которой былъ выведенъ при вступленіи на престолъ Анны Іоанновны, которая вѣсѣмъ пенсіона, обѣщаннаго ему съ братьями Петромъ Великимъ, пожаловала ему вмѣстѣ съ двумя братьями и сестрой 1030 крестьянскихъ домовъ. За первую сатиру слѣдовали другія пять: „На зависть и гордость злонравныхъ дворянъ“, „Къ архіепископу новгородскому“ (Теофану Прокоповичу), „Къ музѣ своей“, „Сатиры и Поэріи“, „Къ солищу“ или „На состояніе сего свѣта“. Всѣ они написаны въ Россіи. Въ 1731 году двадцатидвухлѣтній Кантемиръ былъ назначенъ резидентомъ въ Лондонъ. Главною обязанностью его было поддерживать согласіе между двумя дворами, кромѣ того онъ былъ долженъ вступаться за честь русскаго правительства, которая затрогивалась въ англійскихъ газетахъ и отдѣльныхъ книгахъ, приписывать разныхъ специалистовъ, год-



ных на службу Россіи, принимать проекты, съ которыми являлись иностранцы, и представлять о них свои соображенія. Кантемиръ достойно и успѣшно занималъ постъ дипломата: онъ пользовался уваженіемъ короля Георга II и находился въ хорошихъ отношеніяхъ къ главному его министру, Роберту Вальполю; русское правительство съ своей стороны оставалось довольнымъ его дѣйствіями. Свободное отъ дипломатическихъ занятій время посвящалъ чтенію и литературнымъ трудамъ; написалъ сатиру „Объ истинномъ блаженствѣ“ и нѣсколько басенъ; по поводу разсужденія Тредьяковскаго о „Русскомъ стихосложеніи“ сочинилъ свое разсужденіе о томъ же предметѣ, гдѣ старался соединить силлабическій размѣръ съ тоническимъ<sup>1)</sup>. Въ 1738 г. Кантемиръ былъ назначенъ посланникомъ при французскомъ дворѣ, гдѣ хитрая, двусмысленная политика кардинала Флері, управлявшаго дѣлами въ царствованіе Людовика XV, причинила ему большія затрудненія и непріятности. Въ Парижѣ онъ близко сошелся съ нѣкоторыми учеными, изъ коихъ особенно замѣчательны Монтескье и математикъ Мопертуй. Другьями его были также аббаты Гуаско и Венути, написавшій его біографію. Въ 1739 году онъ сочинилъ послѣднія двѣ сатиры „Къ кн. Н. Ю. Трубецкому“ (о воспитаніи) и „На безстыдную нахальчивость“. При Аннѣ Леопольдовнѣ былъ пожалованъ чиномъ тайнаго совѣтника: есть извѣстіе, что правительница имѣла намѣреніе назначить его воспитателемъ своего сына. Въ 1743 г. сатирикъ собралъ свои стихи, написалъ къ нимъ примѣчанія и отправилъ въ Петербургъ, но они не были тогда напечатаны, а явились въ свѣтъ черезъ 18 лѣтъ послѣ его смерти (1762). Трудлюбивая жизнь и служебныя тревоги должны были разстроить и безъ того слабое его здоровье. Чувствуя болѣзненные припадки, онъ ѣздилъ лѣчиться въ Ахенъ и Пломбьеръ, но дѣлительныя воды не помогли ему, и онъ умеръ въ 1744 г. въ Парижѣ. Вотъ отзывъ о немъ аббата Венути: „Отечество оплакиваетъ въ немъ ревностнаго распространителя начинаній Петра Великаго, русскій дворъ—умнаго и просвѣщеннаго министра, литература—талантливаго дѣятеля, а честные люди—друга“. Кантемиръ понималъ главнѣйшія потребности своей эпохи. Онъ видѣлъ, что наука со времени Петра должна входить въ интересы русской жизни, что безъ науки невозможно ея развитіе и что, слѣд., все вниманіе просвѣщеннаго гражданина должно быть обращено на нее. Это былъ самый насущный вопросъ настоящаго и будущаго. Дѣятельность Кантемира постоянно была направлена въ пользу науки (Князь А. Д. Кантемиръ, В. Стоюнина, въ „Русскихъ писателяхъ XVIII и XIX ст.“, 1867).

## 2. Ломоносовъ (Михаилъ Васильевичъ 1711—1765).

Въ жизни Л—ва различаются три періода: первый—отъ рожденія до бѣгства въ Москву, второй—ученіе въ Россіи и заграницей, третій—время академической дѣятельности.

А) Л—въ, Михаилъ Васильевичъ, родился на дальнемъ сѣверѣ нашего отечества (Архангельской губерніи, Холмогорскаго уѣзда, въ деревнѣ Дюновскѣ), какъ бы въ доказательство того, что появленіе гения, какъ вы-

Это сочиненіе нап. въ 1744 г. подъ псевдонимомъ *Харитона Македнина* составленнымъ изъ имени *Антіоха Кантемиръ*.

разлился о немъ Шлецеръ, не зависящій отъ широты и долготы мѣста. Годъ его Рожденія показывается различно: 1709, 1710 и 1711: по собственнѣйшей автобіографической запискѣ — 1712, а по ревизской сказкѣ (1722) даже 1715. Отецъ его былъ крестьянинъ, промысломъ рыбакъ, ходившій на галіотъ по Двинѣ, Вѣлому морю и Сѣверному океану для рыбныхъ промысловъ и занимавшійся также перевозкою казенныхъ и частныхъ запасовъ изъ Архангельска въ Пустозерскъ, Соловецкій монастырь, Колу, по берегамъ Ланландіи на рѣку Мезень. Эту работу раздѣляли съ нимъ его сынъ съ дѣсяти до шестнадцати лѣтъ. Суровая жизнь благотворно дѣйствовала на юношу: явленія сѣверной природы давали пищу его любознательности и пробуждали въ немъ поэтическое чувство; труды не дозволяли ему предаваться празднымъ мечтамъ; препятствія и опасности, укрѣпляя его волю, служили къ образованію той „благородной упрямки“, съ которою онъ впоследствии стоялъ за право русскаго человѣка на умственную самостоятельность. Русской грамотѣ выучился онъ у крестьянина куроостровской волости, къ которой принадлежала Денисовка, и сдѣлался лучшимъ чтецомъ въ приходской церкви. Когда мать его умерла, отецъ женился на другой женѣ, которая не влюбилась своего пасынка. Л—въ вспоминаетъ объ этомъ въ письмѣ къ И. И. Шувалову: имѣлъ я отца хотя по натурѣ добраго человѣка, однако въ крайнемъ невѣжествѣ воспитаннаго, и злую, завистливую мачиху, которая вселенски старалась произвести гнѣвъ въ отцѣ моемъ, представляя, что я всегда сижу попустому за книгами. Для того многократно я принужденъ былъ читать и учиться, чему возможно было, въ уединенныхъ и пустыхъ мѣстахъ и терпѣть стужу и холодъ“. Первыми не духовными книгами, прочтенными Л—мъ, были Славянская Грамматика Смотрицкаго, Ариметика Магницкаго и Псалтирь, переложенная въ стихи Симеономъ Полоцкимъ. Впоследствии онъ называлъ эти книги „вратами своей учености“.

В) Страстное желаніе учиться и невозможность удовлетворить ему на родинѣ, а также не любовь и наговоры мачихи побудили Л—ва покинуть домъ отца своего и отправиться въ Москву. Получивъ паспортъ отъ управляющаго въ Холмогорахъ земскими дѣлами и взявъ у одного изъ сосѣдей китайское полукафтанье и заморозно три рубля, онъ тайно ушелъ 7 декабря 1730 г., на пути прожилъ нѣкоторое время въ Антоніевомъ Сійскомъ монастырѣ, гдѣ исполнялъ псаломническую должность; прибылъ въ Москву въ январѣ 1731 года. Здѣсь онъ сначала короткое время обучался ариметикѣ въ школѣ при Сухаревой башнѣ, а затѣмъ былъ принятъ въ Заиконоспасское училище. Вотъ собственный разсказъ его о жизни въ Москвѣ въ письмѣ къ И. И. Шувалову (1753 г.): „Обучаясь въ Спасскихъ школахъ, имѣлъ я со всѣхъ сторонъ отвращающія отъ наукъ пресильныя стремленія, которыя въ тогдашнія лѣта почти непреодолимую силу имѣли. Съ одной стороны отецъ, никогда дѣтей кромѣ меня не имѣя, говорилъ, что я, будучи одинъ, его оставилъ, оставилъ все довольство (по тамошнему состоянію), которое онъ для меня кровнымъ потомъ нажилъ и которое послѣ его смерти чужіе расхитятъ. Съ другой стороны неслыханная бѣдность: имѣя одинъ алтынъ въ день жалованья, нельзя было имѣть на пропитаніе въ день больше, какъ на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и прочее. Такимъ образомъ жилъ я пять лѣтъ и наукъ не оставилъ. Съ одной стороны пишутъ, что, зная моего отца достатки, хорошие тамошніе люди дочерей своихъ за меня выдадутъ, которые и въ мою тамъ бѣдность предлагали; съ другой стороны школьники малые ребята кри-

чать и перстами показывать: смотри-де какой болванъ лѣтъ въ двадцать пришелъ латинѣ учиться!..“ Но любовь къ знанію, пересиливъ всё „отвращающія отъ наукъ стремленія“, сохранилась въ Л—въ на всю жизнь. Въ похвальную оду императрицѣ Елисаветѣ, 1747 года, онъ вставилъ извѣстное переложеніе изъ Цицерона: „науки юношей питають“. И позднѣе (1752), въ письмѣ къ Шувалову о пользѣ стекла, онъ выразилъ неизмѣнную преданность наукъ:

Велика сердцу скорбь лишиться чтенія книгъ;  
Скучнѣе вѣчной тьмы, тяжелѣе веригъ.

Въ 1735 г. начальникъ Академіи наукъ баронъ Корфъ вошелъ въ Сенатъ съ ходатайствомъ о выборѣ изъ школъ такихъ учащихся, которые, по своимъ познаніямъ, могли бы съ пользою слушать лекціи академическихъ профессоровъ. Въ числѣ двѣнадцати человѣкъ, привезенныхъ въ Петербургъ (1736) изъ Славяно-греко-латинской академіи, находились Л—въ. По совѣту саксонскаго горнаго совѣтника Генкеля послать въ Германію для изученія горнаго дѣла нѣсколько человѣкъ изъ русскихъ, Корфъ назначилъ Л—ва и двухъ его товарищей, которые и были отправлены въ томъ же 1736 г. для предварительнаго образованія въ Марбургскій университетъ, славившійся тогда профессоромъ Христіаномъ Вольфомъ. Они должны были заниматься подъ надзоромъ знаменитаго философа. Инструкція предписывала имъ, кромѣ наукъ, изучать языки: латинскій, нѣмецкій и французскій, не оставляя упражненій и въ русскомъ. Въ исполненіе предписаннаго, Л—въ въ 1738 г. послать донесеніе на нѣмецкомъ языкѣ о лекціяхъ, которыя онъ посѣщалъ, разсужденіе по предмету физики на латинскомъ и стихотворный переводъ Фенелоновой оды (Уединеніе) на русскомъ. Изъ аттестата, выданнаго Л—ву въ 1739 г., видно, что онъ слушалъ у Вольфа математику, физику и философію. Въ томъ же году студенты выѣхали изъ Марбурга и прибыли въ Фрейбергъ къ Генкелю для изученія практической металлургіи. Взятіе Минихомъ Турецкой крѣпости Хотина дало поводъ Ломоносову написать похвальную оду, тоническимъ размѣромъ, въ которой онъ подражалъ частію одѣ Гюнтера (на миръ Австріи съ Турціей въ 1719 г.), а частію одѣ Буало (на взятіе Намура Людовикомъ XIV въ 1692 г.). Къ одѣ было приложено и „Письмо о правилахъ русскаго стихотворства“. Въ 1740 г., поссорившись съ Генкелемъ, Л—въ уѣхалъ изъ Фрейберга въ Марбургъ, гдѣ женился на Елизаветѣ Цильхъ, дочери члена городской думы и церковнаго старшины. Того же года Академія наукъ, узнавъ отъ Генкеля о затруднительныхъ обстоятельствахъ Л—ва, положила возвратитъ его въ Петербургъ. Есть извѣстіе, что изъ опасенія попасть въ тюрьму за долги, Л—въ рѣшился тайно бѣжать изъ Марбурга въ Голландію и что на дорогѣ въ Дюссельдорфъ онъ встрѣтился съ прусскими вербовщиками, которые напоивъ его, уговорили вѣстовать въ военную службу и отвели въ крѣпость Везель, откуда онъ ночью спасся бѣгствомъ<sup>1)</sup>.

Въ Петербургъ Л—въ въ 1741 г. Въ 1742 г. получилъ мѣсто адъюнкта химіи, съ жалованьемъ по 360 р. въ годъ, считая въ томъ числѣ квартиру, отопленіе и освѣщеніе. Слѣдствіемъ обстоятельствъ пріятельствовалъ ему въ теченіе двухъ лѣтъ вызвать къ себѣ изъ Марбурга жену: она

<sup>1)</sup> Случай этотъ послужилъ сюжетомъ для пьесы кн. Шаховскаго „Ломоносовъ или рекрутъ-стихотворецъ“ (1816).



пріѣхала въ 1743 г. съ дочерью. Въ 1745 г., за ревностные труды и разныя къ пользѣ и чести Академіи оказанныя услуги, назначенъ профессоромъ химіи, съ жалованьемъ 660 р. Профессорская жизнь Л—ва представляла, съ одной стороны, неутомимую ученую и литературную дѣятельность, а съ другой—постоянныя заботы объ образованіи русскаго юношества и вообще о распространеніи просвѣщенія въ Россіи; стремясь къ этой послѣдней цѣли, онъ велъ борьбу съ „непріятелями наукъ російскихъ, которые не давали возрастать свободно насажденію Петра Великаго“. Главнымъ непріятелемъ была академическая канцелярія, захватившая въ свои руки управленіе и хозяйственными и учеными дѣлами Академіи, такъ что ученая корпорація академиковъ находилась у нея въ зависимости и не имѣла самостоятельности; другого непріятеля видѣлъ онъ въ Тепловѣ, написавшемъ, по порученію президента Академіи гр. К. Г. Разумовскаго, новый академическій уставъ (1747), который подаль поводъ ко многимъ несправедливостямъ, такъ какъ имъ была утверждена незаконная власть канцеляріи, мѣшавшая успѣхамъ Академіи; наконецъ къ непріятелямъ принадлежали и вообще иноземцы, которые, пользуясь разными льготами и преимуществами въ Россіи, не только относились равнодушно къ ея пользамъ, но даже выказывали высокомерное презрѣніе къ русскимъ и всегда и всюду давали чувствовать свое превосходство. На такихъ людей Л—въ смотрѣлъ какъ на своихъ личныхъ враговъ и велъ съ ними борьбу съ увлеченіемъ и запальчивостью, которыхъ не могли истребить ни лѣта, ни стороннія соображенія.

О трудолюбіи Л—ва можно судить по письму къ И. И. Шувалову (1753 г.) „Кто по своей профессіи читаетъ лекціи, дѣлаетъ опыты новые, говоритъ публично рѣчи и диссертациі (на академическихъ актахъ), и внѣ оной сочиняетъ разные стихи и проекты къ торжественнымъ изъявленіямъ радости, составляетъ правила къ краснорѣчію на своемъ языкѣ и исторію своего отечества, отъ того я ничего больше требовать не имѣю“. Позднѣе (1762), въ прошеніи на Высочайшее имя откровенно поставлялъ онъ на видъ свои заслуги: „Состоя на службѣ 31 годъ, обращался я въ наукахъ со всякимъ возможнымъ раченіемъ и въ нихъ пріобрѣлъ такое значеніе, что, по свидѣтельству разныхъ академій и великихъ ученыхъ людей, принесъ ими знатную славу отечеству: таковымъ ученіемъ, одами, публичными рѣчами и диссертациями пользоваться и украшалъ я Академію двадцать лѣтъ; на природномъ языкѣ разнаго рода сочиненіями грамматическими, риторическими, стихотворческими, историческими, также и до высокихъ наукъ надлежащими физическими, химическими и механическими, стиль російскій въ эти двадцать лѣтъ несравненно вычистился передъ прежнимъ и много способіе сталъ къ выраженію идей трудныхъ, въ чемъ свидѣтельствуется общая апробація моихъ сочиненій и во всякихъ письмахъ (сочиненіяхъ) употребляемыя въ нихъ слова и выраженія, что къ просвѣщенію народа много служить; присутствуя въ канцеляріи Академіи наукъ членомъ полшеста года безъ повышенія чина и прибавки жалованья, отправляя я должность мою со всякимъ раченіемъ, такъ что гимназія, университетъ и географическій департаментъ принесли во много лучшее передъ прежнимъ состояніе“. Если Л—въ относился къ Шувалову, какъ къ своему меценату, то и Шуваловъ въ немъ находилъ просвѣщеннаго совѣтника по своимъ планамъ, напримѣръ, по основанію Московскаго университета. Въ 1757 г. Л—въ назначенъ членомъ канцеляріи, а въ слѣдующемъ (1758)

ему поручить надзоръ за всею ученою и учебною частью въ Академіи: за профессорскимъ собраніемъ, за университетомъ и гимназіей, за географическимъ департаментомъ. Еще въ то время (1748), когда поднятъ былъ вопросъ объ устройствѣ академическаго университета, Л—въ желалъ основанія особаго настоящаго университета, съ раздѣленіемъ на факультеты, по примѣру университетовъ заграничныхъ, чтобы, согласно проекту Петра, профессорами были академики. Письма его къ гр. Воронцову и Н. Шувалову показываютъ, какъ сильно хлопочетъ онъ объ утвержденіи грамоты или привилегіи на открытіе университета: „сіе (пишетъ онъ Шувалову въ 1760 г.) будетъ конецъ моего попеченія о успѣхахъ въ наукахъ сыновъ россійскихъ“. Но грамота, за смертью императрицы Елизаветы, осталась неподписанною. Въ 1762 г. пишетъ онъ къ гр. Г. Г. Орлову слѣдующее: „нынѣ время златое знатымъ наукамъ вѣкъ возставитъ и отъ презрѣнія избавитъ возлюбленный россійскій родъ: не укосни въ отчаяніи сѣдующее учащееся здѣ юношество оживить отрадою“. Но мысли, которой такъ твердо держался Л—въ, суждено было осуществиться только въ царствованіе Александра I. Одною изъ видныхъ мѣръ Л—ва въ 1764 г. было предложеніе отправить за границу семь русскихъ студентовъ изъ Академическаго университета. Мѣра эта, впрочемъ неисполненная, клонилась къ прекращенію приглашеній въ Академію иностранныхъ ученыхъ и къ производству „собственныхъ природныхъ и домашнихъ, которые могли бы служить, назадъ неоглядываясь и не угрожая контрактомъ и взятіемъ абшйда, а паче всего служили бы къ чести отечеству, которой отъ иностранныхъ нашему народу приписать невозможно“. Отсюда не слѣдуетъ, однакожъ, чтобы Л—въ не хотѣлъ цѣнить достоинствъ тѣхъ ученыхъ мужей, которые приглашались къ намъ изъ-за границы въ нашу Академію. Напротивъ, желая видѣть своихъ соотечественниковъ на мѣстахъ академическихъ членовъ, онъ въ то же время желалъ, чтобы эти будущіе русскіе академики не уступали въ учености чужестраннымъ, какъ показываетъ его воззваніе къ юношеству въ одѣ 1747 г.:

О вы, которыхъ ожидаетъ

Отечество отъ нѣдръ своихъ

И видѣть таковыхъ желаетъ,

*Какихъ зоветъ отъ странъ чужихъ.*

Умеръ Л—въ въ 1765 г.—Первоклассные ученые (Вольтъ, Эйлеръ, Кондаминъ, Гейнзюсъ, Формей, Шлецеръ, Ноллетъ, Крафтъ) отдавали справедливость его талантамъ и трудамъ. Графы Воронцовъ и Орловъ, Н. Шуваловъ покровительствовали ему, какъ знаменитому русскому ученому. По представленію послѣдняго, императрица Елизавета наградила его помѣстьемъ. Императоръ Павелъ, въ уваженіе его памяти и полезныхъ знаній, повелѣлъ племянника его, сына сестры, исключить изъ подушнаго оклада. При императорѣ Николаѣ I воздвигнутъ ему памятникъ въ Архангельскѣ. Въ столѣтнюю годовщину дня его смерти (1865), въ разныхъ мѣстахъ отправлялись торжества, посвященные воспоминаніямъ о Л—въ и сужденіямъ о его дѣятельности.

„Съ самыхъ юныхъ лѣтъ, предавшись наукѣ и литературѣ, Л—въ не переставалъ ихъ и продолжать работать и тогда, когда достигъ положенія, въ которомъ могъ спокойно пользоваться плодами своей извѣстности; онъ всегда стремился къ самостоятельности въ изысканіяхъ, не выдавалъ чужихъ мыслей за свои; и не останавливался ни передъ препятствіями, ни пе-

редъ трудностями для достиженія разъ предположенной цѣли и настойчиво, честно и смѣло шель впередъ для достиженія ея. Въѣствъ съ тѣмъ Л—въ горячо любилъ Россію, ему были дороги успѣхи русскихъ въ просвѣщеніи, такъ какъ въ этихъ успѣхахъ онъ справедливо видѣлъ залогъ будущаго величія и славы родины“<sup>1)</sup>. Л—въ былъ не только ревностнымъ сподвижникомъ просвѣщенія и патриотомъ, но и замѣчательнымъ характеромъ. Въ то время, когда общественное положеніе и ученаго, и литератора было незавидно, онъ держалъ себя благородно и мужественно: никто не могъ бы безнаказанно оскорбить его какъ человѣка. Онъ умѣлъ, говорить Пушкинъ, за себя постоять и не дорожилъ ни покровительствомъ своихъ меценатовъ, ни своимъ благосостояніемъ, когда дѣло шло о торжествѣ его чести или о торжествѣ его любимыхъ идей. Вотъ что писалъ онъ къ Шувалову (1761), когда этотъ ради шутки вздумать было примирить его съ Сумароковымъ,—такимъ человѣкомъ, который „ничего другого не говорить, какъ только всѣхъ бранить, себя хвалить и бѣдное свое риѣмичество выше всего человѣческаго знанія ставить“<sup>2)</sup>: „не токмо у стола знатныхъ господъ дуракомъ быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который далъ мнѣ смыслъ, пока развѣ отниметъ“. Не всегда, конечно, Л—въ былъ правъ въ своей борьбѣ съ тѣми или другими лицами, но въ своихъ обличеніяхъ и полемикѣ онъ всегда имѣлъ высокія побужденія: любовь къ наукѣ и къ пресвѣщенію согражданъ. Онъ не могъ молчать при видѣ злоупотребленій академической канцеляріи: „Я бы охотно молчалъ и жилъ въ покоѣ (писалъ онъ Теплову, 1761 г.), да боюсь наказанія отъ правосудія и всемогущаго Промысла, который не лишилъ меня дарованія и прилежанія въ ученіи, далъ терпѣніе и благородную упрямку и смѣлость къ преодолѣнію всѣхъ препятствій къ распространенію наукъ въ отечествѣ, что мнѣ всего дороже. За общую пользу, а особливо за утвержденіе наукъ въ отечествѣ, и противъ отца своего родного возстать за грѣхъ не ставлю... Я къ сему себя посвятилъ, чтобъ до гроба моего съ непріятелями наукъ російскихъ бороться, какъ уже борюсь двадцать лѣтъ: стоялъ за нихъ съ молодю, на старости не покину“.

### 3. Фонвизинъ (Денисъ Ивановичъ 1745—1792).

Фонвизинъ род. 1745 года въ Москвѣ, гдѣ отецъ его состоялъ на службѣ. Отъ природы получилъ онъ доброе сердце, чрезвычайную чувствительность и острый умъ. Наклонность къ сатирѣ явилась у него очень рано. Когда онъ выучился грамотѣ, отецъ заставлялъ его читать церковныя книги на всенощной службѣ, отправлявшейся на дому: „этому чтенію“, говорилъ онъ въ своихъ мемуарахъ (Чистосердечное признаніе въ дѣлахъ моихъ и помысленіяхъ), „обязанъ я знаніемъ русскаго языка, котораго невозможно знать безъ языка славянскаго“. Одинадцати лѣтъ отдалъ его въ гимназію при Московскомъ университетѣ, только что основанномъ: здѣсь онъ пріобрѣлъ нѣкоторыя познанія въ языкахъ латинскомъ и нѣмецкомъ, а также въ словесности; французскому языку выучился онъ

1) Жизнеописаніе Л—ва, П. Пекарскаго (Исторія Академіи наукъ т. 2-й 1873).

2) Слова Л—ва.



позднѣе. Въ 1758 г. директоръ университета И. И. Малисзино, отправляясь въ Петербургъ, взялъ съ собою десять лучшихъ воспитанниковъ для представленія куратору (почетителю) И. И. Шувалову. Въ числѣ ихъ находился и Фонвизинъ. Въ домѣ дяди своего онъ познакомился съ павѣтными актерами: Волковымъ и Дмитревекимъ. Театръ привлекъ его въ восхищеніе, особенно игра комика Шумскаго. Произведенный въ студенты (1759), поступилъ на философскій факультетъ, гдѣ слушалъ лекціи логики у профессора Шадена. Въ то же время занимался онъ переводами, изъ коихъ напечатаны: „Басни Гольберга“ (1761) и „Жизнь Сива, царя египетскаго“ (1762—1765); кромѣ того нѣсколько переводныхъ статей его помѣщены въ періодическомъ изданіи профессора Московскаго университета Рейхеля: „Собраніе лучшихъ сочиненій“ (1762).

Въ 1762 г. Фонвизинъ поступилъ на службу въ гвардію, но вскорѣ перешелъ въ иностранную коллегію. Канцлеръ гр. Воронцовъ поручилъ ему, какъ знающему иностранные языки, переводъ важѣйшихъ бумагъ. Въ 1763 г. онъ былъ прикомандированъ для нѣкоторыхъ дѣлъ къ кабинетъ-министру И. П. Елагину, который также любилъ словесность и оказывалъ покровительство молодымъ писателямъ. Самимъ Елагинымъ Фонвизинъ былъ доволенъ, но много испыталъ непріятностей отъ своего сослуживца Лукина, драматическаго автора того времени, который старался ему вредить во мѣстѣ ихъ общаго начальника. Служба не мѣшала литературнымъ занятіямъ Фонвизина: онъ написалъ комедію „Бригадиръ“ и перевелъ поэму Витове „Іосифъ“. Комедія была читана и передъ императрицею, и у наслѣдника престола и у многихъ вельможъ. Авторъ читалъ ее мастерски, потому что „имѣлъ даръ принимать на себя лицо и говорить голосомъ весьма многихъ людей“. Она понравилась всѣмъ и была по достоинству оценена гр. Н. И. Панинымъ: „Это—первая комедія въ нашихъ правахъ, которые, я вижу, вы очень хорошо знаете; бригадирна ваша всѣмъ родня: никто сказать не можетъ что такую же Акулину Тимофеевну не имѣть или бабушку, или какую-нибудь свойственницу“. Въ концѣ 1769 г. Фонвизинъ перешелъ отъ Елагина къ гр. Н. И. Панину, который управлялъ иностранными дѣлами и кромѣ того былъ воспитателемъ наслѣдника престола, Павла Петровича. Отношенія къ нему новаго начальника оставались самыми дружескими съ начала и до конца служебнаго поприща. Фонвизинъ, состоя при немъ въ званіи секретаря, удостоенъ былъ полной его довѣренности и былъ непоколебимо ему преданъ. Переписка его со многими дипломатами того времени (Вибиковымъ, Сальдерномъ, Сталкербергомъ, Мусинымъ-Пушкинымъ, Зинovieвымъ, Остерманомъ, Булгаковымъ) служить свидѣтельствомъ и непосредственнаго участія его въ дѣлахъ, и уваженія, снисканнаго имъ независимо отъ мѣста. Въ 1771 году написано имъ „Слово на выздоровленіе цесаревича Павла Петровича“ послѣ тяжелой болѣзни. Въ 1773 г. состояніе его увеличилось. Гр. Панинъ, окончивъ воспитаніе наслѣдника и получивъ отъ императрицы въ награду 9000 душъ, отдать половину изъ нихъ тремъ своимъ секретарямъ. Фонвизину досталось 1150 дунгъ. Кромѣ того онъ женился на богатой вдовѣ, что дало ему возможность жить привольно, приглашать и угощать своихъ пріятелей, въ числѣ которыхъ находились Державинъ, Домашневъ, Богдановичъ, Князинъ, Козодавлевъ, Дмитревскій... Литературными же противниками его были А. С. Хвостовъ и кн. Горчаковъ. Но не легко было вести съ нимъ литературную войну, такъ какъ онъ обла-

дать сильнымъ остроуміемъ и чрезвычайной находчивостью какъ въ разговорахъ, такъ и на письмѣ.

Фонвизинъ три раза ѣздилъ за границу. Первое путешествіе (1777—1778) было предпринято по нездоровью жены его; цѣлью поѣздки былъ Монпелье, въ которомъ онъ оставался около двухъ мѣсяцевъ и, кромѣ того, прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Парижѣ. Этой поѣздкѣ одолжены своимъ появленіемъ „Письма изъ Франціи къ гр. Н. И. Панину“, замѣчательныя какъ по изображенію состоянія французскаго общества, за десять лѣтъ до революціи, такъ по отзывамъ объ энциклопедистахъ, которымъ Фонвизинъ не сочувствовалъ, потому что ихъ „ученье хотя и уничтожаетъ предрасудки, но въ тоже время вырываетъ съ корнемъ добродѣтель“. Въ 1782 г. явилась комедія „Недоросль“, имѣвшая необычайный и совершенно заслуженный успѣхъ; этого же года напечатаны въ „Собесѣдникѣ любителей россійскаго слова“ его знаменитые „Вопросы“, съ отвѣтами на нихъ автора „Былей и Небылицъ“ (Императрицы Екатерины II), и объяснительное и оправдательное письмо его къ тому же автору. Смерть гр. Н. И. Панина (1783) сильно подѣйствовало на здоровье Фонвизина: онъ вышелъ въ отставку и поѣхалъ въ Италію, гдѣ прожилъ около восьми мѣсяцевъ (1784—1785). По возвращеніи въ Москву, былъ пораженъ апоплексическимъ ударомъ, лишившимъ его языка, лѣвой руки и ноги. Для поправленія здоровья онъ совершилъ третье путешествіе (1786—1787) въ Вѣну, Карлсбадъ, Тренцицъ (въ Венгріи). Изъ всѣхъ своихъ путешествій Фонвизинъ вынесъ очень невыгодное мнѣніе о заграничной жизни и о состояніи заграничнаго общества: „Славны бубны за горами“, говоритъ онъ: „если здѣсь прежде насъ начали жить, то, по крайней мѣрѣ, мы, начиная жить, можемъ дать себѣ такую форму, какую хотимъ, и избѣгнуть тѣхъ неудобствъ и золь, которыя здѣсь вкоренились. Nous commençons et ils finissent. Я думаю, что тотъ, кто родился, посчастливіе того, кто умираетъ“. Въ 1788 г. Фонвизинъ намѣревался издавать журналъ: „Другъ честныхъ людей, или Стародумъ“, но не получилъ на то разрѣшенія. Смерть Потемкина (1791) внушила ему „Размышленіе о суетной жизни человѣческой“. Умеръ 1792 г. Представитель благороднаго образа мыслей въ свое время, Фонвизинъ отличался самостоятельнымъ характеромъ и держалъ себя независимо. Онъ былъ „другомъ честныхъ людей“, потому что главное достоинство человѣка полагалъ въ честности. Эта мысль выражена имъ въ разныхъ мѣстахъ его сочиненій. Стародумъ хвалитъ свою племянницу Софью за то, что видитъ въ ней „сердце *честнаго* человѣка“, на письмѣ Каллисѣена къ Аристотелю (въ повѣсти „Каллисѣенъ“, 1770 г.), послѣдній отмѣтилъ; „вотъ что *честный* человѣкъ въ два дня сдѣлать можетъ“; въ „Жизни гр. Н. И. Панина“ приписана ему наилучшая похвала: „гласомъ цѣлаго народа было ему дано титуло *честнаго* человѣка“, одинъ изъ „Вопросовъ“, предложенныхъ автору „Былей и Небылицъ“, начинается такими словами: „имѣя Монархію *честнаго* человѣка“. Будучи высшею степенью нравственности, честность по взгляду Фонвизина, нераздѣлима и совмѣщаетъ въ себѣ всѣ другія качества: „умнаго человѣка легко извинить можно, если онъ какого-нибудь качества не имѣетъ; честному человѣку никакъ простить нельзя, если недостаетъ въ немъ какого-нибудь качества сердца: ему необходимо всѣ имѣть надобно. Честный человѣкъ долженъ быть совершенно честный человѣкъ“.



#### 4. Державинъ (Гавріиль Романовичъ 1743—1816).

Родиною Державина была Казань, гдѣ и воздвигнутъ ему памятникъ (1847). Названія: „Потомокъ Багрима“ и „Мурза“, встрѣчаемыя въ его сочиненіяхъ, объясняются тѣмъ, что предокъ его, Багримъ Мурза перешелъ изъ Золотой орды въ русскую службу при Василии Темномъ. Руской грамотѣ Державинъ обучался у церковныхъ причетниковъ. Въ Оренбургѣ, куда отецъ его переѣхалъ по дѣламъ службы, онъ поступилъ въ школу сеньянаго тѣмца Розе: здѣсь главнымъ предметомъ его четырехлѣтняго ученія (1750—1754) былъ нѣмецкій языкъ. По смерти мужа, мать Державина переѣхала изъ Оренбурга въ Казань и отдала его для обученія ариметикѣ и геометріи гарнизоннымъ учителямъ. Горестное положеніе вдовы, которая должна была вести тяжбу съ сосѣдями, притѣсненіями ея по имѣнію, произвело неизгладимое впечатлѣніе на ея сына; онъ и въ зрѣломъ возрастѣ „не могъ сносить равнодушію неправды и притѣсненія вдовъ и сиротъ“; ода „Вельможа“ изображаетъ горькую ихъ участь, вмѣстѣ съ безчувствительностью знатныхъ людей. При открытіи казанской гимназіи (1759), состоявшей въ вѣдѣніи Московскаго университета, кураторомъ котораго былъ Шуваловъ, Державинъ поступилъ въ нее вмѣстѣ съ братомъ, почему въ стихотвореніи „Урна“ (1797) и называетъ себя питомцемъ И. И. Шувалова. Первымъ директоромъ этой гимназіи былъ Веревкинъ, переводчикъ многихъ сочиненій съ французскаго и авторъ нѣсколькихъ комедій, имѣвшихъ успѣхъ. Главная цѣль гимназическаго образованія состояла въ томъ (какъ говоритъ самъ Державинъ), чтобы „научить читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматикѣ и быть обходительнымъ“, для чего заставляли гимназистовъ „выучивать наизусть и произносить съ кафедры рѣчи, сочиненныя учителями, разыгрывать трагедіи Сумарокова, танцовать и фехтовать на публичныхъ экзаменахъ“. Французскому языку Державинъ не выучился и послѣ не зналъ его: болѣе удовлетворительные успѣхи онъ оказалъ въ нѣмецкомъ языкѣ и въ рисованіи; особенную же склонность имѣлъ къ предметамъ, касающимся воображенія—живописи, музыкѣ и поэзіи. Вообще воспитаніе Державина было крайне недостаточно. Онъ самъ сознавалъ этотъ недостатокъ: „Я былъ воспитанъ въ то время и въ тѣхъ предѣлахъ имперіи, когда и куда не проникало еще въ полной мѣрѣ просвѣщеніе наукъ не только на умы народа, но и на то состояніе, къ которому принадлежу (дворянское). насъ научали тогда вѣрѣ безъ катихизиса, языкамъ безъ грамматики, числамъ и измѣренію безъ доказательствъ, музыкѣ безъ нотъ и т. п. Книгъ, кромѣ духовныхъ, почти никакихъ не читали“. Въ 1760 г. Веревкинъ, желая блеснуть успѣхами своихъ учениковъ, возилъ въ Петербургъ къ Шувалову геометрическіе чертежи, ландкарты и другіе рисунки лучшихъ гимназистовъ, въ томъ числѣ и Державина. По возвращеніи въ Казань, онъ объявилъ, что Державинъ, согласно его желанію, записанъ кондукторомъ въ инженерный корпусъ. Но въ 1762 г. пришла изъ Петербурга въ гимназію требованіе, чтобы Державинъ немедленно явился въ Преображенскій полкъ: такимъ образомъ, противно желанію отца и своему собственному, онъ сдѣлался солдатомъ гвардіи. Въ казармахъ, гдѣ онъ жилъ, ему не было ни времени, ни мѣста усовершенствовать свои способности: только по ночамъ онъ занимался чтеніемъ книгъ и сочиненіемъ стиховъ, руководствуясь правилами иностранныхъ писателей, а болѣе



Тредьяковского, и стараясь подражать Ломоносову. Въ собраніи его сочиненій нѣтъ ни одного стихотворенія раньше 1770 г., такъ какъ въ этомъ году онъ ѣздилъ въ Казань и, возвращаясь въ Петербургъ, былъ задержанъ въ карантинѣ на одной заставѣ, по случаю приближавшейся къ Москвѣ чумы. Надобно было дожидаться, пока окурятъ толстую кипу стиховъ, которую онъ везъ съ собою, и нетерпѣливый поэтъ бросилъ въ огонь все свои бумаги. Въ 1773 г., при назначеніи Александра Илѣича Библикова начальникомъ войскъ, посланныхъ противъ Пугачева, Державинъ явился къ нему съ просьбой взять его въ число гвардейскихъ офицеровъ составлявшихъ секретную комиссію для изслѣдованія дѣлъ о мятежникахъ. До начатія военныхъ дѣйствій, онъ сочинилъ рѣчь, которую казанскій предводитель отвѣчалъ государынѣ, назвавшей себя „казанской помѣщицею“, и по тому же случаю письмо къ ней отъ имени казанскаго дворянства. Въ рѣчи воспользовался онъ случаемъ припомнить, какъ въ сердцѣ его, когда онъ былъ ребенкомъ, „срѣзалось ужаснѣйшее отрицаніе отъ людей неправосудныхъ и притѣснителей спроть“. Въ Саратовѣ и окрестныхъ мѣстахъ Державинъ дѣятельно исполнялъ порученія главнокомандующаго и другихъ генераловъ, находя, впрочемъ, время и для поэтическихъ занятій. Стоя довольно долго въ лагерѣ при горѣ Читалагай (Сарат. губ., при нѣмецкихъ колоніяхъ, расположенныхъ на луговой сторонѣ Волги), онъ перевелъ и сочинилъ въ 1774 г. восемь одъ, которыя были изданы спустя два года (1776). На участіе, которое публика принимала въ постановкѣ памятника Петру Великому, отзывался онъ двумя застольными пѣснями въ честь преобразователя Россіи (1776); одна изъ нихъ; „Россія въ славу облеченна“, была въ большой славѣ. Чтеніе книгъ западныхъ скептиковъ поколебало религіозныя убѣжденія поэта и произвело въ его душѣ борьбу между вѣрою и сомнѣніемъ; но эта кратковременная борьба кончилась торжествомъ вѣры, которое и выражено въ „Успокоенномъ невѣріи“ (1779). Въ 1777 г. Державинъ былъ назначенъ полковникомъ въ армію, но вскорѣ переведенъ въ статскую службу и определенъ экзекуторомъ перваго департамента Сената: тогда же, за дѣйствія противъ Пугачева, пожаловало ему 300 душъ въ Бѣлоруссіи. Со времени его женитбы (1778) наступаетъ другой періодъ его жизни и авторства. Первая его супруга, которую онъ въ стихотвореніяхъ называлъ Цѣтницей, принадлежала къ числу образованныхъ женщинъ. Между его друзьями находились извѣстные литераторы: Н. А. Львовъ, В. В. Капнистъ, И. И. Хемницеръ. Благодаря ихъ совѣтамъ, онъ, съ 1789 года, усвоиваетъ самобытное направленіе въ поэзіи, а до этого времени стараясь подражать Ломоносову. Лучшая пора его поэтическаго таланта открывается одою „Фелица“, сочиненною въ 1782 г. и напечатанною въ Собесѣдникѣ (1783). Непріятности съ кн. Вяземскимъ, генераль-прокуроромъ Сената, заставили Державина выйти въ отставку, (1784). Того же года получилъ онъ мѣсто олонецкаго губернатора, но, не ужившись съ намѣстникомъ Тутолминнымъ, былъ переведенъ тѣмъ же званіемъ въ Тамбовъ (1785), гдѣ оставался по 1788 г. Въ 1791 г. императрица назначила его къ себѣ статсъ-секретаремъ для принятія прошеній, поручивъ ему наблюденіе за сенатскими меморіями и доклады по нимъ, въ случаѣ незаконныхъ рѣшеній Сената. Готовясь вступить на новую должность, онъ предписалъ себѣ правила въ переложеніи 100-го псалма: „Праведный судія“ (1789). При пожалованіи сенаторомъ (1791), Державинъ переложилъ 74-ый псаломъ,

подъ названіемъ: „Радости о правосудіи“, гдѣ изображаетъ свои обязанности. Въ слѣдующемъ году, сохранивъ сенаторское званіе, опредѣленъ президентомъ коммерцъ-коллегіи, что и заставило его въ пьесѣ „Меркурій“ (1794) сказать:

Почто меня отъ Аполлона  
Меркурій <sup>1)</sup>, ты ведешь съ собой?

Того же года онъ лишился первой своей супруги, въ память которой написалъ „Ласточку“, а въ слѣдующемъ онъ вступилъ во второй бракъ съ Дьяковой, которая въ стихахъ его является подъ именемъ Милены. Смертію императрицы окончилась первая и лучшая половина поэтической дѣятельности Державина, который созналъ ее въ „Памятникѣ“ (1796). Послѣ того талантъ его слабѣетъ, и его „Камена“ ужъ не въ силахъ возвышать свой голосъ по прежнему. Въ 1800 году, оставаясь сенаторомъ, снова получилъ мѣсто президента коммерцъ-коллегіи, а потомъ—государственного казначея. При Александрѣ I онъ былъ назначенъ министромъ юстиціи (1803) и въ томъ же году уволенъ въ отставку, послѣ 42-хъ-лѣтней службы (16 военной и 26 гражданской). По сему случаю написалъ онъ стихи: „Свобода“ (1803). Съ того времени онъ поселился въ имѣніи своемъ: Званка (Новгород. губ.). Сельскія занятія его изображены въ стихотвореніи: „Знанская жизнь“ (1807). Оно проникнуто элегическимъ чувствомъ. Не было уже друзей Державина:

Львовъ <sup>2)</sup>, Хемницеръ въ гробѣ скрыты,  
За Дидломъ Капнистъ живетъ;  
Вельяминовъ, лиръ любитель,  
Богатырь, пѣвецъ въ кругу,  
Беззаботный свѣта житель,  
Согнутъ скорбями въ дугу.

Поэтъ чувствовалъ приближеніе зимы своей (Зима, 1805). Впрочемъ онъ не оставлялъ литературныхъ занятій. „Привыкнуши къ безпрестаннымъ трудамъ“, говоритъ онъ въ Запискахъ, „я не могъ быть безъ упражненія и, для того занимался литературою, написать нѣсколько лирическихъ сочиненій, которыхъ вышло 4 части (т.е. въ 1805 г.) и еще наберется можетъ быть одна, сочинялъ трагедіи: „Иродъ и Маріамна“, „Евпраксія“, „Темный“, да перевелъ Федру, Зельмиду, комическую написать оперу, бездѣльныхъ двѣ: „Дурачки умиѣ умныхъ“ и „Женская дружба“, нѣсколько прозаическихъ сочиненій, эпитаграммъ и разсужденіе о лирической поэзіи“. На зиму Державинъ переѣзжалъ въ Петербургъ, гдѣ въ 1811 году вмѣстѣ съ Шишковымъ, основалъ литературное общество подъ названіемъ „Бесѣда любителей русскаго слова“. Сочиненія читанныя въ этомъ обществѣ, составили особое изданіе: „Чтеніе въ Бесѣдѣ любит. рус. слова“ (20 книгъ 1811—1815). Здѣсь напеч. „Разсужденіе о лирической поэзіи“.

Державинъ отличался простымъ и открытымъ характеромъ, выказывая добродушіе и сердечность въ сношеніяхъ съ родными, друзьями и знакомыми. Преобладающимъ его качествомъ была горячность, которую онъ не могъ удерживать въ предѣлахъ благоразумія. Она-то служила главною ви-

<sup>1)</sup> Меркурій былъ богъ краснорѣчія и торговли.

<sup>2)</sup> На смерть Львова написана Державинимъ ода: „Память другу“ (1804).

ною его столкновений со многими людьми, даже съ тѣми, отъ кого зависѣла его служба. Не всегда, конечно, оказывался онъ правымъ въ этихъ столкновенияхъ, хотя всегда почиталъ себя правымъ, какъ такой человѣкъ, который старался поступать по чистой совѣсти и крайнему разумѣнію. Горячность Державина обнаруживалась особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда надобно было говорить отъ имени правосудія и въ пользу правосудія. Здѣсь онъ выдаетъ себя героемъ, не знающимъ уступчивости, твердо отстаивающимъ свои мнѣнія, способнымъ съ смѣлою и рѣзкому голосу. Онъ никогда не мирился съ тѣми, которые, по выраженію Петра I, вели подковы подъ фортецію правды. Эта неуклончивость права и заставила императрицу Екатерину спросить Державина: „Нѣтъ ли чего въ правѣ вашемъ, что ни съ кѣмъ не уживаетесь?“ Объ ней же говорить самъ Державинъ въ письмѣ къ гр. Зубову: „При обыкновенной моей участи ожидаю непріятностей. Прежде всего скажутъ: „какой вздорный и беспокойный человѣкъ! опять затѣялъ исторію!“ „Замѣтимъ, что съ чувствомъ правды трудно, однакожъ согласить тѣ стихотворенія, въ которыхъ, по словамъ самого автора, много, „мгнутаго вѣміа“ (Храповицкому 1793); подобное признанье выражено также въ Видѣніи мурзы (1784):

Довольно золотыхъ кумировъ  
Безъ чувствъ мои что пѣсни чли.

Такое противорѣчіе объясняется тѣмъ, что Державинъ ставилъ большое различіе между словомъ и дѣломъ и уклоненіе отъ правды въ словѣ не почиталъ неправдой или, по крайней мѣрѣ, извинялъ неправду, что видно изъ другого посланія къ Храповицкому (1797).

За слова—меня пусть гложетъ,  
За дѣла—сатирикъ чтить.

Эти стихи вызвали возраженіе со стороны Пушкина и Гоголя („О томъ, что такое слово“ въ Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями).

## 5. Карамзинъ (Николай Михайловичъ, 1766—1826).

Карамзинъ род. въ деревнѣ близъ Симбирска. Мать его скончалась во время его младенчества. Воспоминаніе о ея кончинѣ, равно какъ и о нравѣ, унаслѣдованномъ сыномъ, сохранилось въ „Послании къ женщинамъ“ (1793).

Ахъ, я не знать тебя!.. ты, давъ мнѣ жизнь, сокрылась!..  
Твой тихій нравъ остался мнѣ въ наслѣдство.

Начально воспитывался въ деревнѣ, очень рано началъ читать, и первыми его книгами были романы, которые усиливали его природную чувствительность. Эта чувствительность осталась отличительнымъ его свойствомъ на всю жизнь до самой кончины. Нѣмецкому языку обучался въ Симбирскѣ у врача-нѣмца, а французскому въ частномъ пансіонѣ. Въ неоконченной повѣсти „Рыцарь нашего времени“ (1802—1803) есть воспоминанія о первомъ періодѣ жизни автора, о его наклонности къ мечтательности и грусти, а также о симбирскомъ обществѣ того времени. Тринадцати лѣтъ К-нъ былъ отправленъ въ Москву, въ учебное заведеніе Шадена, одного изъ лучшихъ профессоровъ московскаго университета. Здѣсь особенное вни-



маніе было обращено на языки нѣмекій и французскій; самъ профессоръ преподавалъ своимъ „маленькимъ пайснерамъ“ мораль по лекціямъ Геллерта, баснописца и вмѣстѣ преподавателя нравственной философіи въ Лейпцигскомъ университетѣ. Въ послѣднее время своего тамъ пребыванія К—нъ посѣщалъ разные классы московскаго университета, гдѣ, вѣроятно, познакомился съ отечественной исторіей и общими правилами славяности. По совету Шадена, думалъ онъ ѣхать въ Лейпцигъ для изученія лекцій въ тамошнемъ университетѣ, но по обстоятельству не могъ исполнить своего намѣренія, о чемъ выразилъ искреннее сожалѣніе въ письмѣ къ Лейпцига: „здѣсь-то, друзья мои, желать и провести мою юность, здѣсь хотѣлъ собрать нужное для исканія той истины, о которой съ самыхъ младенческихъ лѣтъ тоскуетъ мое сердце. Но судьба не хотѣла исполнить моего желанія. Воображая какъ бы я могъ провести тѣ лѣта, въ которыя образуется душа наша, и какъ я провелъ ихъ, чувствую горестъ въ сердцѣ и слезы въ глазахъ. Нельзя возвратитъ прошедшаго!“ („Письма русскаго путешественника“). Въ 1781 году К—нъ поступилъ на службу гвардіи въ Преображенскій полкъ. Въ Петербургѣ онъ нашелъ земляка и друга, Н. И. Дмитріева, также гвардейца, занимавшагося въ свободное время переводами и помѣщавшаго ихъ въ журналахъ. Первые литературные опыты К—на относятся къ этому времени: то были переводы съ нѣмецкаго: „Разговоръ Маріи Терези съ русскою императрицею Елизаветою въ Елисейскихъ поляхъ“ (1782) и „Деревянная нога, идиллія Геснера“ (1783). Въ 1784-мъ, по смерти отца, вынужденъ въ отставку и уѣхать въ Симбирскъ для устройства дѣлъ по наслѣдству. Здѣсь онъ началъ вести разбѣнную жизнь и пользоваться успѣхами въ провинціальномъ обществѣ, благодаря своимъ талантамъ и образованности. Но это продолжалось недолго: землякъ его, Н. И. Тургеневъ, находившійся тогда въ Симбирскѣ, жалѣя о напрасной тратѣ времени даровитымъ юношей, уговорилъ его ѣхать съ нимъ въ Москву, куда они и прибыли 1785 г.

Тургеневъ ввелъ К—на въ общество Н. И. Новикова, который еще въ Петербургѣ приобрѣлъ себѣ извѣстность изданіемъ лучшаго сатирическаго журнала „Живописецъ“ и важнаго для русской исторіи сборника „Древняя русская живопись“, а съ 1779 г. поселился въ Москву, взявъ на десятилѣтнюю аренду университетскую типографію. Это десятилѣтіе составляетъ важную эпоху въ исторіи нашего просвѣщенія. Кругъ Новикова состоялъ изъ людей серьезныхъ и благонамѣренныхъ; главнѣйшими изъ нихъ были: профессоръ московскаго университета Шварцъ, Тургеневъ, Гаматъ, Лопухинъ. Основанное ими Дружеское общество имѣло цѣлью изданіе и распространеніе книгъ, преимущественно нравственно-религіознаго содержанія, противоположнаго французскому энциклопедизму, который въ то время илѣблялъ умы, основаніе училищъ и благотворительныхъ заведеній, привлекалъ молодежь къ такимъ литературнымъ работамъ, которыя направляють мысль къ важнымъ предметамъ знанія. Въ числѣ этихъ молодыхъ людей отличались особенною даровитостію К—нъ и другъ его А. А. Петровъ, воспитанникъ московскаго университета, набоженный имъ въ слѣдствіи „Цѣлюкъ на гробъ моего друга Агатона“ и частью въ повѣсти „Чувствительный и хладнокровный“. Обладавъ способностію къ острой критикѣ и свѣдѣніями въ новыхъ и древнихъ языкахъ, Петровъ имѣлъ большое вліяніе на Карамзина: руководилъ его въ изученіи разныхъ предметовъ, развивалъ въ немъ эстетическое чувство. Немного времени К—нъ и Петровъ

жили въ одномъ домѣ съ нѣмецкимъ поэтомъ Лепцемъ († 1792) и много одолжены ему знакомствомъ съ современною нѣмецкою литературою и пониманіемъ Шекспира. По порученію Дружескаго общества К—нъ перевелъ двѣ или три части „Штурмовыхъ размышленій о дѣлахъ Божіихъ въ царствѣ природы и провидѣнія“ (всѣ 12 частей напеч. 1785—89) и поэму Галлера „О происхожденіи ала“ (1786). Другими его переводами были: „Юлій Цезарь“, трагедія Шекспира (1787) и „Эмилія Галлотти“, трагедія Лессинга (1788). Въ теченіе четырехъ лѣтъ (1785—89), вмѣстѣ съ Петровымъ работалъ онъ для „Дѣтскаго чтенія“, издававшагося Новиковымъ при Московскихъ Вѣдомостяхъ<sup>1</sup>. Слѣдующею за тѣмъ степенью самовоспитанія Карамзина было путешествіе: оно по возможности возмѣщало недостатокъ высшаго, университетскаго образованія. Въ 1789 году онъ отправился за границу, гдѣ и пробылъ полтора года. Онъ посѣтилъ Германію, Швейцарію, Францію и Англію. Путевыя записки его извѣстны подъ именемъ „Писемъ русскаго путешественника“; онѣ писаны въ Москву къ семейству Плещеева, въ домѣ котораго К—нъ жилъ и на свояченицѣ котораго впоследствии женился. Возвратясь въ Москву, рѣшился посвятить свои способности и знанія литературѣ и показать своимъ примѣромъ, что дворянинъ, и внѣ собственно служебной дѣятельности, могъ полезно служить отечеству дѣятельностью литературною. Мало того: онъ хотѣлъ быть единственно, исключительно литераторомъ и потому, отказавшись отъ чиновнаго честолюбія, принялся за редакцію „Московского Журнала“, который и издавалъ два года сряду (1791 и 1792). Сочиненія свои, помѣщенные въ этомъ журналѣ, онъ издалъ потомъ отдѣльною книжкой, подъ названіемъ „Мои бездѣлки“ (1794). Утомительность срочной журнальной работы заставила его перейти къ изданію литературныхъ сборниковъ (альманаховъ): первый изъ нихъ „Аглая“, 2 ч. 1794 <sup>1)</sup> наполненъ одними русскими сочиненіями, преимущественно самого издателя; второй „Аонида“, 3 книжки, 1796—1799 <sup>2)</sup> есть сборники стихотвореній. Въ 1798 г. вышелъ „Пантеонъ иностранной словесности“—сборникъ переводовъ съ иностранныхъ языковъ. Къ 1801 г. относится первая тетрадь „Пантеона руссѣйскихъ авторовъ (отъ Бояна до Ломоносова включительно): это—краткія характеристики нашихъ писателей, приложенныя къ ихъ портретамъ. Когда императоръ Александръ, при вступленіи своемъ на престолъ, объявлялъ, что онъ будетъ царствовать „по духу своей Бабки“, Карамзинъ написалъ „Похвальное слово Екатеринѣ II“ (1802), въ которомъ изъяснилъ отличительный характеръ (духъ) ея царствованія. Въ томъ же 1802 г. онъ основалъ новый журналъ: „Вѣстникъ Европы“, издававшійся имъ два года (1802 и 1803). Этимъ заканчивается первый, собственно литературный, періодъ дѣятельности К—на, пріобрѣтшій ему почетную извѣстность и сдѣлавшій его любимцемъ публики.

Въ 1804 г. К—нъ приступилъ къ дѣлу, мысль о которомъ давно занимала его умъ и сердце: онъ задумалъ написать Русскую Исторію. По ходатайству М. Н. Муравьева, товарища министра народнаго просвѣщенія, получилъ онъ (1803) званіе исторіографа съ ежегодной пенсіей въ 2,000 р. Съ этого времени онъ не позволялъ себѣ развлекаться никакими другими дѣлами и побужденіями, даже отказался отъ предложеній занять каведру

<sup>1)</sup> Аглая—одна изъ трехъ Грацій.

<sup>2)</sup> Аонида—другое названіе Мусъ.

исторіи, сдѣланныхъ ему университетами дерптскимъ и харьковскимъ (1803 и 1805), такъ какъ находить профессорскую должность трудно-совѣстимою съ выполненіемъ своей задачи. Въ 1815 году было уже готово восемь томовъ „Исторіи“. По званію исторіографа, авторъ сталъ долгомъ лично представить свой двѣнадцатилѣтній трудъ Государю, для чего и отправился въ Петербургъ (1816). Государь принялъ его, долго съ нимъ бесѣдовалъ, наградилъ его чиномъ статскаго совѣтника и орденомъ св. Анны 1-й степени <sup>1)</sup> и приказалъ выдать ему изъ кабинета 60 тысячъ руб. на печатаніе труда: награда почетная, выходящая изъ ряда обыкновенныхъ, какъ свидѣтельство Высочайшаго одобренія литературной дѣятельности. Изданіе приготовленныхъ восьми томовъ заставило К—на того же 1816 г. переселиться въ Петербургъ: оно вышло въ свѣтъ въ 1818 г. Въ 25 дней было продано 3,000 экземпляровъ, дѣло безпримѣрное въ тогдашней книжной торговлѣ. Слѣдующіе четыре тома явились въ періодъ времени съ 1819 по 1826-й. По смерти Александра I, К—нъ намѣревался, противъ 12-й томъ удалиться отъ Двора въ Москву или въ нѣмецкую землю для воспитанія сыновей; но болѣзненные припадки стали чаще задерживать его работу, силы его слабли, меланхолия усиливалась. Собираясь (1826), по настоянію врачей, въ Италію и затрудняясь въ средствахъ ѣхать туда и жить внѣ отечества, К—нъ желалъ занять мѣсто повѣреннаго въ дѣлахъ, если бы оно открылось. Онъ обратился съ просьбой о томъ къ Императору Николаю I. Государь, принявъ живѣйшее въ немъ участіе, повелѣлъ изготovitъ фрегатъ, который долженъ былъ отвезти его въ Марсель. При этомъ К—нъ получилъ Высочайшій рескриптъ, съ приложеніемъ указа, которымъ повелѣно было производить ему по 50 тысячъ рублей въ годъ, съ тѣмъ, чтобы сумма, обращенная ему въ пенсію, послѣ него была производима сполна его женою, а по смерти ея также сполна дѣтямъ, — сыновьямъ до вступленія всѣхъ ихъ на службу, а дочерямъ до замужества послѣдней изъ нихъ“. Но К—нъ былъ уже не въ силахъ покинуть отечество: онъ умеръ 22 мая 1826 г. и похороненъ въ Александровской лаврѣ. На его надгробномъ камнѣ вырѣзаны слова: „Блаженъ чистѣмъ сердцемъ“. Въ Симбирскѣ воздвигнутъ ему памятникъ 1843 года. Столѣтній юбилей его рожденія былъ отпразднованъ во многихъ мѣстахъ Россіи 1-го декабря 1866 года.

## 6. Крыловъ (Иванъ Андреевичъ 1768—1844).

Род. въ Москвѣ, но первые года дѣтства провелъ въ Оренбургѣ, гдѣ служилъ отецъ его, отличившійся при зашитѣ Яицкой крѣпости отъ Пугачева. Съ окончаніемъ пугачевщины, отецъ переселился въ Тверь на службу и выучилъ сына грамотѣ. Дальнѣйшее образованіе К—въ получилъ въ домѣ предвдателя уголовной тверской палаты, П. П. Лыкова, дяди Николая Александровича (см. биографическій очеркъ Дерюжанина). Чтеніе книгъ, оставшихся по смерти отца (1780), служило другимъ образовательнымъ средствомъ: оно возбуждало интересъ къ литературѣ и стре-

<sup>1)</sup> Еще прежде того К—нъ за литературные труды получалъ Владимирскій крестъ.



мленіе къ авторству, такъ что на 15-мъ году К—въ написалъ оперу „Кофейница“ (1782). Почти въ одно время съ ученьемъ началась и служба. Побуждаемая бѣдностію, мать К—ва записала его подканцеляршетомъ въ калужинскій уѣздный судъ, откуда онъ вскорѣ переведенъ былъ канцеляршетомъ въ тверской магистратъ. Желая выхлопотать пенсію и пристроить сына, мать К—ва отправилась въ Сиб. Здѣсь К—въ опредѣлился въ казенную палату, съ жалованьемъ по 2 руб. въ мѣсяцъ, а потомъ (1788) въ Кабинетъ Государыни, гдѣ и оставался до конца 1790 г. Тяготясь вообще службой, онъ хотѣлъ посвятить себя литературѣ и предаться театру и журналистикѣ. Онъ представился Князю, какъ автору „Дидоны“ и познакомился съ актеромъ Дмитревичемъ. За „Кофейницей“ слѣдовали двѣ другія пьесы: „Клеопатра“ (1785) и „Филомела“ (1786), первое напечатанное сочиненіе К—ва. Въ 1789 г. издавалъ сатирическій журналъ „Почту духовъ“, въ 1792-мъ—„Зритель“, а въ 1793-мъ—„Петербургскій Меркурій“. Покончивъ съ повременными изданіями, онъ возвратился къ театру и написалъ комедіи: „Бѣшеная семья“ (1793), „Проказники“ (1793), „Сочинитель въ прихожей“, (1794). О литературныхъ занятіяхъ его въ 1795 и 1796 гг. не осталось извѣстія. Съ 1797 до 1801 жилъ въ Казацкомъ (Кіев. губ.), имѣвши кн. С. Ѳ. Голицына: здѣсь онъ давалъ уроки русскаго языка сыновьямъ князя, устраивалъ для домашнихъ концерты на скрипкѣ, на которой отлично игралъ, и сочинилъ двѣ пьесы: шутиливую трагедію „Трумфъ“ и комедію „Пирогъ“, для домашнихъ спектаклей. Когда князь былъ назначенъ рижскимъ военнымъ губернаторомъ (1801), онъ взялъ съ собою и К—ва правителемъ канцеляріи. Но К—въ не выказалъ ни охоты, ни способности къ должности, отъ которой былъ уволенъ 1803 г., оставшись при князѣ въ качествѣ собесѣдника. Въ 1804-мъ, по выходѣ князя въ отставку, воротился въ Спб. Гдѣ проведены имъ 1804 и 1805 гг.—біографы его не знаютъ; извѣстно только, что въ концѣ 1805 г. онъ изъ Нижняго-Новгорода пріѣхалъ въ Москву, познакомился въ ней съ И. Дмитриевымъ и вручилъ ему переводы трехъ Лафонтеновыхъ басенъ: „Дубъ и Трость“, „Разборчивая невеста“, „Старикъ и трое молодыхъ“, которые и были напечатаны въ 1 и 2 №№ „Московского Зрителя“ 1806 г. На слѣдующій годъ (1807) вышли въ свѣтъ три пьесы: комедіи „Модная лавка“ и „Урокъ дочкамъ“, и опера „Илья богатырь“. Этимъ годомъ и заканчивается первая половина жизни и авторства Крылова: драматургъ и журналистъ становится баснописцемъ.

Воротясь въ Петербургъ, К—въ сблизился съ кн. А. А. Шаховскимъ. „Драматическій Вѣстникъ“ (1808), основанный послѣднимъ, украшался его баснями, первое изданіе которыхъ въ числѣ 23-хъ вышло въ 1809 г. Тѣсною дружбою и благодарностію за постоянное въ немъ участіе былъ онъ связанъ съ А. Н. Оленинымъ. Подъ начальствомъ Оленина началъ онъ слова службу при Монетномъ дворѣ (1808) и продолжалъ въ И. П. Библиотекѣ помощникомъ бібліотекаря по русскому отдѣленію, а потомъ бібліотекаремъ (съ 1812). Съ самаго основанія „Бесѣды любителей русскаго слова“, онъ находился въ числѣ ея членовъ: басни его составляли наилучшій вкладъ въ сборникъ этого Общества („Чтеніе въ бесѣдѣ“). Изъ писателей ближайшихъ къ К—ву чловѣкомъ былъ Гнѣдичъ, сослуживецъ его въ Библиотекѣ. „Со времени поступленія его въ бібліотеку,—говоритъ П. А. Плетневъ, началась для нашего поэта новая жизнь—тихая, беззаботная, однообразная, почти неподвижная. До самаго выхода въ

отставку (1841) не перемѣнилъ онъ ни службы, ни литературныхъ занятій, ни даже квартиры... Въ первый годъ службы своей библиотечаремъ. К—въ получилъ пенсію въ 1,500 р. изъ Кабинета Государя, которая въ 1820 г. была удвоена; въ 1834-мъ къ этимъ тремъ тысячамъ прибавилась новая пенсія, также 3,000 р., изъ государственнаго казначейства, а по выходѣ въ отставку позволено было производить ему пенсію въ 5,700 р., что съ прежними составило 11,700 р. Въ 1814 году былъ ему пожалованъ чинъ коллежскаго ассессора, „въ уваженіе отличныхъ дарованій въ російской словесности“. Въ пятидесятилѣтній юбилей его литературной дѣятельности (1838) была выбита медаль съ его портретомъ и открыта подписка для учрежденія стипендіи (Крыловской) на воспитаніе одного или нѣсколькихъ молодыхъ людей въ какомъ-либо учебномъ заведеніи; самъ юбиляръ получилъ орденъ св. Станислава 1-й степени. Памятникъ К—ву поставленъ въ Спб., въ Лѣтнемъ саду. Столѣтній юбилей его рожденія (1868) былъ чествованъ и въ столицахъ и во многихъ провинціальныхъ городахъ.

## 7. Жуковскій (Василій Андреевичъ, 1783—1852).

Родина Жуковского—село Мишенское, въ Бѣлевскомъ уѣздѣ (Тульской губ.). Онъ былъ сынъ помѣщика Бунина и турчанки, попавшей въ плѣтъ къ русскимъ при ваятіи Бендеръ и подаренной Бунину его крестьянами, которымъ позволялось ѣздить за арміей маркитантами. Имена отчество и фамиліе получилъ онъ по своему крестному отцу, Андрею Григорьевичу Жуковскому. Такъ какъ сестры Ж—го были много старше его, то ихъ дочери, а его племянницы, сдѣлались его воспитанницами. Родственная среда, состоявшая изъ однихъ женщинъ, не могла остаться безъ вліянія на мальчика; она сообщила ему набожность, благородство, нѣжность, отвращеніе отъ всего грубаго и заносчиваго. Первымъ наставникомъ его былъ нѣмецъ; потомъ отдали его въ пансіонъ Роде, въ Туль, куда Бунинъ переѣхалъ на службу; а затѣмъ помѣстили въ Тульское народное училище, гдѣ старшимъ учителемъ былъ Покровский, докторъ философіи, писавшій статьи въ одномъ журналѣ, подъ именемъ „философа горы Алаунской“. Но философъ не угадалъ наклонностей будущаго поэта: отъ мальчика одареннаго живымъ воображеніемъ и чувствительностью, онъ требовалъ занятій математикою, и за неуспѣхи въ ней хотѣлъ даже исключить его изъ школы. Намѣреніе родныхъ записать Ж—го въ какой нибудь полкъ не состоялось, почему въ 1797 г. они помѣстили его въ благородный пансіонъ московскаго университета. Трехлѣтній курсъ ученія былъ вмѣстѣ временемъ его начальнаго авторства, на которое возбуждительно дѣйствовало „Собраніе благородныхъ воспитанниковъ университетскаго пансіона“. Первые опыты его, въ стихахъ и прозѣ, печатались въ „Утренней зарѣ“, (сборникъ пансіонскаго общества) и въ другихъ журналахъ. Мѣсту своего воспитанія Ж—ій былъ обязанъ собственно литературнымъ образованіемъ и знаніемъ новыхъ языковъ, что дало ему возможность въслѣдствіи ознакомить нашу публику съ произведеніями нѣмец. и англійской словесности. Такъ какъ карманныхъ денегъ изъ дому присылалось ему мало, то онъ пополнялъ ихъ собственными трудами: по заказу книгопродавцевъ переводилъ повѣсть Коцебу „Мальчикъ у ручья“ (1801) и „Донъ-Кихота“ (1805).

съ французскаго Флоріанова перевода. На службу поступилъ 1802 года въ Московскую контору соляныхъ дѣлъ, но того же года возвратился въ село Мишенское, неотразимо привлекавшее его воспоминаніями дѣтства и любовью къ роднымъ. Здѣсь переведена имъ элегія „Сельское кладбище“, англ. писателя Грея (1802), которая сразу поставила его въ рядъ лучшихъ поэтовъ и положило начало нашей новой элегіи и новому, небывалому достѣ гармоническому стиху. Въ концѣ 1805 г. онъ сталъ „мирнымъ жителемъ Бѣлева“ (какъ называетъ его Батюшковъ въ своемъ посланіи); въ томъ же городѣ поселилась сестра его Протасова съ двумя дочерьми, Маріей и Александрой. Ж—ій въ теченіи трехъ лѣтъ (1805—1808) обучалъ своихъ племянницъ исторіи и словесности, и читалъ съ ними лучшія сочиненія на франц. и нѣм. языкахъ. Уроки не остались безъ знаменательнаго вліянія на самого учителя: родственная любовь къ ученицамъ перешла къ одной изъ нихъ (Маріи) въ романтическое чувство, которое такъ ясно выразилось въ пѣснѣ „Мой другъ, хранитель-ангелъ мой“ (1811). Въ понятіи поэта сформировался твердый идеалъ семейнаго счастья и сдѣлался постояннымъ предметомъ его лирики, которая съ этого времени служить исповѣдью его собственнаго душевнаго настроенія, указаніемъ на его внутреннюю жизнь. Желая дѣятельнѣе участвовать въ развитіи родной словесности, Ж—ій привягъ на себя редакцію „Вѣстника Европы“ и переехалъ въ Москву. Въ сотрудники выбралъ онъ профессора московскаго университета Каченовскаго, съ которымъ и работалъ три года (1808—1810). Главный интересъ журнала заключается въ трудахъ самого редактора. Изъ стихотвореній самымъ замѣчательнымъ была баллада Людмила (1809), подражаніе Бюргеровой „Ленорѣ“: прелесть стиховъ и новизна поэтическаго вида (баллады) произвели сильное впечатлѣніе на публику, подобное тому, какое за 15 лѣтъ, произвелъ Карамзинъ „Бѣдной Лизой“. Въ подражаніе послѣдней, Ж—ій написалъ повѣсть „Марыина роща“: дѣйствующія въ ней лица, Усладъ и Марія, представляютъ образцы мечтательной настроенности. Разсужденіе: „Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ“, важно тѣмъ, что указываетъ идеальныя стремленія автора, его взглядъ на существенныя блага жизни. Въ 1810 г., передавъ „В. Европы“ Каченовскому, Ж—ій снова поселился въ Бѣлевѣ. Продолжая журнальную работу, „необходимую для кармана“, онъ по той же необходимости издалъ „Собраніе русскихъ стихотвореній“, въ 6 ч. (1810—1815). Въ 1811 г. явилась первая часть его стихотворной повѣсти „Двадцать спящихъ дѣвъ“ (подъ названіемъ „Громобой“). 1812-й г. былъ для Ж—го годомъ катастрофы, рѣшившій его судьбу: онъ, наконецъ, открылъ свою любовь и намѣреніе жениться на Марьѣ Андреевнѣ Протасовой; но мать ея не только отказала (по причинѣ родства, котораго въ сущности не было), но и запретила говорить объ этомъ съ кѣмъ бы то ни было, а всего менѣе съ ея дочерью. Въ августѣ того же года Ж—ій поступилъ въ московское ополченіе и находился при главной квартирѣ Кутузова. Въ лагерѣ подъ Тарутиномъ написалъ онъ „Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ“—патріотическое стихотвореніе, съ энтузіазмомъ читавшееся всею Россіей. Послѣ сраженія подъ Краснымъ заболѣлъ горячкою и, оправившись, вернулся на родину. Въ 1813 году напечатана баллада „Свѣтлана“, посвященная младшей дочери Протасовой, а въ 1814 году, „Посланіе Императору Александру“ и народный гимнъ: „Боже царя храни“. „Посланіе“ обратило на автора вниманіе Императрицы Маріи Феодоровны, которая еще прежде того, выслушавъ чтеніе „Пѣвца“, приглашала его



въ Петербургъ. Но „другъ мирныхъ селъ“ предпочиталъ „невѣдомую степю“ широкимъ путемъ свѣта. Только особенное возмущеніе въ ровномъ потокѣ жизни могло привести его въ ту сторону, которая и въ мечтахъ не представлялась ему. Этимъ возмущеніемъ былъ приваждъ къ нему сотоварища по университетскому пансіону, литератора Воейкова, который женился на Александрѣ Андреевнѣ Протасовой. Когда Воейкову выхлопотали кафедру русской словесности въ дерптскомъ университетѣ (1815) и семейство Протасовыхъ переселилось съ нимъ въ Дерптъ, Ж—му не для чего было оставаться въ опустѣвшей для него родинѣ, и онъ посѣдовать за родными, съ которыми оставался до выхода Маріи Андреевны замужъ за дерптскаго профессора Мойера (1817). Вторая часть „Двенадцати спящихъ дѣвъ“ (Вадимъ) вышла того же года, съ посвященіемъ, переложеннымъ изъ Гёте (Опытъ ты здѣсь, мой благодатный гений): превосходно выражаетъ оно „тоску по благамъ прежнихъ лѣтъ“, разрушенное счастье поэта, утрату идеала. Въ 1815 г., представленный Императрицѣ Маріи Феодоровнѣ, онъ получилъ назначеніе быть у ней чтецомъ. Того же года молодые и даровитые посѣдователи Карамзина и друзья Ж—го образовали литературное общество „Арзамасъ“, въ противоположность „Бесѣдѣ любителей русскаго слова“, основанной въ 1811 году такъ называемыми славянофилами: Шишковымъ и его сторонниками. Арзамасцы преслѣдовали сатирами и эпиграммами членовъ „Бесѣды“, особенно кн. А. Шаховскаго, какъ автора комедіи „Типецкія воды“, въ которыхъ былъ задѣтъ Ж—ій, подъ именемъ балладника Фіалкина, и читали похвальные слова имъ, какъ покойникамъ; шуточные протоколы засѣданій велъ въ стихахъ Ж—ій. въ 1816-мъ первое изданіе его стихотвореній (1815—1816) было поднесено министромъ просвѣщенія кн. А. Н. Голицынымъ государю, который назначилъ автору пенсію въ 4,000 руб. Въ 1817 году онъ былъ избранъ въ преподаватели русскаго языка великой княгинѣ (впоследствии императрицѣ) Александрѣ Феодоровнѣ. Для своей Августейшей слушательницы, когда дворъ находился въ Москвѣ (1818), онъ переводилъ стихотворенія первоклассныхъ нѣмецкихъ поэтовъ: переводы, вмѣстѣ съ подлинниками, вышли въ шести небольшихъ книжечкахъ, подъ названіемъ „Для немногихъ“, такъ какъ они не поступали въ продажу, а раздавались немногимъ лицамъ, что и заставило сказать Пушкина въ посланіи Ж—му: „Ты правъ, творишь ты для немногихъ“. Смерть старшей его племянницы (М. А. Мойеръ), съ которой онъ думалъ соединить судьбу свою, поразила его глубокою скорбію, но тѣмъ сильнѣе привязался онъ къ другой племянницѣ, Воейковой. По вступленіи на престолъ Императора Николая, онъ былъ выбранъ въ наставники Наслѣднику престола, потомъ Государю Александру II. Съ этого времени онъ всецѣло преданъ своей обязанности: педагогическіе труды заняли мѣсто поэзіи, къ которой онъ обращался только въ свободные часы, а также во время походовъ за границу, совершаемыхъ для отдыха или для поправленія здоровья. Въ 1829 г. онъ перевелъ Бюргерову балладу „Ленора“ и стихотворенія Шиллера: „Кубокъ“, „Торжество побѣдителей“, „Жалоба Цереры“ и другія. Въ этотъ годъ умерла другая его племянница (Воейкова), и потому въ сѣваніяхъ Цереры о разлукѣ съ дочерью, при встрѣчѣ весны, слышимъ скорбный голосъ самого переводчика:

Все цвѣтеть,—лишь мой единый  
Не взойдетъ прекрасный цвѣтъ.

И Ж—кій называть умершую „своимъ несравненнымъ дѣтвомъ“ (въ посвященіи Громобоя). Въ 1831 г., живучи въ Царскомъ Селѣ, вмѣстѣ съ Пушкинымъ, онъ написалъ сказки: „О царѣ Берендѣѣ“, Спящая Царевна, Война мышей и лягушекъ. Въ 1836 г. докончилъ „Уддину“, начатую до того за четыре года. Лирическія отступленія въ этой новѣсти показываютъ, что въ Ж—мъ не замирала память о минувшемъ: печаль затихла, но не исчезла. Три года (1837—40), въ досужее отъ занятій время переводилъ индійскую поэму „Налъ и Дамаянти“ съ нѣмецкаго перевода Рюккертъ. Этотъ переводъ стоитъ на рубежѣ, раздѣляющемъ два періода жизни Ж—го, который, окончивъ должность наставника при Цесаревичѣ, отправился въ Германію, гдѣ и женился (1841 г.) на дочери давнишняго своего друга, полковника Рейтерна, проживавшаго съ своимъ семействомъ въ Дюссельдорфѣ. Эта женитьба осуществила то счастье, къ которому поэтъ стремился съ юныхъ лѣтъ, но которое у него было похищено судьбою.

Ж—му не пришлось уже болѣе видѣть Россіи по семейнымъ обстоятельствамъ, преимущественно по болѣзни жены. Остальное время своей жизни посвятилъ онъ поэзіи, сдѣлавшись по его собственнымъ словамъ „изъ мечтателя-романтика трезвымъ классикомъ“. Въ 1847—49 г. переведена имъ „Одиссея“ съ подстрочнаго нѣмецкаго перевода; въ 1847-мъ персидская поэма „Рустемъ и Зорабъ“, также съ нѣмецкаго. Пятидесятилѣтній юбилей литературной дѣятельности его былъ празднованъ въ 1849 г. (хотя онъ приходился въ 1847 г.). Государь пожаловалъ поэту орденъ Вѣлаго орла „въ ознаменованіе (какъ сказано въ грамотѣ) особеннаго своего уваженія къ трудамъ юбиляра на поприщѣ отечественной литературы и въ изъясненіе душевной признательности за заслуги, Царскому семейству оказанныя“. Окончивъ „Одиссею“, Ж—ій принялся было за „Илиаду“, но успѣлъ перевести только 1-ю пѣснь и часть 2-й. Равнымъ образомъ не кончилъ онъ и поэмы „Вѣчный жидъ“. Среди этихъ работъ поэта стали посѣщать недуги: зрѣніе его слабѣло, слухъ тупѣлъ. Скончался въ Ваденъ-Баденѣ (1852). Тѣло его перевезено въ Петербургъ и предано землѣ въ Александро-Невской Лаврѣ, рядомъ съ могилой Карамзина. 29 января 1883 г. совершенно было по всей Россіи торжество столѣтней годовщины рожденія поэта.

## 8. Батюшновъ (Константинъ Николаевичъ, 1787—1855).

Родился въ Вологдѣ, откуда еще въ дѣтствѣ былъ привезенъ въ Спб. Образование его шло подъ надзоромъ его дяди. М. Н. Муравьева. Б—ва сначала отдалъ въ частный пансіонъ, а потомъ къ одному изъ учителей Морского училища. Приобрѣтенное имъ знаніе языковъ французскаго, латинскаго и италіанскаго дало ему возможность рано познакомиться съ хорошими литературными образцами. Первый опытъ его въ словесности относится къ 1805 г. Въ 1806 г. онъ оставилъ службу, начатую въ канцеляріи министра народнаго просвѣщенія, и поступилъ въ петербургскую милицію; здѣсь онъ подружился съ Петинимъ, воспитанникомъ московскаго университетскаго пансіона, образованнымъ любителемъ словесности, убитымъ 1813 г. въ Лейпцигскомъ сраженіи. Во время войны съ французами (1807) былъ въ сраженіяхъ на берегу Пассарги и Гейльсбергскомъ: опасная рана, полученная въ послѣднемъ, заставила его воротиться въ

Петербургъ. Оправившись отъ болѣзни, перешелъ въ лейбъ-егерскій полкъ. Батальонъ этого полка былъ отряженъ въ Финляндію (1808) и Б—му снова пришлось дѣлать ратные труды со своимъ другомъ; „Посланіе къ Петину“ воспоминаетъ Индесальмское дѣло. Природа Финляндіи и ея преданія произвели сильное на него впечатлѣніе, что доказывается „Отрывкомъ изъ писемъ о Финляндіи“ (1810) и переводомъ Маттисоновои элліи: „На развалинахъ замка въ Швеціи“. Поездъ мира съ Швеціей подаетъ въ отставку и отправился въ Москву, куда переехала его тетка, вдова М. Н. Муравьева, а 1810 г. снова поселился въ Петербургъ. Въ теченіе двухъ лѣтъ (1808—1810) онъ написалъ много стихотвореній, помѣщенныхъ въ тогдашнихъ журналахъ. Въ 1811-мъ получилъ мѣсто бібліотекаря въ И. П. Библиотеку. Въ 1812-мъ вновь поступилъ на военную службу и назначенъ состоять при генералѣ Бахметевѣ, о которомъ говорится въ „Послании къ Даникову“ (1812). Такъ какъ Бахметевъ, лишась ногъ въ Бородинскомъ сраженіи, лежалъ больной въ Нижнемъ-Новгородѣ, гдѣ находился въ то время и Б—въ, то онъ отправилъ своего адъютанта къ генералу Раевскому, при которомъ онъ состоялъ до самаго вѣтупленія въ Парижъ. Посреди военныхъ трудовъ поэтъ не оставилъ литературныхъ занятій: въ Германіи читалъ онъ нѣмецкія книги и учился говорить по-нѣмецки. Въ 1814 г. написаны имъ стихотворенія: „Переходъ чрезъ Рейнъ“ и „Плѣнный“. Два мѣсяца Б—въ прожилъ въ Парижѣ, потомъ ѣздилъ въ Лондонъ, отсюда въ Готенбургъ, Стокгольмъ и Або. Опытіе изъ Лондона представлено въ Элегіи „Тѣбѣ друга“ (1816), т. е. Петина, а морскою переездомъ до Готенбурга описанъ въ письмѣ къ Сиверину (1814). По возвращеніи въ С.-Петербургъ, онъ за усердную службу свою былъ переведенъ въ Намайлловскій полкъ и отправился въ Каменецъ-Подольскъ, къ подольскому генералъ-губернатору Бахметеву, при которомъ числился адъютантомъ. Недовольный наградою за походъ 1813—1814 г., вынужденъ въ отставку съ чиномъ коллежскаго асессора, о чемъ говорить въ „Посланіи В. Л. Пушкину“, а потомъ (1816) назначенъ почетнымъ бібліотекаремъ въ И. П. Библиотеку. Письма его изъ Каменецъ-Подольска къ Ж—му выражаютъ недовольство и печальное состояніе души и онъ называетъ себя „каменнымъ жителемъ Каменца“, говорить, что онъ сдѣлался задумчивъ, молчаливъ, тихъ до глупости; да и прежде того онъ постоянно жаловался на заботы жителесія и горести душевныя, на болѣзнь, хилость и скуку, которую называетъ своимъ богомъ-метителемъ. Онъ не могъ засиживаться на одномъ мѣстѣ, по привычкѣ къ перемѣнной жизни, а также по необходимости некать въ лучшемъ климатѣ подкрѣпленія здоровью, общее разстройство котораго приписываютъ тяжелой ранѣ. Онъ самъ называетъ себя „бездомнымъ странникомъ“ и въ сказкѣ „Странствователь и Домосѣдъ“ показывается,

Какъ трудно вѣкъ дожить на родинѣ своей  
Тому, кто въ юности изъ края въ край поспѣя.

„Какую жизнь вѣль я?“ писалъ онъ къ Ж—му (1817): „три войны—все на конѣ, а въ мирѣ—на большой дорогѣ“. Впрочемъ, время отъ 1813 по 1818 прошло въ занятіяхъ поэзіей: онъ участвовалъ въ „Арамаисѣ“, гдѣ названъ „Ахилломъ“, въ противоположность своему небольшому росту и слабому здоровью (*Acht! xilt!*); былъ избранъ въ члены Московскаго Общества любителей россійской словесности, при вѣтупленіи въ которое читалъ



рѣть „О вліяніи легкой поэзіи на языкъ“. Несмотря, однакожь, на дружескія связи и громкую извѣстность, Б—въ не былъ доволенъ своею судьбою и всегда находился въ раздражительности. Онъ страдалъ не только физически, но и нравственно. Нравственная болѣзнь заключается въ борьбѣ поэтическаго призванія съ честолюбіемъ, которое не удовлетворялось одной литературной славой. „Меня здѣсь (въ Сиб.) ласкають добрые люди“, писалъ онъ своему родственнику: „я на розахъ какъ авторъ, и на шипахъ какъ человѣкъ. Успѣхи въ словесности ни къ чему не ведутъ, и ими восхищаться не должно. Тѣ, которые хвалятъ, завтра бранить будутъ“. Въ 1818 году Б—въ пользовался морскими купаньями въ Одессѣ, а въ 1819 причисленъ къ неаполитанской миссіи, чтобы дать ему возможность жить въ тепломъ климатѣ. Но ни Италія, ни островъ Іскія не помогли ему: „Здѣсь умираю отъ холода“, писалъ онъ Ж-му: „что же будетъ со мною на сѣверѣ“. Въ 1822 году воротился въ Слб. въ безпокойномъ, близкомъ къ помѣшательству состояніи. Въ 1823 г. былъ въ Симферополѣ, гдѣ психическая болѣзнь усилилась. Родные перевезли его въ Вологду, гдѣ онъ и провелъ остальное время жизни, свыше 30-ти лѣтъ. Пожизненная пенсія отъ государя обезпечивала матеріальную судьбу его. Болѣзненное состояніе, сначала тревожное, перешло потомъ въ болѣе спокойное. 22 ноября 1887 г. Акад. Н. чествовала столѣтній юбилей его рожденія. Въ томъ же году издано полное собраніе его сочиненій братомъ его Помпеемъ Николаевичемъ, подъ редакціей Л. М. Майкова.

## 9. Грибоѣдовъ (Александръ Сергѣевичъ, 1795—1829).

Родился въ Москвѣ, гдѣ еще дома получилъ основательное образованіе подъ руководствомъ иностранныхъ педагоговъ: онъ зналъ франц., нѣм. и англ. языки, давшіе ему возможность знакомиться съ западною литературой. Затѣмъ онъ поступилъ въ московскій университетъ вольнымъ слушателемъ на юридическій факультетъ (1810) и здѣсь всего болѣе былъ обязанъ профессору естественнаго права и эстетики Буме, пріучившему его къ серьезному мышленію. Изъ искусствъ Г—въ страстно любилъ музыку и отлично игралъ на фортепьяно; онъ изучилъ ее не практически только, но и какъ науку. Первыми произведеніями его были: пародія на „Дмитрія Донскаго“ (Озерова), планъ трагедіи „Радамистъ и Зенобія“ и комедія „Студентъ“ (до насъ не дошедшая). Вышелъ изъ университета кандидатомъ правъ, поступилъ (1812) въ гусарскій полкъ, сформированный гр. Салтыковымъ. По смерти графа и по распущеніи полка, перешелъ того же года въ Иркутскій гусарскій полкъ и назначенъ состоять при генералѣ Кологривовѣ, начальникѣ кавалерійскаго резервнаго корпуса. Изъ Бреста, гдѣ находилась главная корпусная квартира, онъ послалъ въ редакцію „Сына Отечества“ (1814) описаніе праздника, данного офицерами Кологривову, и статью „о кавалерійскихъ резервахъ“; это первыя печатныя его сочиненія. Въ Брестѣ познакомился съ княземъ А. А. Шаховскимъ, извѣстнымъ драматическимъ авторомъ, служившимъ также въ военной службѣ. Первая пьеса Г—ва, „Молодые супруги“, написанная въ это время, есть переводъ французскаго (*Le secret du ménage*); она была представлена въ Петербургѣ (1815). Недовольный своимъ положеніемъ и образомъ жизни, которая истрчивалась на разсѣяніе, онъ, къ счастью, сблизился съ адъютантомъ Кологривова, С. Н. Бѣгичевымъ и вышелъ въ немъ не только

преданнаго друга, но и благодарнаго ментора: его вліянію онъ былъ обязанъ преобразованіемъ внутренней своей жизни. Въ 1815 году переѣхалъ въ Сиб., 1816-го вышелъ въ отставку и постоянно находился въ обществѣ кн. Шаховскаго, члена по репертуарной части, у котораго собирались страстные любители театра и писатели для сценъ; изъ нихъ Г—въ болѣе всего сошелся съ Катенинымъ и Жандромъ. Въ 1818 г. были представлены переведенныя имъ и Жандромъ ком. „Притворная невѣрность“ и ком. кн. Шаховскаго „Своя семья“, въ которой Г—ву принадлежить нѣсколько сценъ 2-го акта. Когда Загоскинъ выписалъ слабые стихи изъ ком. „Молодые супруги“ и напечаталъ ихъ со своими примѣчаніями въ „Сверномъ Наблюдателѣ“ (1817), Г—въ, въ отвѣтъ рецензенту, сочинилъ шуточное стихотвореніе „Губочный театръ“. Зачисленный въ 1817 году на службу по министерству иностранныхъ дѣлъ, онъ въ 1818-мъ назначенъ секретаремъ посольства въ Персію и отправился въ Тавризъ. Ко времени этого перваго выѣзда изъ Россіи относится стихотвореніе „Прости, отечество!“ посвященное печальнымъ мыслямъ. Поездъ четырехмѣсячной жизни въ Тифлисъ при Ермоловѣ, который оцѣнилъ его, Г—въ прибылъ къ своему посту въ февралѣ 1819 г. Трехлѣтнее пребываніе въ Персіи (1819—1822) прошло въ добросовѣстномъ исполненіи дипломатическихъ обязанностей и въ научныхъ и литературныхъ занятіяхъ: Г—въ много читалъ по всѣмъ отраслямъ знанія: къ знанію четырехъ языковъ присоединилъ изученіе персидскаго и арабскаго; обрабатывалъ свою комедію (Горе отъ ума), начатую до того лѣтъ за пять или за шесть. Въ 1822 году изъ персидской миссіи былъ переведенъ къ главнокомандующему въ Грузію, Ермолову, для дипломатическихъ занятій. Задумавъ ѣхать за границу для поправленія здоровья, Г—въ взялъ отпускъ и прожилъ слишкомъ годъ (1823—1824) въ Москвѣ, доканчивая свою комедію, перелѣзая нѣкоторыя сцены и прибавляя другія, а потомъ около года въ Петербургѣ (1824—1825: адѣкъ онъ перевелъ прологъ къ „Фаусту“, Гете (1825). Но заграничная поѣздка не состоялась и Г—въ воротился въ Грузію. По приѣздѣ находился въ экспедиціи съ генераломъ Вельяминовымъ противъ горцевъ и написалъ стихотвореніе: „Хищники на Чаемѣ“ (горной рѣкѣ, при сѣверномъ склонѣ Кавказа). Въ началѣ 1826 года былъ отправленъ Ермоловымъ по дѣламъ службы въ Сиб. Воротивъ въ Грузію почти въ самомъ началѣ войны съ Персіей, состоялъ прежде при Ермоловѣ, а потомъ (1827) при гр. Паскевичѣ-Эриванскомъ, своемъ родственникѣ, которому былъ крайне полезенъ, какъ человѣкъ, знавшій хорошо персіянъ и языкъ ихъ и находившійся въ близкихъ отношеніяхъ съ сыномъ шаха, Аббасомъ-Мирзой. При заключеніи мира былъ отправленъ главнокомандующимъ въ Петербургъ поднести мирный трактатъ Государю. Въ 1828 г. назначенъ полномочнымъ министромъ при персидскомъ дворѣ. Онъ не предугадывалъ этого назначенія, а намѣревался выйти въ отставку и посвятить себя наукамъ и словесности. Съ мрачнымъ предчувствіемъ вспоминать онъ о Персіи, часто повторяя: „тамъ моя могила! чувствую, что не увижу болѣе Россіи“. Тоже выражалъ онъ и Пушкину, который напрасно старался его успокоить. Въ этотъ послѣдній приѣздъ свой въ Петербургъ, Г—въ читалъ друзьямъ отрывки изъ трагедіи „Грузинская ночь“, планъ которой относится, какъ полагаютъ, къ 1825—1826 гг. Проѣзжая черезъ Тифлисъ, онъ предложилъ руку книжнѣ Чавчавадзе, на которой вѣсело и женился. Казалось, поэтъ достигъ полнаго счастья: литературная слава, значительность общественнаго положе-

пія, радости семейной жизни — все соединилъ для него 1828 г. Однакожъ въ письмахъ его этой эпохи постоянно выражается печальное настроеніе духа. Мрачныя предчувствія стѣснили его сердце. Эти предчувствія скоро сбылись: 30 января 1829 г. онъ былъ убитъ въ Тегеранѣ чернью, раздраженною тѣмъ, что въ домѣ посланника укрывались русскіе плѣнные, которые должны были воротиться на родину. Останки его перевезли изъ Тегерана въ Тифлисъ, гдѣ онъ поконилъ въ монастырѣ св. Давида.

## 10. Пушкинъ (Александръ Сергѣевичъ, 1799—1837).

*А) Жизнь въ домѣ до вступленія въ училище (1799—1811).* Прадѣдомъ Пушкина по матери былъ негръ Ибрагимъ (Абрамъ), сынъ абиссинскаго князька, взятый, вмѣстѣ съ другими дѣтьми, аманатомъ въ Константинополь и отсюда отправленный нашимъ посланникомъ къ Петру Великому, который при крещеніи его, далъ ему фамилію Ганнибалъ. Его-то изобразилъ П—въ въ неоконченной повѣсти „Арабъ Петра Великаго“. Дочь младшаго изъ трехъ Ибрагимовыхъ сыновей, Надежда Осиповна, вышла замужъ за Сергѣя Львовича Пушкина, гвардейскаго офицера, переселившагося по выходѣ въ отставку изъ Петербурга въ Москву. Здѣсь въ 1799 г. родился нашъ поэтъ. Отецъ его, равно какъ и дядя, Василій Львовичъ, извѣстный въ свое время стихотворецъ, принадлежали къ карамзинистамъ. Карамзинъ, Жуковскій. И. Дмитріевъ, А. Тургеневъ были ихъ хорошими знакомыми и друзьями. Воспитаніе П—на шло безъ всякой системы. Сначала ходила за нимъ няня (Арина Родіоновна), которую онъ воспѣлъ въ стихотвореніи „Подруга дней моихъ суровыхъ“, а потомъ бабушка. За тѣмъ пошли гувернеры и гувернантки; всѣ предметы преподавались на франц. языкѣ. До девяти лѣтъ Пушкинъ росъ тяжелымъ, флегматическимъ мальчикомъ совершенно противоположнымъ тому, что вышло изъ него впослѣдствіи. Первымъ возбужденіемъ его ума и страстей была семейная фран. бібліотека, состоявшая преимущественно изъ сочиненій французск. философовъ XVIII вѣка и стихотвореній эротическихъ. Чтеніе такихъ книгъ сильно повліяло какъ на организмъ отрока, такъ и на его понятія и представленія.

*Б) Школьное ученіе (1811—1817).* П—ва отдалъ въ Царскосельскій Лицей (что нынѣ Александровскій въ Спб.) въ самый годъ его открытія въ Царскомъ Селѣ, 19 октября 1811 г. Годовщинѣ этого открытія поэтъ посвятилъ нѣсколько стихотвореній. Хотя лицейскіе преподаватели были лучшими представителями тогдашней науки (напр. Галичъ, Куніцинъ), но воспитанники не приобрѣли положительныхъ, систематическихъ знаній, такъ что нѣкоторые, болѣе даровитые, въ томъ числѣ и самъ П—въ, принуждены были впослѣдствіи возмѣщать недостатокъ правильнаго учебнаго курса самообразованіемъ. Поэтъ учился не блестящимъ образомъ: ему не доставало вниманія, усидчивости, выдержки: аттестатъ его свидѣтельствуетъ о посредственныхъ успѣхахъ; онъ вышелъ 19-мъ, по 2-му разряду. Но скудный запасъ научныхъ свѣдѣній частію вознаграждался литературнымъ направленіемъ: оно было также своего рода самообразованіемъ, матеріаломъ для котораго служила лицейская бібліотека. П—въ вмѣсто уроковъ, читать произведенія франц. и отечественной словесности, вмѣстѣ съ товарищами сотрудничалъ въ лицейскихъ журналахъ (рукописныхъ, задуманныхъ самими учащимися), писалъ стихи (съ 1813 г.). Въ 1815 г. на публич-



номъ экзаменѣ въ присутствіи Державина, читалъ онъ свои „Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ“. Въ стихотвореніяхъ, написанныхъ имъ въ Липецѣ, подражалъ онъ Державину, Жуковскому и Батюшкову, а также французск. поэтамъ, преимущественно зрелѣешимъ.

В) *Жизнь въ Петербургѣ (1817—1824)*. По выходѣ изъ Липецъ (1817) П—нъ поступилъ на службу въ иностранную коллегію. Онъ не попалъ въ среду людей серьезныхъ, стремившихся къ осмысленной жизни. Общество его состояло преимущественно изъ богатой военной молодежи, предававшейся свѣтскимъ удовольствіямъ. Въ чемъ и какъ она проводила время, можно судить по характеристикѣ „Евгенія Онѣгина“ (въ первой главѣ этого романа). Это времяпровожденіе было даже оправдываемо П—нъ, съ точки зрѣнія его эпикурейской философіи, въ посланіяхъ къ Юрьеву и Каверину. Къ сожалѣнію онъ не испытать и полезныхъ литературныхъ вліяній: стоя по своему таланту выше современныхъ литераторовъ, онъ не могъ у нихъ чему-либо научиться. Хотя онъ и былъ принятъ въ „Арзамасъ“ членомъ подъ названіемъ „Сверчокъ“, но это общество въ 1817 г. уже прекратило свои собранія. Въ свободное отъ разсыянія время онъ трудился надъ поэмой „Русланъ и Людмила“, вышедшей въ 1820 году, и приобрѣлъ себѣ славу памфлетами, сатирами, эпиграммами и др. стихотвореніями, изъ которыхъ одно и было причиною перевода его въ 1820 г., въ канцелярію генерала Инзова, жившаго въ Екатеринославѣ и завѣдывавшаго колонистами южнаго края.

Г) *Жизнь на югѣ Россіи (1820—1824)*. Прибывъ къ Екатеринославлю, П—нъ заболѣлъ лихорадкой. Проѣзжавшій въ то время черезъ этотъ городъ на кавказскія минеральныя воды генералъ Раевскій, извѣстный подвигами въ войну 1812 г., взялъ его съ собою, съ разрѣшенія Инзова. На Кавказѣ П—нъ занялся изученіемъ англійскаго языка и подчинился вліянію Байрона въ первый періодъ своей поэтической дѣятельности. По выздоровленіи, отправился въ Крымъ, гдѣ жилъ также въ семействѣ Раевского. Черное море внушило ему превосходную элегію: „Покаслъ дневное свѣтило“. Кавказская природа, жизнь и обычаи горцевъ дали ему матеріалъ для поэмы „Кавказскій плѣнникъ“ (1822), а природа Крыма и его преданія— для поэмы „Бахчисарайскій фонтанъ“ (1824). Воротился не въ Екатеринославль, а въ Кишиневъ, куда было переведено центральное управленіе колонистами. Здѣсь написалъ онъ много прекрасныхъ стихотвореній („Къ Овидію“, „Наполеонъ“, „Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ“), и разсказъ „Братія разбойники“ (1822). По назначеніи гр. Воронцова новороссійскимъ генералъ-губернаторомъ (1823), П—нъ, согласно съ своимъ желаніемъ, былъ зачисленъ къ нему въ штатъ и переѣхалъ въ Одессу, но здѣсь онъ не нашелъ той свободы, простоты и даже фамиллярности, какими пользовался при снисходительномъ Инзовѣ. Учиное, но высокоумное отношеніе къ званію поэта, отъ котораго требовалось не творчество, а исполненіе дѣловыхъ занятій, раздражало П—на, причиняло ему внутреннія страданія, отъ которыхъ онъ освобождался только въ своемъ рабочемъ кабинетѣ: онъ началъ поему „Цыганы“ (нап. 1827) и приступилъ къ „Евгенію Онѣгину“. Зачисленный въ екенедію объ изслѣдованіи сарацин на мѣстѣ ея покаянія, онъ принялъ это за злую насмѣшку и написалъ запальчивое письмо къ правителю канцеляріи намѣстника. Воронцовъ рѣшился разсѣяться съ нимъ. П—нъ былъ уволенъ съ тѣмъ, чтобы жить въ имѣніи родныхъ его, селѣ Михайловскомъ (Псковской губ.), куда и прибавъ въ августѣ 1824 года.

Д) Въ Михайловскомъ (1824—1826). Пребываніе въ Михайловскомъ составляетъ важную эпоху въ жизни Пушкина. Два года, здѣсь проведенные, посвятилъ онъ самообразованію, вознаграждая и недостатокъ лицейскаго курса, и потраченное на разсѣяніе время. Онъ много читалъ серьезныхъ сочиненій, изучалъ Шекспира и освободился отъ подчиненія Байрону. Посѣтившій его лицейскій товарищ Пущинъ нашелъ его простымъ, разсудительнымъ, серьезнымъ. Жившая съ нимъ няня познакомила его съ русскимъ сказочнымъ міромъ; нѣкоторыя сказки, отъ нея слышанныя, онъ впоследствии обработалъ. Образъ его жизни довольно вѣрно описать въ „Онѣгина“ (гл. IV, строфы 37—39, 44). Сосѣдкой его была владѣлица села Григореевскаго, П. А. Осипова (по первому мужу Вульфъ), женщина образованная; за ея благорасположеніе онъ платилъ постоянной дружбой; двѣ старшія ея дочери нашли отраженіе въ Татьянѣ и Ольгѣ. Уединеніе поэта развлекалось наѣздомъ друзей: Вульфа (сына Осиповой) и Азикова (оба они учились въ то время въ дерптскомъ университетѣ), Пущина, Дельвига, Плетнева, кн. Вяземскаго. Творческіе гѣніи его работали производительно: кончены были „Цыганы“, написаны „Борисъ Годуновъ“ (нап. 1831) и четыре главы Онѣгина (нап. 1825, 1826, 1827, 1828). При вступленіи на престолъ Императора Николая I П—нъ прибѣгъ къ его великодушію съ просьбою о дозволеніи жить ему или въ Москвѣ или въ Петербургѣ. Государь повелѣлъ прибыть ему въ Москву, гдѣ находился дворъ по случаю коронаціи (1826). По пріѣздѣ онъ былъ представленъ Государю, который милостиво его принялъ и разрѣшилъ ему жить въ любой изъ столицъ.

Е) Съ 1826 по 1837 г. Съ 1826 по 1831 г. мѣстопробываніемъ П—на были то Москва, то Петербургъ. Въ Москвѣ въ домѣ Веневитиновыхъ, читалъ онъ Бориса Годунова, одна сцена котораго (разговоръ Пимена съ Григоріемъ) явилась въ „Московскомъ Вѣстникѣ“ (1827), журналъ основанномъ кружкомъ молодыхъ, даровитыхъ литераторовъ и избранномъ П—мъ для преимущественнаго помѣщенія въ немъ своихъ произведеній. Въ 1829 г. вышла „Полтава“. Того же года П—нъ уѣхалъ на Кавказъ, желая посѣтить мѣста, восхищавшія его молодость, и потомъ находился въ Персидскомъ походѣ при дѣйствующихъ войскахъ. Путевыя записки его подъ названіемъ „Путешествіе въ Арзерумъ“ нап. въ Современникѣ (1836). Былъ помолвленъ на Гончаровой (1830), весною отправился въ пѣжегородскую свою деревню, гдѣ, по случаю холеры, прожилъ до зимы. Въ это время имъ написаны: двѣ послѣднія главы (7 и 8) „Онѣгина“, „Повѣсти Вѣлкина“, драматическія сцены: „Скупой рыцарь“, „Ширь во время чумы“, „Каменный гость“. Женившись (1831) и перѣхавши въ Спб., П—нъ до кончины своей жилъ въ немъ постоянно, за исключеніемъ нѣсколькихъ поѣздокъ въ Москву и осеннихъ выѣздовъ въ Михайловское. Съ мая до зимы этого года провелъ въ Царскомъ Селѣ, гдѣ написалъ „Клеветникамъ Россіи“, „Вородинская годовщина“ и нѣсколько сказокъ. Приступивъ къ собранію матеріаловъ для исторіи Петра I (съ 1831) и занимаясь разысканіями въ открытыхъ ему архивахъ, П—нъ находилъ время и для поэзіи и для другихъ работъ, помимо главной своей задачи. Такъ, въ 1833 г. онъ совершилъ путешествіе по восточной части Россіи, для обзорѣнія мѣстъ, гдѣ происходилъ Пугачевскій бунтъ, исторію котораго издалъ въ 1834 г. Эта поѣздка доставила ему матеріалы для повѣсти „Капитанская дочка“: она напечатана въ основанномъ имъ, 1836 г. журналѣ „Современникъ“. Но П—нъ недолго былъ его редакторомъ: онъ

скончался 36 лѣтъ, убитый на дуэли Дантесомъ, побѣдѣ сыномъ голландскаго посланника. Въ Москвѣ, какъ мѣсто его рожденія, воздвигнуть ему памятникъ, открытіе котораго послѣдовало 9-го іюля 1880 года. Въ 1887 г. по минованіи 50-ти лѣтняго права литературной собственности, явилось нѣсколько изданій сочиненія Пушкина. Лучшее изъ нихъ—изданное обществомъ для пособія литераторамъ и ученымъ, подъ редакціей г. Морозова.

## 11. Гоголь, Николай Васильевичъ (1808—1852).

Родился Полтавской губ., Миргородскаго уѣзда, въ дер. Васильевкѣ, помѣстью его родителей. Отецъ его обладалъ даромъ разсказывать занимательно и съ юморомъ. Когда по сосѣдству съ его деревней поселился Д. П. Тропинскій, бывшій министръ юстиціи, онъ сѣдѣлъ у него домашнимъ человѣкомъ, дирижеромъ его театра и главнымъ актеромъ, ставя на сцену собственныя пьесы на малорусскомъ языкѣ. Такимъ образомъ подл домашнимъ еще кровомъ Николай Васильевичъ получилъ первые уроки въ литературѣ, декламаци и сценическомъ искусствѣ. Обучался онъ въ гимназіи высшихъ наукъ кн. Безбородка, въ Нѣжинѣ, но вынесъ изъ нея очень мало познаній; только въ русской словесности оказать успѣхи, о чемъ свидѣлствуютъ его опыты въ стихахъ и прозѣ, написанные на школьной скамьѣ. Окончивъ курсъ, пріѣхалъ въ Сиб. (1829). Повинуясь прежнему влеченію, онъ намѣревался поступить на сцену, но не выдержалъ пробы и оставилъ свое намѣреніе. Опредѣлился на службу (1830) въ департаментъ удѣловъ, но оставался здѣсь не долго. Онъ былъ рекомендованъ Ж—му, который поручилъ его П. А. Плетневу съ просьбой позаботиться о немъ. Плетневъ доставилъ ему мѣсто преподавателя въ Патріотическомъ институтѣ (1831). Въ 1834 году Г—ль поступилъ въ с.-петербургскій университетъ адъюнктомъ по кафедрѣ всеобщей исторіи. Но дѣятельность преподавательская не шла къ Гоголю, особенно профессура, требующая большихъ научныхъ знаній, которыми онъ никогда не обладалъ. Таланту его предстояла другая дорога—литературная: здѣсь онъ скоро занялъ зидное мѣсто „Вечерами на хуторѣ близъ Диканьки“ (2 ч. 1831 и 1832), продолженіе которыхъ, состоящее изъ четырехъ повѣстей, издано подъ именемъ „Миргородъ“ (2 ч. 1835); въ томъ же году вышли „Арабески“ (разныя сочиненія, 2.), и въ слѣдующемъ (1836) „Ревизоръ“. По выходѣ въ отставку (1835), началась скитальческая жизнь Г—ля: онъ уѣхалъ за границу въ 1836-мъ г. и воротился въ 1845-мъ, проведя за границею, преимущественно въ Италіи, около 12-ти лѣтъ, считая въ томъ числѣ и временныя его пріѣзды на родину. За границей написаны имъ 2 тома „Мертвыхъ душъ“: первый нап. при его жизни (1842), а второй по смерти (1855). Съ появленіемъ 1-го тома въ авторѣ совершился переломъ, своего рода духовное преображеніе: онъ сталъ смотрѣть на свою поэтическую дѣятельность, какъ на нѣчто недостойное, даже вредное, почему и сжегъ рукопись 2-го тома, который изданъ по другому уцѣлѣвшему экземпляру. Слѣдствіемъ перелома было изданіе „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями“ (1846). Скончался въ Москвѣ и похороненъ на Даниловскомъ кладбищѣ. На гробницѣ его вырѣзана надпись изъ пророка Іереміи: „Горькимъ моимъ словомъ поемъ яси“.



## 12. Лермонтовъ Михаилъ Юрьевичъ, (1814—1841).

Родился въ Москвѣ, и по смерти матери остался на попеченіи у бабушки, Арсеньевой, которая увезла его въ свою пензенскую деревню. Ученіе началъ дома подъ руководствомъ иностранныхъ гувернеровъ. Въ 1826 г. поступилъ въ университетскій благородный пансіонъ (въ Москвѣ) полупансіонеромъ, и рано сталъ знакомиться съ русской и иностранной литературой; затѣмъ перешелъ въ университетъ, но оставался въ немъ недолго, а переѣхалъ (1831) въ Петербургъ и былъ принятъ въ школу гвардейскихъ подпоручиковъ и кавалерійскихъ юнкеровъ (1832), откуда вышелъ черезъ два года (1834), произведенный въ корнеты лейбъ-гвардіи гусарскаго полка. Съ этого времени началась его служба и вмѣстѣ съ тѣмъ разсѣянная жизнь въ свѣтскомъ кругу. Началъ писать стихи съ 1828 г.; первымъ напечатаннымъ его произведеніемъ была повѣсть въ стихахъ „Хаджи Абрекъ“, сочиненная въ 1833 году. За стихотвореніе „На смерть Пушкина“ (1837) отправленъ на Кавказъ, гдѣ находился въ экспедиціи за Кубанью, подъ начальствомъ генерала Вельяминова; возвращенный въ концѣ того-же года или въ началѣ 1838-го, онъ предался разсѣянной жизни и свѣтскимъ удовольствіямъ. 1840 года произошла у него дуэль съ Барантомъ, сыномъ французскаго посланника при русскомъ дворѣ, за что переведенъ въ тегинскій пѣхотный полкъ, на Кавказъ. Прибыль къ мѣсту своего назначенія, отправился въ экспедицію противъ чеченцевъ и участвовалъ въ сраженіи подъ Валерикомъ, описанномъ въ стихотвореніи того же названія. Въ концѣ 1840 года ему разрѣшено было пріѣхать на нѣсколько мѣсяцевъ въ Петербургъ. Весной въ 1841 пробылъ нѣкоторое время въ Москвѣ, а отсюда отправился на Кавказъ. По пріѣздѣ, взявъ отпускъ по болѣзни и поселился въ Пятигорскѣ, гдѣ у него составилъ кружокъ близкихъ пріятелей. Поссорившись съ однимъ изъ своихъ знакомыхъ, оставшимъ майоромъ Мартыновымъ, Л—въ былъ убитъ имъ на дуэли (1841). Гробъ его съ кладбища въ Пятигорскѣ былъ потомъ перевезенъ въ деревню бабки его Арсеньевой, Тарханы (Пенз. губ.), гдѣ воздвигнуть ему памятникъ (*„Лермонтовъ“ ст. А. Н. Пытина, въ Сочиненіяхъ Лермонтова*).



Бит. цена .....

1966 г.



PG Galakhov, Aleksei Dmitrievich  
2950 Istoriiā russkoī slovesnosti  
G35 Izd. 17.  
1909

PLEASE DO NOT REMOVE  
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

---

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

---

